
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ И МЕМУАРЫ

П. Д. БОБОРЫКИН

ЗА ПОЛВЕКА

(МОИ ВОСПОМИНАНИЯ)

РЕДАКЦИЯ, ПРЕДИСЛОВИЕ И ПРИМЕЧАНИЯ
Б. П. КОЗЬМИНА

«ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА»
МОСКВА — 1929 — ЛЕНИНГРАД

Обложка художника Л. Воронова
Отпечатано в типографии Госиздата
„Красный Пролетарий“, Москва,
Пименовская ул., д. 16,
в колич. 2 000 экз., 25 л.
Главлит № А—29693.
Заказ № 8001



ПРЕДИСЛОВИЕ

За шестьдесят лет своей литературной деятельности П. Д. Боборыкин написал громадное количество романов, повестей, рассказов, очерков, пьес, журнальных и газетных статей. Еще в 1894 году покойный С. А. Венгеров, подсчитывая литературную продукцию Боборыкина, определил ее в 900 печатных листов. И в последующие годы его литературная деятельность отличалась не меньшей интенсивностью, позволяющей предположить, что к моменту его смерти итог, вычисленный Венгеровым, может быть, без риска впасть в ошибку, увеличен почти вдвое.

Такая плодовитость делает Боборыкина явлением исключительным в русской литературе. Несмотря, однако, на это, место, занимаемое Боборыкиным в истории нашей литературы,—весьма скромно,—и это всецело объясняется свойствами его творческого дарования. С самого начала и до конца литературной деятельности Боборыкина произведения его встречали со стороны критики почти всегда единодушную оценку. Критики различных направлений и литературных вкусов одинаково указывали на скромность его дарования и на ряд характерных особенностей этого дарования, мешающих Боборыкину выдвинуться в первые ряды нашей литературы. Критики единодушно отмечали бледность авторского темперамента Боборыкина, отсутствие глубины в его творчестве, слабость его фантазии, протокольность его описаний, однообразие и бесцветность характеров, выводимых им в своих произведениях. На ряду с этим критики указывали, как на одну из особенностей творчества Боборыкина, на его любовь к копированию действительности в погоне уловить и отразить в своих произведениях все новые явления, проявляющиеся в этой действительности.

Подчас это свойство таланта Боборыкина проявлялось в весьма уродливых формах. Творческое воссоздание окружающего заменялось в его произведениях фотографированием действительности. Критика указывала, что талант Боборыкина, как пластинка фотографа, схватывает без исключения все, что попадает в поле его зрения, а это ведет к тому, что в его произведениях нет четкой грани между характерными чертами в изображаемых им событиях и людях и нехарактерными, важными и неважными, существенными и случайными.

Эта фотографичность и протокольность, весьма вредные для художественного творчества, менее опасны для того вида этого творчества, которое мы обозначаем художественными мемуарами. Здесь во многих отношениях точность и фотографичность воспроизведения действительности могут быть признаны не недостатком, а достоинством художника. Здесь отсутствие или недостаток фантазии становятся ценным свойством автора. Основное требование, которое мы предъявляем к мемуаристу,—это возможно полное соответствие с действительностью изображаемых им фактов. С этой

стороны у Боборыкина было много данных для того, чтобы дать читателям действительно ценные и сохраняющие надолго значение произведения.

Боборыкин любил писать воспоминания. Многократно брался он за перо для того, чтобы дать читателям изображение тех событий, которые разыгрывались на его глазах, и портреты тех людей, с которыми ему пришлось встретиться на своем долгом жизненном пути. Не ограничиваясь такими мемуарными фрагментами, он задумал большое произведение, долженствовавшее познакомить читателей с виденным и слышанным им «за полвека» его сознательной жизни. Если бы этот грандиозный труд был благополучно доведен автором до конца, он мог бы представить действительно выдающийся интерес, ибо автору, начавшему свою сознательную жизнь в эпоху того «общественного пробуждения», которым характеризуются шестидесятые годы прошлого века, и дожившему, — хотя и вдалеке от родины, — до переживаемой нами великой революции, — такому автору есть о чем рассказать читателям. Однако основной мемуарный труд Боборыкина, его воспоминания «За полвека», остался далеко не доведенным до конца. Написанные автором и опубликованные им части этого труда охватывают приблизительно лишь первые десять лет того пятидесятилетия, рассказать о котором намеревался Боборыкин.

Однако и в таком незаконченном виде воспоминания Боборыкина представляют значительный интерес как по эпохе, которую он описывает, так и по разнообразию и внутреннему интересу лиц, проходящих перед читателем в его воспоминаниях. Вот почему мы полагаем, что собрать и соединить отдельные главы из воспоминаний Боборыкина, печатавшиеся в разное время и на страницах различных журналов, и тем самым сделать эти воспоминания более доступными для читателей будет далеко не бесполезно. Не бесполезным будет сделать и одну оговорку, которую необходимо иметь в виду при чтении мемуаров Боборыкина. Как ни фотографично и ни протокольно его творчество, на нем не могут не проявляться симпатии и антипатии автора. Как все люди, Боборыкин — человек определенной эпохи и определенного общественного класса, — и это не может не отражаться на его произведениях, в том числе и на мемуарных. В воспоминаниях Боборыкина имеются и бессознательное искажение исторической картины и сознательное затушевывание некоторых моментов, неприятных в том или ином отношении для автора мемуаров.

Когда выходец из рядов обеспеченного дворянства Боборыкин в розовых красках описывает нам положение крепостных крестьян накануне «воли», мы готовы допустить, что это искажение исторической действительности не есть сознательная и преднамеренная ложь. Если мы учтем, что Боборыкин наблюдал в своей юности и описывает в своих воспоминаниях не все вообще русское дворянство и крестьянство той эпохи, а сравнительно небольшую часть этих классов, втянутую в товарный оборот и живущую в условиях хозяйственного строя, переходящего на капиталистические рельсы, — мы готовы допустить, что здесь ко времени, изображаемому автором, Салтычихи уже вывелись и что крестьян здесь истязали и поролы не каждый день, а лишь в виде исключения. Однако мы не забудем и того, что в те же годы во многих местностях России, менее затронутых промышленным «прогрессом», существовали совершенно иные отношения между рабовладельцами и рабами. В этом отношении мемуарам Боборыкина мы можем противопоставить ряд других свидетельств, — в том числе и мемуарных, — рисующих совершенно иные картины и изображающих совершенно

ной быт. Далее, мы не забудем и того, что, какие бы цивилизованные формы ни принимала власть помещиков, на крестьянах она лежала тяжелым, гнетущим бременем, сбросить которое было их заветной мечтой и главным желанием. К счастью, это видно и из воспоминаний самого Боборыкина. В этом отношении чрезвычайно характерен один факт, о котором Боборыкин говорит мимоходом. В главе III воспоминаний Боборыкин, упоминая о своем «фамулюсе» Михаиле Мемнонове, сопровождавшем барчука в Дерптский университет и поставленном в привилегированное положение по сравнению с рядовым представителем крепостной массы, рассказывает, как этот Мемнонов, несмотря на то, что его владелец обращался с ним, «как с приятелем», и делился всем, что сам получал, при первых слухах о близкой «воле» пророчески восклицал:

— Не умру крепостным! Будет воля—не сегодня, так завтра!

Хозяину Мемнонова при этом восклицании «делалось весело». Но он так и не понял глубокого смысла и значения этого восклицания.

Приведем другой пример, свидетельствующий о том, что автор воспоминаний не чужд стремления к сознательному затушевыванию неприятных для него моментов. Возьмем историю с напумевшим в свое время реакционно-обличительным романом Лескова «Некуда», появившимся в 1864 году на страницах редактируемой Боборыкиным «Библиотеки для Чтения» и вызвавшим ряд негодующих протестов в современной прессе. Боборыкин пытается если не снять совершенно, то хотя бы смягчить долю вины, падающей на него, как на редактора журнала, в котором был напечатан роман Лескова. Он не читал всего романа до появления его в печати, а был знаком лишь с началом его, не заключавшим в себе ничего одиозного; он не имел никаких оснований предполагать, что автор «Некуда» позволит себе какие-либо недопустимые выходы; цензура страшно придиралась к этому роману, и т. д. и т. д. Ко всем этим утверждениям приходится относиться с большим недоверием. Еще летом 1862 года Лесков скомпрометировал себя в глазах передовой части общества своим выступлением по поводу майских пожаров в Петербурге: в «Северной Пчеле» он напечатал статью, приглашавшую студенчество оправдаться от нелепого обвинения, возведенного на него обывательскими слухами, виновными «студентов» в поджогах. Казалось бы, что после этого инцидента редактор журнала, претендовавшего на служение прогрессивным идеям, должен был бы или совсем закрыть Лескову доступ на страницы своего журнала, или, по крайней мере, с исключительным вниманием относиться к каждой написанной им строчке. Боборыкин поступил иначе. При таких условиях те оправдания, которые он приводит в защиту себя в своих мемуарах, теряют в глазах читателя громадную долю убедительности.

Однако этого мало. Мы имеем некоторые указания на то, что появление романа Лескова в «Библиотеке для Чтения» было не столь случайным, как пытается изобразить Боборыкин. Дело не в одном Лескове, а в уклоне, какой начал еще до печатания романа Лескова принимать журнал Боборыкина. В своих мемуарах Боборыкин дважды упоминает о том, что ему удалось привлечь в свой журнал весьма популярного впоследствии педагога В. Острогорского. О том же, что Острогорский после непродолжительного сотрудничества в «Библиотеке для Чтения» (менее одного года) вынужден был порвать с этим журналом и прекратить свое сотрудничество, Боборыкин умалчивает. Между тем эпизод с уходом Острогорского, покинувшего журнал до появления в нем «Некуда», является

достаточно характерным и показательным. В своих воспоминаниях Острогорский, указав на то, что у «Библиотеки для Чтения» в начале редакторской деятельности Боборыкина были все шансы на успех, продолжает:

«Но вот вошли очень скоро в журнал разные личности сомнительной литературной репутации и неопределенных убеждений. П. Д. имел неосторожность приблизить их к себе и, если и не слушаться их, то по крайней мере слушать. Уже осенью (1863 года. Б. К.) стали по временам заходить в редакции речи об упадке эстетической критики, о слишком якобы резком тоне «Современника» и «Русского Слова», поговаривали даже и о том, что нужно было бы выступить походом против «очеркивателей», как называл кто-то у нас в редакции Н. В. Успенского и других авторов рассказов из народного быта, на который естественно обратила после освобождения крестьян внимание литература. Я спорил, возражал, горячился... и стал замечать, что ветер подул в другую сторону».

Вслед за этим Острогорский рассказывает о том, что составленная им по предложению редакции статья о Добролюбове, отмечавшая громадные заслуги покойного критика, встретила в декабре 1863 года такой ожесточенный отпор на редакционном собрании, что ему не осталось ничего, как только порвать с журналом. «Появление в журнале в будущем же 1864 году известного тенденциозно-обличительного и столь неуместного по времени романа Лескова «Некуда» как нельзя более ясно показало новое направление, принятое редакцией, с которым общего, конечно, ничего быть у меня не могло» *.

Рассказ Острогорского убеждает нас в том, как далеки от действительности уверения Боборыкина о случайном появлении «Некуда» на страницах «Библиотеки для Чтения», и показывает, насколько Боборыкин в своих мемуарах был не чужд сознательного искажения действительности, когда это по тем или иным основаниям представлялось ему необходимым.

Как мы упоминали, воспоминания Боборыкина «За полвека» разбросаны по разным журналам. Три первые главы появились в 1906 году в №№ 2, 5 и 11 «Русской Мысли». Четвертая и пятая главы печатались в №№ 4 и 11 «Минувших Годов» за 1908 год. Глава шестая была помещена в №№ 1, 2 и 3 «Русской Старины» за 1913 год, а седьмая (последняя из написанных Боборыкиным)—в №№ 2 и 3 «Голоса Минувшего» за тот же год. К этим семи главам мы присоединили статью «От Герцена до Толстого», опубликованную Боборыкиным в 1920 году в № 1 парижского журнала «Грядущая Россия». В этой статье имеются некоторые повторения того, что автор писал в своих «За полвека». В виду того, что эти повторения занимают немного места, а удаление их было бы весьма затруднительным, так как нарушало бы последовательность и цельность рассказа, мы сочли целесообразным оставить их.

Воспоминания Боборыкина воспроизводятся нами по их печатному тексту. Опечатки, попадавшиеся в значительном числе в печатном тексте воспоминаний Боборыкина, нами выправлены. Более же серьезные его ошибки оговорены в примечаниях. Воспоминания печатаются нами полностью за исключением одного незначительного отрывка, причины удаления которого выяснены нами в примечаниях.

Б. Козьмин

* Виктор Острогорский, Из истории моего учительства, изд. 2-е, СПб. 1914, стр. 156—158.

ЗА ПОЛВЕКА

(МОИ ВОСПОМИНАНИЯ)

«La vie apaise comme la mort, réconcilie avec ceux qui ne pensent pas ou qui ne sentent pas comme nous».

М. Г у у а н, «L'irreligion de l'avenir».

«Кто знает: сколько каждый живущий на земле оставляет семян, которым суждено взойти только после его смерти».

И в. Т у р г е н е в, «Фауст», Седьмое письмо.

ВСТУПЛЕНИЕ

Итоги писателя. — Опасность всяких мемуаров. — Два примера: Руссо и Шатобриан. — Главные две темы этих воспоминаний: 1) жизнь и творчество русских писателей; 2) судьбы нашей интеллигенции. — Тенденциозность и свобода оценок. — Другая половина моих итогов: книга «Столицы мира».

Пришел час оглянуться на всю или почти всю прожитую жизнь. Полвека и даже с придатком — срок достаточный. Он охватывает полосу уже вполне сознательной жизни, с того возраста, когда отрок готовится быть юношей.

Для меня — в годы моего первоначального ученья — это совпадало с переходом в пятый класс гимназии, то-есть к 1851 году. Через два года я был студент.

Я высиел уже тогда четыре года на гимназической «парте», я прочел к тому времени немало книг, заглядывал даже в «Космос» Гумбольдта, знал в подлиннике драмы Шиллера; наши поэты и прозаики, иностранные романисты и рассказчики привлекали меня давно. Я был накануне первого своего литературного опыта, представленного по классу русской словесности.

Писатель уже был в зародыше.

Записки мои будут итогами писателя по существу.

Под этим заглавием — «Итоги писателя» — я набросал уже в начале девяностых годов в Ницце и дополнил в прошлом году как бы род моей авторской исповеди. Я не назначал ее для печати; но двум-трем моим собратам, писавшим обо мне, давал читать ¹.

Эта чисто личная писательская исповедь появится в печати после меня.

Мемуары — предательское дело для самих авторов, да и для публики.

Для авторов — потому, что слишком велик соблазн говорить обо всем, что для читателей вовсе неинтересно, перетряхивать сотни житейских случаев, анекдотов, встреч, знакомств и впадать в смертный грех старчества.

Для публики—потому, что она так часто не находит того, чего законно ищет, и принуждена поглощать десятки и сотни страниц безвкусных воспоминаний, прежде чем выудить что-нибудь действительно ценное.

Мне кажется, так выходит всего чаще оттого, что составители записок не выбирают себе главной темы, то-есть того ядра, вокруг которого должен кристаллизоваться их рассказ.

Без такого «ядра» всякие воспоминания будут непременно рисковать перейти в беспорядочную болтовню.

Мемуары и сами-то по себе—слишком личная вещь. Когда их автор не боится говорить о себе беспощадную, даже циническую правду, да вдобавок он очень даровит,—может получиться такой «человеческий документ», как «Confessions» Ж.-Ж. Руссо. Но и в них сколько неизлечимой возни со своим «я», сколько усилий обелить себя, обвиняя других!

И такой талант, как Шатобриан в своих «Memoires d'outre tombe», грешил—и как!—той же постоянной возней со своим «я», придавая особенное значение множеству эпизодов своей жизни, в которых нет для читателей объективного интереса, после того как они уже достаточно ознакомились с личностью, складом ума, всей психикой автора этих «Замогильных записок».

На всемирную известность Руссо и Шатобриана никто из нас не будет претендовать. Я это говорю за тем только, чтобы подтвердить верность того, что я сейчас написал о необходимости «ядра».

В этих воспоминаниях «ядром» будет по преимуществу писательский мир и все, что с ним соприкасается, и вообще жизнь русской интеллигенции, насколько я к ней приглядывался и сам разделял ее судьбы.

Это спасет меня, я надеюсь, от излишних «оборотов на себя», как пишется на векселях. Гораздо больше речь пойдет о тех, с кем я встречался, чем о себе самом.

И всю-то русскую жизнь, через какую я проходил в течение полвека, я, главным образом, беру как материал, который просился бы на творческое воспроизведение. Она составит тот фон, на котором выступит все то, что наша литература, ее деятели, ее верные слуги и поборники черпали из нее.

Вопрос о том, насколько была тесна связь жизни с писательским делом,—для меня первенствующий. Была ли эта жизнь захвачена своевременно нашей беллетристикой и театром? В чем сказывались, на мой взгляд, те «опоздания», какие выходили между жизнью и писательским делом? И в чем можно видеть истинные заслуги русской

интеллигенции, вместе с ее чисто трагической судьбой и слабостями, недочетами, малодушием, изменами своему призванию?

Хуже всего—узкая тенденциозность, однотонный колорит мнений, чувств, оценок. Быть честным—не значит еще ходить вечно в шорах, рабски служа известному лозунгу, без той смелости, которую я всегда считал высшей добродетелью писателя.

И какая, спрошу я, будет сладость для публики: находить в воспоминаниях старого писателя все один и тот же «камертон», одно и то же окрашивание нравов, событий, людей и их произведений?

Этим, думается мне, грешат почти все воспоминания, за исключением уже самых безобидных, спитых из пестрых лоскутков, без плана, без ценного содержания.

То, что я предлагаю читателю здесь, почти исключительно русские воспоминания. Своих заграничных испытаний, впечатлений, встреч, отношений к тамошней интеллигенции за целых тридцать с лишком лет я в подробностях касаться не буду.

Тот отдел моей писательской жизни уже записан мною несколько лет назад, в зпму 1896—97 года, в целой книге «Столицы мира», где я подводил итоги всему, что пережил, видел, слышал и зазнал в Париже и Лондоне, с половины шестидесятых годов.

Там я сравнительно гораздо больше занимаюсь и характеристикой разных сторон французской и английской жизни, чем даже нашей в этих русских воспоминаниях. И самый план той книги—иной. Он имеет еще более объективный характер. Встречи мои и знакомства с выдающимися иностранцами (из которых все—известности, а многие и всесветные знаменитости) я отметил почти целиком, и галерея получилась обширная—до полутораста лиц.

Эта книга была тогда же приобретена покойным издателем «Нивы», но по разным причинам до сих пор не напечатана ².

Если читателю моих русских воспоминаний было бы интересно сопоставить оба отдела моей жизни, я, к сожалению, не могу еще удовлетворить его желание, но не по своей вине.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Нижегородская гимназия. — Решение своей дороги в четвертом классе. — Задатки писателя. — Наш дом. — Гуверниеры и дворовые, частные учителя. — Страсть к чтению. — Книжник-библиотекарь Меледин. — Как отражалась на нас николаевская эпоха. — Мои дяди. — Нижегородский театр. — Первая поездка в Москву на масленице 1853 года. — Тогдашние московские театры. — Щепкин в лучших своих созданиях. — Другие крупные силы в мужском и женском персонале. — Первая пьеса Островского на сцене. — Окончание курса. — Как мы относились к деревне и крестьянству. — Культурные элементы окружающей жизни. — Писатели, каких я знал по Нижнему. — Родной город и его природа. — Историческая старина Нижнего. — Первая поездка в Казань. — Холера. — Итоги воспитывавшей среды обучения перед поступлением в студенты.

Не помню, чтобы я при переходе из отрочества в юношеский возраст определенно мечтал уже быть писателем или «сочинителем», как тогда говорили все — и большие и мы, маленькие. И Пушкин употреблял это слово, и в прямом смысле, а не в одном том ироническом значении, какое придают ему теперь.

Но свою умственную дорогу нас заставили самих решить еще годом раньше, при переходе в четвертый класс гимназии, то-есть по четырнадцатому году.

Было это при министре просвещения Ширинском-Шихматове.

Когда мы к 1-му сентября собрались, после молебна, перед тем как расходиться по классам, нам, четверо классникам, объявил инспектор, чтобы мы, поговорив дома, с кем нужно, решили, как мы желаем учиться дальше: хотим ли продолжать учиться латинскому языку (нас ему учили с первого класса) для поступления в университет, или новому предмету — «законоведению», или же ни тому ни другому. «Законоведы» будут получать чин четырнадцатого класса; университетские — право поступить без экзамена, при высших баллах; а остальные — те останутся без латыни и знания русских законов и ничего не получают, зато будут гораздо меньше учиться.

Этого мало. От нас потребовали, даже от тех, кто пожелает продолжать латынь, обозначить еще, какой факультет мы выбираем.

Теперь это показалось бы невероятным; а так оно было и было в самый разгар «николаевского» режима, до Крымской войны, когда на нее еще не было и намека.

И по всей гимназии паделал шуму ответ гимназиста пятого класса С—на, который написал: «На первое отделение философского факультета», что, по-тогдашнему, значило: в историко-филологический факультет. Второе отделение было физико-математическое.

Я нарочно начинаю с гимназии.

Место учения, где вы просидели семь лет, дает если не всему, то многому основной тон.

В моем родном городе Нижнем (где я родился и жил безвыездно почти до окончания курса) и тогда уже было два средних заведения: гимназия (полуклассическая, как везде) и дворянский институт,—по курсу такая же гимназия, но с прибавкой некоторых предметов, которых у нас не читали. Институт превратился позднее в полуоткрытое заведение, но тогда он был еще интернатом, и в него принимали исключительно детей потомственных и личных дворян.

И форму «институтцы» носили не общую (красный воротник с серебряными пуговицами, по Казанскому округу), а свою—с золотыми пуговицами. Сюртуков у них не было, а только мундиры с фалдочками (как у гимназистов) и куртки.

Выбор гимназии состоялся не сразу. Меня хотели было отдавать в кадеты. Была речь и об Училище Правоведения. В институт не отдали, вероятно, для того, чтобы держать меня дома, а также и оттого, что гимназия дешевле.

Поверят ли мне, что во все семь лет учения годовая плата была пять рублей?! Ее вносили в полугодия, да и то бывали недоимщики. Вся гимназическая выучка, с правом поступить без экзамена в университет своего округа, обходилась в тридцать пять рублей!

Нельзя придумать более доступного, демократического заведения. Оно было им и по составу учеников, как везде. За исключением крепостных, принимали из всех податных сословий. Но дворяне и крупные чиновники не пренебрегали гимназией для детей своих, и в нашем классе очутилось больше трети барских детей, некоторые—из самых первых домов в городе. А рядом—дети купцов, мелких приказных, мещан и вольноотпущенных. Один из наших одноклассников оказался сыном бывшего дворового отца своего товарища. И они были, разумеется, на ты...

Наша гимназия была в роде той, какая описана у меня в первых двух книгах: «В путь-дорогу»³. Но когда я писал этот роман, я еще близко стоял ко времени моей юности. Краски наложены, быть может, гуще, чем бы я это сделал теперь. В общем верно, но полной объективности еще нет.

Если все сообразить и одно к другому прикинуть, то выйдет, что все было еще гораздо лучше, чем могло бы быть, и при этом—но забывать, какое тогда стояло время.

Начать с того, что мы мальчуганами по десятому году уже готовили себя к долголетнему учению и добровольно. Если б я упрашивал мать: «Готовьте меня в гусары», очень возможно, что меня отдали бы в кадеты. Но меня еще за год до поступления в первый класс учил по-латыни бывший приемыш-воспитанник моей тетки, кончивший курс в нашей же гимназии.

И я без всякого отвращения склонял *mensa* и спрягал *amo*, повторяя вслух: *amaturus, amatura, amaturum sim, sis, sit*, и когда поступил, то знал уже наизусть езоповскую басню о двух раках: «*Cancerum retrogradum monebat pater*»...

Некоторых из нас рано стали учить и новым языкам; но не это завлекало, не о светских успехах мечтали мы, а о том, что будем сначала гимназисты, а потом студенты. Да, мечтали! И это—великое дело! Студент рисовался нам, как высшая ступень для того, кто учится. Он и учится, и «большой». У него шпага и треугольная шляпа. Вот почему целая треть нашего класса решили сами, по четырнадцатому году, продолжать учиться по-латыни, без всякого давления от начальства и от родных.

Это факт характерный.

«Николаевщина» царилa в русском государстве и обществе, а вот у нас, мальчуганов, не было никакого пристрастия к военщине. Из всех нас (а в классе было до тридцати человек) только двое собирались в юнкера,—процент ничтожный, если взять в соображение, какое это было время.

Но дело в том, что общий гнет совсем не чувствовался нами так, как принято признавать до сих пор в русской публицистике.

Меня дома держали строже, чем кого-либо из моих одноклассников; но эта строгость была больше внешняя, да и то по известным только пунктам. Самый главный, от которого приходилось всего обиднее,—это надзор в виде гувернера, запрет ходить одному по улице, посещать своих товарищей без позволения. Но на таком «положении» был едва ли не я один во всем классе. Остальные, особенно дети мелких чиновников и разночинцев, пользовались большой свободой. Да и в гимназии

мы не знали настоящего гнета. Начальство, когда мы стали подрастать, то-есть директор и инспектор, не внушали нам страха. Мы над ними за глаза посмеивались. Секли в нашей гимназии только до четвертого класса. Да и большинство никогда не проходило через эти экзекуции. Учили нас плохо, духовное влияние учителей было малое. В этом картина классной жизни в романе «В путь-дорогу» достаточно верна. Но нас не задерживали, не муштровали, у нас было много досуга—и во время самых классов—читать и заниматься чем угодно. Много неучебных книжек, журналов и романов прочитывалось на уроках. И первые по счету (мы сидели по успехам) ученики всего больше уклонялись от классной дисциплины. Уроки они знали хорошо. Сидеть и слушать, как отвечают другие,—скука. Они читали или писали переводы и упражнения для приятелей.

Мой товарищ по гимназии, впоследствии заслуженный профессор Петербургского университета В. А. Лебедев, поступил к нам в четвертый класс и прямо стал слушать законоведение. Но он был дома превосходно подготовлен отцом, доктором, по латинскому языку и мог даже говорить на нем. Он всегда делал нам переводы с русского в классы словесности или математики, иногда пескольким плохим латинистам за раз. И кончил он с золотой медалью.

Да и дома приготовление уроков брало каких-нибудь два часа. Тяжелых письменных работ мы не знали.

В результате—плохая школьная выучка, но охота к чтению и гораздо бо́льшая развитость, чем можно бы было предположить по тем временам.

Разносословный состав товарищей делал то, что мальчики не замыкались в кастовом чувстве, узнавали всякую жизнь, сходились с товарищами «простого звания».

Дурного я от этого не видал. Тех, кто был держан строго, в смысле барских запретов, жизнь в других слоях общества скорее привлекала, была чем-то в роде запретного плода. И когда, к шестому классу гимназии, меня стали держать с меньшей строгостью по части выходов из дому (хотя еще при мне и состоял гувернер), я сблизился с «простецами» и любил ходить к ним, вместе готовиться, гулять, говорить о прочитанных романах, которые мы поглощали в больших количествах, беря их на наши крошечные карманные деньги из платной библиотеки.

Беллетристика, переводная и своя, и сказалась в выборе сюжета того юмористического рассказа «Фрак», который я написал по переходе в шестой класс. Он был послан в округ (как тогда делалось с лучшими ученическими сочинениями), и профессор Булич написал

рецензию, где мне сильно досталось, а два очерка из деревенской жизни «Дурачок» и «Дурочка» ученика В. Е[шев]ского (брата покойного профессора Московского университета, которого я уже не застал в гимназии), сильно похвалил, находя в них достоинства во вкусе тогдашних повестей Григоровича.

Мы все изумлялись тому, как он мог написать такие два очерка, и даже заподозрили подлинность этого сочинительства. Беллетриста из него не вышло, а только чиновник,—кажется, провиантского ведомства.

Рецензия профессора Булича привела меня в некоторое смущение и посбавила моей школьной славы. Хотя я и не мечтал еще тогда пойти со временем по чисто писательской дороге, однако, сколько помню, я собирался уже тайно послать мой рассказ в редакцию какого-то журнала, а может, и послал.

Учитель словесности уже не так верил в мои таланты. В следующем учебном году, я, не смущаясь, однако, приговором казанского профессора, написал нечто в роде продолжения походов моего героя, и в довольно обширных размерах. Местом действия был опять Петербург, куда я не попадал до 1855 года. Все это было сочинено по разным повестям и очеркам, читанным в журналах, гораздо больше, чем по каким-нибудь устным рассказам о столичной жизни.

Читал я эту эпопею вслух в классе, по мере того как писал. Все слушали с интересом, в том числе и учитель.

Репутация «бойкого пера» утвердилась за мною. Но в округ наших сочинений уже не посылали. Не было, когда мы кончали, и тех «литературных бесед», какие происходили прежде. Одну из таких бесед я описал в моем романе, с известной долей вымысла по лицам и подробностям.

На этих «беседах» происходили настоящие прения, и оппонентами являлись ученики. В моей памяти удержалась в особенности одна такая беседа, где сочинение ученика седьмого класса читал сам учитель, а автор стоял около кафедры.

На меня же в двух последних классах возлагалась почти исключительно обязанность читать вслух отрывки из поэтических произведений и даже прозу, например из «Мертвых душ». Всего чаще читались стихотворения и главы из поэм Лермонтова.

Выходит, стало быть, что две главных словесных склонности: художественное письмо и выразительное чтение,—предмет интереса всей моей писательской жизни,—уже были намечены до наступления юношеского возраста, то-есть до поступления в университет.

Всего более отзывалось николаевским временем тогдашнее начальство: директор и инспектор. Они оставались все те же за все время учения. Не то, чтобы они были бездарны и неумелы. Директор был из учителей словесности, и Ф. И. Буслаев с сочувствием говорит о нем в своих воспоминаниях о Пензенской гимназии, где учился. Тогда этот самый «Янсон Петрович» выдавался, как способный преподаватель, сумевший возбуждать в учениках любовь к словесности. А у нас он превратился в алкоголика и пугало, никогда не бывал в классах и только на экзаменах желал выказывать свои познания в латинском языке и риторике. То, что приведено в моем романе о его способе экзаменовывать по стихосложению, не выдуманно.

Инспектор был из наших же учителей, духовного звания, как и директор; учил нас в первых двух классах латыни очень умело, хоть и по-семинарски; но, попав в инспекторы, сделался для нас «притчей во языцех», смешной фигурой полицейского, с наслаждением ловившего мальчуганов, возглашая при этом: «Стань столбом!» или «Дик видом».

Не то, что уже обаяния, высшего руководства, но даже простого признания их формального авторитета они в наших глазах не имели. Но, как я говорю выше, в общем весь этот школьный режим не развращал нас и не задерживал настолько, чтобы мы делали, как недавно, забитыми гимназической «муштрой».

Доказательство того, что у нас было много времени,—это запойное поглощение беллетристики и журнальных статей в тогдашней библиотеке для чтения, куда мы несли все наши деньжонки. Абонироваться было высшим пределом мечтаний, и я мог достичь этого благополучия только в шестом классе; а раньше содержатель библиотеки, старик Меледин, из балахнинских мещан, давал нам кое-какие книжки даром.

Это была типичнейшая фигура. Из малограмотных мещан уездного города он сделался настоящим просветителем Нижнего; имел на родине лавчонку, потом завел библиотеку и кончил свою жизнь заведующим городской публичной библиотекой, которая разрослась из его книгохранилища.

Он говорил на «он» и делал такие ударения: «Двадцать лет спúетя», а не «спустя́», называя заглавие романа Дюма-отца «Vingt ans après». Всякую книгу он знал и прочел, конечно, две трети томов своей библиотеки, тогда исключительно русской. С нами, подростками, он держал себя строговато и добродушно вместе, и втянуть его в разговор было нетрудно. Мы его выспрашивали насчет сюжета книжки или содержания статьи, и он умел возбуждать наш интерес, как никто.

И впоследствии, в бесплатной городской библиотеке, он сам давал читателю то, что ему «нужно», видя каждого посетителя насквозь.

В такой «библиотеке для чтения» стоял воздух того, что теперь зовется «интеллигенцией», воздух если не научной, то словесной любознательности, склонной к произведениям изящного слова и критической мысли. Разумеется, мы бросались больше на романы. Но и в этой области, рядом с Сю и Дюма, читали Вальтера-Скотта, Купера, Диккенса, Теккерея, Бульвера и, поменьше, Бальзака. Не по-французски, а по-русски прочел я подростком «Отец Горно» ⁴ («Le père Goriot»). а когда мы кончали, герои Диккенса и Теккерея сделались нам близки и по разговорам старших, какие слышал я всегда и дома, где тетка моя и ее муж зачитывались английскими романистами, Жорж-Зандом и Бальзаком, и почти исключительно в русских переводах.

Наших беллетристов мы успели поглотить если не всех, то многих, включая и старых повествователей, и самых тогда новых, от Нарезного и Полевого до Соллогуба, Гребенки, Буткова, Зинаиды Р—вой, Юрьевой (мать А. Ф. Кони), Вонярярского, Вельтмана, графини Ростопчиной, Авдеева, тогда «путейского» офицера на службе в Нижнем.

«Евгений Онегин», «Капитанская дочка», «Повести Белкина», «Арабески» Гоголя, «Мертвые души» и «Герой нашего времени» стояли над этим. Тургенева мы уже знали; но Писемский, Гончаров и Григорович привлекали нас больше. Все это было до 1853 года включительно.

Самое ценное, что было в гимназии,—это идея открытого и всесловного заведения. Она была для каждого неглупого мальчика символом знания, умственной культуры, преддверием в университет.

Вместе со многими моими товарищами-дворянами, детьми местных помещиков и крупных чиновников, я был в полном смысле питомцем министерства «народного просвещения», за ученье которого заплатили те же тридцать пять рублей за семилетний курс, как и за сына какой-нибудь торговли на Нижнем базаре или мелкого портного.

Бытовая сторона жизни гимназиста для будущего писателя была бы еще богаче содержанием, если б меня не так строго держали дома, если б до шестнадцатилетнего возраста при мне не состояли гувернеры.

Об этих гувернерах я уже рассказывал в отдельных очерках. Они печатались когда-то в газете «Новости», лет около двадцати назад.

Как учителя, они были плохи. Не очень хороши и как воспитатели; но они нас не портили. А многое общекультурное пришло прямо через них. Немец, сын пастора в приволжской колонии, был

ограниченный малый, но добродушный и умел привязать к себе, влиял всем своим бытовым складом, развивал рассказами, возбуждая любознательность, давал чувствовать, что такое сохранять достоинство и в некрасной доле «немца». Француз, живший у нас около четырех лет,—лицо скорее комическое, с разными слабостями и чудачествами, был обломок великой эпохи, бывший военный врач в армии Наполеона, взятый в плен в 1812 году казаками около города Орши, потом «штаб-лекарь» русской службы, к старости опустившийся до заработка домашнего преподавателя.

От него чего я только не наслушался! Он видел «le petit caporal» целыми годами, служил в Италии еще при консульстве, любил итальянский язык, читал довольно много и всегда делился прочитанным, писал стихи и играл на флейточке. Знал порядочно и по-латыни и не без гордости показывал свою диссертацию на звание русского «штаб-лекаря» о холере: «De cholera morbo».

Это была старая Европа, Франция героической эпохи, не умиравший до смерти интерес к умственным и художественным впечатлениям. А то, чего он не мог мне дать как преподаватель,—то доделал другой француз—А. И. де-Венси (de Vincy), тоже обломок великой эпохи, но с прекрасным образованием,—бывший артиллерийский офицер времён Реставрации, воспитанник Политехнической школы, застрелянный в русской провинции, где сделался учителем и умер, нажив три дома. Ему я обязан очень большою словесною муштрою, вплоть до выхода из гимназии, на тех уроках, которые ходил брать у него на дому. Так, насколько я потом наблюдал, уже не учили и самые патентованные педагоги. О простых гимназических учителях и говорить нечего.

Уроки дома—языков, музыки, учителя и репетиторы, вплоть до семинаристов, делали ученье разнообразным и позволяли завязывать приятельские отношения со всем этим народом, не исключая и семинаристов, являвшихся ко мне зимой в тулупах, покрытых нанкой.

И все это шло как-то само собой в доме, где я рос один, без особенного вмешательства родных и даже гувернеров. Факт тот, что если физическая сторона организма мало развивалась,—но далеко не у всех моих товарищей,—то голова работала. В сущности целый день она была в работе. До двух с половиною часов—гимназия, потом—частные учителя, потом—готовиться к завтрашнему дню, а вечером—чтение, рисование или музыка, кроме послеобеденных уроков.

Такой режим совсем не говорил о временах запрета, лежавшего на умственной жизни. Напротив! Да и разговоры, к которым я прислушивался у больших, вовсе не запугивали и не отталкивали своим

тоном и содержанием. Много я из них узнал положительно интересного. И у всех, кто был поумнее, и в мужчинах, и в женщинах, я видел большой интерес к чтению. Формальный запрет, лежавший, например, на журналах «Отечественные Записки» и «Современник» у нас в гимназии, не мешал нам читать на стороне и тот и другой журналы.

И, кроме старших из своего сословия и круга, учителей и гувернеров, развивали нас и дворовые.

Это вовсе не парадокс и не выдумка.

В тех газетных очерках, о которых я сейчас упомянул, я говорю о дворовых—моих друзьях, от которых я многому научился, и вовсе не в дурном смысле.

Типичнейшая личность старой девицы Лизаветы (вольнотпущенной моей прабабки с материнской стороны) вошла и в мой первый роман. И эта «Лизавета Андреевна» стояла целой энциклопедии. Она жила на покое и запойно читала. Нет ни малейшего преувеличения в том, что я сообщал в тех очерках о ее изумительной памяти и любознательности во всем, что—история, политика, наполеоновская эпоха, война 1812 года. Она знала наизусть имена маршалов Наполеона, даже таких, о которых у нас выпускные гимназисты никогда не слыхали, имена и возраст членов всех царствующих домов. Она читала решительно все, что могла достать: газеты, журналы, романы, многотомные сочинения, всю историю Карамзина и описания таких обширных путешествий, как кругосветное плавание Дюмон-Дюрвиля. Любимые ее темы были исторические личности: Наполеон, Иван Грозный, Карл XII, Петр Великий, Екатерина Вторая, король Густав-Адольф.

Спрашивается: каким образом могло бы сложиться бытовое лицо такой Лизаветы Андреевны, если б в том доме, где она родилась дворовой девчонкой, не было известного умственного воздуха?

Дворовые для меня, да и не для одного меня, были связующим звеном с деревней, с народом. Половину их, молодых, брали из деревни, остальные родились уже в дворне. И девицья, и приходя, и, главное, столярная и другие службы и в городе и в деревне были для меня предметом живого интереса. У меня заводилось приятельство и со старыми и с молодыми. От женского пола не видал я никакого порочного влияния даже и в те годы, когда из отрока вырастал в юношу.

Рассказы няньки, горничных, буфетчика, столяров, старого повара и подростков-поворот, псарей, музыкантов—все это обогащало знание быта, делало ближе к народу, забавляло или заставляло его жалеть или бояться за других.

«Музыкантская» потянула к скрипке, и первый мой учитель был выездной «Сашка», ездивший и «стреманным» у деда моего. К некоторым дворовым я привязывался. Садовник Павел и столяр Тимофей были моими первыми приятелями, когда мы летом переезжали в подгородную деревню Анкудиновку, описанную мною в романе под именем «Липки».

Это ежегодное житье в усадьбе, с мая до августа, дополняло то, что давали город и гимназия.

И тут я еще раз хочу подтвердить то, что уже высказывал в печати, вспоминая свое детство. «Мужик» совсем не представлялся нам как забитое, жалкое существо, ниже и несчастнее которого нет ничего. Напротив! Все рассказы дворовых, и прямо деревенских и родившихся в дворне, вертелись всегда на том, как привольно живет крестьянам, какие они бывают богатые и сколько разных приятностей и забав доставляет деревенская жизнь.

Мужицкой нищеты мы не видали. В нашей подгородной усадьбе крестьяне жили исправно: избы были новые и выстроенные по одному образцу; в каждом дворе по три лошади; бабы даже франтили, имея доход с продажи в город молока, ягод, грибов. Нищенство или голыдьбу в деревне мы даже с трудом могли себе представить. Из дальних округов приходили круглый год обозы с хлебом, с холстом, с яблоками, свинными тушами, живностью, грибами.

Все это были барские поборы; но сами крестьяне от этого не падали в наших глазах. Мы на них смотрели как на очень почетное сословие. Их говор, вся повадка, одежда, особенно женская,—все это нам нравилось. А некоторые личности из крестьянства внушали даже большое почтение. Это были те богатые мужики, которые ходили по оброку и занимались торговлей. Одного из них, старика-тряпичника, господу принимали почти как «особу» и говорили о нем, как об умнейшем человеке, с капиталом чуть не в сто тысяч на ассигнации ⁵. Он на волю не желал выходить, но сыновей «выкупил».

Подрастая, каждый из нас останавливался на праве помещика владеть душой и телом крепостных. Протестов против такого порядка вещей мы не слыхали от взрослых, а недовольство и мечты о «вольной» замечали всего больше среди дворовых. Но, повторяю, отношение к крестьянству, как к особому сословию, и к деревенской жизни вынесли мы отнюдь не презиравшее или унижительно-жалостливое, а почтительное и заинтересованное—в самом лучшем смысле.

Деревня была для нас символом приволья, свободы от срочных забот, простора, прогулок, картин крестьянской жизни, сельских работ, игр с ребятами, искания ягод, цветов, трав. И попутно весь быт выступал перед вами до самых его глубоких устоев, до легенд и поверий древне-языческого склада.

Рассказы дворовых были драгоценны по своему бытовому разнообразию. В такой губернии, как Нижегородская, живут всякие инородцы, а коренные великороссы принадлежат к различным полосам, на севере и на юге, по Волге, вплоть до дремучих тогда лесов Заволжья и черноземных местностей юго-восточных уездов и «медвежьих углов», где водились в мое детство знаменитые «медвежатники», ходившие один-на-один на зверя с рогатиной или плохим кремненным ружьишком.

Вотчинные права барина выступали и передо мною во всей их суровости. И в нашем доме на протяжении десяти лет, от раннего детства до выхода из гимназии, происходили случаи помещичьей карательной расправы. Троице дворовым «забрили лбы», один ходил с полгода в арестантской форме; помню и экзекуцию пса на конюшне. Все эти наказания были, с господской точки зрения, «за дело»; но бесправие наказуемых и бесконтрольность карающей власти вставали перед нами достаточно ясно и заставляли нас тайно страдать.

Наш дом во всем городе был едва ли не самый строгий. Но о возмутительных превышениях власти у нас или у других, еще менее — об истязаниях или мучительствах, не было, однако, и слухов за все время моего житья в Нижнем. Барского цинического разврата в городе тоже не водилось; а у нас не было и подобия какой-либо барской грязи. Между дворовыми некоторые тайно попивали, были любовные связи, без законного штемпеля; но все это в гораздо меньшей степени, чем это было бы теперь. И за ними смотрели строго, и сами не подавали никакого соблазнительного примера.

По губернии водились очень крупные помещики, в роде С. В. Шереметева, но «извергов» не было, а опороченный всем дворянством князь Гр — ский неоднократно уличался в том, что принимал к себе беглых, которые у него в приволжском селе Д — ве в скором времени и богатели.

Все это я говорю затем, чтобы показать необходимость объективнее относиться к тогдашней жизни. С шестидесятых годов выработался один, как бы обязательный тон, когда говорят о николаевском времени, об эпохе крепостного права. Но ведь если так прямолинейно освещать минувшие периоды культурного развития, то всю греко-римскую цивилизацию надо похерить потому только, что она держалась за рабство.

Здесь, в этих воспоминаниях, я подвожу итоги всему тому, что могло развивать отрока и юношу, родившегося и воспитанного в среде тогдашнего привилегированного сословия и в условиях тогдашнего государственного строя.

Крепостников из нас не вышло, по крайней мере очень многих из нас; прямо развращающих влияний не вынесли мы ни из гимназии, ни из домашней обстановки, даже не приобрели замашек тщеславия и суетности более, чем бы это случилось в настоящее время. Все, что тогда было поживее умом и попорядочнее, мужчины и женщины, по-своему шло вперед, читало, интересовалось и событиями на Западе и всякими выдающимися фактами внутренней жизни, подчинялось, правда, общему гнету сверху, но не всегда мирилось с ним, сочувствовало тем, кто «пострадал», значительное было подготовлено к тому движению, которое началось после Крымской войны, то-есть всего три года после того, как мы вышли из гимназии и превратились в студентов.

На что уж наш дом был старинный и строгий: дед—генерал из «гатчинцев», бабушка—старого закала барыня, воспитанная еще в конце XVIII века. И в таком-то семействе вырос младший мой дядя Н. П. Григорьев, отданный в Пажеский корпус по лично выраженному желанию Николая и очутившийся в 1849 году замешанным в деле Петрашевского, сосланный на каторгу, где нажил медленную душевную болезнь.

Вот вам барчонок, прошедший обычную выучку сословно-военную, а гвардейским офицером он сближается с кружком тогдашних социальных мечтателей (вероятно, через знакомство с А. Н. Плещеевым), пишет какую-то «Солдатскую беседу» и приговаривается сначала к смертной казни ⁶.

Этот дядя, когда наезжал к нам в отпуск, был всегда очень ласков со мною, давал мне читать книжки, рассказывал про Петербург, про театры, про разные местности России, где стоял, когда служил еще в армейской кавалерии. Разумеется, своих протестующих идей он не развивал перед гимназистиком по двенадцатому году; но в нем, питомце светско-придворного корпуса, не было никакой военщины—ни в тоне, ни в манерах, ни в нравах.

Да и старший мой дядя,—его брат, живший всегда при родителях, хоть и опустился впоследствии в провинциальной жизни, но для меня был источником неистощимых рассказов о московском университетском пансионе, где он кончил курс, о писателях и профессорах того времени, об актерах казенных театров, о всем, что он прочел. Он был юморист и хороший актер-любитель, и в нем никогда не замирала

связь со всем, что в тогдашнем обществе, начиная с двадцатых годов, было самого развитого, даровитого и культурного.

И тут уместен вопрос: воспользовалась ли наша беллетристика во всем, чем могла, в русской жизни сороковых и половины пятидесятих годов?

Смело говорю: нет, не воспользовалась. Если тогда силен был цензурный гнет, то ведь многие стороны жизни людей, их психия, характерные стороны быта, можно было изображать и не в одном обличительном духе. Разве «Евгений Онегин» не драгоценный документ, помимо своей художественной прелести? Он полон бытовых черт среднедворянской жизни, с двадцатых по тридцатые годы. Даже и такая беспощадная комедия, как «Горе от ума», могла быть написана тогда и даже напечатана (хотя и с пропусками) в николаевское время ⁷.

«Семейная хроника» Аксакова—доказательный пример того, как беллетристика могла бы воспроизводить и тогдашнюю жизнь. Можно было расширить рамки и занести в летопись русского общества огромный материал и вне тех сюжетов, которые подлежали запрету.

Каким образом, спрошу я, могли народиться те носители новых идей и стремлений, какие изображались Герценом, Тургеневым и их сверстниками в сороковых годах, если бы во всем тогдашнем культурном слое уже не имелось налицо элементов такого движения? Русская передовая беллетристика торопилась выбирать таких носителей идей; но она упускала из виду многое, что уже давно сложилось в характерные стороны тогдашней жизни, весьма и весьма достойные творческого воспроизведения.

То, что Тургенев и Григорович сделали для знакомства с миром мужика, с его душой и бытом, то весьма и весьма возможно было и для среднего барско-чиновничьего мира, где вырабатывалась вся дальнейшая русская культура.

Без всякой предвзятости, не мудрствуя лукаво, без ложной идеализации и преувеличений, беллетристика могла черпать из жизни каждого губернского города и каждой усадьбы еще многое и многое, что осталось бы достоянием нашей художественной литературы.

Каюсь, и в романе «В путь-дорогу» губернский город начала пятидесятих годов все-таки трактован с некоторым обличительным оттенком, но разве то, что я связал с отрочеством и юностью героя, не говорит уже о множестве задатков, без которых взрыв нашей «*Sturm-und Drang-Periode*» ⁸ был бы немислим в такой короткий срок?

Перед поступлением в студенты те из нас, кто был поразвитее и поспособнее, уже вобрали в себя много всяких поощрений к дальнейшему развитию.

Это несомненно. Мы подросли в уважении к идее университетской науки, приобрели склонность к чтению, уходили внутренним чувством и воображением в разные сферы и чужой и своей жизни, исторической и современной. В нас поощряли интерес к искусству, хотя бы и в форме «talents d'agrément», к рисованию, к музыке. Мы рано полюбили и театр.

Сценическое искусство в провинции, как известно,—прямой продукт помещичьего дилетантства на крепостной почве. Происхождение театра в Нижнем-Новгороде уже прямо барски-крепостное.

Князь Шаховской, местный помещик, завел первый публичный театр с платою, и после его смерти все актеры и актрисы очутились «вольными», но очень долго, до моих отроческих лет, ядро труппы состояло еще из бывших дворовых князя Шаховского. Одним из первых сюжетов труппы была Х. И. Таланова (по себе Стрелкова), которая умерла на казенной службе, артисткой московского Малого театра. Ее сестра, Ал. Ив. Стрелкова, стала провинциальной знаменитостью, играла и в столицах. Первый любовник Трусов был уже актером в платном театре из крепостных господ Ульяновых; из крепостных вышел и первый комик Соколов, позднее «полезность» московского Малого театра.

Старые господа еще продолжали называть актрис и актеров только по именам: «Минай», «Ханея» (Таланова), «Аннушка» (талантливая Вышеславцева), но в поколении наших родителей уже не было к ним никакого унижающего отношения. Всегда они говорили о них в добродушном тоне, рассказывая нам про свои первые сценические впечатления, про те времена, когда главная актриса (при мне уже старуха) Пиунова (бабушка впоследствии известной актрисы) играла все трагические роли в белом канифасовом платье и в красном шерстяном платке, в виде мантии.

Нас рано стали возить в театр. Тогда все почти дома в городе были абонированы. В театре зимой сидели в шубах и салопках, дамы в капорах. Впечатления сцены в том, кому суждено быть писателем,—самые трепетные и сложные. Они влекут к тому, что впоследствии развернется перед тобою как бесконечная область творчества; они обогащают душу мальчика все новыми и новыми эмоциями. Для болезненно-нервных детей это вредно, но для более нормальных это—великое бродило развития.

Большой литературности мы там не приобрели, потому что репертуар конца сороковых и начала пятидесятых годов ею не отличался, но все-таки нам давали и «Отелло» в дюсисовой переделке⁹, и мольеровские комедии, и драмы Шиллера, и «Ревизора», и «Горе от ума»,

с преобладанием, конечно, французских мелодрам и пьес Полевого и Букольника.

Но мелодрама для детей и народной массы,—безусловно развивающее и бодрящее зрелище. Она вызывает всегда благородные порывы сердца, заставляя плакать хорошими слезами, страдать и бояться за то, что достойно сострадания и симпатии. И тогдашний водевиль, добродушно веселый, часто с недурными куплетами, поддерживал живое, жизнерадостное настроение гораздо больше, чем теперешнее скабрзное шутовство, или пессимистические измышления, на которые также возят детей.

Беря в общем, тогдашний губернский город был далеко не лишен культурных элементов. Кроме театра, был интерес и к музыке, и местный барин Улыбышев, автор известной французской книги о Мопарте, много сделал для поднятия уровня музыкальности, и в его доме нашел оценку и всякого рода поддержку и талант моего товарища по гимназии, Балакирева.

Как бы я задним числом ни придирался к тогдашней жизни в период моего гимназического ученья (1846—1853 гг.), я бы никак не мог поставить ее в такой мрачный свет, как сделал, например, М. Е. Салтыков в своем «Пошехонье». Он описывает эпоху, близкую по годам к моему времени. Разница в десяток лет, не более. Правы дворянско-чиновничьего круга в тогдашнем Нижнем не были так жестоки. Крепостное право и весь строй казенной службы держались, правда, на узурпации и подкупе; но опять-таки не с таким повальным бездушием, тиранством и хищением для того города и даже губернии, где я вырос.

Правы семей, составлявших тогдашнее «общество», были, an und für sich, вовсе не грязнее нынешних. Распады брачных уз случались редко, в виде «разъезда»; о разводах я не помню, но наверное они были все наперечет; зверств и истязаний не водилось, по крайней мере в городе. Наш дом считался старозаветным, и дворовых одевали и кормили в нем скупее, чем у других; но и в нем я не помню никакого возмутительного «сквалыжничества», а еще менее каких-нибудь жестокостей, особенно в поколении моих дядей, моей матери и тетки. Никогда я не видал, чтобы они кого-нибудь ударили из своей прислуги.

Общество не было и исключительно сословным. В него проникали все: чиновники, учителя гимназии, архитекторы, образованные или только полированные купцы. Дворян с видным положением в городе, женатых на купчихах, почти что не было, что показывало также, что за одним приданым не гонялись, хотя в городе и тогда было немало богатых купцов, водились и миллионеры.

Нравственность надо различать. Есть известные виды социального зла, которые вошли в учреждения страны или сделались закоренелыми привычками и традициями. Такая безнравственность все равно, что рабство древних, которое такой возвышенный мыслитель, как Платон, возводил, однако, в краеугольный камень общественного здания.

Тогдашний режим поддерживал, конечно, низкую социальную нравственность; но в том, что составляло семейную мораль и мораль общежития, я, если не кривить душой, не помню ничего глубоко испорченного, цинического или бездушного. Надо даже удивляться, что при тогдашних законных жестокостях—«торговой казни»¹⁰, плетях и кнутах, шпирютах и так далее, сохранилось много доброго и прямо честного. А эти жестокости суда и расправы возмущали лучших людей и среди старших и нас, юнцов, не менее, чем бы это было и теперь. Все мои сверстники подтвердят то, что тогда «никколаевщина» если и страшила, то настолько же вызывала и глухое недовольство. Тогда каждый политический ссыльный, всякий «штрафной», попавший на подневольное житье в провинцию, был предметом безусловного сочувствия всех порядочных людей.

Спрашиваю еще раз: как бы это могло быть, если бы в тогдашнем обществе уже не назревали высшие душевные запросы? И назревали они с двадцатых годов.

О «декабристах» я мальчиком слышал рассказы старших всегда в одном и том же сочувственном тоне. Любое рукописное стихотворение, любой запретный листок, статья или письмо переписывались и заучивались наизусть.

Заметьте, что я лично лишен был, сравнительно с товарищами, свободы знакомств и выходов из дому до седьмого класса, но все-таки был «в курсе» всего, чем тогда жило общество.

Благодарны должны мы быть и за то, что из нас не сделали ханжей, лицемеров или искренних мистиков,—это все равно. Время было строгое, но больше формально. Ни дома, ни в гимназии нас не подавляли требованиями обязательного благочестия. «Батюшка» учил нас закону божью, а дома соблюдались предания: ездили к обедне, говели, разговлялись—все это истово, но без всякого излишества, и религиозное чувство поддерживалось простое, здоровое и, в юных летах, не лишенное отрадных настроений в известные праздники, в говенье, на Пасху, в Троицу.

Мы опять-таки сливались в этом с народом, с дворовыми и крестьянами. Разница была только в том, что нас учили, что мы знали молитвы и катехизис и освобождались от многих суеверных страхов.

Никакой нетерпимости не прививали. Никогда не было кругом разговоров в злобном или пренебрежительном духе о других религиях. Свобода совести в гимназии уважалась больше, чем теперь, потому что «инославные» ученики не бывали обязаны участвовать в православных молитвах и уходили от класса закона божия. Травли «жидов» и поляков—никакой. Евреи для нас были забытые кантонисты, насильно крещенные, или будочники, а поляки—«несчастный народ», и генерала Костюшку мы прямо считали героем. Очень рано я полюбил рассказы моего старшего дяди о расколе в Нижегородской губернии и переписывал его докладную записку, которую он составлял, как чиновник особых поручений.

Мы не сочувствовали тогдашним строгостям, и раскол с его скитами имел для нас что-то таинственное и, скорее, привлекательное.

Словом, в тех из нас, из кого мог выйти какой-нибудь прок, не было к выходу из гимназии никакой «николаевской» закваски.

Рано и звание писателя было окружено для меня особым обаянием.

Разумеется, в тогдашней провинции не могло быть много местных литераторов, да еще в простом, не университетском городе. Но целых три известности были по рождению или службе нижегородцы.

Во-первых,—П. И. Мельников-Печерский.

О нем я знал с самого раннего детства. Он был долго учителем нашей гимназии; но раньше моего поступления в нее перешел в чиновники по особым поручениям к губернатору и тогда начал свои «изучения» раскола в виде следствий и дознаний. Еще ребенком я слышал о нем, как о редакторе губернских ведомостей и составителе книжки о Нижегородской ярмарке.

Помню его уже позднее, в один из пренных дней, кажется, в именины моей бабушки, когда весь город приезжал ее поздравлять. Но у нас он не был постоянным гостем. И бабушка моя его не долюбливала, называла чуть не «кутейником» (хотя он не был из семинаристов), особенно после его женитьбы во второй раз на очень молоденькой своей ученице местного дворянского рода. Еще позднее, когда он наезжал в Нижний по статистике, уже как столичный чиновник, мы читали его первые талантливые рассказы в «Москвитянине»¹¹, под псевдонимом Печерского. В них, конечно, все искали живых лиц из знакомых, так же, как и в первом произведении другого нижегородца по службе, М. В. Авдеева. Этот ездил к нам всего чаще на половину моего старшего дяди, только что женившегося.

Авдеев служил «путейским» офицером. Тогда инженеры путей сообщения и «публичных зданий» получали военную выправку и носили довольно красный мундир с аксельбантом и каску с черным

волосыным султаном. В Нижнем читали нарасхват его повесть «Варенька», первую треть его трилогии «Тамарин». Все лица были «расписаны», начиная с самой героини. За это его не чурались в нижегородском «монде», везде принимали, считали очень умным и колким; но подсмеивались над его некрасивой наружностью, претензиями на сердечество и сочиняли на него стихи. Когда путейцам дали усы, это послужило поводом к стихотворному памфлету, который все распевали под фортепiano. И меня выучили этим стихам. И я пел:

Штабс-капитан у нас Авдеев:
Он счастье нашел в усах,
Огонь похитил прометеев
И разразился в острогах.

Когда усы путейцам дали,
То Нижний весь затрепетал.
Усы чем больше подрастали,
Авдеев больше всех пленял.

И так еще в нескольких строфах.

Но все это было добродушно, без злости. Того оттенка недоброжелательства, какой теперь зачастую чувствуется в обществе к писателю, тогда еще не появлялось. Напротив, всем было как будто лестно, что вот есть в обществе молодой человек, которого «печатают» в лучшем журнале.

«Варенька», а позднее весь «Тамарин» и тогда уже понимались как вещи в «жорж-зандовском» направлении. Тогда уже появились и в дворянском кругу и девушки и замужние женщины с налетом любовно-романтического настроения, поглощавшие и в подлиннике и в переводах «Индану», «Лелию», «Консуэлло», «Жака», «Мопра», «Лукрецию Флорпани»¹².

С этим путейцем-романистом мне тогда не случилось ни разу вступить в разговор. Я был для этого недостаточно боек (да он и не ездил к нам запросто, так), чтобы набраться смелости и заговорить с ним о его повести или вообще о литературе. В двух-трех более светских и бойких домах, чем наш, он, как я помню, считался приятелем, а на балах в собрании держал себя как светский кавалер, танцевал и славился островами и хорошим французским языком.

Третья и большая тогда известность, В. П. Даль, служил управляющим удельной конторой, уже после того, как составил себе имя под псевдонимом Казака Луганского.

Он почти нигде не бывал. Меня к нему повезли уже студентом. Но он и в нас, гимназистах, возбуждал сильное любопытство. Его считали

гордецом, большим «чудодеем», много сплетничали про него, как про начальника своего ведомства, про его семейную жизнь, воспитание детей и привычки. Он образовал кружок врачей и собирал их у себя на вечеринки, где, как тогда было слышно, говорили по-латыни. Много было толков и про шахматные партии вчетвером, которые у него разыгрывались по известным дням. То, что было поразвитее, и помимо его коллег-врачей, искало его знакомства; но светский круг нобавлялся его чудачеств и угрюмости.

Дядя (со стороны отца), который повез меня к нему уже казанским студентом на втором курсе, В. В. Боборыкин, был также писатель—по агрономии, автор книжки «Письма о земледелии к novice-хозяину».

По тому времени он представлял собою довольно редкое явление в дворянско-помещичьей среде. После бурной молодости гвардейского офицера, сосланного на Кавказ, он прошел через прожигание жизни за границей, где стал учиться и рациональному хозяйству, вперемежку с нервными заболеваниями. Женившись, он поселился в деревне, недалеко от Нижнего, и стал чем-то в роде Л. Н. Толстого—по проповеди опрощения и по опытам разных усовершенствований в домоводстве, по идеям сближения с народом и работе над его просвещением, по более гуманному отношению к своим крепостным.

Его долго считали «с винтиком», все, начиная с родных и приятелей. Правда, в нем была заметная доля странностей; но я и мальчиком понимал, что он стоит выше очень многих по своим умственным запросам, благородству стремлений, начитанности и природному красноречию. Меня обижал такой взгляд на него. В том, что он лично мне говорил или как разговаривал в гостиную при посторонних, я решительно не видал и не слышал ничего нелепого и дикого.

Такой Василий Васильевич был как бы предшественником помощика «Ясной Поляны», без его дарования, но с таким же неутомимым исканием правды.

Он кончил очень некрасной долей, растратив весь свой наследственный достаток. На его примере я тогда, еще отроком, по пятнадцатому году, понимал, что у нас трудненько жилось всем, кто шел по своему собственному пути, позволял себе ходить в полушубке вместо барской шубы и открывать у себя в деревне школу, когда никто еще детей не учил грамоте, и хлопотать о лишних заработках своих крестьян, выдумывая для них новые виды кустарного промысла.

То, что Ломброзо установил в душевной жизни масс под видом мизантропии, то-есть страха новизны, держалось еще в тогдашнем социальном обществе, да и теперь еще держит в своих когтях массу,

которая сторонится от смелых идей, требующих настоящей общественной ломки.

И вот судьбе угодно было, чтобы такой местный писатель с идеями, не совсем удобными для привилегированного сословия, оказался моим родным дядей.

Презжали Нижним и другие более крупные велпчины—и по тому времени, и для всех эпох развития русской литературы.

Пушкин, отправляясь в Болдино¹³ (в моем, Лукояновском уезде), жил в Нижнем, но это было еще до моего рождения. Дядя П. П. Григорьев любил передавать мне разговор Пушкина с тогдашней губернаторшей, Бутурлиной, мужем которой, Михайлом Петровичем, меня всегда дразнили и пугали, когда он приезжал к нам с визитом. А дразнили тем, что я был ребенком такой же «курносый», как и он.

Не могу подтвердить точность пересказа одной из шуточных тирад Пушкина; но разговор его с губернаторшей, в редакции дяди, остался у меня в памяти очень отчетливо.

Это было в холерный год.

— Что же вы делали в деревне, Александр Сергеевич?—спрашивала Бутурлина.—Скучали?

— Некогда было, Анна Петровна. Я даже говорил проповеди.

— Проповеди?

— Да, в церкви, с амвона. По случаю холеры. Увещевал их. «П холера послана вам, братцы, оттого, что вы оброка не платите, пьянствуете. А если вы будете продолжать так же, то вас будут сечь. Аминь!»

К Пушкину старшее поколение относилось так, как вся грамотная Россия стала смотреть на него после московского торжества открытия памятника и к столетию¹⁴. Конечно, менее литературно, но с высоким почтением и нежностью. Мы, когда подрастали, зачитывались Лермонтовым, и Пушкин—особенно антологический—уже мало на нас действовал. Спор между товарищами в моем романе более или менее «создан» мною, но в верных мотивах. И в нем тетка Телопнева—пушкинистка, а музыкант Горшков—лермонтист.

На поколении наших отцов можно бы было видеть (только мы тогда в это не вникали), как Пушкин воспитал во всех, кто его читал, поэтическое чувство и возбуждал потребность в утехах изящного творчества. Русская жизнь в «Онегине», в «Капитанской дочке», в «Борисе» впервые воспринимались как предмет эстетического любования, затрагивая самые коренные расовые и бытовые черты.

Другая тогдашняя знаменитость бывала не раз в Нижнем уже в мое время. Я его тогда сам не видал, но опять, по рассказам дяди,

знал про него много. Это был граф В. А. Соллогуб, с которым в Дерпте я так много водился,—и с ним и с его женой, графиней С. М., о чем речь будет позднее.

До пятидесятых годов имя Соллогуба было самым блестящим именем тогдашней беллетристики. Его знали и читали больше Тургенева. «Тарантас» был несомненным «событием» и получил широкую популярность. И повести (особенно «Аптекарьша») привлекали всех—и модных барынь, и деревенских барышень, и нас, подростков.

Соллогуб гостил, попадая в Нижний, у тогдашнего губернского предводителя Н. В. Шереметева, брата того сурового вотчинника, который послужил мне моделью одной из старобытовых фигур в моем романе «Земские силы», оставшемся недоконченным¹⁵.

Дядя передавал все анекдоты, стишки, экспромпты, остроты Соллогуба, в том числе такую, с довольно-таки циническим намеком.

Тогда в моде была «Семирамида» Россини, где часто действуют трубы и тромбоны. Соллогуб, прощаясь со своим хозяином, большим обжорой (тот и умер, объевшись мороженого), пожелал, чтобы ему «семирамидилось легко». И весь Нижний стал распевать его куплеты, где описывается такой «казус»: как он внезапно влюбился в невесту, зайдя случайно в церковь на светскую свадьбу. Дядя выучил меня этим куплетам, и мы распевали юмористические вирши автора «Тарантаса», где была такая строфа:

В церкви дамы, как печи,
Растопырили плечи,
А жених — *ma parole!* —
Как бубновый король.

Но в итоге тогдашняя литература и писатели, как писатели, а не как господа с известным положением в обществе, стояли очень высоко во мнении всех, кто не был уже совсем малограмотным обывателем.

Самым сильным зарядом художественных настроений перед поступлением в студенты была моя поездка в Москву, к масленице, зимой 1852—53 года.

Сестра моя—мы с ней были в разлуке больше восьми лет—выходила из Екатерининского института в Петербурге.

Братъ ее из института поехала туда тетка, старшая сестра моей матери.

Этого свидания я поджидал с радостным волнением. Но ни о какой поездке я не мечтал. До зимы 1852—53 года я жил безвыездно в Нижнем; только лето до августа проводил в подгородной усадьбе. Первая

моя поездка была в начале той же зимы в уездный город в гости, с теткой и ее воспитанницей, на два дня.

Мы были в детстве так неизбалованы по этой части, что и эта поездка стала маленьким событием. О посещении столицы я и не мечтал.

И вдруг неожиданно-негаданно перед масленицей дядя надумал ехать в Москву и брал меня с собою.

Я уже выезжал на балы в дворянское собрание и носил фрак, стыдился гимназического мундира, играл в большого. И вот предстояла поездка в Москву на всю масленицу, как молодому человеку, без ненавистной «красной говядины», как тогда называли алый воротник гимназистов.

Меня быстро снарядили. Даже расчетливый дедушка дал па поездку что-то в роде «беленькой»; позволение было добыто у гимназического начальства, и в пятницу на предмасленной неделе кибитка уносила нас по Московскому шоссе.

Самый путь—около четырехсот верст на перекладных—был большой радостью. Станции, тройки, уханье ямщика, еда в почтовых гостиницах, в Вязниках и Владимире, дорожные встречи и все возраставшее волнение по мере того, как мы близились к Москве.

Это не мешало спать в кибитке,—мы ехали без ночевки,—и во вторую ночь с меня спала шапка, и я станции две пролежал с непокрытой головой, что и сказало под конец моей московской Одиссеи.

Помню, как ранним утром, в полусвете серенького, сиверного денька въехала наша кибитка в Рогожскую. Дядя еще спал, когда я уже поглядывал по сторонам. Он всю дорогу поддерживал во мне взвинченное настроение. Лучшего спутника и желать было нельзя. Москву он прекрасно знал, там учился, и весь тогдашний дорожный быт был ему особенно хорошо знаком, так как он долго служил чиновником по особым поручениям у почт-инспектора и часто ездил ревизовать по разным трактам.

Москва на окраинах мало отличалась тогда от нашего Нижнего базара, то-есть приречной части нашего города. Тут все еще пахло купцом, обывателем. Обозы, калачные, множество питейных домов и трактиров с вывесками «Ресторация». Это название трактира теперь совсем вывелось в наших столицах, а в «Герое нашего времени» Печорин так называет еще тогдашнюю гостиницу с рестораном на Минеральных водах.

Но вот мы на Солянке.

— Тут много заложено имений у нашего брата!—указал мне дядя на здание Воспитательного дома, тогдашний общегосударственно-земельный банк ¹⁶.

На Солянке же воздымались и хоромы богача Шепелева, нижегородского помещика,—одного из последних фанатиков дилетантства, который сам пел в операх с труппой своего крепостного театра. Мой учитель, первая скрипка нашего театра, А—в, был также из вольноотпущенных этого самого Шепелева.

Ниже, на Мясницкой, дядя указал мне на барские же хоромы на дворе, за решеткой (где позднее были меблированные комнаты, а теперь весь он занят иностранными конторами)—гостеприимный дом братьев Н[илу]сов,—игроков, которые были «под конец» высланы за подозрительную игру с своими гостями. К ним ездили, как в клуб, и сотни тысяч помещичьих денег переходили из Опекунского совета прямо по соседству—в дом Н[илу]сов.

Мы спускались и поднимались, ныряя по ухабам. Тут я почувствовал впервые, что Москва, действительно, расположена на холмах, как Рим. Но до Красной площади златоверхая первопрестольная столица не отзывалась еще, даже на мой провинциальный взгляд юноши, нигде не бывавшего, чем-нибудь особенно столичным. Весь ее пошиб продолжал быть обывательско-купецким.

На Красной площади стены Кремля, Василий Блаженный, Спасские и Никольские ворота, главы соборов, памятник Минину—все это сейчас же иначе настраивало.

— А тут вот «яма»!—указал дядя на старинный дом у Воскресенских ворот.

Я уж знал, что «ямой» по-московски называли долговую тюрьму¹⁷.

Перед нами открылась площадь с выездом на Театральную площадь. Справа тянулось двухэтажное приземистое здание тогдашнего Московского трактира, или «Гурина заведения», как называли москвичи.

От дяди я уже слышал рассказы о том, как там кормят, а также и про Печкинскую кофейню¹⁸, куда я в тот приезд не попал, и не знаю, существовала ли она в своем первоначальном виде в ту зиму 1852—53 года.

Все на том же месте и с тем же фасадом на Тверскую и проезд стояла гостиница «Париж». Ее выбрал дядя, не любивший франтить ни в чем и, по-провинциальному, экономный, но не скупой.

Гостиница эта была средней руки и тогда, и мы очутились в высоком номере с перегородкой, где я сейчас же свалился на диван, чувствуя, что меня начинает уже «ломать» от двухчасовой езды без шапки по морозу, хотя и не трескучему.

Но мне не полагалось хворать. Я стремился в театр, и в первый же вечер с верхней галереи Большого театра смотрел тогдашнюю

«фурорную» (по теперешнему жаргону) пьесу Сухонина «Русская свадьба».

Тогда драматические спектакли шли постоянно—вперемежку—на обоих театрах. Балеты давались чаще опер, и никто из певцов меня не привлекал, кроме Бантышева в его прославленной роли Торопки гудочника в «Аскольдовой могиле» Верстовского, бывшего тогда директором.

«Русская свадьба» и тогда не восхитила меня. Мои литературные вкусы требовали уже иных художественных впечатлений: «Горе от ума», «Ревизор» и «Женитьба» готовили мне другие наслаждения.

Тогдашняя дирекция держалась очень хорошей традиции: давать на масленице, в пятнадцать спектаклей, лучшие наши пьесы старого репертуара и то, что шло самого ценного за зиму из новых вещей—драматических и балетных.

Для приезжих это было чистым кладом.

И вышло так, что заезжий гимназист, попав на масленицу в Москву, мог видеть Щепкина в трех его «коронных» ролях: Городничего, Кочкарева и Фамусова; Садовского—в Подколесине, Осипе и Большове («Не в свои сани не садись»), Сергея Васильева, Шумского, Степанова, Немчинова, Живокини, Васильеву, Косицкую, Сабурову, Акимову, Львову-Синецкую, Орлову.

Такого заряда хватило бы на несколько лет. И, конечно, в этом первоначальном захвате сценического творчества и по репертуару и по игре заложено было ядро той скрытой писательской тяги, которая вдруг в конце пятидесятих годов сказала в замысле комедии и толкнула меня на путь писателя.

И мог ли этот нижегородский гимназист мечтать, что в этом самом Малом театре, куда он попал на масленицу 1853 года, через восемь всего лет, в декабре 1861 года, он будет раскланиваться из министерской ложи публике на первом представлении «Однودворца», в бенефис Садовского, игравшего главную роль.

И с Островским, как писателем, я как следует познакомился только тогда в Большом театре, где видел в первый раз «Не в свои сани не садись». В Нижнем мы добывали те книжки «Москвитянина», где появлялся «Банкрут»; кажется, и читали эту комедию, но она в нас хорошенько не вошла; мы знали только, что ею зачитывалась вся Москва (а потом и Петербург) и что ее не позволяли давать на сцене¹⁹.

Никогда еще перед тем я не испытывал того особенного восхищения, какое дает общий лад игры, где перед вами сама жизнь. И это было в «Не в свои сани не садись» больше, чем в «Ревизоре» и в «Горе от ума», где например, Чацкий-Полтавцев казался мне

совсем непохожим на того героя, которого мы представляли себе. Да и те танцы, которые тогда очень нравились публике, отзывались чем-то слишком водевильным, скорее в угоду райку, чем более развитому зрителю.

Такого трио, как три купца в первом акте комедии Островского (первой по счету, попавшей на сцену), как Садовский (Большов), С. Васильев (Бородкин) и Степанов (Маломальский) больше уже не бывало. По крайней мере мне за все сорок с лишком лет не приводилось видеть. Старуха Сабурова (жена трактирщика) и Косицкая (Авдотья Максимовна) дышали бытовой правдой: первая—с прибавкой тонкого комизма, вторая—с чисто народным лиризмом.

Косицкая была моя землячка. Про нее я много слышал дома. Дядя знал ее еще крепостной помещиков Б—ных, в услужении у купчихи Д—новой, где ее заставляли петь при гостях. Потом она, как известно, попала статисткой в театр, где ее заметил Живокини и перетащил в Москву, и в два-три года она стала любимицей публики, полуграмотная, силой таланта и необычайной искренности. Ее заставляли много играть в трагедиях и в романтических драмах, где она оставалась все же «Любашей», нижегородской горничной с порывами чувства и прекрасным голосом. Видал я ее потом в таких вещах, как «Отец и дочь» Ободовского и «Гризельда и Персиваль», и глубоко сожалею о том, что она навек не осталась русской простой девушкой, Авдотьей Максимовной, которую Ваня Бородкин спасает от срама.

Трогательно было то, что Косицкая уже знаменитостью, когда приезжала в Нижний на гастроли, сохранила с нами тот же жаргон бывшей «девушки». Так, она не говорила: «публика» или «зрители», а «господа дворяне», разумея публику кресел и белья. У ней срывались фразы в роде:

— Много довольна приемом господ дворян!

И это было на склоне ее карьеры, в шестидесятых годах, когда я, приехав раз в Нижний зимой, уже писателем, видел ее, кажется, в этой самой «Гризельде» и пошел говорить с ней в уборную.

Конец ее был довольно печальный. В последний раз я с ней встретился в «кружке» ²⁰, в зиму 1866 года.

С Малым театром я не разрываю связи с той самой поры, но здесь я останавлиюсь на артистах и артистках, из которых иные уже не участвуют в моих дальнейших воспоминаниях, с тех пор, как я сделался драматическим писателем.

Прежде всего, конечно, Михаил Семенович Щепкин. Я видал его позднее всего только в двух пьесах: в «Свадьбе Кречинского» (роль Муромцева) и в пьесе, переделанной из комедии Ожье «Le gendre de

monsieur Poirier», под русским ее заглавием: «Тесть любит честь—зять любит взять».

Но в истории русского сценического искусства Михаил Семенович—творец двух лиц: Фамусова и Городничего, и—в меньшей степени—Кочкарева в «Женитьбе». Во всех трех этих «созданиях» я его видел тогда юношей, уже значительно подготовленным к высшим запросам от театра и игры актера.

Это была последняя полоса его игры, когда он, уже пожилым человеком, еще сохранял большую аристократическую энергию. Стучилось так, что я его в Нижнем не видал (и точно не знаю, ездил ли он к нам, когда меня уже возили в театр) и вряд ли даже видал его портреты. Тогда это было во сто раз труднее, чем теперь.

Вся его короткая, полная (но не очень толстая) фигура, круглое лицо с сильной гримировкой, особого рода подвижность, жесты рук, головы, мимика рта и глаз—все это отзывалось чем-то необычным. Голос был непохожий и на интонации тогдашних актеров из коренных москвичей. Полная простота тона и вкусная—если можно так определить—дикция, с легким стариковским оттенком артикуляции,—говорили о чем-то особенном. М. С. был и оставался «хохлом» более, чем великороссом. Мне рассказывал покойный Павел Васильев (уже в начале шестидесятых годов, в Петербурге), что когда он, учеником театральной школы, стоял за кулисы, близко к сцене, то ему явственно было слышно, что у Щепкина в знаменитом возгласе: «Дочь! Софья Павловна!» слышалось хохлацкое «хв», и он, хотя и не очень явственно, произносил: «Дочь! Сохвья Павловна!»

Поэтому-то он так хорош бывал в одной из своих характерных ролей в «Москале-чаривныке», а великорусских простонародных типов не создавал.

Фамусовым он был в меру и барин, и чиновник, и истый человек времени реставрации, когда он у своего барина достаточно наблюдался и послушался господ. Никто впоследствии не заменил его, не исключая и Самарина, которого я так и не видал в тот приезд ни в одной его роли.

Сквозник-Дмухановский точно нарочно создан был для Щепкина. Его произношение только помогало правде и типичности создания этой фигуры. Он его играл сангвиником, без всякого умничания, не уступая другу своему Гоголю в толковании этого лица, не придавая ему символического смысла, как желал того автор «Ревизора». И все в нем дышало комизмом. Он был глубоко забавен, но не мелко смешон. И выходило так от полнейшей художнической искренности исполнения. Комизм пробивался во всем: в дикции, в минах, в походке, в жестикуляции.

До сих пор я могу еще представить себе, как он сидит и читает письмо в первом акте, как дрожит перед пьяным Хлестаковым, как указывает квартальным на бумажку посредине гостинной, как насканивает на квартального с подавленным криком: «Не по чину берешь!»

Друг и единомышленник Гоголя сказывался и в том, как он произносил имя квартального Держиморды.

Щепкин выговаривал «Держиморда», а не «Держиморда», как произносят везде вне московского Малого театра, где щепкинская традиция, вероятно, до сих пор еще сохраняется.

Сангвинический пошиб во всем преобладал. Тогда «первый комический актер» (по номенклатуре Гоголя) действительно играл как высокий комик, а не как резонер, который по-своему мудрит и подгоняет лицо, выхваченное из жизни, под свои личные теории, соображения, вкусы и приемы игры.

В Кочкареве я—помню—не сразу признал его, когда на сцену ввалился кругленький господин в темнорусом парике, вицмундире и в белых брюках.

Сказать ли правду? Он показался мне мало похожим на петербургского «чинуша», шумного торопыгу, балагура и свата. Для этого он уже не был достаточно молод; его тон и повадка мало отзывались тем, что можно было представлять себе, читая «Женитьбу».

Люди генерации моего дяди видали его несколько раньше в этой роли и любили распространяться о том, как он заразительно и долго хохочет перед Жевакиным.

На меня этот смех не подействовал тогда так заразительно, и мне даже как бы неприятно было, что я не нашел в Кочкареве того самого Михаила Семеновича, который выступал в Городничем и Фамусове.

Года брали свое. К этому времени те ценители игры, которые восторгались тогдашними исполнителями нового поколения—Садовским и Васильевым, начинали уже «прохаживаться» над слезливостью Щепкина в серьезных ролях и вообще к его личности относились уже с разными оговорками, любили рассказывать анекдоты, невыгодные для него, папирая всего больше на его старческую чувствительность и хохлацкую двойственность. От одного из писателей кружка и приятелей Островского, Е. Н. Эдельсона (уже в шестидесятых годах), я слышал рассказ о том, как у Щепкина (позднее моей поездки в Москву) на сцене выпала искусственная челюсть, а также и про то, как он бывал несносен в своей старческой болтовне и слезливости.

У него с молодых лет была склонность, как у многих комиков, к чувствительным ролям, и одной из любимых его ролей в таком роде была роль в пьесе «Матрос», где он пел куплеты в патетическом

роде и сам плакал. Эту роль он играл всегда в провинции и в позднейший период своей сценической карьеры.

Такого именно, податливого на слезы, старика я нашел в нем в ту зиму, когда с ним лично познакомился на репетиции моей драмы «Ребенок», когда мы сидели в креслах рядом и смотрели на игру воспитанницы Позняковой, которую выпустил Самарин в моей пьесе, взятой им на свой бенефис.

Но и тогда (то-есть за каких-нибудь три года до смерти) его беседа была чрезвычайно приятная, с большой живостью и тонкостью наблюдательности. Говорил он складным, литературным языком и приятным тоном старика, сознающего, кто он, но без замашек знаменитости, постоянно думающей о своем гениальном даровании и значении в истории русской сцены.

Подробности этой встречи я описал в очерке, помещенном в одном сборнике, и повторять здесь не буду.

Для меня, юноши из провинции, воспитанного в барской среде, да и для всех москвичей и иногородних из сколько-нибудь образованных сфер Щепкин был национальной славой. Несмотря на сословно-чиновный уклад тогдашнего общества, на даровитых артистов, так же как и на известных писателей, смотрели вовсе не сверху вниз, а, напротив, снизу вверх.

Типическим ценителем того времени был мой дядя, тот, кто привез меня в Москву. По времени воспитания он восходил к двадцатым годам (родился в 1810 году), и от него-то я с раннего детства слышал о знаменитых актерах и актрисах, без малейшего оттенка барского пренебрежения,—не только о «Михаиле Семеновиче» (он так его всегда и звал), но о Мочалове, о Репиной, о молодом Самарине, Садовском, даже Немчинове и о петербургских корифеях: Каратыгине, Брянском, Мартынове, А. Максимове, Сосницком, чете Дюр, Асенковой, Гусевой, семействе Самойловых.

Мы уже гимназистами знали про то, что Щепкин водил дружбу с писателями: с Гоголем, с кружком Грановского и Белинского и с Герценом, которого мы много читали, разумеется, кроме того, что он начал уже печатать за границей, как эмигрант.

Для тогдашнего николаевского общества такое положение Щепкина было важным фактом, и фактом, вовсе не выходящим из ряда вон. Я на это напираю. Талант, личное достоинство ценились чрезвычайно всеми, кто сколько-нибудь выделялся над глухим и закорюзлым обывательским миром.

В моем лице,—в лице гимназиста из провинции, выросшего в старо-помещичьем мире,—это сказывалось безусловно. Я уже был

подготовлен всей ж п з н ь ю к тому, чтобы ценить таких людей, как Щепкин, и всякого писателя и артиста, из какого бы звания они ни вышли.

Сергея Васильева я только тогда и увидел в такой бытовой роли, как Бородин. Позднее, когда приезжал студентом домой, на ярмарочном театре привелось видеть его только в водевилях; а потом он ослеп, к тому времени, когда я начал ставить пьесы.

Бородин врезался мне в память на долгие годы и так восхищал меня обликом, тоном, мимикой и всей повадкой Васильева, что я в Дерпте, когда начал играть как любитель, создавал это лицо прямо по Васильеву. Это был единственный в своем роде бытовой актер, способный на самое разнообразное творчество лиц из всяких слоев общества: и комик и почти трагик, если верить тем, кто его видал в ямщике Михайле, из драмы А. Потехина «Чужое добро в прок не идет».

К нему привлекала также и блестящая, игривая веселость, какая бывает только у прекрасных французских комиков. Самая некрасивость его лица, голос немного в нос—все это превращалось в привлекательные особенности. По богатству мимики и комических интонаций он не уступал ни Садовскому, ни Живокини.

Кроме роли Бородина, Сергей Васильев выступал в ту памятную мне масленицу еще в одном типичнейшем своем сознании—почтмейстер Шпекин.

Роль—очень небольшая; но он действительно «создавал» нечто тонко юмористическое, без шаржа в гримировке, тоне, жестах. Это был немножко чопорный, но благодушно настроенный гоголевский чиновник, делающий себе из привычки вскрывать письма—постоянное умственное развлечение.

Надо было видеть выражение его лица, усмешку рта и глаз и слышать его интонацию, когда он рассказывает Городничему о том, как описывается торжество, где стоит знаменитая фраза—«штандарт скачет».

Только истинно артистическая натура способна была на подобное разнообразие в сценическом воспроизведении фигур, до такой степени не похожих одна на другую, как Шпекин и Ваня Бородин.

Впоследствии (как я заметил выше), приезжая из Казани и Дерпта на вакации, я видал Васильева на ярмарке в Нижнем и в Москве, но в водевилях.

Ранняя слепота свела его со сцены, и этот блистательно веселый комик кончал жизнь в глубокой печали заживо погребенного для сцены слепца.

Садовский и тогда уже считался «первой силой» труппы после Щепкина, а для его почитателей—не только рядом со Щепкиным,

но даже над ним. Если за Щепкиным значилась неувыдаемая слава: быть создателем Фамусова и Городничего, то Садовский уже и в зиму 1852—53 года появлялся в разнообразных созданиях—в Осипе, Подколесине, купце Большове. Гоголя он сочетал—и в таком разнообразном воспроизведении—с Островским, а типы Островского Щепкину не удавались позднее в такой же степени. И если взять два крупнейших лица из театра Гоголя: Городничего и Подколесина, то трудно было тогда и знатокам театра решить, кто стоял выше, как художник-исполнитель: Щепкин или Садовский?

Для нас, провинциалов, Садовский был еще что-то совсем новое, хотя он уже и состоял к тому времени в труппе Малого театра более десяти лет.

Но газеты занимались тогда театром совсем не так, как теперь. У нас дома, правда, получали «Московские Ведомости», но читал их дед, а нам в руки газеты почти не попадали. Только один дядя Павел Петрович много сообщал о столичных актерах, говаривал мне и о Садовском еще до нашей поездки в Москву. Он его видел раньше в роли офицера Анучкина в «Женитьбе». Тогда этот офицер назывался еще «Ходилкин»²¹.

От игры Садовского впервые испытал я впечатление чего-то могучего. Чувствовался кряж натуры, прирожденного богатейшего таланта. Все тут было свое, ниоткуда не заимствованное. Каждая интонация, всякий жест, взгляд, усмешка, поворот головы—говорили о бытовой почве.

И все это дышало необычайной простотой и легкостью выполнения. Ни малейшего усилия. Один взгляд, один звук—и зала смеется. Это у Садовского было в блистательном развитии и тогда уже в ролях Осипа и Подколесина. Такого героя «Женитьбы» никто позднее не создавал, за исключением, быть может, Мартынова. Я говорю: «быть может», потому что в Подколесине сам никогда его не видал.

Сохранилось все это у Садовского и даже достигло полной виртуозности и позднее, как, например, в роли Расплюева... Одно его появление и первый вздох уже настраивали всю залу на особый комический лад.

И тем разительнее выходил контраст между Подколесинным и Большовым. Такая бытовая фигура, уже без всякой комической примеси, появилась решительно в первый раз, и создание ее было делом совершенно нового понимания русского быта, новой полосы интереса к тому, что раньше не считалось достойным художественной наблюдательности.

А в области чистого комизма Садовский представлял собою полнейший контраст с комизмом такого, например, прирожденного «буфа»,

каков был давно уже тогда знаменитый любимец публики В. П. Живокини. В нем текла итальянская кровь. Он заразительно смешил; но на создание строго бытовых лиц не был способен, хотя впоследствии и сыграл немало всяких купеческих ролей в репертуаре Островского.

Случилось так, что я видел его только два раза и... в том числе в опере! Он играл труса и хвастуна Фрелафа в «Аскольдовой могиле». А в «Горе от ума» — Репетилова.

О нем я в восьмидесятых годах написал воспоминания в одном сборнике, после многолетнего личного знакомства и участия его в моем «Однودворце»²².

Его ближайший сверстник и товарищ по театральному училищу и службе на Малом театре, П. Г. Степанов, был создатель роли трактирщика Маломальского в том бесподобном трио, о котором я говорил выше.

В свое время он считался «второй силой», как нынче и официально выражаются, а стоял многих теперешних «первых сюжетов» и даже превосходил их.

Он с самых молодых лет отличался тем, что нынче называют «гримом», и вообще схватывал типичные черты в особенности пожилых лиц и стариков. Когда было разрешено давать только третий акт «Горя от ума», ему поручили роль князя Тугоуховского, в котором я его и увидел впервые, до представления «Не в свои сани не садись». Позднее, уже во второй половине шестидесятых годов, он сам мне рассказывал, как император Николай видел его в этой роли и вызвал потом играть ее в Петербург.

Другой его такой же типичной ролью из той же эпохи было лицо старого Фридриха II (в такой-то переводной пьесе), и он вспоминал, что один престарелый московский барин, выдавший короля в живых, восхищался тем, как Степанов схватил и физическое сходство и всю повадку великого «Фрица».

Ту же типичность и рельеф замысла и выполнения показывал он в гоголевском Яичнище. Эта роль оставалась одною из его «коронных» ролей.

В таких старых актерах было что-то особенно прочное, вescкое, значительное и жизненное, чего теперь не замечается даже и в самых даровитых исполнителях.

И по бытовому репертуару Степанов среди своих сверстников один и подошел по тону и говору. Задолго до создания лица Маломальского он уже знаменит был тем, как он играл загулявшего ямского старосту в водевиле «Ямщики».

С. В. Шумский к зиме 1852—53 года встал уже впереди, рядом с Васильевым и Самаринным; из водевильного актера очень скоро превратился в тонкого художника с разнообразным и гибким дарованием.

Я его видел тогда в трех ролях: Загорецкого, Хлестакова и Вихорева («Не в свои сани не садись»). Хлестаков выходил у него слишком «умно», как замечал кто-то в «Москвитянине» того времени. Игра была бойкая, приятная, но без той особой ноты в создании паявно-пустейшего хлыща, без которой Хлестаков не будет понятен. И этот оттенок впоследствии (спустя с лишком двадцать лет) гораздо более удавался М. П. Садовскому, который долго оставался нашим лучшим Хлестаковым.

Загорецкий являлся у Шумского высокохудожественной фигурой, без той несколько водевильной игривости, какую придавал ей П. А. Каратыгин в Петербурге. До сих пор, по прошествии с лишком полувека, движется предо мною эта суховатая фигура в золотых очках и старомодной прическе, с особой походочкой, с гримировкой плутоватого москвича двадцатых годов, вплоть до малейших деталей, обдуманых артистом, например, того, что у Загорецкого нет собственного лакея и он отдает свою шинель швейцару и одевается в сторонке.

Роль Вихорева, несложная по авторскому замыслу и тону выполнения, выходила у него с тем чувством меры, которая еще более помогала удивительному ансамблю этой, по времени первой на московской сцене, комедии создателя нашего бытового театра.

Шумского шестидесятих годов я лично знал уже как драматический писатель; но об этом в другом месте.

Трех женщин Малого театра, кроме Е. Васильевой *, помню я из этой поездки: старуху Сабурову, Кавалерову и только недавно умершую П. И. Орлову.

С Сабуровой (мать петербургской актрисы) ушли особенная своеобразие, прекрасная московская дикция, комизм без шаржа и значительность всего пошиба игры. Одинаково хороша она была и в московской старой барыне (из «Горе от ума») и в жене трактирщика Маломальского.

Кавалерова и тогда уже считалась старухой, не на одной сцене, а и в жизни; по виду и тону, в своих бытовых ролях свах и тому подобного люда напоминала наших дворовых и мещанок, какие хаживали к нашей дворне. Тон у ней был удивительно правдивый и типичный. Так теперь уже разучаются играть комические лица.

* Она была тогда еще девица Лаврова и выступала в Софье «Горь от ума».

Пропала наивность, непосредственность; гораздо больше подделки и условности, которые мешают художественной цельности лица.

П. И. Орлова держала тогда—уже на склоне карьеры—амплуа светских дам, отличалась представительностью и приятной дикцией. Через два года она уже попала в сестры милосердия, во время Севастопольской кампании.

Итак, театр всего больше захватил меня, и вообще Москва показала себя «столицей» всего больше в театральных залах. Ничего подобного провинция не могла дать. В особенности зала Большого театра и такие зрелища, как балеты, тогда увлекавшие москвичей, с такими балеринами, как Санковская и Ирка-Матьяс. Совсем столицей обдал меня и последний спектакль тогдашней казенной французской труппы, который обыкновенно давался в среду на масленой, после чего русская труппа овладевала уже театром до понедельника великого поста, и утром и вечером.

Меня взяла в ложу бельэтажа тетка со стороны отца, и я изображал собой молодого человека во фраке. Тут было все тогдашнее светское общество. В литерной ложе дочь генерал-губернатора, графиня Н[ессельро]де, тогдашняя львица, окруженная всегда мужчинами, держала себя совершенно по-домашнему, так же, как и ее кавалеры.

Труппа была весьма и весьма средняя, хуже даже теперешней труппы Михайловского театра. Но юный фрачник-гимназист седьмого класса видел перед собою подлинную французскую жизнь и слышал совсем не такую речь, как в наших гостиных, когда в них говорили по-французски. Давали бульварную мелодраму «Jean le cocher», которая позднее долго не сходила со сцены Малого театра, с Самариным в главной роли, под именем «Извозчик».

И не для меня одного театральная масленица сезона 1852—53 года была прощальной. На первой же неделе поста сгорел Большой театр, когда мы были на обратном пути в Нижний.

В Малом театре, на представлении, сколько помню, «Женитьба», совершенно неожиданно дядя заметил из кресел амфитеатра моего отца. С ним мы не видались больше четырех лет. Он ездил также к выпуску сестры из института, и мы с дядей ждали его в Москву вместе с нею и теткой и ничего не знали, что они уже третий день в Москве, в гостинице Шевалдышева, куда он меня и взял по приезде наших дам из Петербурга.

Мои московские впечатления стали с этого дня еще разнообразнее. Он возил меня к своим родным и знакомым, и я вкушил немного тогдашней московской жизни в домах, где принимали.

Чего-нибудь особенно столичного я не находил. Это был тот же почти тон, как и в Нижнем, только побойчее, особенно у молодых женщин и барышень. Разумеется, я обегал вопросов: учусь я или уже служу? Особого стеснения от того, что я из провинции, я не чувствовал. Я попадал в такие же дома-особняки, с дворовой прислугой, с такими же обедами и вечерами. Слышались такие же толки. И моды соблюдались те же.

Я это привожу опять-таки за тем, чтобы показать, как тогда замечался и в губернских городах известный уровень культуры, и ничто такое, что входило в интересы тогдашнего общества в Москве, уже не удивляло особенной новизной юного гимназиста.

В литературные кружки мне не было случая попасть. Ни дядя, ни отец в них не бывали. Разговоров о славянофилах, о Грановском, об университете, о писателях я не помню в тех домах, куда меня возили. Гоголь уже умер. Другого «светила» не было. Всего больше говорили о «Додо», то-есть о графине Евдокии Ростопчиной.

Не скажу, чтобы и уличная жизнь казалась мне «столичной»: езды было много, больше карет, чем в губернском городе, но еще больше простых ванек. Ухабы, грязные и узкие тротуары, бесконечные переулки, маленькие дома—все это было, как и у нас. Знаменитое катанье под Новицким напомнило *en grand* такое же катанье на масленице в Нижнем по Покровке, улице, где я родился в доме деда. Он до сих пор еще сохранился.

Барский строй жизни с военным оттенком замечал я всего больше в мелькавшие парных саней с пристяжками, в касках и киверах тогдашних гусар и улан. Фуражек тогда не позволяли носить; а теперешняя мерлушковая шапка всех бы скандализовала, особенно на голове гвардейца. Подтянутость публики замечалась везде, и борода, кроме как у купцов, бросалась в глаза ²³, и из-за нее приводилось иметь дело с полицией.

Но в общем масленица текла бойко, шумно и, кажется, веселее, чем в последние годы. Особенного гнета я не замечал, и вся масленая прошла для меня как в чаду.

Студенческие треуголки (фуражки строго преследовались) волновали меня. Я уже мечтал о скором поступлении в университет провинциальный. Тогда столичные университеты имели обаяние запретного плода ²⁴. Существовал комплект, и каждый из нас смотрел на здешнего студента как на счастливца.

Одним из таких счастливцев оказался мой земляк Б—вн, сын председателя палаты. Он перешел сюда из Казани. Я отыскал его в плохонькой комнате, где-то на Никитской; но для меня и невзрачная

студенческая «меблировка» казалась чем-то соблазнительным, и хотя мы с ним были на «ты», но я смотрел на него как на избранника.

Студентов в театрах я как-то не замечал; но на улицах видал много, особенно на Тверской, и раз в бильярдной нашей гостиницы сидел нарочно целый час, пока там играли два студента. Они прошли туда задним ходом, потому что посещение трактиров было стеснено. Оба были франтоваты, уже очень взрослые, барского тона, при шпагах. Теперешнего вида студентов, какие встречаются по улицам Москвы сотнями, тогда не было. Самыми бедными считались казеннокоштные, но они все одевались вполне прилично, и от них требовалось строго соблюдение формы.

Древняя Москва только скользнула по мне. Кремль, соборы, Чудов монастырь, Грановитая палата—все это быстро промелькнуло предо мною, но без старины Москва показалась бы только огромным губернским городом, не больше. Что-то таинственное и величавое осталось в памяти, и в этой рамке поездка в Москву получила еще большее значение в моей только что открывающейся юношеской жизни.

С этим совпало и мое свидание с сестрой после такой разлуки. Моему долговому одиночеству настал конец. Молодое существо стало рядом со мною, и я, хоть моложе ее, очутился как бы в ее руководителях.

И весь конец моего ученья, вплоть до студенчества, получил более светлый налет. Даже стало житься по-другому. В наш большой, строгий и почти безмолвный дом вошло молодое веселье. И постом мы танцевали.

С сестрой у меня сразу завязалась нежная дружба. Все мне было ново и близко в ее институтском прошлом. Шли бесконечные разговоры и рассказы. В ней я не нашел того, что тогда соединяли с понятием «институтка»,—той смешной наивности и еще менее наивничанья. Она была первое время скорее застенчива в большом обществе, но без всяких странностей специфического «монастырского» оттенка. Я мог по ней изучать, какими выпускали из столичного института девушек средних талантов и среднего прилежания. Она просидела безвыездно около девяти лет в стенах здания на Фонтанке. Их учили не по-нынешнему, но довольно старательно. Кроме языков и так называемых «русских» предметов,—немного естественным наукам, довольно хорошо словесности, заставляли немало писать, развивали их музыкальные способности, приучали красиво танцевать. Читали французскую и немецкую литературу на этих языках и заставляли много учить классических отрывков.

«Идей» в теперешнем смысле они не имели, книжка не владела ими, да тогда и не было никаких «направлений», даже и у нас,

гимназистов. Но они все же любили читать и, оставаясь затворницами, многое узнавали из тогдашней жизни. Куклами их назвать никак нельзя было. Про общество, свет, двор, молодых людей, дам, театр—они знали гораздо больше, чем любая барышня в провинции, домашнего воспитания. В них не было ничего изломанного, нервного или озлобленного своим долгим институтским сиденьем взаперти.

Напротив. Они не задавались «вопросами», но зато были восприимчивы ко всем веяниям жизни, с большим фондом того, что составляет душевную норму. Как девицы, выезжающие в свет, они охотно танцевали, любили дружить, без излишнего кокетства, долго оставались с чистым воображением, не проявляли никаких сознательно хищнических инстинктов.

Из них весьма многие стали хорошими женами и очень приятными собеседницами, умели вести дружбу и с подругами и с мужчинами, были гораздо проще в своих требованиях, без особой страсти к туалетам, без того культа «вещей», то-есть комфорта и разного обстановочного вздора, который захватывает теперь молодых женщин. О том, о чем теперь каждая барышня средней руки говорит как о самой банальной вещи, например о заграничных поездках, об игре на скачках, о водах и морских купаньях, о рулетке, даже и не мечтали.

Не надо забывать, что тургеневские Лиза и Елена принадлежали как раз к этой генерации, то-есть стали взрослыми девицами к половине пятидесятых годов.

Крепостным правом они особенно не возмущались, но и не выходили крепостницами и в обращении с прислугой привозили с собой очень гуманный и порядочный тон. Этого, конечно, не было бы, если бы там, в стенах казенного заведения, поощрялись разные «вотчинные» замашки. Они не стремились к тому, что и тогда уже называлось «эмансипацией», и, читая романы Жорж-Занда, не надевали на себя никаких заграничных личин во вкусе той или другой героини.

Думаю, что главное русло русской культурной жизни, когда время подошло к шестидесятым годам, было полно молодыми женщинами или зрелыми девушками этого именно этического-социального типа. История показала, что они, как сестры, жены и потом матери двух поколений, не помешали русскому обществу идти вперед.

И тут будет уместно помянуть добрым словом всех тех женщин—замужних и девиц, которые участвовали и в нашем умственном и нравственном росте. Я лично отроком и юношей, до университета, много им обязан. В моей тетке (со стороны матери) я находил всегда чуткую душу, необычайно добрую, развитую, начитанную, с трогательной любовью к своей больной сестре, моей матери, и к брату Николаю,

особенно с той минуты, как он был сослан в Сибирь по делу Петрашевского. Она одна могла бы служить ярким доказательством того, какие та эпоха доставляла личности. И она и мать моя хоть и выросли на рабовладельческих порядках, но никогда их не оправдывали. Гнет родительской власти не помешал им быть проникнутыми теплой сердечностью и в родственных связях и ко всем, кто сближался с ними.

Мальчиком я долго был неразвязан и дик, в особенности при женщинах. Но во мне рано подметили влюбчивость и склонность к дружбе с взрослыми девицами. И те, кто умели приручить меня, охотно со мной беседовали и, может, и не желая того, участвовали в моем воспитании.

У меня еще до университета, когда я уже подросток, было несколько приятельниц старше меня на много лет. Они не довольствовались ролью конфиденток, которым я поверял свои сердечные тайны. Они давали мне книги, много рассказывали о себе и о своих впечатлениях, переписывались со мною подолгу, даже и позднее, когда я поступил в студенты.

Одна из них в особенности интересовала меня. Тут не обошлось бы без некоторой влюбленности, но уже впоследствии; а сначала она меня привлекала своим умственным изяществом, даровитостью и блестящим разговором. Мы продолжали с ней дружбу и в Казани. И она была из институток, даже провинциальных, но из ряда вон.

Такая культурная гимнастика,—как тогда говорили,—«полировала» юношу и с таких ранних лет накапливала тот психический материал, который пригодился потом писателю.

Те месяцы, которые протекали между выпускным экзаменом и отъездом в Казань с правом поступить без экзамена, были полным расцветом молодой души. Все возрастающая любовь к сестре, свобода, права взрослого, мечты о студенчестве, приволье деревенского житья, все в той же Анкудиновке, дружба с умными, милыми девушками, с оттенком тайной влюбленности, ночи в саду, музыка, бесконечные разговоры, где молодость души трепетно изливается и жаждет таких же излияний. Больше это уже не повторилось.

Деревня была заключительным аккордом всех этих «откровений бытия». Она не вызывала тогда в нас того, что она теперь может давать юноше горького и тяжелого.

Слова мои покажутся парадоксом... Тогда царил крепостничество, а теперь—мужик вольный. Конечно! Но власть чувствовалась тогда всеми, и нами не меньше, чем мужиками. Это была цепь из разных степеней государственной, общественной и домашней иерархии.

Но то, что мы тогда видели на деревенском «порядке» и в полях, не гнело и не сокрушало так, как может гнеть и сокрушать теперь.

Народ жил исправно, о голоде и нищенстве кругом не было слышно. Его не учили, не было ни школы, ни фельдшера, но одичалости, распутства, пропойства—ни малейшего. Барщина, конечно, но барщина,—как и мы понимали,—не «чересчурная». У всех хорошо обстроенные дворы, о «безлошадниках» и подумать было нельзя. Кабака ни одного верст на десять кругом.

«Крепость» только поднимала в нас чувство жалости и к крестьянам и к дворовым. Но повторяю: хищно-сословного и даже просто насмешливо-пренебрежительного взгляда на деревню, на мужиков, баб, ребятшек мы не имели никакого.

И во мне, и в сестре моей, и в наших приятельницах жило, напротив, всегдашнее ласковое чувство к девочкам, к мальчикам, к молодухам и старухам. Мы ходили в лес и поле с ребятами собирать грибы, ягоды, цветы, не испытывая никакого брезгливо-дворянского чувства.

И сестра и я сохраняли интимную связь с нашими кормилицами и знали своих молодых братьев и сестер. И прямо от деревенских и через дворовых мы узнавали множество вещей про деревенскую жизнь, помнили в лицо мужиков из дальних деревень, их прозвища, их родство с дворовыми.

Все это также послужило писателю. Он не сделался тенденциозным народником, но сохранил до старости неизменную связь с народом и убежден в том, что его быт, душа, общежительные формы достойны художнического изображения.

Только ни мы, ни вокруг нас никто, даже из самых развитых людей, никогда бы не подумал искать какого-то откровения в каких-нибудь «босях», пропойцах и бродягах, якобы изображающих собой новый мир идей и упований.

Бродяги были и тогда, только мы их не видали. Босяков в теперешнем смысле кругом не было, да и не могло скопиться в таком количестве, как теперь. За все мое детство и юношеские годы в гимназии я никогда не слышал, чтобы водились в городе с тридцатью тысячами жителей отщепенцы в нынешнем вкусе, герои трущоб из «интеллигентного» класса, вперемежку с простонародьем. Пили и даже спивались, но ни класса, ни даже групп такого сорта положительно не водилось. Были чудаки, полоумные или юродивые, в роде Миши Бидарева, который ходил по морозу босиком, в длинной рубашке. Было, конечно, профессиональное нищенство, но «босяка» не было в нынешнем смысле, и диким представилось бы нам, искавшим также идеалов, возводить алкоголиков, контрабандистов, простых ворешек или бездомных бродяг в особый класс носителей социальной правды!

Бурлаков мы знали и жалели их за тяжелую службу, когда все на Волге еще двигалось «ляжкой» и пароходы бегали по ней всего каких-нибудь три-четыре года; но и бурлак был «крестьянин», наш мужичок из приволжских оброчных деревень. На нем не лежало никакого босяческого клейма. «Бурлаки» Репина еще не сложились тогда. Они были еще не сбродом, а более или менее исправными крестьянами с дешевым и тяжелым заработком.

Без всякого сословного высокомерия мы не могли бы тогда признать за «босьяками» какой-то особой привилегии, потому что мы уже воспитывали в себе высокое почтение к знанию, таланту, личным достоинствам. Любимый товарищ по гимназии—сын мещанина или вольноотпущенных—становился в наших глазах не только равным, но и выше нас потому, что он отлично учится, умен, ловок, хороший товарищ. А превратись он в «босьяка», мы бы от этого одного не преисполнились к нему никогда особенным сочувствием или почтением.

Перед тем, как меня снаряжали в студенты, я прощался с моим родным городом, когда мы вернулись из деревни к августу, к ярмарочному времени. И весной, когда я гулял с сестрой по набережной и нашему «Откосу», и теперь, на прощанье, я подолгу стаивал на выпшке, откуда видно все заволжье, и часть ярмарки, и Печерский монастырь, и слева Егорьевскую башню кремля.

Волга и нижегородская историческая старина, сохранившаяся в тамошнем кремле, заложили в душу будущего писателя чувство связи с родиной, ее живописными сторонами, ее тихой и истовой величавостью. Это сделалось само собою, без всяких особых «развиваний». Ни домашние, ни в гимназии учителя, ни гувернеры никогда не водили нас по древним урочищам Нижнего, его церквям и башням с целью разъяснять нам, укреплять патриотическое или художественное чувство к родной стороне. Это сложилось само собою.

Попадая в наш собор, особенно в его крипту, где лежат останки удельных князей нижегородских, я еще мальчиком читал их имена на могильных плитах, и воображение рисовало какие-то образы. Спрашивалось, бывало, у самого себя: а каков он был видом вот этот князь, но прозвищу «Брюхатый» или вон тот, прозванный «Тугой лук»?

Имена Минина и Пожарского всегда шевелили в душе что-то особенное. Но на них, к сожалению, был оттенок чего-то официального, «казенного», как мы и тогда уже говорили. Наш учитель рисования и чистописания, по прозвищу «Трошка», написал их портреты, висевшие в библиотеке. И Минин у него вышел почти на одно лицо с князем Пожарским.

И староцерковное и гражданское зодчество привлекало: одна из кремлевских церквей, с царской вышкой в виде узкого балкончика, соборная колокольня, «Строгановская» церковь на Нижнебазарской улице, единственный каменный дом конца XVII столетия на Почайне, где останавливался Петр Великий, все башни и самые стены кремля, его великодушное положение на холмах, как ни у одной старой крепости в Европе. Мы все знали, что строил его итальянский зодчий, по имени Марк Фрязин. И эта связь с Италией Возрождения, еще не сознаваемая нами, смутно чувствовалась. Понятно было бы и нам, что только тогдашний европеец, земляк Микель-Анджело, Браманте и других великих «фряжских» зодчих, мог задумать и выполнить такое сооружение.

Башни были все к тому времени обезображены крышами, которыми отсекали старинные украшения. Нам тогда об этом никто не рассказывал. Хорошо и то, что учитель рисования водил тех, кто лучше рисует, снимать с натуры кремль и церкви в городе и в Печерском монастыре.

Все, что у меня есть в «Василии Теркине»²⁵ в этом направлении, вынесено еще из детства. Я его делаю уроженцем приволжского села, бывшего княжеского «стола», в роде села Городца, куда я попал уже больше сорока лет спустя, когда задумывал этот роман.

Многие особенности своего и общепсихического и писательского склада я объясняю тем, что родился в нагорной местности. Нижний по положению—исключительный город. Он не только стоит так высоко, как ни один приречный город в Европе из мне известных, не исключая Парижа, Пешта, Белграда и Гейдельберга, но и весь изрыт балками, ущельями, крутыми подъемами и спусками.

С детства «Гребешок» был для нас, мальчиков, любимейшим пунктом прогулок. Туда сладко было «закатиться», особенно тайком, без гувернерского надзора. Это—вышка над самым ярмарочным мостом, известная всем, кто побывал «у Макария». Теперь все это опошлилось увеселительным заведением, и подъем совершается по траму; а тогда это было настоящее восхождение, в роде как на Альпы—для детской фантазии. Путь лежал от нас, с Покровки, по Лыковой Дамбе, мимо церкви Жен-мироносиц, потом опять кверху, мимо церквей Вознесения и Похвалы богородицы, и, оставляя вправо спуск по Похвалинскому съезду, а слева балки, где стояли деревянные жандармские казармы, вы по переулочкам попадали к тому «взлобью», которое и было «Гребешком», где потом при губернаторе Муравьеве (бывшем декабристе) водрузили довольно-таки безобразную башню.

В пашу кровь и западало что-то горное: любовь к крутизнам и высоким подъемам, к оврагам, густо заросшим лопухом и крапивой,

которые наше воображение превращало в целые леса, к отвесным почти «откосам», где карабкались козы—белые и темношерстные,—истое нижегородское животное, кормилица мелкого люда. Коз мы любили особенно какой-то любовью, и! когда я в Неаполе в 1870 году увидал их в таком количестве, таких умных и прирученных, я испытывал точно встречу с чем-то родным.

Надо было все это бросить и ехать в Казань. И грустно, и сладко было. Меня проводили на пароход,—первый пароход, на какой я вступал и пускался в путь, не по одной только Волге, в долгую дорогу ученья—в аудитории и в жизни, у себя и в чужих землях.

В Казань я поторопился. Явившись к ректору астроному Симонову, я получил от него разрешение вернуться на весь август месяц. Я был принят и мог дома «достраивать» себе студенческую форму и кутнуть на ярмарке.

Но кутнуть не пришлось: хозяйничала холера. И я заболел, хотя и легкой формой,—«холериной», как тогда называли.

И тут окончательно я выбрал себе не просто факультет, а «разряд», о котором в гимназии не имел понятия. Моя мать, узнав, что я подал прошение о поступлении в «камералисты»²⁶, почему-то не была довольна, видя в этом неодобрительную изменчивость. Хотел быть юристом, а попал в какие-то «камералы», о которых у нас дома никто, кажется, не имел вполне ясного представления.

А этот скорый выбор сослужил мне службу, и немалую. Благодаря энциклопедической программе камерального разряда, где преподавали, кроме чисто юридических наук, химию, ботанику, технологию, сельское хозяйство, я получил вкус к естествознанию и незаметно прошел в течение восьми лет, в двух и даже трех университетах, полный цикл университетского знания по целым трем факультетам с их разрядами.

Весьма вероятно, что поступи я в «юристы»—это повело бы меня на службу, о чем мечтали и мои домашние, и не позволило бы так долго и по такой обширной программе умственно развивать себя.

Какие же выводы можно сделать из того преддверия в жизнь, через какое прошел будущий «бытописатель» русского общества?

Может, кому и не особенно понравятся эти выводы, но я не могу их не привести здесь.

Без той общей культурности, в воздухе которой я рос и воспитывался, нельзя было получить известных предрасположений, помимо вопроса о личной даровитости.

Тогдашний николаевский Нижний, домашний быт, гимназия, товарищи, гувернеры, общество, его вкусы и общительность, театр,

музыка, общий тон—дали более положительных, чем отрицательных результатов.

Гнет правительственных порядков, крепостного права и домашних строгостей скорей помогал рождению в нас освободительных чувств и настроений.

Закоружло-сословных, хищнических и развращающих навыков и замашек мы не вынесли, по крайней мере лучшие из нас.

Идея науки, обаяние университета, мечта о высшем образовании наполняли многих из нас. Теперешнего карьеризма и жуирства в самых юных экземплярах мы не знали.

Разночинский быт, деревня, дворян, поля, лес, мужики, даже барские забавы, в роде, например, псовой охоты (см. рассказ мой «Псарня»²⁷), воспитывали во мне лично то сочувственное отношение к родной почве, без которого не сложился бы писатель-художник.

Наконец прошлое родного края, исторические памятники, Волга, ее берега, живительный воздух ее высот и урочищ поддерживали особые настроения, опять-таки в высокой степени благоприятные для рождения будущего писателя.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Казань в пятидесятых годах.— Университет.— Начальство.— Инспектор Ланге.— Полицейский надзор.— Камеральный «разряд».— Профессор Иванов.— Любимые профессора: Аристов, Мейер, Бутлеров, Киттары.— Словесники.— Григорович.— Медицинский факультет.— Жизнь вне университета.— Материальные условия.— Светский мир Казани.— Губернаторша.— Литературность общества.— Музыкальное любительство.— Мой товарищ М. Балакирев.— Театр.— Милославский, Ал. Стрелкова, Шмидгоф.— Начало Крымской войны.— Настроение общества.— Дух студенчества.— Казанские студенты.— Начитанность в первые годы студенчества.— Поворот к точной науке на втором курсе.— Химия.— Нравы студентов.— Мечта о Дерпте.— Переход туда на третьем курсе.— Профессор Бабст.— Бутлеров в лаборатории.— Без любовных увлечений.— Смерть Николая I.— На вакациях.— Поездка «на долгих».— Тамбовская усадьба.— Липецкие воды.— Дворовые и крестьяне.— Дедовская библиотека.— Дальнейшее знакомство с бытовой жизнью.— Вторая летняя вакация.— Ополчение 1855 года.— В Нижнем.— Зимой и летом.— Писатель Даль.— Переезд в Дерпт.

Два с лишком года моего казанского студенчества для будущего писателя не прошли даром; но больше в виде школы жизни, чем в прямом смысле широкого развития, особенно такого, в котором преобладали бы литературно-художественные интересы.

Вся вторая треть романа «В путь-дорогу» (книги третья и четвертая) полна моих личных испытаний и очерков студенческого быта;

но автобиографический характер и в первой трети и в этой (так же, как и в последней трети) значительно изменен. Герой его, гимназист, а потом студент Телепнев, иначе провел свое детство и отрочество; его первая любовь в гимназии и его светская интрига в Казани созданы автором. Но почти все остальное, что есть в этой казанской трети романа, извлечено было из личных воспоминаний, и в общем ход развития героя сходен с тем, через что и я проходил.

Казань, как город, как пункт тогдашней культурной жизни Приволжского края, уже не могла быть для меня чем-нибудь внушительным, невиданным. Поездка в Москву дала мне запас впечатлений, после которых большой губернский город показался мне таким же Нижним, побойчее, пообширнее, но все-таки провинцией.

Положение города на реке менее красиво; крепость по живописности хуже нашего кремля; историческая татарская старина сводилась едва ли не к одной Сумбекиной башне. Только татарская часть города, за рекой Булаком, была своеобразнее. Но тогда и я и большинство моих товарищей не приобрели еще вкуса к этнографии. Это не пошло дальше двух-трех прогулок по тем улицам, где скучилось татарское население, где были их школы, и мечети, лавки, бани.

Привлекал университет—и прежде всего потому, что он для нас являлся символом нашего освобождения от запретов и зависимости жизни «малолетков», от униженного положения школьников, от домашнего надзора, хотя в последнее полугодие я и дома состоял уже почти что на правах взрослого.

Университет—главный корпус и здания на дворе с памятником Державину в тогдашнем античном стиле—все-таки имел в себе что-то, непохожее на нашу гимназию. От него «пахло» наукой, а от аудиторий мы ждали еще не испытанных умственных усазд.

Но сразу после поступления, когда мы облеклись в желанную форму, с треугольной шляпой и шпагой, встал перед нами полицейский надзор в виде власти инспектора, тогда вершителя судеб студенчества, не только казенного, но и своекоштного,—две довольно резкие категории, на какие оно тогда разделялось.

Нас уже пугали старые студенты из земляков этим «всесильным Василием Ивановичем», прозванным давно хлестаковской кличкой Земляники и даже «кувшинным рылом». До представления инспектору мы уже ходили заводить знакомство с его унтером и посыльным «Демкой»—вестником радостей и бед. Он приносил повестки на денежные пакеты, и он же требовал к «инспектору», что весьма часто грозило крупной неприятностью. Карцер тогда постоянно действовал, и плохая отметка в поведении могла вам испортить всю вашу студенческую карьеру.

Ректора никто не боялся. Он никогда не показывался в аудиториях, ничего сам не читал, являлся только в церковь и на экзамены. Как известный астроном, Симонов считался как бы украшением города Казани, рядом с чудаком, уже выжившим из ума, помощником попечителя Лобачевским, большой математической величиной.

Попечитель произнес нам речь в роде той, какую Телепнев выслушал со всеми новичками в актовом зале. Генерал Молоствов был, кажется, добрейший старичок, любитель музыки, приятный собеседник и пользовался репутацией усердного служителя Вакха. Тогда в гостинных, где французили, обыкновенно выражались о таких вивёрах: «il lève souvent le coude».

От всего этого начальства не исходило на нас никакого обаяния. Это было нечто в роде наших гимназических властей, только повыше рангом. Отношение в студенчестве ко всем этим лицам было насмешливое, вовсе не почтительное, разумеется—про себя; к инспектору так и прямо враждебное.

Но я не знаю, был ли этот обер-полицейский так уже антипатичен, если смотреть на него с «исторической» точки зрения, взяв в расчет тогдашний «дух», в начале пятидесятых годов, то-есть в период все той же реакции, тянувшейся с 1848 года.

Грозный «Василий Иванович» (по фамилии Ланге) смахивал на чиновника, какими тогдашние губернские города были полны: вицмундирная пара при узких брюках, орден на шее, туго накрахмаленная манишка, прическа с височками рыжеватого парика, бритое начальническое лицо и внушительный тон в нос, без явного немецкого акцента, но с какой-то особой «оттяжкой». Он был из военных, перешедших в гражданскую службу, кажется, из какого-то специального рода оружия,—сапер или военных инженеров. Оставаясь в лютеранской вере, стоял неизменно впереди студентов в церкви на всех службах; и когда успевал посещать кирку—мы не знали. Нельзя сказать, чтобы он возмущал грубостью; больше вызывал он неприязнь своей чиновничьей выправкой и нежеланием снизойти до более мягких и доступных приемов. Строгости касались ношения формы, хождения к обедне, надзора в театрах, посещения трактиров.

Но известно было, что он с казенными обходился мягче, заглядывал запросто в столовую, выслушивал их просьбы, доставлял им и удовольствия, в роде даровых посещений концертов.

В сущности, инспекторский надзор с его «субами», которых в грош не ставили, не проникал в глубь студенческой жизни. Домашнего соглядатайства не было, и под внешней подтянутостью держались довольно-таки дикие нравы—пьянство, буйство, половая распущенность.

И посещение лекций не состояло ни под чьим контролем. Были круглые лентяи, по полугодиям не ходившие на лекции; никаких записываний субами не водилось, ни переключек, ни отметок, какие производили так недавно «педеля». О педелях никто не имел и понятия, разве по рассказам о дерптских порядках, откуда их в другие времена и заимствовали.

Поступив на «камеральный» разряд, я стал ходить на одни и те же лекции о юристах первого курса, в общие аудитории; а на специально камеральные лекции, по естественным наукам,—в аудитории, где помещались музеи, и в лабораторию, которая до сих пор еще в том же надворном здании, весьма запущенном, как и весь университет, судя по тому, как я нашел его здания летом 1882 года, почти тридцать лет спустя.

Одна из профессорских фигур, которая сразу заинтересовала меня своей внешностью, была фигура худощавого брюнета в черном пальто и высокой шляпе с трауром. Он поднимался с площадки наверх, где помещалось правление.

— Это Мейер!—назвал мне кто-то с особым выражением.

Знаменитого цивилиста мне не привелось слушать ни на первом, ни на втором курсе: гражданского права нам, камералистам, не читали. Позднее он перешел в Петербургский университет, где и сделался его украшением.

Он худощавым лицом нервного брюнета и всем своим душевным складом и тоном выделялся, как оригинальная и тонкая личность. Мы, «камераль», знали, что он нас не очень жалует, считая какими-то незаконными чадами юридического факультета. Юристы его побаивались, и далеко не все хорошо усваивали себе его лекции. Он был требователен и всячески подтягивал своих слушателей, заставляя их читать специальные сочинения, звал к себе на беседы.

Для нас, новичков, первым номером был профессор русской истории, Иванов, родом мой земляк—нижегородец, сын сельского попа из окрестностей Нижнего. В его аудитории, самой обширной, собирались слушатели целых трех разрядов и двух факультетов.

Как и герой романа «В путь-дорогу», я впервые услышал его зычный возглас: «Милостивые государи!», который так ласкал наш слух сознанием, что мы не мальчишки, а взрослые слушатели, которым надо говорить: «Милостивые государи!»

Чисто камеральных профессоров на первом курсе значилось всего двое: ботаник и химик. Ботаник Пель, по специальности агроном, всего только с кандидатским дипломом, оказался жалким лектором, и мы стали ходить к нему по очереди, чтобы аудитория совсем не пустовала.

Химик А. М. Бутлеров, тогда еще очень молодой, речистый, живой, сразу делал свой предмет интересным, и на второй год я стал у него работать в лаборатории.

Кроме Мейера у юристов, Аристова, читавшего анатомию медикам, и Киттары, профессора технологии, самого популярного у камералистов, никто не заставлял говорить о себе как о чем-то из ряда вон. Не о таком подъеме духа мечтали даже и мы, «камералы», когда попали в Казань.

Того обновления, о каком любили вспоминать люди сороковых годов, слушавшие в Москве Грановского и его сверстников, мы не испытывали. Разумеется, это было ново после гимназии: мы слушали лекции, а не заучивали только параграфы учебников; но университет не захватывал, да и свободного времени у нас на первом курсе было слишком много. Вряд ли среди нас и на других факультетах водились юноши с совершенно определенными высшими запросами. Лучшие тогдашние студенты все-таки были не больше, как старательные ученики, редко шедшие дальше записывания лекций и чтения тех скудных пособий, какие тогда существовали на русском языке.

По некоторым наукам, например, хотя бы по химии, вся литература пособий сводилась к учебникам Гессе и француза Реньо, и то только по неорганической химии. Языки знал один на тридцать человек, да и то вряд ли. Того, что теперь называют «семинариями», — писания рефератов и прений, и в заводе не было.

Созывали нас на первом курсе слушать сочинения, которые писались на разные темы под руководством адъюнкта словесности, добродушнейшего слависта Ровинского. Эти обязательные упражнения как-то не прижились. Во мне, считавшемся в гимназии «сочинителем», эти литературные сборища не вызвали особенного интереса. У меня не появилось ни малейшей охоты что-нибудь написать самому или обратиться за советом к Ровинскому.

Вообще словесные науки стояли от нас в стороне. Посещать чужие лекции считалось неловким, да никто из профессоров и не привлекал. Самый речистый и интересный был все-таки Иванов, который читал нам обязательный предмет, и целых два года. Ему многие, и не-словесники, обязаны порядочными сведениями по историографии. Он прочел нам целый курс «пропедевтики» с критическим разбором неписанных и письменных источников.

О профессоре словесности Буличе мы не имели никакого ясного представления. Филологи-классики, профессора восточных языков — все это входило в область каких-то более или менее «пскопаемых». Исключение делали для известного в то время слависта В. И. Григоровича,

и то больше потому, что он пользовался репутацией чудака, и вся Казань рассказывала анекдоты о его феноменальной рассеянности. А адъюнкт всеобщей истории Славянский, которого звали все «Мишенька», приобрел популярность своей ленью, кутежами и беспорядочным ухарством, с каким он читал лекции, когда являлся в аудиторию.

Два-три немца, профессора римского и уголовного права и зоологии, были предметами потешных рассказов, которые мы получили в наследство от старых студентов.

Нисколько не анекдот то, что Камбек, профессор римского права, коверкал русские слова, попадая на скандальные созвучия, а Фогель лекцию о неумышленных убийствах, с смехотворным акцентом, неизменно начинал такой тирадой: «Ежели кто-то фпстреляет на бупличном месте з пулею и ушьет трухого»...

У медиков я бывал на разных лекциях, посещал и товарищей в клинике. Там все было построже—по учению, экзаменам и практическим работам. Очень любимый и требовательный преподаватель анатомии Арпстов действительно владел мастерским описательным языком, и считалось как-то унижением пропустить хоть одну его лекцию. В клинике местной славой окружен был хирург Елачич, читавший еще полатыни. Но физиология была в жалком положении—без кабинета, опытов и вивисекций. Иностранец Берви, как рассказывали тогда сами медики, кровообращение объяснял на собственном носовом платке, а профессор терапии Линдгрэн был заведомый гомеопат.

Не хочу здесь повторяться. «В путь-дорогу» во второй трети содержит достаточно штрихов, портретов и картин, взятых живьем, может быть, в несколько обличительном тоне, но без умышленных преувеличений.

Моя жизнь вне университета проходила по материальной обстановке совсем не так, как у Телепнева. Мне пришлось сесть на содержание в тысячу рублей ассигнациями, как тогда еще считали наши старики, что составляло неполных триста рублей—весьма скудная студенческая стипендия в настоящее время; да и тогда это было очень в обрез, хотя слушание лекций и стоило всего сорок рублей.

Со мной отпустили «человека», чего я совсем не добивался, и он стоил целую треть моего содержания. Жили мы втроем, в маленькой квартирке из двух комнат, в знаменитой «Акчуринской казарме», двор которой был очень похож по своей обстановке на тот, где проживали у М. Горького его супруги Орловы.

Переход был довольно-таки резкий из барского дома, где нас, правда, не приучали ни к какой роскоши, но где все-таки значилось до сорока человек дворни и до двадцати лошадей на конюшнях.

Но я не помню, чтобы такое житье на двадцать рублей в месяц вызывало во мне чувство недовольства, болезненно подавляло или питало нездоровый, тщеславный стыд.

Да и вообще в то время нигде, ни в каком университете, где я побывал,—ни в Казани, ни в Дерпте, ни в Петербурге,—не водилось почти того, что теперь стало неизбежной принадлежностью студенческого быта,—жизни на благотворительные сборы. Нам и в голову не приходило, что мы потому только, что мы учимся, имеем как бы какое-то право требовать от общества материальной поддержки.

И в наше время было много бедняков. Казенных держали недурно, им жилось куда лучше доброй половины своекоштных, которые и тогда освобождались от оплаты, пользовались некоторыми стипендиями (например, сибиряки), получали от казны даровой обед и даже даровую баню. Но, повторяю, ни в обществе, ни в среде студентов не сложился еще взгляд, по которому одно только звание студента дает как бы привилегию на государственную или общественную поддержку. Мы должны были довольствоваться очень скудной едой. В Дерпте, два года спустя, она стала еще скуднее, и целую зиму мы с товарищем не могли тратить на обед больше четырех рублей на двоих в месяц, а мой «раб» ел гораздо лучше нас.

И с таким-то скудным содержанием я в первую же зиму стал бывать в казанских гостиных. Мундир позволял играть роль молодого человека; на извозчика не из чего было много тратить, а танцевать в чистых замшевых перчатках стоило недорого, потому что они мылись. В лучшие дома тогдашнего чисто дворянского общества меня вводило семейство Г—н, где с умной девушкой, старшей дочерью, у меня установился довольно невинный флирт. Были и другие рекомендации из Нижнего.

Тогда Казань славилась тем, что в «общество» не попадали даже и крупные чиновники, если их не считали «de son bord». Самые родовитые и богатые дома перероднились между собою, много принимали, давали балы и вечера. Танцевал я в первую зиму, конечно, больше, чем сидел за лекциями или серьезными книгами.

Такой светский искус я считаю положительно полезным. Он отвлекал от многих грязных увлечений студенчества. Юноша «полировался», а это совсем неплохо. И тут женщины—замужние дамы и девицы—продолжали свое воспитательное влияние. Нетребовательность и сравнительная дешевизна позволяли бывать всюду, в самых богатых и блестящих домах, не делая долгов, не выходя из своего бюджета в тысячу рублей ассигнациями.

Жили в Казани шумно и привольно, но по части высшей «интеллигенции» было скудно. Даже в Нижнем нашлось несколько писателей за мои гимназические годы; а в тогдашнем казанском обществе я не помню ни одного интересного мужчины с литературным именем или с репутацией особенного ума, начитанности. Профессора в тамошнем свете появлялись очень редко, и едва ли не одного только И. К. Бабста встречал я в светских домах до перехода его в Москву.

Не помню, чтобы водился тогда в Казани хоть один профессиональный писатель, даже из маленьких. В Нижнем как-никак все-таки служил Авдеев. Мельников уже начинал свою карьеру беллетриста в «Москвитянине». В Казани не было даже и местного поэта. По крайней мере, в тогдашнем монде мне не приводилось встретить ни одного.

Этот монд, как я сказал выше, был почти исключительно дворянский. И чиновники, бывавшие в «обществе», принадлежали к местному дворянству. Даже вице-губернатор был «не из общества» и разные советники правления и палат. Зато одного из частных приставов, в тогдашней форме гоголевского городничего, принимали, и его жену и дочь, потому, что он был из дворян и помещик.

Губернатором все время при мне оставался И. А. Баратынский, брат поэта, женатый на Абамелик, той красавице, которой Пушкин написал прелестный мадригал: «Когда-то помню» и т. д.

Тогда она уже повернула за роковой для красавицы предел сорокалетия, но все еще считалась красавицей, держала себя на своих приемах с большими «тонами» и принимала «в перчатках», о чем говорили в городе; даже ее кресло стояло в гостиной на некотором возвышении. Старушкой, лет через тридцать, она жила в Бадене, и я увидал в ней какую-то Нанну из «Руслана и Людмилы». Тогда она сделалась литературной дамой и переводила русские стихи по-английски; но губернаторшей никаких у себя вечеров с литературными чтениями и даже с музыкой в те годы не устраивала.

Литературу в казанском монде представляла собою одна только М. Ф. Ростовская (по казанскому произношению Растовская), сестра Львова, автора «Боже, царя храни», и другого генерала, бывшего тогда в Казани начальником жандармского округа. Вся ее известность основывалась на каких-то повестушках, которыми никто из нас не интересовался. По положению она была только жена директора первой гимназии (где когда-то учился Державин); ее муж принадлежал «к обществу», да и по братьям она была из петербургского света.

Она и начальница института Загоскина считались самыми блестящими «causeuses». Начальница принимала у себя вею светскую

Казань, и ее гостинная по тону стояла почти на одном ранге с губернаторской.

У ней, у Ростовских, у Львовых и у Молоствовых любили музыку, и мой товарищ по Нижегородской гимназии Милий Балакирев (на вторую зиму мы жили с ним в одной квартире) сразу пошел очень ходко в казанском обществе, получил уроки, много играл в гостинных и сделался до переезда своего в Петербург местным виртуозом и композитором.

Наши товарищеские отношения с Балакиревым закрепились именно здесь, в Казани. Не помню, почему он не поступил в студенты (на что имел право, так как кончил курс в нижегородском Александровском институте), а зачислился в вольные слушатели по математическому разряду. Он сначала довольно усердно посещал лекции, но дальше второго курса не пошел, отдавшись своему музыкальному призванию.

Балакирев остался истым нижегородцем, больше многих из нас, и Нижнему он обязан своей первоначальной музыкальной выучкой. Тот барин—биограф Моцарта, А. В. Улыбышев, о котором я говорил в первой главе,—оценил его дарование, и в его доме он, еще в Нижнем, попал в воздух настоящей музыкальности, слышал его воспоминания, оценки, участвовал годами во всем, что в этом доме исполнялось по камерной и симфонической музыке. Улыбышев как раз перед нашим поступлением в Казань писал свой критический этюд о Бетховене (где оценивал его, как безусловный поклонник Моцарта, то-есть по-старинному), а для этого он прослушивал у себя на дому симфонии Бетховена, которые исполняли ему театральные музыканты.

Балакирев в Нижнем покончил уже свою выучку пианиста. Кроме москвича Дюбюка, его учителем был некий Эйзерих, застрявший в провинциальных пианистах. В Казани ему не у кого было учиться, и в Петербург он уехал готовым музыкантом—и как виртуоз и как начинающий композитор. Пианисты, какие наезжали в Казань,—Сеймур Шифф и Антон Контский обходились с ним уже как с молодым коллегой. Контский заезжал и к нам, в нашу студенческую квартиру; но в ученики, как к виртуозу, Балакирев к нему не поступал. В своих первых композиторских попытках мой земляк был предоставлен самому себе. Систематически учиться теории музыки или истории ее было не у кого. Ни о каких высших курсах или консерваториях тогда и в столицах никто еще не думал, а тем менее в провинции.

Музицировали в казанском свете больше, чем в Нижнем; но все-таки там не нашлось ни одного такого музыкального дома, как дом Улыбышева. За Балакиревым всего больше ухаживали у начальницы института, у Молостова (попечителя), Ростовских, Львовых. Меня он

туда не возил. Общая наша светская гостиная была только у Загоскиной. Серьезного кружка любителей музыки с постоянными вечерами я тоже что-то не помню. Не думаю, чтобы значился там и такой хороший педагог, как нижегородский Эйзерих—учитель Балакирева. В университете состоял на службе немец Мунк. Под руководством его шли квартетные вечера, в которых и я участвовал в первую зиму. Но к скрипке я стал охладевать, а к переезду в Дрепт и совсем ее оставил, видя, что виртуоза из меня не выйдет.

Но все-таки меня с Балакиревым связывал мой—хоть и чисто любительский—интерес к музыке. Он постоянно делился со мною своими вкусами, оценками и замыслами, какие начинали уже приходить ему. Помню и те две композиции, какие он написал в Казани: фантазию на мотив из какой-то оперы (в тогдашнем модном стиле таких транс-скрипций) и опыт квартета, который он начал писать без всякого руководства. Не помню, чтобы у него были какие-нибудь учебники по теории музыки, оркестровке или гармонии. Русских учебников не существовало, а немецкий язык он знал недостаточно. Кажется, в Казани стал он выступать и в концертах. Но вообще хорошей музыки симфонического характера тогда и совсем нельзя было слышать в концертах. Наезжали знаменитости-виртуозы. Особую сенсацию, кроме Антона Контского, произвел его брат, скрипач, Аполлинарий. Мне потому особенно памятен его концерт, данный в городском театре, что я был оклеветан субом (по фамилии Ивановым),—якобы я производил шум; а дело сводилось к какому-то объяснению с казенными студентами, которых этот суб привел гурьбой в верхнюю галлерею. Из-за этого обвинения инспектор посадил меня в карцер на целые сутки. Оправданий он не принимал против суба; а из казенных никто в пользу мою показаний не дал. Это случилось в первую зиму моего житья в Казани.

Театр играл довольно видную роль в жизни города; и студенчество, и средний класс (вплоть до богатых купцов-татар), и дворянское общество—интересовались театром.

После нижегородской деревянной хоромины только что отстроенный казанский театр мог казаться даже роскошным. По фасаду он был красивее московского Малого и стоял на просторной площадке, недалеко от нового же тогда дома дворянского собрания. Если не ошибаюсь, он и теперь, после пожара, на том же месте.

Управлялся он городской дирекцией. Это отзывалось уже новыми порядками. Общий строй игры и постановки пьес для губернского города—совсем неплохие, никак не хуже (по тогдашнему времени), чем, например, частные театры Петербурга и Москвы и в конце XIX века,

прикидывая их к уровню образцовых сцен, за исключением, конечно, Художественного театра.

Но я уже побывал в Москве, и то, что мне дал Малый театр, залегло в мои оценки, подняло мои требования. В труппе были такие силы, как Мирославский, игравший в Нижнем не один сезон в те годы, когда я еще учился в гимназии, Виноградов (впоследствии петербургский актер), Владимиров, Дудкин (превратившийся в Петербурге в Озерова), Никитин; а в женском персонале: Таланова (наша Ханен), ее сестра Стрелкова (также из нашей нижегородской труппы), хорошенькая тогда Прокофьева, перешедшая потом в Александринский театр вместе с Дудкиным.

Читатели романа «В путь-дорогу» знают, что публика разделялась тогда на «стрелкистов» и «прокофьевистов», особенно студенчество.

Эти театральные клички могли служить и оценкой того, что каждый из лагерей представлял собою и в аудиториях, в университетской жизни. Поклонники первой драматической актрисы Стрелковой набирались из более развитых студентов, принадлежали к демократам. Много было в них и казенных. А «прокофьевистами» считались франтики, которые и тогда водились, но в ограниченном числе. То же — и в обществе, в зрителях партера и лож.

Мне, как нижегородцу, курьезно было найти в первой драматической актрисе нашу «Сашеньку Стрелкову», меньшую сестру «Ханен». Она росла за кулисами, вряд ли где-нибудь и чему-нибудь училась, кроме русской грамоты, и когда стала подрастать, то ее выпускали в дивертисменте танцевать качучу, а мы — гимназистами — всегда подтрунивали над ее толстыми ногами, бесцеремонно называя их (за глаза) «бревнами».

И она в два-три года так выровнялась, что держала первое амплуа, при наружности скорее некрасивой, плотной фигуре и неэффектном росте.

А Прокофьева брала лицом, голосом, бойкостью; но настоящего таланта не имела и кончила в Петербурге на водевильном амплуа.

Мирославский считался тогда провинциальной знаменитостью. Я его видал у моего дяди-театрала. Его принимали в нижегородском обществе, что тогда считалось редкостью, принимали больше потому, что он был отставной гусар, из дворянской балтийской фамилии. В Казани, как и в Нижнем, Мирославский играл все: и в комедии, и в мелодраме, и в трагедии, от роли Городничего до Гамлета и Ляпунова. Он состоял и главным распорядителем казанской сцены; репертуар давал разнообразный, разумеется, с преобладанием переводных драм, выступая в таких пьесах, как «Эсмеральда», «Графиня Клара д'Обервиль»,

«Она помешана» и т. д. Тогда, как и теперь, провинция шла следом за столицами: что давалось в них, то повторяли и в губернских городах. Островский только что входил во вкусы публики, да всего одна его комедия и давалась в 1853 году—«Не в свои сани не садись». За новинками гнались и тогда. И в Казани я уже видел пьесу, состряпанную на подвиге того плотника, который спас танцовщицу в пожаре Большого театра, взобравшись на крышу²⁸. И этого плотника, прикрашенного по-театральному, играл все тот же первый сюжет Милославский.

Он дебютировал и в Москве и оставался там некоторое время на первом драматическом ампула.

С тех пор, то-есть с зим 1853—1855 гг., я его больше не видал, и он кончил свою жизнь провинциальным антрепренером на Юге.

«Николай Карлович» (как его всегда звали в публике) был типичный продукт своего времени—талантливый дилетант из тогдашних прожигателей жизни, с барским тоном и замашками, но «sabotin» в полном смысле, самоуверенный, берущийся за все, прекрасный исполнитель светских ролей (его в «Кречинском» ставили выше Самойлова и Шумского), каратыгинской школы в трагедиях и мелодрамах, прибегавший к разным «штучкам» в мимических эффектах, рассказчик и бонмотист, не пренебрегавший и куплетами в дивертисментах, в роде:

Один мушкет, одна женушка был...
Хорошенький, миленький да!

Я бы его сравнил с В. В. Самойловым. И по судьбе, по тону, по разносторонней талантливости, и, кажется, по чисто актерским свойствам и характеру жизни они—одного поля, только у Самойлова даровитость была выше сорта.

Сохранилась у меня в памяти и его дикция с каким-то не совсем русским, но несомненно барским акцентом. В обществе он бойко говорил по-французски. В Нижнем его принимали, но в Казани—в тамошнем мопде—на вечерах или дневных приемах я его ни в одном доме не встречал.

Жил он со своей подругой Э. К. Шмидгоф, с которой когда-то приехал и в Нижний. Эта красивая полунемка-полуполька пела в московской опере и полегоньку превращалась и в актрису, сохранив навсегда польско-немецкий акцент. При ней состояла целая большая семья: отец-музыкант, сестра-танцовщица (в которую масса студентов были влюблены), и братья—с малолетства музыканты и актеры; жена одного из них, наша нижегородская театральная «воспитанница» Пиунова,

сделалась провинциальной знаменитостью под именем «Пиуновой-Шмидгоф».

Это музыкальное семейство поддерживало в казанском театре и некоторый вокальный элемент. Давали «Аскольдову могилу» и одноактные комические оперы. Это началось еще с Нижнего, где для Эвелины поставили даже «Норму».

Театральное любительство водилось и в казанском свете, но не больше, чем в Нижнем. Были талантливые дилетанты, например тогдашний университетский «синдик» (член правления) Алферьев, хороший комик. Но я лично, выезжая в первую зиму, не находил ни в каких домах никакого особенного интереса к театру, к декламации, к чтению вслух, вообще к литературе. Увлекались только входившим тогда в моду столоверчением. Приезжие из Петербурга и Москвы рассказывали про Рашель, которую мне так и не привелось видеть ни в России, ни во Франции. Я попал за границу много лет спустя после ее смерти.

Но чего-нибудь литературного—лекций или сборищ в домах с чтением стихов или прозы—я положительно не припомню. Были публичные лекции в университете по механике (профессора Котельникова) и по другим предметам—и только. Да и вообще в казанском светском, то-есть дворянско-помещичьем, монде связь с университетом чувствовалась весьма мало. Этому нечего удивляться и теперь, судя по тому, что я находил в конце девятидесятых годов в таких университетских городах, как Харьков, Одесса и Киев. Барский, военный и чиновничий круг, населяющий в Киеве квартал Липки, весьма далек от университета и вообще интеллигенции, и в нем держится особый, сословно-бюрократический дух, скорее враждебный просветительным и передовым идеям, чем наоборот.

Наперечет были в тогдашней Казани помещики, которые водились с профессорами и сохранили некоторое дилетантство по части науки, почитывали книжки или заводили порядочные библиотеки.

Зато можно сказать про тогдашнюю Казань, что она оставалась свободной от военщины. Не стояло даже ни одного полка, ни пехотного, ни кавалерийского, тогда как теперь чуть не целая дивизия. Весь военный элемент сводился к гарнизону, к крепостному управлению, жандармерии, к персоналу адъютантов, из которых двое—один молодой, другой уже в майорском чине—сделались «притчей во языцех» своей франтоватостью. Студенты постоянно издевались над ними, разумеется, за глаза, и про одного, майора, рассказывали, что он ходит с муфтой. Я его встречал в домах, видал и на улицах, но муфты не заметил.

Ко второй зиме разразилась уже Крымская война. Никакого патриотического одушевления я положительно не замечал в обществе. Получались «Северная Пчела» и «Московские Ведомости»²⁹; сообщались слухи; дамы рвали корпию—и только. Ни сестер милосердия, ни подписок. Там где-то дрались, но город продолжал жить все так же: пили, ели, играли в карты, ездили в театр, давали балы, амурились, сплетничали.

По амурной части казанский монд имел тогда особую репутацию, может быть, и преувеличенную; весьма возможно, что та барыня, которая посвящала моего Телепнева в тайны галантной хроники, и не далека была от истины. Но я лично оставался далек от такого совсем не платонического флёрта, выражаясь по-нынешнему. И тайные любовные интриги были у всех «на-знати». Вы про них узнавали в первые же месяцы житья в Казани. Несколько «адюльтеров» сделались уже как бы освященными общественным мнением. Ходили слухи и о нравах, напоминающих библейские сказания, как, например, об одном отце-кровосмесителе. Разумеется, все это могло считаться и сплетнями; но странно, что такая репутация упорно держалась, и никто никогда против нее не протестовал. С дочерью этого патриарха мы, выезжавшие в свет, танцевали. Она долго не выходила замуж и отличалась манерами дамы, а не барышни.

Равнодушие к судьбам своего отечества, к тому, что делалось в Крыму, да и во время севастопольской осады, держалось и в студенчестве. Не помню никаких не то что уж массовых, а даже и кружковых проявлений патриотического чувства. Никто не шел добровольно на войну (а воинской повинности мы тогда не знали), кроме студентов-медиков, которым предлагали разные места и льготы. Четверокурсников усиленно готовили к выпуску и отправляли в армию и флот. Таких военных врачей, обновивших еще в Казани свою форму, я помню... Но и только.

В студенчестве совсем не было тогда духа, какой стал давать о себе знать позднее, к шестидесятым годам, в той же Казани, когда я уже переехал в Дерпт.

Причину нельзя искать только в том, что с новым царствованием пришли и новые порядки. И при самом суровом гнете могут крыться в массе вольнолюбивые стремления, которые только ждут случая, чтобы прорваться наружу.

Для этого нужно сначала почувствовать потребность в общем ладе, создать свою солидарность с товарищами. Идея скопа, теперь преобладающая, тогда не западала еще в общее сознание. Никаких кружков, землячеств, собраний, сходов, и не потому только, что это

было не осуществимо. Я уже говорил, что полицейский режим инспекции ограничивался внешним порядком и чиновначием. Как мы жили у себя,—ни инспектор, ни субы не знали. Шпионства что-то не водилось; стало быть, в известных пределах можно было спланиваться, обсуждать свои интересы и готовиться к протестам. Все это позднее и явилось. В аудиториях мы свободно обо всем говорили. Суб обычно сидел в профессорской комнате или ходил по коридору. Медики в клинике и анатомическом театре оставались и совсем без надзора суба.

Не назрел «дух» ни в общественном смысле, ни в чисто университетском. Общий полицейский режим мы терпели, как терпели его все: помещики, чиновники, военные, разночинцы. Принести из дому протестующие настроения мы не могли: там их не было. Профессора стояли от нас далеко, за исключением очень немногих. По-нынешнему иные были бы сейчас же «бойкотированы»—так они плохо читали; мы просто не ходили на их лекции, но шикать или посылать депутации, или требовать, чтобы они перестали читать,—это никому и в голову не приходило!!

Случаев действительно возмущающего поведения, даже со стороны инспектора, я не помню. Профессора обращались с нами вежливо, а некоторые даже ласково, как, например, тогдашний любимец Киттары, профессор-технолог, у которого все почти камералисты работали в лаборатории, выбирая темы для своих кандидатских диссертаций.

За все время моего казанского житья (полных два года) не вышло ни одного резкого столкновения студента с профессором, из-за которого, по нынешнему времени, было бы непременно волнение с обструкцией и прочими «оказательствами».

На экзаменах строгих профессоров боялись, но уважали. Самым строгим считался анатом Аристов, и никто бы не осмелился сделать ему «историю» за тройку вместо четверки.

Сколько я помню по рассказам студентов того времени, и в Москве и в Петербурге до конца пятидесятых годов было то же отсутствие общего духа. В Москве еще в шестидесятые годы студенты выносили то, что им профессор Н. И. Крылов говорил «ты» и являл их на экзаменах своими семинарскими прибаутками до тех пор, пока не нашелся один «восточный человек» из армян, который крикнул ему: «Не смейшь говорить мне ты!..»

Я еще застал нескольких студентов-поляков, которые были как бы на положении ссыльных. Те были куда развитее нас в этом смысле, но им следовало «держаться ухо востро», более, чем кому-либо.

Казенные составляли «общезитие», по нынешнему выражению, у них возможнее был дух товарищества. Но я не помню, чтобы из

«занимательных» (так тогда назывались их комнаты в верхнем этаже) исходил какой-нибудь почин в теперешнем смысле: протест или действие скопом, направленное против начальства, профессоров или кого-нибудь вне университета. Бывали заявления недовольства субом и, главное, экономом, отказ от плохой еды или что-нибудь в таком роде. Начальство допускало контроль самого студенчества над тем, как его кормили, и даже установило дежурство казенных по кухне.

В столовых, в бане, в танцевальной зале (тогда классами танцев могли пользоваться и своекоштные), в дортуарах удобно было бы толковать, уговариваться, собирать сходки. Наверх, в занимательные, начальство заглядывало редко. Комнаты, хоть и низкие, были просторные, длинный, довольно широкий коридор, дортуары также поместительные (в одном коридоре с музеями и аудиториями по естественным наукам), и там же уборная, где мы, камералы, обыкновенно собирались перед лекциями ботаники и сельского хозяйства.

Такая же малая инициатива была в студенчестве и по части устройства каких-нибудь вечеров, праздников, концертов. И не думаю, чтобы это происходило от боязни начальства, от уверенности, что не позволят. Более невинные удовольствия или устройство вечеров в пользу бедного товарища было бы возможно.

Единственный бал, данный студентами, был задуман во вторую зиму моего жития в Казани нами, то-есть мною и двумя моими товарищами, занимавшимися химией в лаборатории у А. М. Бутлерова. Мысль эта пришла нам без выписыванья какого-нибудь особого предлога. Мы ее сообщили профессору Киттары, зная, какой он энергичный хлопотун и как готов всегда на всякий добрый совет и содействие. Мы даже и струхнули немного, когда пустили в ход эту «затею», боялись «провалиться». Но идея наша очень понравилась; весь город заинтересовался студенческим балом, и в несколько дней Киттары, взявший на себя главное распорядительство, все наладил, и бал вышел на славу.

На этом балу я справлял как бы поминки по моей прошлой «светской» жизни. С перехода во второй курс я быстро охладел к выездам и городским знакомствам, и практические занятия химией направили мой интерес в более серьезную сторону. Программа второго курса стала гораздо интереснее. Лекции, лаборатория брали больше времени. И тогда же я задумал переводить немецкий учебник химии Лемана.

Это и был собственно первый мой опыт переводного писательства, попавший в печать через три года, в 1857 году; но на первом курсе, насколько память не изменяет мне, я написал рассказ и отправил его

не то в «Современник», не то в «Отечественные Записки», и ответа никакого не получил.

Такая попытка показывает, что я после гимназической моей беллетристики все-таки мечтал о писательстве; но это не отражалось на моей тогдашней литературности. В первую зиму я читал мало, не следил даже за журналами так, как делал это в последних двух классах гимназии, не искал между товарищами людей более начитанных, не вел разговоров на чисто литературные темы. Правда, никто вокруг меня и не поощрял меня к этому.

Читал больше французские романы, и одно время довольно усердно Жорж-Занд, и доставлял их девицам, моим приятельницам, прибегая к такому невинному приему: входя в гостиную, клал томик в тулью своей треуголки, и как только удалялся с барышней в залу ходить (по тогдашней манере), то сейчас же и вручал запретную книжку.

Как я сказал выше, в казанском обществе я не встречал ни одного известного писателя и был весьма огорчен, когда кто-то из товарищей, вернувшись из театра, рассказывал, что видел И. А. Гончарова в креслах. Тогда автор «Обломова» (еще не появившегося в свет) возвращался из своего кругосветного путешествия через Сибирь, побывал на своей родине в Симбирске и останавливался на несколько дней в Казани.

«Обыкновенную историю» мы прочли еще гимназистами, и в начале пятидесятых годов, то-есть в проезд Гончарова Казанью, его считали уже «знаменитостью». Она и тогда могла приобретаться одной повестью.

«Неофитом науки» я почувствовал себя к переходу на второй курс самобытно, без всякого влияния кого-нибудь из старших товарищей или однокурсников. Самым дельным из них был мой школьный товарищ Лебедев, тот заслуженный профессор Петербургского университета, который обратился ко мне с очень милым и теплым письмом в день празднования моего юбилея в «Союзе писателей», 29 октября 1900 года. Он там остроумно говорит, как я, начав свое писательство еще в гимназии, изменил беллетристике, увлекшись ретортами и колбами.

Но с Лебедевым мы, хотя и земляки, видались только в аудиториях, а особенного приятельства не водили. Потребность более серьезного образования, на подкладке некоторой даже экзальтированной преданности идее точного знания, запала в мою—если не душу, то голову спонтанно, говоря философским жаргоном. И я резко переменил весь свой *habitus*, сделался почти домоседом и стал вести дневник с записями всего, что входило в мою умственную жизнь.

Это была первая по времени попытка самопроверки и выяснения того, куда шли мои, уже более серьезные, душевные потребности.

О казанском «свете», о флёрте с барышнями и пикантных разговорах с замужними женщинами я не скучал. Время летело; днем—лекции и работа в лаборатории; после обеда—чтение, перевод химии Лемана, разговоры и часто споры с ближайшими товарищами, изредка театр,—никаких кутежей.

От попок и посещений разных притонов и меня и кое-кого из моих приятелей воздерживало инстинктивное чувство порядочности. Мы не строили фраз, не играли роли моралистов, а просто нас на второй же год учения совсем не тянуло в эту сторону.

А студенческая братия держалась в массе тех же нравов. Тут было гораздо больше грубости, чем испорченности, скука, лень, молодечество, доходившее часто до самых возмутительных выходов. Были такие обычаи по части разврата, когда какая-нибудь пьяная компания дойдет «до зеленого змия», что я и теперь затрудняюсь рассказать *in extenso*, что разумели, например, под циническими терминами—«хлюст» и «хлюстованье».

И это было. Я раз убежал от гнусной экзекуции, которой подвергались проститутки, попавшие в руки совсем озверевшей компании. И не помню, чтобы потом участники в такой экзекуции после похмелья каялись в этом, а те, кто об этом слышал, особенно возмущались.

Но, к счастью, не вся же масса студенчества наполняла таким содержанием свои досуги. Пили много, и больше водку; буянили почти все, кто пил. Водились игровишки, и даже с «подмоченной» репутацией, по части обыгрыванья своих партнеров. И общий «дух» в деле вопросов чести был так слаб, что я не помню за два года ни одного случая, что кто-либо из таких студентов, считавшихся подозрительными по части карт или пользования женщинами в звании альфонсов, был потребован к товарищескому суду.

Самая идея такого «суда» еще не зарождалась.

Но, как я говорю в заключительной главе одной из частей романа «В путь-дорогу», море водки далеко не всех поглотило, и из кутил, даже пьяниц вышло немало дельных и хороших людей. Нашлись между ними и профессора, и адвокаты, и честные чиновники, прокуроры, члены судов. Иные достигли и высших званий. Недавно еще умер один судебный сановник, которого я помню форменным пьяницей и драчуном. Он даже из-за постоянного кутежа не кончил курса, но потом подтянул себя и пошел очень успешно по службе после введения новых судебных уставов.

Вернувшись с вакаций на третий курс, я стал уже думать о кандидатской диссертации. Перевод химии Лемана сильно двинулся вперед за летние месяцы. И не больше как через два месяца я решил свой переход в Дерптский университет.

Случилось это очень быстро, в каких-нибудь три-четыре недели. О Дерпте, тамошних профессорах и студенческой жизни мы знали немного. Кое-какие случайные рассказы и то, что осталось в памяти из повести графа Соллогуба «Аптекарьша». Смутно мы знали, что там совсем другие порядки, что существуют корпорации, что ученье идет не так, как в Казани и других русских университетских городах. Но и только.

И вдруг в нашей квартирке, где я опять жил с нижегородцем—медиком З—чем и юристом С. (Балакирева уже не было с нами), начались толки о Дерпте.

Вышло это так. Мой земляк, юрист С., стал ходить к новому адъюнкту (по-нынешнему—приват-доценту) Соколову, читавшему римское право. Он был послан для подготовки к магистерству в Дерпт, где пробыл два года и защитил там диссертацию. Вот он и рассказывал моему земляку о Дерпте в таком сочувственном тоне, что идея перейти туда запала, как искра, и кажется, всего сильнее в меня. Сам С. от перехода в Дерпт воздержался; но медик З—ч (хотя и не знал по-немецки) был увлечен и привлек нашего четвертого сожителя, пензенца З—на, камералиста, моложе меня курсом.

Не без борьбы обошелся для меня этот «coup de tête». Но в ноябре мы втроем на перекладной телеге, с моим «личардой»—Михаилом Мемноновым на облучке, уже ехали по пути в Нижний.

В Казани мне было жаль расставаться с двумя профессорами: с Киттары и с моим наставником по химии А. М. Бутлеровым. Он нашел мой план хорошим и не выказал никакой обидчивости за то, что я менял его на дерптскую знаменитость Карла Шмидта, которого он по репутации, конечно, знал. В Дерпте еще здравствовал его учитель, профессор Клаус, долго читавший химию в Казани, а тогда профессор фармации. К нему Бутлеров дал мне рекомендательное письмо, едва ли не единственное, какое я повез в Ливонский край. Клаусом казанцы гордились. В их городе он нашел и отпрепарировал металлы рутений, из платиновых отходов.

Киттары читал нам практическую механику, а с третьего курса—технологию, и читал занимательно, живо, разнообразно. Но мною овладело влечение к чистой науке. Технология уже казалась мне чем-то неизменным, годным для управителей и фабричных нарядчиков. Я уже знал, по рассказам адъютанта Соколова, что в Дерпте можно

изучать каждый предмет специально. Вы вступали на физико-математический факультет и выбрали себе главную науку. Я буду называться *chemiae cultor*, и этот титул казался очень привлекательным. Одно нас смущало: заставят, пожалуй, держать по-гречески, потому что там, у немцев, гимназии строго классические, а у нас в гимназическом аттестате значился только один латинский.

Из остальных профессоров по кафедрам политико-юридических наук пожалуй в известной степени можно было разве о И. К. Бабсте, которого вскоре после того перевели в Москву. Он знал меня лично, но после того, как еще на втором курсе задал мне перевод нескольких глав из политической экономии Жана-Батиста Сэя, не вызывал меня к себе, не давал книг и не спрашивал меня, что я читаю по его предмету. На экзамене поставил мне пять и всегда ласково здоровался со мною. Позднее я бывал у него и в Москве.

Читал он интересно, тихим голосом, без ораторских приемов, свободно, с изящной дикцией по-московски, хотя и был москвич только по образованию, а родился в Риге. Как я заметил выше, Бабст едва ли не один посещал казанские светские гостиные.

С Бутлеровым у нас с двумя моими товарищами по работе, В—ким и Х—ковым (он теперь губернский предводитель дворянства, единственный в своем роде, потому что вышел из купцов), сложились прекрасные отношения. Он любил поболтать с нами, говорил о замыслах своих работ, шутил, делился даже впечатлениями от прочитанных беллетристических произведений. В ту зиму он ездил в Москву сдавать экзамен на доктора химии (и физики, как тогда было обязательно) и часто повторял мне:

— Боборыкин, хотите поскорее быть магистром—не торопитесь жениться. Вот я женился слишком рано, и сколько лет не могу выдержать на доктора.

Он был среди тогдашних профессоров едва ли не единственный из местных помещиков, с хорошими средствами и сам по себе и по жене, урожденной Глуминой, с братом которой он учился.

У него были повадки хозяина, любителя деревни; он давно стал страстным охотником, и сколько раз старик Фогель, смешной профессор уголовного права, заходил к нему в лабораторию условиться насчет дня и часа отправления на охоту. И с собаками Александра Михайловича мы были знакомы.

С лаборантом он всегда говорил по-немецки, так же и с Фогелем, и говорил бойко, с хорошим акцентом.

Из нас троих, работавших у Бутлерова, меня он, сколько мне думается, считал самым верным идее науки, желанию идти дальше, не

довольствоваться степенью кандидата камеральных наук, и он не спроста повторял мне, чтобы я не торопился жениться, если хочу во-время быть магистром.

Но мысль о женитьбе буквально не приходила мне ни тогда, ни позднее, когда я уже стал весьма великовозрастным студентом. В наше время дико было представить себе женатого студента—и в Казани, и еще более в Дерпте; кутилы или зубрилы—все одинаково далеко стояли от брачных мыслей, смотрели на себя как на учащихся, а не как на обывателей в треуголках с голубым околышем.

И разговоров таких у нас никогда не заходило. Не скажу, чтобы и любовные увлечения играли большую роль в тогдашнем студенчестве во время моего житья в Казани. Интриги имел кое-кто; а остальная братия держалась дешевых и довольно нечистоплотных сношений с женщинами. Вообще сентиментального оттенка в чувствах к другому полу замечалось очень мало. О какой-нибудь роковой истории, в роде самоубийства одного или обоих влюбленных, никогда и ни от кого я не слыхал.

В этом смысле мне решительно не с кем было прощаться, покидая Казань в ноябре 1855 года.

Мы уезжали—резвые, возбужденные не вином, а мечтами о новой жизни в «Ливонских Афишах», без всякого молодечества, с хорошим мозговым задором.

Покидали мы Казань уже на девятом месяце нового царствования. В порядках еще не чувствовалось тогда перемены. Новых освободительных веяний еще не носилось в воздухе. Когда я выправлял из правления свидетельство для перехода в Дерпт, ректором был ориенталист Ковалевский, поляк, очень порядочный человек. Но инспектор, все то же животное в ермолке, аттестовал меня только четверкой в поведении, и совершенно несправедливо.

А четверка считалась плохим баллом в поведении. И ее получил студент, который по своему образу жизни, особенно на втором курсе, мог считаться примерно благонравным! Но, вероятно, инспектор (как бывало и в гимназии) усмотрел в выражении моего лица и тоне недостаточно благонамеренный дух.

Мы принимали присягу после 19 февраля. Смерть Николая никого из нас не огорчила, но и никакого ликования я что-то не припомню. Надежд на новые порядки тоже не являлось и тогда, когда мы вернулись с вакаций. И в наших мечтах о Дерпте нас манили не более свободная в политическом смысле жизнь, даже не буршикозные вольности, а возможность учиться не как школьникам, а как настоящим питомцам наук.

Политическое чувство настолько еще дремало, что и такой оборот судьбы, как смерть Николая, не вызвал на первых порах никакого особенного душевного подъема.

Мои жизненные итоги увеличились не одним только студенчеством в Казани. Для будущего художника-бытописателя не прошли даром и впечатления житья на вакациях, в три приема—зимой и в два лета.

На первую зимнюю вакацию я в Нижний не ездил. Зато ко мне прпехал отец.

С отцом у меня только к университетским годам установилась родственная связь. Я рос вдали от него, видел его всего три раза до поступления в студенты: два раза в Нижнем и последний—в Москве. Но в доме деда, где я жил при матери, меня не воспитывали во враждебных к нему чувствах. Привязаться, однако, было трудно с такими многолетними паузами. В Казани мы и сблизились. Его желание съездить для свидания со мною зимой (восемьсот почти верст взад и вперед) тронуло меня, и когда я, вернувшись домой летом, собрался к отцу, в его тамбовскую деревню, меня эта поездка очень привлекала. В Нижнем я не нашел того, что оставил. Сестра ушла из-под моего влияния. Прежней нежной дружбы я уже не нашел. А остальное кругом оставалось по-старому. В Анкудиновке опять праздновали день наших именин с дедом, 12 июня, большим съездом гостей из города; после обеда—танцы, встреча с девушкой, с которой я флертовал зимой. Одно было уже по-новому: на меня смотрели как на молодого человека. Мать моя всего строже относилась ко мне и, кажется, подозревала в склонности к кутежу. Тем привольнее рисовалась передо мною поездка в усадьбу отца.

Это первое путешествие на своих (отец выслал за мною тарантас с тройкой), остановки, дорожные встречи, леса и поля, житье-бытье крестьян разных местностей по целым трем губерниям, а потом старинная усадьба, наши мужики с особым тамбовским говором, соседи, их нравы, долгие рассказы отца, его наблюдательность и юмор—все это залегало в память и впоследствии сказалось в том, с чем я выступил уже, как писатель, решивший вопрос своего «призвания».

Тамбовские урочища, тамошняя помещичья и крестьянская жизнь навели комедию «Однودворец» и большую часть деревенских картин и подробностей в повествовательных вещах, в особенности в повести «В усадьбе и на порядке» ³⁰.

В первую же вакацию отец послал меня на Липецкие воды (в тридцати с небольшим верстах от нашего села Павловского) на тройке

бурых повеселиться, ко дню ежегодного бала, 22 июля. Там я нашел большой дворянский съезд, сделал множество знакомств среди девиц и дам, которые и после Казани показались мне весьма бойкими и склонными к флирту. Приехал вновь тогда назначенный губернатор Данзас и на бале заговорил со мною, приняв меня за харьковского студента (у нас с харьковцами была одинаковая форма). Красовалась и крупная, породистая фигура красавца, губернского предводителя князя Юрия Голицына, впоследствии очутившегося в Лондоне в роде полу-эмигранта и кончившего карьеру начальником хора³¹, предшественником Славянского. Тогда он носил камергерский ключ и держал себя как типичный барин-вивёр николаевского времени, мот и женолюб, способный на пылкие юношеские увлечения, будучи уже отцом семейства. Вся губерния гудела толками о его последнем увлечении девицей К—ой, с которой он позднее и убежал за границу от жены и детей, и прошел в Лондоне через всякие мытарства вплоть до сидения в долговой тюрьме, откуда импресарио возил его в концертную залу и ссужал фряком с капельмейстерской палочкой, после чего его опять отвозили в «яму».

Тамбовский свет, и в губернском городе и по усадьбам, славился еще большей легкостью нравов, чем казанский. Но тон был такой же: та же жуирная жизнь, карты, добывание доходов *per fas et nefas*, кутежи, франтовство, французская болтовня, у многих—с грехом пополам, никаких общественных интересов. Среди липецких помещиков особо стоял некто К—п, учившийся в Париже медицине, богатый человек, женившийся позднее на француженке с неизвестным прошедшим, как все тогда говорили. Он лечил даром и соседей и крестьян, вел хозяйство с заграничными приемами; кроме хлебопашества, имел и свекло-сахарный завод.

К быту крепостных крестьян я в оба приезда на вакации и впоследствии, в наезды из Дерпта, достаточно присматривался, ходил по избам, ездил на работы, много расспрашивал и старых дворовых, и старост, и баб. Когда дошел в Дерпте до пятого курса медицинского факультета, то лечил и мужиков и дворовых.

В усадьбе дворовых было не безобразно много: два-три лакея, повар, кучера и конюхи при конском заводе, столяр, стряпуха, ключница, псарь, коровница. Жилось им более чем сносно, гораздо привольнее, чем в доме деда в Нижнем; их одевали и кормили хорошо, а работа, разумеется, была весьма «с прохладцей». Два лакея ездили с отцом и на охоту.

Забот о школе для крестьян я не находил ни у нас, ни в соседних имениях. И лечили их, как придется: крестьян—знахарки, а дворовых

кое-когда доктор. Больниц—никаких. Словом, тогдашний крепостной быт. У государственных крестьян (их зовут там и до сих пор «однодворцами») водились школы и даже сберегательные кассы; но быт их не отличался от быта крепостных, и в общем они не считались зажиточнее.

Нельзя сказать, чтобы тогдашняя барщина (по крайней мере у отца) подвела хозяйство самих крестьян. Она усиливалась в рабочую пору, но если выгоняли на работы лишний раз против положения (то-есть против трех-четырех дней в неделю), то давались потом льготные дни или устраивали угощение, род «помочи».

Мягкость характера моего отца не могла вызывать никаких крепостнических эксцессов. И тогда, в николаевское время, и позднее, до 1861 года, я не помню у отца случаев отдачи в солдаты в виде наказания или в арестантские роты, не помню и никаких экзекуций на конюшне.

После сурового дома в Нижнем, где моего деда боялись все, не исключая и бабушки, житье в усадьбе отца, особенно для меня, привлекало своим привольем и мирным складом. Отец, не впадая ни в какое излишнее баловство, поставил себя со мною как друг или старший брат. Никаких стеснений: делай, что хочешь, ходи, катайся, спи, ешь и пей, читай книжки.

Я нашел в наших старинных дубовых хоромах два огромных шкапа с дедовской библиотекой, с французскими классиками и со всеми энциклопедистами. Тогда же я ушел в Вольтера, а для легкого чтения у отца нашлась такая же обширная библиотека новейших романов. Он потреблял их в огромном количестве, выписывая из Москвы. Тогда еще процветали дешевые брюссельские перепечатки парижских изданий. С этой летней вакации идет мое знакомство с Бальзаком в подлиннике. Гимназистом я брал из библиотеки старика Меледина только русские переводы.

Целыми днями в томительный жар мы сидели в прохладном кабинете отца, один против другого, и читали.

Но ни в первый, ни во второй мой приезд из Казани, при большом потреблении беллетристики, во мне не начинал шевелиться литературный червяк. Это явилось гораздо позднее, в самый разгар моих научных занятий, уже дерптским студентом.

Бытовая жизнь—помещичья, крестьянская и разночинская—делалась все знакомее и ближе. Под боком был и когда-то очень характерный уездный город Лебедянь, уже описанный Тургеневым. Но его рассказ, вошедший в «Записки охотника», я прочел несколько лет спустя. Ярмарка к моему времени уже упала, также и бега; но кое-что еще

оставалось: конная с ремонтерами и барышниками, трактиры с цыганами из Тулы и Тамбова, гостиница с курьезной вывеской «*Pour les nobles*», которой не заметил Тургенев, если она существовала уже в его приезд.

Эти ярмарочные впечатления отлились у меня, более десяти лет позднее, в первом по счету рассказе «Фараончики», написанном в 1866 году в Москве и появившемся в журнале «Развлечение»³² у старика Ф. Б. Миллера, отца известного московского ученого Всеволода Федоровича.

Трагическая смерть цыганки, жены начальника хора,—действительный случай. И майор, родственник лица, от которого ведется рассказ, являлся каждый год на ярмарку, как жандармский штаб-офицер, из губернского города.

Во второй приезд я нашел приготовление к выходу в поход ополченских рот. Одной из них командовал мой отец. Подробности моей первой (оставшейся в рукописи) комедии «Фразеры» навеяны были четыре года спустя этой эпохой. Я ездил на ученья ополченцев в соседнее село Куйман.

И грустно и смешно было смотреть на эти упражнения мужиков в лаптях, с палками вместо ружей. Ружья им выдали уже на походе, да и то чуть не суворовские, кремневые.

Дворяне из бывших военных очень многие попали в ополчение. Но я не замечал и подобия какого-нибудь патриотического порыва. Нельзя было не идти, неловко. Но кроме тяжести похода и того, что их «раскатают» союзники, ничего больше не чувствовалось. Крестьяне-ополченцы справляли род рекрутчины, и в два-три месяца их выучка была довольно-таки жалкая. Типичным образцом этих подневольных защитников родины, носивших на сером картузе крест со словами «За веру и царя», был для меня денщик отца, из государственных крестьян (один дворец, по тамошнему прозвищу), Чесноков. Я им тоже воспользовался для комедии «Фразеры».

С отцом мы простились в Липецке, опять в разгар водяного сезона. На бал 22 июля съезд был еще больше прошлогоднего, и ополченские офицеры в серых и черных кафтанах очутились, разумеется, героями. Но, повторяю, в обществе, среди дам и девиц, никакого подъема патриотического или даже гуманного чувства. Не помню, чтобы они занимались усиленно и дерганьем корпии, а о снаряжении отрядов и речи не было. Так же все танцевали, амурились, сплетничали, играли в карты, ловили женихов из тех же ополченцев.

Возвращения из тамбовской усадьбы отца в Нижний, где жила моя мать и сестра, и в этот приезд и в другие брали несколько дней,

даже и на почтовых; а раз мне наняли длиннейшую фуру ломового, ехавшего на Нижегородскую ярмарку за работой. Этот «исход» тянулся целых десять дней, и путь наш лежал по глухим дорогам и лесам Тамбовской, Рязанской и Нижегородской губерний. Со мною отпустили разных варений и сушений и пуда три романов, которые я все и прочел. По картинам русской природы и крестьянской жизни такая езда «на долгих» стоила дорогого для будущего беллетриста-бытописателя. Мы попадали в такие деревни (в филипповский пост), где, кроме черного хлеба, белого степного кваса и луку, нельзя было ничего достать, и я приналегал на лепешки, пирожки, варенье и сушеные караси—очень вкусную еду, но вызывающую сильную жажду.

В мои нижегородские поездки казанским студентом—одна зимой и две летом—я дома пользовался уже полной свободой, без возвратов к прежнему строгому надзору, но не злоупотреблял ею. В доме деда все шло по-старому. Матушка моя, прежде бесценно проводившая свои дни в кровати, стала чувствовать себя бодрее. Сестра моя выезжала зимой и обзавелась целым ассортиментом подруг, из которых две-три умели бойко болтать. Но никто не заронил ничего в сердце студента, даже и в зимние вакации, когда я ездил с сестрой на балы и танцевальные вечера.

В ту зиму уже началась Крымская война. И в Нижнем к весне собрано было ополчение. Летом я нашел больше толков о войне; общество несколько живее относилось и к местным ополченцам. Дед мой командовал ополчением 1812 года и теперь ездил за город смотреть на ученье и оживлялся в разговорах. Но раньше, зимой, Нижний продолжал играть в карты, давать обеды, плясать, закармливать и запивать тех офицеров, которые попадали проездом, отправляясь «под Севастополь» и «из-под Севастополя».

События надвигались грозные, но в тогдашнем высшем классе общества было больше любопытства, чем искренней тревоги за свою родину. Самое маленькое меньшинство (как мне случалось слышать скорее в Казани, чем в Нижнем) видело в Крымской кампании приближение краха всей николаевской системы.

Но кругом—в дворянском обществе—еще не раздавалось громко осуждение всего режима. Это явилось позднее, когда после смерти Николая началось освободительное движение, не раньше, однако, 1857—1858 гг.

На зимней вакации в Нижнем я бывал на балах и вечерах уже без всякого увлечения ими, больше потому, что выезжал вместе с сестрой. Дядя Василий Васильевич (о нем я говорю выше) повез меня к В. И. Далю, служившему еще управляющим удельной конторой. О нем

много говорили в городе еще в мои школьные годы, как о чуде, ушедшем в составление своего словаря толкового русского языка.

Мы его застали за партией шахматов. И он сам—худой старик, странно одетый,—и семья его (он уже был женат на второй жене), их манеры, разговоры, весь тон дома—не располагали к тому, чтобы чувствовать себя свободно и приятно.

Мне даже странно казалось, что этот угрюмый, сухой старик, наклонившийся над шахматами, был тот самый «Казак Луганский», автор рассказов, которыми мы зачитывались когда-то.

Несомненно, однакож, что этот дом был самый «интеллигентный» во всем Нижнем. Собиралось к Далу все, что было посерьезнее и пообразованнее; у него происходили и сеансы медиумического кружка, заведенного им; ходили к нему учителя гимназии. Через одного из них, Л—на, учителя грамматики, он добывал от гимназистов всевозможные поговорки и прибаутки из разночинских сфер. Кто доставлял Л—ну известное число новых присловий и поговорок, тому он ставил пять из грамматики. Так, по крайней мере, говорили и в городе и в гимназии.

К казанскому периоду моего студенчества относится и первый мой проезд Петербургом, в конце ноября 1855 года. Но о нем я расскажу в следующей главе.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Переход из Казани в Дерпт. — Мой служитель Михаил Бушуев. — Переправа через Волгу. — Победа студента-камералиста. — Что лежало в «идее» Дерпта. — На «сдаточных» в Москву и Петербург зимой 1855 года. — После севастопольского погрома. — Петербургское искусство. — «Ливонские Афины». — Я и гермой «В путь-дорогу» в Дерпте. — Главная программа этой главы. — Мы и немцы. — Корпорация «Рутения». — Нравы студентов. — «Дикие». — История с «ферруфом». — Дуэли. — Что представлял собою университет сравнительно с русскими. — Физиономия города Дерпта. — Уличная жизнь. — Наша студенческая бедность. — Развлечения Дерпта. — «Академическая Мусса». — Мои два факультета. — Мой учитель Карл Шмидт. — Порядки экзаменов. — Учебная свобода. — Местное равнодушие к тогдашнему русскому «движению». — Знакомство с С. Ф. Уваровым. — Русские барские дома. — Граф В. А. Соллогуб и жена его Софья Михайловна. — Перевод химии Лемана. — Академик Зинин. — Петербург в мои поездки туда. — Составление учебника. — Профессор Ляковский. — Н. Х. Кетчер. — Вакации в Нижнем и в деревне. — Поворот к писательству. — Любительские спектакли. — Комедии: «Фразеры» и «Одюдворец». — Наш кружок. — Драма «Ребенок».

Эта глава посвящена целиком моему студенчеству в Дерпте. Оно длилось с лишком пять лет: с конца ноября 1855 г. по конец декабря 1860 г. и захватило собою как раз первое пятилетие «эпохи реформ».

Николаевское время было позади. Но для нас—для учащейся молодежи, особенно в тогдашней Казани—все еще пока обстояло по-прежнему.

Я должен отойти несколько назад и напомнить читателю о некоторых фактах из предыдущей главы.

В идею моего перехода в Дерпт потребность свободы входила несомненно, но свободы главным образом «академической» (по немецкому термину). Я хотел серьезно учиться, не школьнически, не на моем двойственном, как бы дилетантском, камеральном разряде. Это привлекало меня больше всего. А затем и желание вкусить другой, чисто студенческой жизни, с ее традиционными дозволенными вольностями, в тех «Ливонских Афинах», где порядки напоминали уже Германию.

Во всем этом воображение играло не малую роль. Новизна манила чрезвычайно, и опять-таки новизна научная. Не думаю, чтобы в среде большинства моих ближайших товарищей—«камералов» по третьему курсу научный интерес мог привлекательно действовать. Из них было много два-три человека, способных хорошо заниматься. Но для того, чтобы сразу, без какого-нибудь чисто житейского повода—семейных обстоятельств или временного исключения—в начале третьего курса задумать такое переселение в дальний университетский город с чужим языком, для поступления на другой совсем факультет, с потерей всего, что было достигнуто здесь,—для этого надобен был особый заряд. Может быть, и у меня не достало бы настойчивости, если бы мы не собрались втроем и не возбуждали друг друга разговорами все на ту же тему, предаваясь радужным мечтам.

И все было сделано в каких-нибудь шесть недель. Кроме начальства университетского было и свое домашнее. Я предвидел, что этот внезапный переход в Дерпт смутит мою матушку более, чем отца. Но согласие все-таки было получено. Мы сложили наши скудные финансы. Свое содержание я получил вперед на семестр; но больше половины его должно будет уйти на дорогу. И для меня все это осложнялось еще постоянным расходом на моего служителя, навязанного мне с самого поступления в студенты. Да и жаль было расставаться с ним.

Михаил Мемнонов, по прозвищу Бушуев, сделался и для меня и для моих товарищей как бы членом нашей студенческой семьи. Ему самому было бы горько покидать нас. Отцу моему он никогда не служил, в деревне ему было делать нечего. В житейском обиходе мы его считали «мужем совета»; а в дороге он тем паче окажется опытный и практичнее всех нас.

Зима близилась, но саниго пути еще не было. Стояли бесснежные морозные дни. Приходилось ехать до Нижнего в перекладной телеге всем четверым: три студюоза и один дворовый человек, тогда даже еще не «временно-обязанный».

Поклидали мы Казань весело. У нас не было к ней никаких особенных привязок. Меня лично давно уже не удовлетворяли ни университетские порядки, ни нравы студенческой братии. Чего-нибудь общего, сплоченного в студенчестве не было. От светской жизни сословного губернского города я добровольно ушел еще год назад, как я уже говорил во второй главе. Из профессоров жаль было только двоих—Бутлерова и Киттары, но Бутлеров сам одобрил мою идею перехода в Дерпт для специального изучения химии, дал мне и рекомендательное письмо к своему когда-то наставнику, старику Клаусу, открывшему в Казани металл рутений. Клаус давно уже занимал в Дерпте место директора фармацевтического института, профессора фармакологии и фармации.

Припоминаю и то, что начальство, то-есть инспекция, и тут заявила себя в должном виде.

Читатель уже знает, что на «увольнительном» свидетельстве моем инспектор поставил мне в поведении четверку, что считалось плохой отметкой и могло затруднить мое принятие в Дерпте.

Почему? Должно быть, потому, что в моем «конduitном списке» значился карцер за инцидент, о котором я упоминал выше. Больше у меня не бывало никаких столкновений с инспекцией. Еще на первом курсе случалось покучивать с товарищами, но весь второй я провел почти что затворником. В смысле неблагонадежности другого рода инспекция не могла также меня заподозреть. И вообще-то тогда не было никаких «движений» в студенчестве. Лично я не имел историй или даже резких разговоров с каким-нибудь субом, еще менее с инспектором. Ни одного замечания по пошению формы не доставалось..

Мы все трое значились студентами разных курсов и факультетов. Но проводы наши были самые скромные: несколько ближайших приятелей пришли проститься, немножко, вероятно, выпили—и только. Сплоченного товарищества по курсам, если не по факультетам, не существовало. Не помню, чтобы мои однокурсники особенно заинтересовались моим добровольным переходом, расспрашивали бы меня о мотивах такого «*coup de tête*», приводили бы доводы за и против.

Не впервые приходилось ехать на перекладных. Мои переезды на вакациях происходили и летом, и зимой—в кибитке. Телега катила по мерзлой земле старого Казанского «тракта», с колеями и выбоинами. На облучке высилась фигура нашего «фамулюса» (говоря по-дерптски)

Михайла Мемнопова, а мы в ряд заседали на сене, упираясь спинами в чемаданы.

Волгу уже начало затягивать «сало». На перевозе мы все чуть было не перекинулись через борт порома: так его накренило от разигравшейся «погоды».

Впервые испытал я чувство настоящей опасности. Это было всего несколько секунд, но памятных. До сих пор мечется передо мною картина хмурого дня с темносерыми волнами реки и очертаниями берегов, и весь переполох на пороме.

Свидание со своими в Нижнем обошлось более мирно, чем я ожидал. Я не особенно огорчился тем, что к моему переходу в Дерпт относились с некоторым недоумением, если и не с сильным беспокойством. Довольно было и того, что помирились с моим решением. Это равнялось признанию права руководить самому своими идеями и стремлениями, искать лучшего не затем, чтобы беспорядочно «прожигать» жизнь, а чтобы работать, расширять свой умственный горизонт, увлекаясь наукой, а не гусарским ментиком.

Это была несомненная победа, а для меня самого—приобретение, даже если бы я и не выполнил своей главной цели: сделаться специалистом по химии, что и случилось.

Но, начиная с самого этого переселения «из земли Халдейской в землю Ханаанскую», сейчас же расширился кругозор студента-камералиста, инстинктивно искавшего пути к высшему знанию или к художественному воспроизведению жизни.

Останься я оканчивать курс в Казани, вышло бы одно из двух:

Или я, получив кандидатский диплом по камеральному разряду (я его непременно бы получил), вернулся бы в Нижний и поступил бы на службу, то-есть осуществил бы всегдашнее желание моих родных. Матушка желала всегда видеть меня чиновником особых поручений при губернаторе, а дальше, стало быть, советником губернского правления и, если бы удалось перевестись в министерство, петербургским чиновником известного ранга.

Или же я пошел бы по ученой части с ресурсами казанской выучки. Бутлеров обнадеживал меня насчет магистерства. Камералисту без более серьезной подготовки «естественника», без специальных знаний по физике, нельзя было приобрести прав на занятие кафедры, разве в области прикладной химии, то-есть технологии. Но и в лучшем случае, если бы я даже и выдержал на магистра и занял место адъюнкта (как тогда называли приват-доцента), я бы впряг себя в такое дело, к которому у меня не было настоящего призвания, в чем я и убедился, проделав в Дерпте в течение пяти лет целую, так сказать, эволюцию

интеллектуального и нравственного развития, которую вряд ли бы проделал в Казани.

И что же бы случилось? Весьма вероятно, я добился бы кафедры, стал бы составлять недурные учебники, читал бы, пожалуй, живо и занимательно благодаря моему словесному темпераменту, но истинного ученого из меня (даже и на одну треть такого, как мой первоначальный наставник Бутлеров) не вышло бы. Заложенные в мою природу литературные стремления и склонности пришли бы в конфликт с требованиями, какие наука предъявляет своим истинным сынам.

Профессорскую карьеру я мог бы сделать, но, заморив в себе писателя, оставался бы только более или менее искусным лектором, а не двигателем науки.

Идея Дерпта, как научного «эльдorado», так быстро охватившая меня в сентябре 1855 года, была только дальнейшей фазой моих порываний в области свободного труда, далекого от всяких соображений карьеры, служебных успехов, прибыльных мест, чинов и орденов.

Довольно даже странно выходило, что в отпрыске дворянского рода в самый разгар николаевских порядков и нравов, на студенческой скамье и даже на гимназической, оказалось так мало склонности к «государственному пирогу», так же мало, как и к военной карьере, то-есть ровно никакой. Как гимназистиком четвертого класса, когда я выбрал латинский язык для того, чтобы попасть со временем в студенты, так и дальше, в Казани и Дерпте, я оставался безусловно верен царству высшего образования, университету в самом обширном смысле,—*universitas*, как понимали ее люди эпохи Возрождения, совокупности всех знаний, философских систем, красноречия, поэзии, диалектики, прикладных наук, самых важных для человека, как астрономия, механика, медицина и другие прикладные доктрины.

Через все это я и прошел благодаря, главным образом, моему, на иной взгляд порывистому и необдуманному, шагу—переходу в Дерптский университет, на другой факультет.

Я так был этим воодушевлен, что не мог, конечно, отговаривать моих двух товарищей. Старший из них, мой земляк, нижегородец З—ч был сильно увлечен идеей Дерпта и сначала всего больше подговаривал и меня. Другой, камералист З—н, пристал к нам позднее. Для обоих переход этот и тогда казался мне рискованным. Ни тот ни другой не знали по-немецки; а я говорил на этом языке с детства. З—ч перешел уже на четвертый курс. З—н никакой специальности еще не избрал, а был просто бойкий, франтоватый, кое-что читавший студент, склонный к романтическим похождениям юнец.

Его, кажется, всего больше привлекала «буршикозная» жизнь корпораций, желание играть роль, иметь похождения, чего он впоследствии и достиг, и даже в такой степени, что после побойщ с немцами был исключен и кончил курс в Москве, где стал серьезно работать и даже готовился, кажется, к ученой дороге.

Но тогда, то-есть на тряской телеге, трое казанских студентов были одинаково заражены «Ливонскими Афинами».

Зимнего пути все еще не было, и от Нижнего до Москвы мы наняли тарантас на «сдаточных», и ехать пришлось несколько поудобнее, с защитой от погоды и по менее тряскому грунту тогдашнего, очень хорошего Московского шоссе.

Для меня бытовая жизнь рано стала привлекательна. Поездкам в студенческие годы, то-есть за целых семь лет, я многим был обязан. Этим путем я знакомился с разными местностями России, попадал в захолустные углы и бойкие места Нижегородской, Тамбовской, Рязанской губерний, а на восток от Нижнего до Казани по Волге—зимой и на пароходах. Из Нижнего в Москву дорога была мне уже хорошо известна после первой моей поездки в Москву на масленице 1853 года; а не дальше, как за четыре месяца перед тем, я пролетел на перекладных, отправляясь к отцу в Тамбовскую губернию, на Москву и Рязань.

Езда на «сдаточных» была много раз описана в былое время. Она представляла собою роль азартной игры. Все дело сводилось к тому, удастся ли вам доехать без истории, то-есть без отказа ямщика, до последнего конца, доставят ли вас до места назначения без прибавки.

Вы уславливаетесь: столько-то за всю дорогу. Но сразу у вас забирали вперед больше, чем следует по расчету верст. То же происходило и на каждом новом привале. И последнему ямщику приходилось так мало, что он вас прижимал и вымогал прибавку.

Нашим министром финансов был Михаил Мемнонов, довольно-таки опытный по этой части. Благодаря его умелости мы доехали до Москвы без истории. Привалы на постоянных дворах и в трактирах были гораздо занимательнее, чем остановки на казенных почтовых станциях. Один комический инцидент остался до сих пор в памяти. В ночь перед въездом в Москву, баба, которую ямщик посадил на «задок» тарантаса, разрешилась от бремени, только что мы сделали привал в трактире, уже на рассвете. И мы же давали ей на «пеленки».

Москва промелькнула, не оставив никаких новых впечатлений. Мы спешили захватить конец учебного семестра и на Петербург отсчитывали не больше недели.

Наши финансы были настолько нероскошны, что мы взяли товаро-пассажирский поезд, совершавший переезд в 604 версты в двое

суток. Второй товарищ З—н заболел и доехал до Петербурга уже совсем больной. Мы должны были поместить его в Обуховской больнице. У него открылся тиф, и он приехал в Дерпт уже в начале следующего полугодия.

Петербург встретил нас санной ездой. В какой-то мебелировке мы переоделись и в тот же вечер устремились «на-авось» в итальянскую оперу, ничего и никого не зная.

Невский в зимнем уборе, с тогдашним освещением, казавшемся нам блестящим, давал гораздо более столичную ноту, чем Москва с своим Кузнецким мостом и бесконечными бульварами.

У кассы Большого театра какой-то пожилой господин, чиновничьего типа, предложил нам три места в галлерее пятого яруса. Это был абонент, промышляющий своими билетами. Он поднялся с нами наверх и сдал нас капельдинеру. Взял он с нас не больше восьмидесяти копеек за место.

Попали мы на исторический спектакль. Это было первое представление «Трубадура», в бенефис баритона Дебассини, во вновь отделанной зале Большого театра, с ее позолотой, скульптурной отделкой и фресками.

Даже и после московского Большого театра эффект был еще не испытанный. Итальянцев ни один из нас не слышал как следует.

Тогда была еще блистательная пора оперы: Тамберлик, Кальцолляри, Лаблаш, Демерик, Бозио, Дебассини. В этот спектакль зала показалась нам особенно парадной. И на верхах нас окружала публика, какую мы не привыкли видеть в раю. Все смотрело так чопорно и корректно. Учащейся молодежи очень мало, потому и гораздо меньше крика и неистовых вызываний, чем в настоящее время.

Пылкий и общительный З—н стал было в антрактах заводить разговоры с соседями, но на него только косились. К тому же он был странно одет: в какое-то сак-пальто с капюшоном.

Мое впечатление от петербуржцев средней руки, от той массы, где преобладал чиновник, холостой и семейный, сразу дало верную ноту на десятки лет вперед. И теперь приличная петербургская толпа в общих чертах—та же. Но она сделалась понервнее, от огромного наплыва в последние годы молодежи—студентов, студенток, профессиональных женщин и «интеллигентного разночинца».

В ложах и креслах чиновно-светский мир, с преобладанием военных, по манере держать себя мало отличался от теперешнего. Бросилось мне в глаза с верхов, что тогдашние фешенеблы—не все, но очень многие—одевались так: черный фрак, светлосерые панталоны, при черном галстуке и белом жилете.

Тамберлик брал свои *ut'sy*; Бозио пленяла голосом и игрой; бенефициант пел во-сю, красиво носил костюм и брал своей видной фигурой и энергическим лицом.

Охваченный всеми этими ощущениями от сцены, оркестра, залы, я—нет-нет да и вспомню, что ведь злосчастная война не кончена, прошло каких-нибудь два-три месяца со взятия Севастополя, что там десятки тысяч мертвецов гниют в общих ямах и тысячи раненых томятся в госпиталях. А кругом ни малейшего признака национального горя и траура. Все разряжено, все лкует, упивается сладкозвучным пением, болтает, охорашивается, глазает и грызет конфеты.

В Казани, как я говорил выше, замечалось такое же равнодушие и в среде студенчества. Не больше было одушевления и в дворянском обществе. Петербург, как столица, как центр национального самосознания, поражал меня и тут, в зале Большого театра, и во всю неделю, проведенную нами перед отъездом в Дерпт, невозмутимостью своей обычной сутолоки, без малейшего признака, в чем бы то ни было, того трагического момента, какой переживало отечество.

Ведь это был как раз поворотный пункт нашего внутреннего развития. Жестокий урок только что был дан Западом северо-восточному колоссу. Сторонников николаевского режима, конечно, было немало в тогдашнем Петербурге. В военно-чиновничьей сфере они преобладали. И ни одного сокрушительного лица, никаких патриотических настроений, разговоров в театрах, на улице, в магазинах, в церквях.

И молодежь—те студенты, с какими мы виделись,—не выказывали никаких признаков особого подъема духа, даже и в сторону каких-либо новых течений и упований.

А мы нашли здесь довольно большую семью казанцев—студентов восточного факультета, только что переведенного в Петербург. Многие из них были «казенные», и в Казани мы над ними подтрунивали, как над более или менее «восточными человеками», хотя настоящих восточников между ними было очень мало.

Здесь в каких-нибудь два полугодия они сильно отшлифовались, носили франтоватые мундиры и треуголки, сделались меломанами и даже любителями балета. «Казенными», с особым произношением этого слова, их уже нельзя было называть, так как в Петербурге они жили не в казенном здании, а на квартирах и пользовались только стипендиями.

Из моих товарищей по нижегородской гимназии я нашел здесь Г—ва, моего одноклассника. В гимназии он шел далеко не из первых, а в Петербурге из него вышел дельный студент-юрист, работавший уже по истории русского права, погруженный в разбирание актов XVI и XVII веков.

И в этом серьезном малом (он умер тотчас по выходе из университета) я не нашел какого-нибудь особого подъема, в смысле общественном.

У него и у бывших казанцев мы успели познакомиться с дюжиной других петербургских студентов. Общий уровень был выше, разговор бойчее и культурнее, и гораздо более светскости, даже и у тех, кто пробивался на стипендию. Я не помню, чтобы мы зачуяли какие-нибудь особенные настроения, чтобы вольный дух сказывался в направлении идей и в тоне разговоров. Но прежний режим уже значительно поослаб, да в огромном городе и немислим был надзор, который и в Казани-то ограничивался почти что только контролем по части соблюдения формы и хождения в церковь.

Когда через два года мне привелось провести зимние вакации в студенческом обществе, «дух» уже веял совсем другой. Но об этом ниже.

Зима 1855—56 года похожа была на тот момент, когда замерзлое тело вот-вот начнет оттаивать, и к нему, быть может, вернется жизнь.

Но большая жизненность уже сказывалась в отсутствии гнета, трусливых разговоров, в какой-то новой бойкости и пестроте.

В сущности так и должно было случиться. Севастопольский погром стоял уже позади. Чувствовалось наступление другой эры, и всем хотелось стряхнуть с себя национальный траур.

Был ли он и в разгар крымской трагедии очень силен в тогдашнем обществе, позволяю себе сомневаться, на основании всего, что видел во время войны.

Как заезжие провинциалы, мы днем обзоредали разные достопримечательности, начиная с Эрмитажа, а вечером я побывал во всех театрах. Один из моих спутников уже слег и помещен был в больницу—у него открылся тиф, а другой менее интересовался театрами.

По состоянию своих финансов я попадал на верхи. Но тогда, не так, как нынче, всюду можно было попасть гораздо легче, чем в настоящее время, начиная с итальянской оперы, самой дорогой и посещаемой. Попал я и в балет, чуть ли не на бенефис и в галлерее пятого яруса нашел и наших восточников-казанцев, в мундирчиках, очень франтоватых и подстриженных, совсем не отзывающих казанскими «занимательными».

Давали балет «Армида», где—впоследствии знаменитая—Муравьева исполняла еще воспитанницей роль Амура, а балериной была Фанни Черрито. Я успел побывать еще два раза у итальянцев, слушал «Ломбардов» и «Дон-Паскале» с Лаблашем в главной роли. Во всю свою жизнь я видел всего одну оперу в современных костюмах, во фраках

и, по-тогдашнему, в пышных юбках и прическах с большими зачесами на ушах.

Воскресный спектакль в Александринском театре огорчил меня. Давали ужасную драму «Сальватор Роза», с пожаром и разрушением замка. Леонидова, за его болезнью, заменял еще более ужасный актер Славин, отличавшийся всегда способностью перевирать слова. Героннию играла Жулева, бывшая еще на молодом амплуа. Лейтенанта при атамане разбойников исполнял первый любовник труппы Алексей Максимов. Я просто верить не хотел, что эта сухопарая фигура с глухим, смешным, гнусавым голосом—первый сюжет и в светских пьесах. Все это зрелище было и на оценку казанского студента совершенно недостойно императорской сцены, даже и в воскресный вечер.

После жестокой драмы давали какой-то трехактный переводный водевиль, где трюх мужей-рогоносцев играли Мартынов, Самойлов и П. Григорьев. Мартынова я помнил по моим детским воспоминаниям, когда он приезжал в Нижний на ярмарку; но я привык и заочно считать его великим комиком, а тут роль его была так ничтожна, и в игре его сквозила такая малая охота исполнять ее, что я с трудом верил в подлинность Мартынова. Самойлов пускал разные штучки, изображая чудаковатого старика-ревнивца, и его комизм казался мне деланным.

Кругом меня в галлерее пятого яруса сидела разночинская публика, сортом гораздо ниже той, какая бывает теперь. Но и в воскресный спектакль было гораздо меньше нынешнего «галденья», надоедливых вызовов и криков.

Из глубины «курытника» в райке Михайловского театра смотрел я пьесу, переделанную из романа Бальзака «*Le lis dans la vallée*». После прощального вечера на масленой в московском Малом театре это был мой первый французский спектакль. И в этой слащавой, светской пьесе и в каком-то трехактном фарсе (тогда были щедры на количество актов) я ознакомился с лучшими силами труппы—в женском персонале: Луиза Майер, Вольнис, Миля, Мальвина; в мужском—Бертон, П. Бондуа, Лемениль, Верне, Дешан, Пешна и др.

Немцы играли в Марининском театре, переделанном из цирка, и немецкий спектакль оставил во мне смутную память. Тогда в Марининском театре давали и русские оперы; но театр этот был еще в загоне у публики, и никто бы не мог предвидеть, что русские оперные представления заменят итальянцев, и Марининский театр сделается тем, чем был Большой в дни итальянцев, что он будет всегда полон, что абонемент на русскую оперу так войдет в нравы высшего петербургского общества.

Уже вдвоем с медиком З—чем, оставив больного товарища, мы выехали по шоссе в ливонские пределы. Путь наш шел на Нарву, по Эстляндии, с «раздельной» тогда станцией «Вайвара», откуда уже начинались настоящие чухонские страны.

Русских ямщиков сменили тяжелые, закутанные фигуры эстов, которым надо было кричать: «Кухле! Рутту!» Вместо тройки—пара в дышло и сани в виде лодки.

Мороз крепчал и первый ночной привал на станцию—чистую, светлую, с чаем и дешевым немецким ужином—произвел на нас впечатление некоторой «заграницы».

Тут я останавливаюсь и должен опять (как делал для Нижнего и Казани) оговориться перед читателями романа «В путь-дорогу», а в то же время и перед самим собою.

Все самое характерное, через что прошел герой романа Телепнев в «Ливонских Афинах», испытал в общих чертах и я, и мне пришлось бы неминуемо повторяться здесь, если б я захотел давать заново подробности о тогдашнем Дерпте, университете, буршах, физиономии города.

Город в своей центральной части, где площадь Маркта, университет и Ritterstrasse—чрезвычайно сохранились и до сих пор. Меня это тронуло, когда я по прошествии тридцати с лишком лет, в девяностых годах, заехал в Дерпт (теперь Юрьев) летом.

Вы могли бы проверить физиономию этого старого города с теми страницами пятой книги романа, где описывается первое знакомство с ним Телепнева. Маркт списан точно вчера.

Но я должен сделать опять весьма существенную оговорку—о предполагаемом тождестве Телепнева с автором романа.

Тут пути обоих расходятся: романист провел своего героя через целый ряд итогов—и житейских и чисто умственных, закончив его личные испытания любовью. Но главная нить осталась та же: искание высшего интеллектуального развития, а под конец неудовлетворенность такой мозговой эволюцией, потребность в более тесном слиянии с жизнью родного края, с идеалами общественного деятеля.

В самом же авторе романа на протяжении его пятилетней выучки в Дерпте происходила сначала скрытая, а потом и явная борьба будущего писателя-беллетриста с «питомцем точной науки», явившимся сюда готовиться к ученой дороге.

Сначала, в первые два года, я еще считал себя возделывателем химии (*chemiae cultor*) в качестве главного предмета.

И уже в этот с лишком двухлетний период литературные стремления начали проявлять себя. Я стал читать немецких поэтов, впервые

вошел в Гейне, интересовался Шекспиром, сначала в немецких переводах, его критиках, биографиями Шиллера и Гёте.

Но мысли о том, чтобы «переседлать» (слово дерптских русских), изменить науке, предаться литературе,—только еще дремали во мне.

Когда программа отдела химии была преобразована (что случилось ко времени моего половинного экзамена) и в нее введены были астрономия и высшая математика, и расширена физико-математическая часть химии, я почувствовал впервые, что меня эта более строгая специальность несколько пугает. Работы в лаборатории за целые четыре семестра показали довольно убедительно, что во мне нет той выдержки, какая отличает исследователей природы; слаб и особый интерес к деталям химической кухни.

Первый поворот от строгой специальности сложился в виде измены моей университетской «учебе». Физиологическая химия повела к большему знакомству с физиологией, которая стояла как обязательный предмет в обеих программах. Я был подготовлен (за исключением практических занятий по анатомии) к тому, что тогда называлось у медиков «philosophicum», то-есть к поступлению на третий курс медицинского факультета, что я и решил сделать на третьем году моего житья в Дерпте. Но и тогда о карьере практикующего врача я не думал. Студентом медицины оставался я до самого конца, прослушав весь курс медицинских наук, вплоть до клинической практики включительно.

Но в последние три года, к 1858 году, меня, дерптского студента, стало все сильнее забирать стремление не к научной, а к литературной работе. Пробуждение нашего общества, новые журналы, приподнятый интерес к художественному изображению русской жизни, паплав освобождающих идей во всех смыслах—пробудили нечто более трепетное и теплое, чем чистая или прикладная наука.

И к моменту прощания с Дерптом химика и медика во мне уже не было. Я уже выступил как писатель, отдавший на суд критики и публики целую пятнактную комедию, которая явилась в печати в октябре 1860 года, когда я еще носил голубой воротник, но уже твердо решил избрать писательскую дорогу, на доктора медицины не держать, а переехать в Петербург, где и приобрести кандидатскую степень по другому факультету.

Я забежал вперед, чтобы сразу выяснить процесс того внутреннего брожения, какое происходило во мне, и оттенить существенную разницу между дерптской эпопеей героя романа «В путь-дорогу» и тем, что стало с самим автором.

И в этой главе я буду останавливаться на тех сторонах жизни, которые могли доставлять будущему писателю всего больше жизненных

черт того времени, поддерживать его наблюдательность, воспитывали в нем интерес к воспроизведению жизни, давали толчок к более широкому умственному развитию, не по одним только специальным познаниям, а в смысле той *universitas*, какую я в семь лет моих студенческих исканий в сущности и прошел, побывав на трех факультетах; а четвертый, словесный, также не остался мне чужд, и он-то и пересилил все остальные, так как я становился все более и более словесником, хотя и не прошел строго классической выучки.

Перед принятием меня в студенты Дерптского университета возник было вопрос: не понадобится ли сдавать дополнительный экзамен из греческого? Тогда его требовали от окончивших курс в остзейских гимназиях. Перед нашим поступлением будущий товарищ мой Л—ский (впоследствии профессор в Киеве), перейдя из Киевского университета на медицинский факультет, должен был сдать экзамен по-гречески. То же требовалось и с натуралистов, но мы с З—чем почему-то избегли этого.

Тогда это считалось крайне отяготительным и чем-то глубоко ненужным и схоластическим. А впоследствии я не раз жалел о том, что меня не заставили засесть за греческий. И уже больше тридцати лет спустя я *motu proprio* в Москве надумал дополнить свое «словесное» образование и принялся за греческую грамоту под руководством одной девицы-«фишерки»³³, что было характерным штрихом в последнее пятнадцатилетие XIX века для тогдашней Москвы.

Дерптские мои «откровения бытия» я обзору здесь синтетически, в виде крупных выводов, и начну со студенческого быта, который так резко отличался от того, что я оставил в Казани.

Подробности значатся всего больше в пятой книге романа «В путь-дорогу». Не знаю, какой окончательный вывод получает читатель—в пользу дерптских порядков или нет; но думаю, что полной объективности у автора романа быть еще не могло.

Ведь и я и все почти русские, учившиеся в мое время (если они приехали из России, а не воспитывались в Остзейском крае), знали немцев, их корпоративный быт, семейные нравы и рельефные черты тогдашней балтийской культуры,—и дворянско-сословной и общегерманской—больше из вторых рук, по наслышке, со стороны, издали, во всяком случае недостаточно, чтобы это приводило к полной и беспристрастной оценке.

Как автор романа, я не погрешил против субъективной правды. Через все это проходил его герой. Через все это проходил и я. В романе это монография, интимная история одного лица, род «ученических годов Вильгельма Мейстера», разумеется—*mutatis mutandis*.

Ведь и у олимпийца Гёте в этой первой половине романа нет полной объективной картины, даже и многих уголков немецкой жизни, которая захватывала Мейстера только с известных своих сторон.

Так и тут. Как испытания Телепнева—все это и теперь правдиво, но как и тоги—тут многого недостает. И большинство моих сверстников оставляло Дерпт с оценками и взглядами, на которых лежал значительный налет субъективных чувств.

Иначе и не могло быть. С немцами все мы только сталкивались, а не жили с ними. Сначала, в первые два-три года моего студенчества, русские имели свою корпорацию; потом все мы, после того как ее «прикончили», превратились в бесправных. Немецкие бурши посадили нас на «Vergruf» (по-студенчески есть слово более беспощадное и циничское), и в таком положении мы все дожили до выхода из университета³⁴. С нами немцы не сносились, не разговаривали с нами и в аудиториях и при занятиях в кабинетах и клинике, через что прошел и я с другими медиками. Это было крайне тягостно. Дело кончилось генеральной схваткой, зачинщиком которой и был наш казанец З—н. Она описана в романе довольно беспристрастно.

В подобных условиях полного знакомства с немецким бытом—и студенческим, и бюргерским, и сословно-дворянским—не могло быть и не было. В немецких корпорациях значилось несколько русских, уроженцев Остзейского края, но мы их не знали. Члены русской корпорации жили только «своей компанией», с буршами-немцами имели лишь официальные сношения по комманду, в разных заседаниях, вообще относились к ним не особенно дружелюбно, хотя и были со всеми на «ты», что продолжалось до того момента, когда русских подвергли остракизму.

Стало быть, и мои итоги не могли выйти вполне объективными, когда я оставил Дерпт. Но я был поставлен в условия большей умственной и, так сказать, бытовой свободы. Я приехал уже студентом третьего курса, с серьезной, определенной целью, без всякого национального или сословного задора, чтобы воспользоваться как можно лучше тем «академическим» (то-есть учебно-ученым) режимом, который выгодно отличал тогда Дерпт от всех университетов в России.

В этом я не ошибся. Учиться можно было во-всю, работать в лаборатории, посещать всевозможные курсы, быть у источника немецкой науки, жить дешево и тихо.

Корпорация «Рутения», куда я попал с моими казанцами, в каких-нибудь полгода не только выдохлась для меня, но стала прямо невыносимой.

На нее немецкий «буршикозный» быт подействовал всего сильнее своими отрицательными сторонами. Я нашел кружок из разных элементов, на одну треть русских (немцы из России и один еврей), с привычкой к молодечеству на немецкий лад в виде постоянных попок, без всяких серьезных запросов, даже с принципиальным нежеланием на попойках и сходках говорить о политике, религии, общественных вопросах, с очень малой начитанностью (особенно по-русски), с варварским жаргоном и таким складом веселости и устроумия, который сразу я нашел довольно-таки низменным.

По-своему (как и герой романа Телешнев) был прав. Я ожидал совсем не того и, без всякого сомнения, видел, что казанский третьекурсник представлял собою нечто другое, хотя и явился из варварских, полутатарских стран.

Но так ли оно было на самом деле, если поглядеть «ретроспективным» взглядом? Русским «бурсакам» (как они себя называли в песнях) вредило всего больше подражательный ритуал товарищеской жизни, по образцу немецких корпораций. Когда они сделались «vogelfrei», были посажены немцами на «Verruf», те же самые бурши, к которым присоединились несколько «диких» (Wilde), в том числе и я, зажили гораздо осмысленнее, и в их же среде я мог найти весьма сочувственный отклик на мои опыты писательства.

Наукой, как желал работать я, никто из них не занимался, но все почти кончили курс, были дельными медиками; водились и любители музыки, в последние пятидесятые годы стали читать русские журналы, а немецкую литературу знали все-таки больше, чем рядовые студенты в Казани, Москве или Киеве.

Корпоративный быт привил, кроме того, привычку к более сомкнутому товариществу, при котором нельзя сторониться друг друга.

Суть этого единения была слишком уже пуста, сводилась к кутежу и «шпалашничанью» (то-есть ничегонеделанью), но идея солидарности все-таки держалась.

Меня лично такая совместная жизнь не могла удовлетворять. Превращаясь я в настоящего «бурша», я бы смотрел на это как на сильный шаг назад, на падение своего «я». Для меня в тот момент предмет пылкого культа были точное знание вообще и «наука наук» — химия. А у них на попойках слово «Gelehrter» было шутливо-оскорбительным прозвищем, за которое вызывали на пивную дуэль. Это называлось на ужасном немецко-русском жаргоне «закатить гелертера». Если вдуматься, то такое отношение к учености, к культу науки совсем не так глупо и пошло.

Под этим сидит такой ряд афоризмов: «в юности не напускай на себя излишней серьезности; лови момент, пой и смейся; учись, если желаешь, но на товарищеской пирушке не кичись своей ученостью, а то получишь нахлобучку».

Никто из буршей не возмущался тем, что явившийся из Казани студент хочет изучать химию у Карла Шмидта; но если он желал быть сразу «persona grata», он, поступив «фуксом» в корпорацию, должен был проделывать и х род жизни, то-есть пить и поить других, петь вакхические песни и предаваться болтовне, которая вся вертелась около такого буршикозного прожигания жизни.

За целое полугодие моей выучки, в звании фукса, я не слышал на какой-нибудь вечеринке или попойке (что было одно и то же) разговора, который хоть немного напомнил бы мне, зачем, собственно, переехал я с берегов речки Казанки на берега чухонского Эмбаха.

Можно и теперь без преувеличения сказать, что в самом преддверии эпохи реформ бурши «Рутении» совершенно еще спали, в смысле общественного обновления; они были по всему складу их кружковой жизни—дореформенные молодые люди, как бы ничем не связанные с теми упованиями и запросами, которые повсюду внутри страны уже пробивались наружу.

Один пример из сотни—и самый веский.

И в Казани и в Дерпте состоял при мне все тот же крепостной служитель Михаил Мемнонов, который в Дерпте находил свою материальную жизнь лучше, чем мы, его господа, ходил кормиться к русскому портному, по фамилии Петух, и ел куда вкуснее и свежее, чем мы. В Казани мы с своими товарищами по квартире то и дело говорили о крепостном праве, и все искренно желали его уничтожения. Этот служитель мне не был нужен, и я не отсылал его потому, что привязался к нему и у меня ему было очень хорошо: мы обращались с ним как с приятелем и делились всем, что сами получали. И всем нам делалось весело, когда Михаил Мемнонов пророчески восклицал:

— Не умру крепостным. Будет воля—не сегодня, так завтра!

И что же? За всю мою выучку в корпорации и позднее, когда я видался с буршами, я никогда не слышал ни единого слова на эту тему,—такова была их отчужденность от всего того, что уже назрело «в России».

И все-таки в общем корпорации были культурнее того, как жилильные товарищеские компании Казани с очень грубыми и циничными нравами. Самая выпивка была вставлена в рамки, с известным обрядом, хотя я нашел в «Рутении» двух-трех матерых студентов-«филистеров»

(отслушавших лекции)—настоящих алкоголиков. Не было и цинизма, ни на деле, ни даже на словах, и это обнаруживало несомненный культурный признак. В Казани в разговорах и прибаутках у многих все уснащалось народной «родительской» бранью. Некоторые доходили до прямой виртуозности. У буршей, несмотря на то, что половина приехала сюда из русских городов,—ничего подобного! Это считалось непростительным, даже и в пьяном виде.

Эротические нравы стояли совсем на другом уровне. И в этом давали тон немцы. Одна корпорация (*Fraternitas Rigensis*) славилась особенным, как бы обязательным, целомудрием. Про нее русские бурши любили рассказывать смешные анекдоты,—о том, как «рижане» будто бы шпионили по этой части друг друга, ловили товарищей у мамзелей зазорного поведения.

Но и «мамзелей» в тогдашнем Дерпте водилось очень мало. Открытая проституция почти что не допускалась, не так, как в Казани, где любимой формой молодечества пьяных студенческих ватаг считалось—разбивать публичные дома за Булаком.

Все это в Дерпте было немыслимо. Если мои товарищи по «Рутении», а позднее по нашему вольному товарищескому кружку, грешили против целомудрия, то это считалось «приватным» делом, наружу не всплывало, так что я за все пять лет не знал, например, ни у одного товарища ни единой нелегальной связи, даже в самых приличных формах, а о женитбе тогда никто и не помышлял, ни у немцев, ни у русских. Это просто показалось бы дико и смешно.

Ни одной попойки не помню я с женским полом. Он водился на окраинах города, но в самом ограниченном количестве, из немок и онемеченных чухонек. Все они были наперечет, и разговоры о них происходили крайне редко.

Не отвечаю за всех моих товарищей, но в мою пятилетнюю дерптскую жизнь этот элемент не входил ни в какой форме. И такая строгость вовсе не исходила от одного внешнего гнета. Она была скорее в воздухе и отвечала тому настроению, какое владело мною, особенно в первые четыре семестра, когда я предавался культу чистой науки и еще мечтал сделать из себя ученого.

Какова бы ни была скудость корпоративного быта, среди русских по умственной части все-таки же этот быт сделал то, что после погрома «Рутении» мы все могли собраться и образовать свободный кружок, без всякого письменного устава, и прожили больше двух лет очень дружно.

«Диких» оказалось несколько человек (в том числе и я), и они внесли с собою другой дух, другие повадки. Пало обязательное

выпивание, начались сходки с литературным оттенком, и в моей писательской судьбе они сыграли роль весьма значительную. К тому времени меня уже гораздо сильнее потянуло в сторону беллетристики. На наших сборищах читалась уже в зиму 1858—59 года комедия «Фразеры», первоначально озаглавленная «Шила в мешке не утаишь», которую я решил везти в Петербург печатать и ставить, если она пройдет в Театрально-Литературном комитете.

Наш кружок сплотился еще сильнее в бурные дни массового столкновения с немцами, подробно описанного в моем романе. Тогда все почувствовали себя русскими, даже и те обруселые немцы, какие были в «Рутении». Главного зачинщика, нашего казанца З—на, ударившего немца ремнем по лицу за нежелание давать ему «сатисфакцию» (так как мы все было на ф е р р у ф е), начальство немедленно удалило, продержав взаперти в полицейской тюрьме. Но наш свободный кружок не проникался никаким особенным шовинизмом. На немцев мы смотрели с большей терпимостью, чем они на нас. Страдали от распризмы мы, а не они. Нам казалось все более и более диким, что русским студентам, в России, в императорском университете, нельзя жить без подчинения немецкому «комману», который не имел никакой правительственной санкции. Но и попечитель ничего не мог или не хотел сделать, чтобы прекратить такое status quo. Его разговор с нашими депутатами (роль Телепнева играл я) описан мною без всяких прикрас и всего каких-нибудь четыре года спустя, когда все еще свежо сохранилось в памяти.

Больше уже до выхода моего никаких, ни кровавых, ни рукопашных, столкновений не происходило. Нашим медикам приходилось (как я заметил выше) всего тяжелее в клиниках, где никто из немцев с нами не говорил.

Теперь в Юрьевском университете такие претензии остзейцев показались бы комическими.

Но и тогда существовали давно два польских союза «Щегуль» и «Огул», которые не признавали немецкого общего устава. Они добились этого не без борьбы, и их немцы побаивались уже потому, что в случае дуэлей (по-дерптски «шкандалов») они выходили только на пистолетах, а не на немецких эспадронах, которые мы звали неправильно «рапирами».

Дуэлирование (сохранившееся, как я слышу, и поднесь, по крайней мере у немцев) описано в моем романе. Оно выродилось в смешноватый ритуал, изредка с более серьезными последствиями, и поддерживало в корпоративном быту постоянный задор, амбициозность, невысокого сорта удалство—совершенно так, как до сих пор в Германии, где

шрамы на лице считаются патентом на геройство. В Дерпте ударов по лицу не получали, потому что дуэли официально преследовались, и дрались в огромных кожаных шлемах. Поводы к дуэлям отличались вздорностью, и внутри корпорации и между буршами разных корпораций. Известное количество «шкандалов» надо было иметь с чужими: без этого репутация падала в глазах остальных.

Но и эта полугомерическая игра в средневековые ордалли давала известный тон, вырабатывала большее сознание своего, хотя бы и внешнего, достоинства. Всякий должен был отвечать не только за свои поступки, но и за слова. Оправдания состоянием опьянения (так частого у буршей) не принимались.

С таким пережитком варварства я никогда не мирился и всегда это высказывал. И тогда уже среди немцев водились студенты (особенно теологи), которые не дрались, объявляя это «против их убеждения». Но в «Рутении» таких не было. Как всегда, русские, когда обезьянят с чужого, теряют всякую самобытность. Но все это было — напускное. Доказательство налицо. Те же бурши, после того как сбросили с себя это «коммана» и стали вместе с нами «дикими», жить свободным товарищеским кружком, утратили всякий задор. В течение двух лет не случилось у нас ни одной дуэли, ни одной даже неприятной истории между своими, не оказалось надобности учреждать и «суд чести», какой завели у себя немцы. Это учреждение (вероятно, оно и до сих пор существует) поддерживало известную нравственную дисциплину; идею его похвалить нельзя, но разбирательства всего больше вертелись около «шкандалов», вопросов «сатисфакции» и подчинения «комману»; я помню, однако, что несколько имен стояло на так называемом «Verrufszettel» за неблагоприятные поступки, хотя это и не вело к ходатайствам перед начальством об исключении, даже и в случаях подозрения в воровстве или мошеннических проделках.

Наш вольный кружок уже через каких-нибудь полгода потерял прежнюю буршикозную физиономию. Нас, «диких», припесних с собою другие умственные запросы и другие нравы, прозвали эллинами в противоположность старым, пелазгам. Полного слияния, конечно, не могло произойти, но жили в ладу, с преобладанием эллинской культуры.

В подведении этих дерптских итогов я уже забежал вперед. Держаться хронологического порядка — повело бы к лишним подробностям, было бы очень пестро, пришлось бы и разбрасываться. Лучше будет разделить то, о чем стоит вспомнить, на несколько крупных пунктов.

Сначала—что представлял собою Дерпт в его общей жизни, как «академический» городок и как уездный городок Остзейского края, который все-таки входил в состав Русской империи и в известной степени испытывал неизбежное воздействие нашего государственного и национального строя?

Затем—университет в его лучших представителях, склад занятий, отличие от тогдашних университетских городов, сравнительно, например, с Казанью, все то, чем действительно можно было попользоваться для своего общего умственного и научно-специального развития; как поставлены были студенты в городе; что они имели в смысле обще-развивающих условий; какие художественные удовольствия; какие формы общительности вне корпоративной, то-есть почти исключительно трактирной (по «кнейпам»), жизни, какую вело большинство буршей?

Русское общество в тогдашнем Дерпте, все знакомства, какие имел я в течение пяти лет, и их влияние на мое развитие. Наши светские знакомства, театральное любительство, характер светскости, отношение к нам, студентам, русских семейств и все развивавшаяся связь с тем, что происходило внутри страны, в наших столицах.

Мои экскурсии в вакационное время. Петербург, Москва, Нижний, деревня. Расширение кругозора наблюдений и всякого рода жизненных опытов.

В связи со всем этим до мне шла и внутренняя работа, та борьба, в которой писательство окончательно победило, под прямым влиянием обновления нашей литературы, журналов, театра, прессы. Жизнь все сильнее тянула к работе бытописателя. Опыты были проделаны в Дерпте в те последние два года, когда я еще продолжал слушать лекции по медицинскому факультету. Найдена была и та форма, в какой сложилось первое произведение, с которым я дерзнул выступить уже как настоящий драматург, еще нося голубой воротник.

«Ливонские Афины» представлялись издали, как и нам из Казани, чем-то гораздо более заграничным, вообще чем-то красивее и привлекательнее того, что имелось в действительности.

Дерпт, теперешний Юрьев, был в то время, то-есть полвека назад, городом лучше обстроенным и более культурным, чем все уездные города, в каких я тогда бывал, даже самые многолюдные и бойкие. Его можно было сравнивать только с губернскими городами, не такими, как, например, Саратов, Казань, Харьков, Киев, Нижний, но—весьма и весьма в его пользу—с такими, как Владимир, Витебск, Кострома. Выше я уже говорил, как он до сих пор мало изменился в своем центре, самом характерном квартале, на Маркте и смежных улицах.

Здание университета его не красит, потому что стоит в стороне, на узкой площадке. Но холмы, разбитые под парк (так называемый Dom), где руины католической церкви рыцарского ордена и здание клиник, анатомического театра и кабинетов, придают Дерпту особый, живописный и совсем не провинциальный отпечаток. Эти верхи в последние годы обстроились в направлении железной дороги и разрослись в новый квартал, который был для меня неожиданностью, когда я навестил Юрьев после с лишком тридцатилетнего отсутствия, в девятидесятых годах.

И тогда в Дерпте можно было и людям, привыкшим к комфорту более, чем студенческая братия, устроиться лучше, чем в любом великорусском городке. Были недурные гостиницы, немало сносных и недорогих квартир, даже и с мебелью, очень дешевые парные извозчики, магазины и лавки всякого рода (в том числе прекрасные книжные магазины), кондитерские, клубы, разные фореины, целый ассортимент студенческих ресторанов и кнейпов.

Немецкая печать лежала на всей городской культуре, с сильной примесью народного, то-есть эстонского, элемента. Языки слышались на улицах и во всех публичных местах, лавках, на рынке почти исключительно—немецкий и эстонский. В базарные дни наезжали эстонцы, распространяя запах своей махорки и особенной чухонской вони, которая бросилась мне в нос и когда я попал в первый раз на базарную площадь Ревеля, в девятидесятых годах.

Но и тогда уже, то-есть во второй половине пятидесятых годов, чувствовалось то, что «Ливонские Афины» принадлежат русскому государству и представляют собою уездный город Лифляндской губернии.

Во-первых, я нашел там в зиму 1855—56 года целый гвардейский уланский полк, тот самый, где тогда еще служил Фет-Шеншин в обер-офицерских чинах. Он и воспитывался в немецком пансионе, в одном из городков Лифляндской губернии. Долго оставался в Дерпте и целый отряд корпуса топографов с училищем; была русская пробирная палатка, русская почта, разные другие присутственные места; много колоннальных лавок, содержимых нашими ярославцами; а на базар приезжали постоянно русские староверы-беспоповцы из деревни Черной.

Город жил так, как описано в моем романе. Там ничего не прибавлено и не убавлено. Внешняя жизнь вообще была тихая, но не тише, чем в средних русских губернских городах, даже бойчее—по езде студентов на парадных пролетках и санях, особенно когда происходили периодические попойки и загородные экскурсии.

Мы, русские студенты, мало проникали в домашнюю и светскую жизнь немцев разных слоев общества. Сословные деления были такие же,

как и в России, если еще не сильнее. Преобладал бюргерский класс немецкого и онемеченного происхождения. Жило домами и немало каксов, то-есть дворян-балтов. Они имели свое сословное собрание «Ressource», давали балы и вечеринки. Купечество собиралось в своем «Casino», а мастеровые и мелкие лавочники—в «Шустерклубе»— («Bürgermüsse»).

Всякий остзеец из Риги, Митава, Ревеля, а тем более из мелких городов Прибалтийского края, находил в Дерпте все, к чему он привык, и ему жизнь в Дерпте должна была нравиться еще и по тому оттенку, какой придавала ей университетская молодежь.

При всей «буршикозности» корпоративного быта уличных оказательств молодечества почти что не водилось: шумной, бешеной езды, задиранья женщин, ночных скандалов. В одиннадцать часов педеля производили ночной обход всех ресторанов и пивных, заходили во все квартиры, где «анмельдованы» были попойки, и просили студентов разойтись³⁵.

В самые глухие часы уличная тишина нарушалась только студенческим corteжом, в санях или шарабанах, за город, в те корчмы, где происходили обыкновенно дуэли на рапирах.

Немец-гимназист из других городов края, попадая в дерптские студенты, устраивался по своим средствам и привычкам сразу, без всяких хлопот, и если в корпорации делал долги и тратил сравнительно много, то «диким» мог проживать меньше, чем проживали мы и в русских провинциальных университетских городах.

Слышно, что и теперь бедняки едут в Юрьев, зная, что там можно просуществовать чуть не на пятнадцать рублей в месяц!

То же возможно было и тогда.

Обыкновенно полугодовую квартиру, одну комнату с передней или без нее, нанимали с отоплением и мебелью за двадцать-тридцать рублей. Обед на двоих стоил тогда от 4 до 6 рублей. Какой это был обед—не спрашивайте! Но такой едой довольствовались две трети студенчества, остальная треть ела в кнейпах и в «ресторанах» («Restauration») с ценами порций от пятнадцати до тридцати копеек.

Ничтожное меньшинство ходило в ресторан тогдашнего «Hôtel London»—с выписанными из Пруссии кельнерами, где можно было есть на марки—по двадцати копеек каждая.

Стоит все-таки напомнить, что такое был тот обед, который мы имели помесечно. Его приносили в судках (по-тамошнему—«менажки»). Он состоял из двух блюд, при чем каждое блюдо составляло, по большому выражению, только полпорции. Суп вы редко получали;

его заменяла каша-размазня или род лапши с прогорклым маслом. Второе блюдо—якобы мясное; но те «кровяные котлеты с патокой и коринкой», о которых упоминается в моем романе, не принадлежат вовсе к поэтическим мифам, а могли быть отнесены и к реальным возможностям.

И на такую-то пищу мы с моим казанским товарищем З—чем сразу сели. Состояние наших финансов вскоре так ослабло, что пришлось, поджидая присылки денег, питаться не одну неделю сухарями из ржаного хлеба (мы их сами сушили в печке) с дешевым местным сыром, по двенадцати копеек фунт.

Тут я открою скобку и повторю еще раз (чтобы к этому уже более не возвращаться), что мы в наше студенческое время—и в Казани, и в Дерпте, да и в столицах—не смотрели такими глазами на свою нужду, как нынешняя молодежь.

Ведь и в наше время везде было немало бедняков среди своекоштных студентов. Согласитесь, если вы кормитесь месяцами на два рубля, питаетесь неделями черными сухарями со скверным сыром и платите за квартиру четыре-шесть рублей в месяц, вы—настоящий бедняк.

Но тогда не было в обычае, как я уже заметил, вызывать в обществе особый вид благотворительности, обращенной на учащихся. Не знали мы, студенты, того взгляда, что общество как будто обязано нас поддерживать. Это показалось бы нам прямо унижительным, а теперь это—норма, нечто, освященное традицией.

Не хочу впадать здесь в резко обличительный тон. При нынешних прерогативах университетской молодежи это—скользящая почва. Но я утверждаю положительно, что мы мирились с бедностью, дурной пищей, плохой квартирой—гораздо охотнее и выносливее; не позволяли себе делать из этой бедности какого-то мундира. А помощь тогда являлась крайне редко и скудно. Были казенные студенты, живущие в университете или нет (как в Петербурге), были кое-какие субсидии, но такого всеобщего искания денежной поддержки от государства и общества положительно не водилось в нравах студентов ни в Казани, ни в Дерпте. Благотворительных обществ для поддержки студентов нигде не было.

Я до сих пор не знаю, сколько тогда значилось в Дерпте «казенных» студентов среди немцев, поляков, эстонцев и латышей; но среди русских—ни буршей, ни «диких»—не помню ни одного.

А какие мы были богачи, видно из того, что я сейчас привел насчет нашего питания с З—чем в первый семестр нашего дерптского житья.

Правда, при мне состоял крепостной служитель. Но это была для меня только лишняя обуза. Приходилось брать квартиру побольше, а кормился наш Михаил Мемнонов у портного Петуха гораздо лучше нас—его господ!

Возвращаясь к городу Дерпту и его ресурсам в те месяцы, когда университет жил полною жизнью.

По развлечениям Дерпт за все время моего житья там не отличался большим разнообразием.

Театр не допускался—именно не допускался, а не то, что не мог бы существовать.

Этот запрет шел прямо от университетского начальства. Опасаясь, должно быть, лишних расходов и отвлечения от занятий или влияния на нравственность студентов закулисных сфер.

Но расчет отсылался филистерски-учительским недомыслием.

Нынче и для народа строят у нас великолепные театры, и хлопочут об этом общества народной трезвости, желая оттягивать народ—от чего?—от пьянства.

А в Дерпте кутежей, то-есть попросту пьянства, и у немцев, и у русских было слишком достаточно. Кроме попок и «шкандалов», не имелось почти никаких диверсий для молодых сил. Театр мог бы сослужить и общепросветительную и эстетическую службу.

Но начальство рассуждало по-своему, а эта традиция сохраняется, если не ошибаюсь, и до сегодня.

Только с половины мая приезжала в Дерпт плохая труппа из Ревеля и давала представления в балагане—в вакационное время, и то за чертой города, что делало места вдвое дороже, потому что туда приходилось брать извозчика *.

К чему же сводились художественные развлечения? Исключительно к музыке, к концертам в университетской актовой зале. Давались концерты, где действовал местный оркестр любителей и пелись квартеты членами немецких кружков—почти всегда студентами. Стоячие места стоили довольно дорого, всегда около рубля. Наезжали и знаменитости, но редко.

Больше студенту некуда было деться вечером. В «Шустерклуб» вход им был затруднен из боязни скандалов, а остальные два клуба были мужские, картежные.

Так тянулось до учреждения университетского клуба—«Akademische Musse», в казенном здании, около университета, где ввиду испокон века помещался один из книжных магазинов.

* Такой остракизм театра поддерживался и пьезтизмом местного лютеранства.

Идею этого клуба поддерживал тогдашний попечитель, сенатор Брадке, герренгутер-пиетист³⁶ и когда-то адъютант Аракчеева, умный и тонкий старичок, который давал мне рекомендательное письмо в Петербург к одному академику, когда я поехал туда продавать перевод химии Лемана.

«Академическая Мусса» объединяла профессоров со студентами, и студенты были в ней главные хозяева и распорядители. Представительство было по корпорациям. Я тогда уже ушел из бурсадкой жизни, но и как «дикий» имел право сделаться членом Муссы. Но что-то она меня не привлекала. А вскоре все «рутенисты» должны были выйти из нее in corpore, после того как немцы посадили и их и нас на «ферруф».

В этом профессорско-студенческом клубе шла такая жизнь, как в наших смешанных клубах, куда вошли и дамы: давались танцевальные и музыкальные вечера, допускались, кажется, и карты, имелись столовая и буфет, читались общедоступные лекции для городской публики.

Русские в Дерпте вне студенческой сферы держались, как всегда и везде, скорее разрозненно. И только в последние два года моего житья несколько семейств из светско-дворянского общества делали у себя приемы и сближались с немецкими «каксами». Об этом я поговорю особо, когда перейду к итогам тех знакомств и впечатлений, через какие я прошел, как молодой человек, вне университета.

Никакого общества или организованного кружка среди русских чиновников, купцов, учителей я не помню в те времена.

В церкви сходились все, и в доме старшего священника, который в то же время читал для православных обязательный курс не только богословия и церковной истории, но психологии и логики.

Только под самый конец этого пятилетнего периода образовался род общества, которое открыло школу для девочек местных православных из простого люда, и я там целый год преподавал грамматику и арифметику.

Вот как жил город Дерпт, в крупных чертах, и вот что казанский третьекурсник, вкусивший довольно бойкой жизни большого губернского города с дворянским обществом, мог найти в «Ливонских Афинах».

Теперь остановлюсь на том, что Дерпт мог дать студенту вообще—и немцу или онемеченному чухонцу, и русскому, и такому, кто поступил прямо в этот университет, и такому, как я, который приехал уже «матерым» русским студентом, хотя и из провинции, но с определенными и притом высшими запросами.

Тогда Дерпт еще сохранял свою областную самостоятельность. Он был немецкий, предназначен для остзейцев, а не для русских, которые составляли в нем ничтожный процент.

Но не нужно думать, что государственная власть не делала и тогда попыток к некоторому обрусению. Каждого студента на всех факультетах, в том числе и русского (что было совершенно лишнее), обязывали слушать лекции русской литературы. Их экзаменовали и из русского языка при поступлении в студенты. Но и то и другое сводилось к формальности. Масса остзейцев из своих гимназий (где уже читали русский язык), окончивая курс с порядочными теоретическими познаниями, совершенно забывали русский язык к окончанию курса в университете. А те остзейцы из русских, которые там родились в онемеченных семействах, ходя на лекции православного богословия, не понимали того, что читает протоиерей. Помню два таких продукта остзейского быта: фон-Антропова и сына русского дьячка в Ревеле, по фамилии Цветков (или что-то в роде этого), который все время состоял буршем в корпорации «Эстония».

Нечего и говорить, что язык везде—в аудиториях, кабинетах, клиниках—был обязательно немецкий. Большинство профессоров не знали по-русски. Между ними довольно значительный процент составляли заграничные, выписные немцы, да и остзейцы редко могли свободно объясняться по-русски, хотя один из них, профессор Ширрен, заядлый руссофоб, одно время читал даже русскую историю.

Но мы разбираем здесь не вопрос национальной политики. На Дерптский университет следовало такому русскому студенту, как я, смотреть как на немецкий университет и дорожить именно этим, ожидая найти в нем повышенный строй всей учебной и ученой жизни.

И в общем и в подробностях ожидания эти могли сбываться.

Уровень—не на всех факультетах одинаково—был действительно повышен, особенно в сравнении с Казанским университетом.

На моих двух факультетах—сначала физико-математическом, потом медицинском—можно было учиться гораздо серьезнее и успешнее. Я уже говорил, что натуралисты и математики выбирали себе специальности, о каких даже и слыхом не слыхали студенты русских университетов, то, что теперь называется—«предметная система».

И в то же время всякий химик, физик или натуралист в тесном смысле слушал все факультетские предметы. В профессорском составе значились такие ученые, как Карл Шмидт (химия), Кемц (физика), Медлер (астрономия). В Казани, кроме как в анатомическом театре да в лаборатории, нигде не работали студенты. О физиологическом кабинете, о vivisectionях и демонстрациях на аппаратах на лекциях физиологии

там не имели понятия. Профессор Берви показывал казанцам процесс деятельности сердца на своем носовом платке. Там терапию читал гомеопат, а фармакологию—запоздалый эскулап, который рекомендовал марену против бледной немочи!

А в Дерпте на медицинском факультете я нашел таких ученых, как Биддер, сотрудник моего Шмидта, один из создателей животной физиологии питания, как прекрасный акушер Вальтер, терапевт Эрдман, хирурги Адельман и Этинген и другие. В клиниках пахло новыми течениями в медицине, читали «privatissima», по разным отделам теории и практики. А в то же время в Казани не умели еще порядочно обходиться с плессиметром³⁷, и никто не читал лекций о «выстукивании» и «выслушивании» грудной полости.

Блестящих и даже просто приятных лекторов было немного на этих двух факультетах. Лучшим считались физик Кемц и физиолог Биддер (впоследствии ректор)—чрезвычайно изящный лектор, в особом, приподнятом, но мягком тоне. Остроумием и широтой взглядов отличался талантливый неудачник, специалист по палеонтологии Асмус. Эту симпатичную личность и его похороны читатель найдет в моем романе вместе с портретами многих профессоров, начиная с моего ближайшего наставника Карла Шмидта, недавно умершего.

Он читал так связано и стремительно, что я долго не понимал его. Но особенно плохой дикцией и диалектикой отличался профессор Бухгейм—создатель новейшей фармакологии, и Рейсснер, анатом, обесмертивший себя отпрепарированнем маленькой неровности в ушной кости, которая носит его имя: «recessus Reissnerii». Этот читал ужасно по монотонности и «дубиноватости», как говорили мы, русские; но работать у него по описательной и микроскопической анатомии все-таки можно было не так, как в Казани. При мне кафедры «микроскопической анатомии» там и совсем еще не имелось.

Чтобы наглядно убедиться в громадной разнице «академических» (выражаясь и по-дерптски) порядков в Казани и Дерпте, стоит перечсть в моем романе описание экзаменов там и тут.

В Казани экзаменовались, как школьники, иногда даже со своими билетами, выдергивая их из-под обшлага мундира, в актовом зале, на вытяжку перед столом экзаминатора.

В Дерпте не было и тогда курсовых экзаменов ни на одном факультете. Главные предметы сдавали в два срока: первая половина у медиков—«philosophicum», а у остальных—«rigorosum». Побочные предметы дозволялось сдавать когда угодно. Вы приходили к профессору, и у него на квартире или в кабинете, в лаборатории, садились перед ним и давали ему вашу матриккульную книжечку, где он и производил отметки.

По химии мой двухлетний *rigorosum* продолжался целый день, в два приема, с глазу на глаз с профессором и без всяких других формальностей. Но из одного такого испытания можно бы выкроить дюжину казанских студенческих экзаменов. Почти так экзаменуют у нас разве магистрантов.

Для того, кто бы пожелал расширить свои познания и в аудиториях других факультетов (что нисколько не возбранялось), тогдашний Дерпт был в общем опять-таки выше. Особенно даровитых и блестящих лекторов водилось не много. На историко-филологическом факультете преобладала классическая филология, кафедры всеобщей литературы не имелось (да, кажется, и до сих пор ее нет). Но историю философии и разные части ее читали тогда только в Дерпте ³⁸, и профессор Штрюмпель, последователь Гербарта, заграничный немец, выделялся своей диалектикой. Психологию он читал по Бенеке. Филология и лингвистика обогащались и восточными языками—на богословском факультете: арабским, сирийским и еврейским языками. Теология стояла на высоте германской экзегетики, и некоторые лекции могли весьма и весьма развивать и стороннего слушателя. Но направление на этом факультете отзывалось ортодоксальным лютеранством, хотя в городе водились и герренгутеры. Ортодоксальность большинства профессоров-теологов не мешала им преподавать, кроме лютеран, и тем полякам-кальвинистам, которые в Дерпте получали свое богословское образование, будущим кальвинистским пасторам.

По русской истории, праву и литературе приходилось довольствоваться более скудным составом профессоров и программ. Сколько помню, единственный русский юрист Жиряев по уходе его не был никем заменен. Русскую историю читал одно время приехавший после нас из Казани профессор Иванов, который в Дерпте окончательно спился, и его аудитория, сначала многолюдная, совсем опустела. Русскую литературу читал интересный москвич, человек времени Надеждина и Станкевича, зять Н. Полевого, Михаил Росберг; но этот курс сводился к трем-четырем лекциям в семестре. Лектором русского языка состоял Павловский, известный составитель лексикона, который в мое время и стал появляться в печати у рижского книгопродавца Киммеля.

Если б прикинуть Дерптский университет к германским, он, конечно, оказался бы ниже таких, как Берлинский, Гейдельбергский или Боннский. Но в пределах России он давал все существенное из того, что немецкая педия вырабатывала на Западе. Самый немецкий язык вел к расширению умственных горизонтов, позволял знакомиться со множеством научных сочинений, неизвестных тогдашним студентам в России и по заглавиям.

И все это—на почве большой умственной и учебной свободы. Студенчество подчинялось надзору только в уличной, трактирной и бурсацкой жизни. Этот надзор производили педеля—род сторожей. Но в университетское здание, в аудитории, кабинеты и даже коридоры они не заглядывали. Инспектора и субов и вовсе не существовало. И даже обер-педель, знаменитый старик Шмидт, допускался только в правление, докладывая ректору (впоследствии проректору) о провинившихся студентах, которых вызывали для объяснения или выслушивания выговоров и вердиктов университетского суда.

Как «возделыватель» науки (*cultor*), студент не знал никаких стеснений; а если не попадался в кутежных и дуэльных историях, то мог совершенно игнорировать всякую инспекцию. Его не заставляли ходить к обедне, носить треуголку, не переписывали на лекциях или в шинельных, как делали еще у нас в недавнее время.

По факультетам словесному и юридическому устраивали уже и тогда семинарии; а теологи *eo ipso* упражнялись в красноречии и представляли на просмотр свои произведения.

И та даже крайняя специализация, какую я нашел на физико-математическом факультете, существовала и у словесников и у юристов. Значилось несколько разрядов; кончали курс и «экономистами», и «дипломатами», и даже специально по статистике и географии.

При том же стремлении к строгому знанию, по самому складу жизни в Казани, Москве или Петербурге нельзя было так устроить свою студенческую жизнь в интересах чисто научных, как в тихих «Ливонских Афинах», где некутящего молодого человека, ушедшего из корпорации, ничто не отвлекало от обихода, ограниченного университетом с его клиниками, кабинетами, библиотекой, и не веселого, но бодрящего и целомудренного одиночества в дешевой студенческой мансарде.

Словом, для общеευропейского умственного роста—находил это и я и все, кто приезжал сюда учиться, а не «шалдашничать»,—Дерпт, как университет немецко-остзейского склада, мог дать очень многое. Но для русского молодого человека с того момента, как наше отечество к 1856 году встрепенулось и пошло другим ходом, в стенах «*alma mater*» воздух оставался совершенно чужим. Если бы за все пять лет забыть о том, что там, к востоку, есть обширная родина и что в ее центрах и даже в провинции началась работа общественного роста, что оживились литература и пресса, что множество новых идей, упований, протестов подталкивало поступательное движение России в ожидании великих реформ,—забыть и не знать ничего, кроме своих немецких книг, лекций, кабинетов, клиник, то вы не

услыхали бы с кафедры ни единого звука, говорившего о связи «Ливонских Афин» с общим отечеством. Обособленность, исключительное тяготение к тому, что делается на немецком Западе и в Прибалтийском крае,—вот какая нота слышалась всегда и везде.

Это равнодушие к русскому движению оттолкнуло меня и от русских буршей, и только когда рухнула корпорация и образовался новый, вольный русский кружок, наши закорузлые «бурсаки» стали сбрасывать с себя эту чисто дерптскую обособленность и безличный индифферентизм.

В борьбе двух направлений, какая началась во мне в последние годы дерптской выучки, будущий писатель и пробудился и наметил свой путь в воздухе русских интересов, знакомств и интимных испытаний.

Начало этого внутреннего процесса совпало с образованием (после разрыва русской корпорации с немцами) нашего нового товарищеского кружка. К тому времени и меня начало забирать то, что шло из России. Я стал зачитываться русскими журналами. Горный чиновник, заведывавший местной пробирной палаткой, организовал дешевый абонемент на русские журналы, и мой служитель Михаил Мемнонов очутился в рассылных. Горный инженер был еще молодой малый, холостяк, ходил на лекции и в кабинеты при кафедре минералогии (ее занимал довольно обруселый остзеец профессор Гревингк) и переводил учебник минералогии. На просмотре этого перевода (по части языка) мы и сошлись.

Квартира при пробирной палатке была обширная, с просторной залой, и в ней я впервые участвовал в спектаклях, которые устраивались учениками школы топографов, помещавшейся в том же казенном доме. Как во времена Шекспира, и женские роли у нас исполняли подростки-ученики. Мы сладили «Женитьбу» и даже второй акт из «Свадьбы Кречинского», при чем я играл в гоголевской комедии Кочкарева, а тут—Расплюева. Пьеса Сухова-Кобылина была еще внове, и я успел видеть ее в Москве в одну из вакационных поездок домой.

Но и раньше, еще в «Рутении», я в самый разгар увлечения химией, после казанского повествовательного опыта (вещица, посланная в «Современник»), написал юмористический рассказ «Званные блины», который читал на одной из литературных сходок корпорации. И в ней они уже существовали, но литература была самая первобытная, больше—немудрые стихи и переводы. Мой рассказ произвел сенсацию и был целиком переписан в альбом, который служил летописью этих литературных упражнений.

Через «рутенистов» познакомился я и сошелся (уже позднее, когда вышел из корпорации) с типичным человеком сороковых годов, но

совсем не в том значении, какое этот термин приобрел в нашем писательском жаргоне.

Это был русский барин с большим учено-литературным багажом, со своеобразной и чудаковатой умственной и нравственной физиономией—С. Ф. Уваров.

Таких я еще до того не встречал; не встречал никогда и нигде, ни в каких сферах и наслоениях русской интеллигенции.

По времени своей студенческой юности он принадлежал поколению Тургенева, Каткова, Леонтьева, Кудрявцева и одновременно с ними попал в Берлин, где страстно предавался изучению филологии и истории литературы, в особенности Шекспира и итальянских поэтов. Но он вышел не из русской школы, кажется, не был никогда гимназистом, не готовил себя ни к какой профессии. Сергей Федорович родился и воспитывался в богатой и родовитой семье, от отца—генерала эпохи Отечественной войны, и матери—Луниной, фрейлины императрицы Елизаветы Алексеевны и родной сестры известного декабриста Лунина. Отца он рано лишился и с тех пор состоял «при маменьке» до весьма почтенных годов, все холостяком и вечным буршем, но буршем чисто платоническим, а в сущности архикабинетным человеком.

Германия, ее университетская наука и «академические» сферы укрепили в нем его ненасытную, но неупорядоченную любознательность и слабость ко всему традиционному складу немецкой студенческой жизни, хотя он по своей болезненности (настоящей или мнимой) не мог, вероятно, и в юности быть кутилой.

Из-за границы он уже во второй период своей юности попал в Дерпт, здесь держал на кандидата и потом на магистра, не по филологии, а по истории.

При мне он приехал «с маменькой» на новое житье уже магистром, человеком под сорок (если не за сорок) лет, с лысой характерной головой, странного вида и еще более странных приемов, и в особенности жаргона. Его «маменька» открыла у себя приемы, держала его почти как малолетка, не позволяла даже ему ходить одному по улицам, а непременно с лакеем, из опасения, что с ним сделается припадок.

Когда я стал бывать у него и был приглашен на обеды и вечера «гёйеральши», я нашел в их квартире обстановку чисто тамбовскую (их деревня и была в той губернии)—с своей крепостной прислугой, ключницей, поваром, горничными.

С «рутенистами» Уваров держался, как бывший бурш; ходил на их вечеринки, со всеми, даже с юными «фуксами» был на «ты» и смотрел на их жизнь с особой точки зрения, так сказать, символической. Он находил такую жизнь «лихой» и, участвуя в их литературных сходках,

читал там свои стихи и очерки, написанные чрезвычайно странным, смешанным языком, который в него глубоко влезся.

Он же позже падения «Рутении», когда сложился наш новый кружок, пустил прозвища «пелазгов» и «эллинов».

Даже по своей европейской выучке и культурности он был дореформенный барин-гуманист, словесник, с культом всего, что германская наука внесла в то время в изучение и классической древности, и Возрождения, и Средневековья. Уварова можно было назвать «исповедником» немецкого гуманизма и романтизма. И Шекспира и итальянских великих поэтов он облюбовал через немцев, под их руководством.

И в то же время он продолжал проходить по иерархии высших ученых степеней, как историк, но в сущности никогда им не был. Не знаю, имел ли он когда-либо определенное намерение занять в России кафедру истории, древней или новой; по крайней мере, он ничего не делал, чтобы этого добиться. Его магистерская диссертация, защищенная до моего приезда в Дерпт, называлась: «*De sedibus Bulgarorum*», а докторская, которую он защищал при мне уже в конце пятидесятих годов, написанная также по-латыни (тогда это еще требовалось от словесника), носила такое трудно переваримое заглавие: «*De provinciarum imperii Orientis administrandarum forma mutata*».

Эта старина—древняя Болгария (когда болгары еще сидели на Волге) и Византия—не находилась нисколько в связи с его постоянно взвинченным, чисто литературным настроением, но литературным не в смысле художественной писательской работы, а по предметам своих чтений, бесед, записей.

Повторяю: такого русского барина-интеллигента, с таким словесным дилетантством высшего пошиба, с таким обширным заласом чтений, воспоминаний, подготовки, при постоянном подъеме пестрой и своеобразной диалектики, я не знавал ни в людях его поколения, ни в дальнейших поколениях.

Как питомец тогдашних немецких аудиторий, он сохранил гораздо больший германский налет, чем, например, Тургенев. Не сухая эрудиция, не аппарат специальной учености отличали его, а неизменно юношеская любовь к прекрасному творчеству, к эллинской и римской мифологии и поэзии, к великому движению итальянских гуманистов, к старой английской литературе, Шекспиру и его предшественникам и сверстникам, ко всем крупнейшим моментам немецкой поэзии и литературы, к людям «*Sturm und Drang*» периода, до романтиков первой и второй генерации—к Тикам, Шлегелям, Гофманам, Новалисам.

Из такого высшего дилетантства не могло вытечь строгой научной работы. Мешала этому вся психическая организация этого русского

барина-гуманиста. Натура слишком нервная, склонная к постоянным скачкам, к переходу от одной умственной области к другой. В своих записных книжках, которые составляли уже тогда целую библиотеку, записи он постоянно делал на всех ему известных языках: по-гречески, по-латыни, по-немецки, французски, английски, итальянски—и не цитаты только, а свои мысли, вопросы, отметки, соображения, мечты.

Судьба точно нарочно свела меня с таким человеком в ту полосу моей дерптской жизни, когда будущий писатель стал забивать естественника и студента медицины.

Сближение пошло быстро. От него пахнули на меня разом несколько изящных литератур и несколько эпох. В беседах с ним я бывал обвешан неувядаемыми красотами древнего и нового творчества, и во мне все разгоралась потребность расширить, насколько возможно, мое словесное образование, прочесть многое, если не в подлинниках, то в переводах. Тогда же зародилось во мне желание изучать английский язык. Эсхил, Софокл, Эврипид, Шекспир, Данте, Ариосто, Боккачио, Сервантес, испанские драматурги, немецкие классики и романтики—специально «Фауст»—и вплоть до лириков и драматургов тридцатых и сороковых годов, с особым интересом к Гейне,—вот что вносил с собою Уваров в наши продолжительные беседы у него в кабинете. И все это было скрашено и согрето его тоном, юмором, возгласами и полетами фантазии. Трудно было не привязаться к такому чудаку и не быть ему благодарным за те «заряды», какие давали моему назревающему писательству подобная подготовка и беззаветная любовь к области прекрасного слова.

К современным «злобам дня» он был равнодушен, так же, как и его приятели, бурсаки «Рутении». Но случилось так, что именно наше литературное возрождение во второй половине пятидесятых годов подало повод к тому, что у нас явилась новая потребность еще чаще видаться и работать вместе.

В это время он ушел в предшественников Шекспира, в изучение этюдов Тэна о старо-английском театре. И я стал упрашивать его разработать эту тему, остановившись на самом крупном из предтеч Шекспира—Христофоре Марло. Язык автора мы и очищали целую почти зиму от чересчур нерусских особенностей. Эту статью я повез в Петербург уже как автор первой моей комедии и был особенно рад, что мне удалось поместить ее в «Русском Слове».

Я тут по необходимости забегаю вперед. Перед этим прошло два дерптских сезона. Уваров продолжал жить домом, и мы—русские студенты—сделались в нем постоянными «филистерьянами»,—следуя жаргону буршей. Там я ставил впервые в Дерпте комедию Островского

«Не в свои сани не садись», где играл Бородкина, и этот памятный тамошним старожилам спектакль начался комическими сценами из шекспировского «Сна в летнюю ночь», в немецком переводе Тика; а мендельсоновскую музыку исполнял за сценой в четыре руки сам С. Ф. с одним из бывших «рутенистов», впоследствии известным в Петербурге врачом, Тицнером.

Дом Уварова и был за этот период тем местом, где на русской почве (несмотря на международный гуманизм С. Ф—ча) мои писательские стремления усилились и проявляли себя и в усиленном интересе к всемирной литературе и во все возраставшей любви к театру, в виде сценических опытов.

От Уварова пошли и другие русские знакомства в той дворянской светской полосе, какая сложилась в Дерпте в последние мои зимы.

На окраинах Дерпта стояла знаменитая «мыза Карлово»—когда-то постоянная летняя резиденция Фаддея Булгарина—обширные хоромы с картинной галлереей (с весьма грубоватыми новыми картинами), концертной залой и садом.

В ней две зимы жило семейство князя М. А. Дондукова-Корсакова. Через Уваровых и старшую дочь князя Марью Михайловну я сделался вхож в их дом и сошелся со всем женским персоналом этой фамилии, начиная с самой княгини и двух старших дочерей. Здесь, в гостеприимном Карлове, происходила моя дальнейшая писательская эволюция. Все свои досуги и в дневные и в вечерние часы я проводил в Карлове целых два года. Здесь я брал уроки английского языка у одной из княжен, читал с ней Шекспира и Гейне, музицировал с другими сестрами, ставил пьесы, играл в них как главный режиссер и актер, читал свои критические этюды, отдельные акты моих пьес и очерки казанской жизни, вошедшие потом в роман «В путь-дорогу».

Там же завязывались и мои остальные знакомства. Довольно часто на обедах и вечерах бывал у них профессор М. П. Росберг, слушал мои вещи и охотно рассказывал о литературно-университетской Москве тридцатых и сороковых годов. Как профессор, он был лентяй, и я ничем не мог у него попользоваться; но как у собеседника и человека своей эпохи—очень многим. Он же, когда я—уже автором, напечатавшим целую пятиактную комедию,—отправился окончательно в Петербург, дал мне письмо к своему сверстнику П. А. Плетневу, бывшему тогда ректором университета.

В Карлове после Дондуковых поселилась семья автора «Тарантаса», графа В. А. Соллогуба, которого я впервые увидел у Дондуковых, когда он приехал подсмотреть для своего семейства квартиру, еще за год до найма булгаринских хором.

Признаюсь, он мне в тот визит к обывателям Карлова не особенно приглянулся. Наружностью он походил еще на тогдашние портреты автора «Тарантаса», без седины, с бакенбардами, с чувственным ртом, очень рослый, если не тучный, то плотный; держался он сутуловато и как бы умышленно небрежно, говорил, мешая французский жаргон с русским,—скорее деланным тоном, часто острил и пускал в ход комические интонации.

Таким оставался он и позднее, когда я стал часто бывать у Соллогубов, но больше у жены его, графини Софьи Михайловны (урожденной графини Вьельгорской), чем у него, потому что он то и дело уезжал в Петербург, где состоял на какой-то службе, кажется, по тюремному ведомству.

Но мы с ним все-таки ладили. Я был к тому времени довольно уже обстрелянный «студиозус», любящий поспорить и отстаивать свое мнение.

Как писатель, тогдашний граф Соллогуб уже мало «импонировал» мне, как говорят в таких случаях. Не один я находил уже, что он разменялся на мелкие деньги. Его либеральная комедия «Чиновник» совсем меня не обманула ни в «цивическом», ни в художественном смысле. И в первый же вечер, когда граф (еще в первую зиму) пригласил к себе слушать действие какой-то новой двухактовой пьесы (которую Вера Самойлова попросила его написать для нее), студиозус, уже мечтавший тогда о дороге писателя, позволил себе довольно-таки сильную атаку и на замысел пьесы, и на отдельные лица, и, главное, на диалог.

И со мною согласилась, прежде всех остальных слушателей, сама графиня. Автор не обиделся, по крайней мере не выказал никакого «генеральства», почти не возражал и вскоре потом говорил нашим общим знакомым, что он пьесу доканчивать не будет, ссылаясь и на мои замечания.

От такого критического успеха я не возгордился. И граф не стал вовсе избегать разговоров со мною. Напротив, от него я услышал за два сезона, особенно в Карлове, целую серию рассказов из его воспоминаний о Пушкине, которого он хорошо знал, Одоевском, Тургеневе, Григоровиче, Островском.

Он, действительно, был первый петербургский литератор, у которого Островский прочел комедию «Свои люди—сочтемся». И он искренно ценил его талант и значение, как создателя бытового русского театра.

В таких людях, как граф Соллогуб, надо различать две половины: личность известного нравственного склада, продукт барски-дилетантской среды, с разными «провинностями и шалухами», и человека, преданного идее искусства и вообще и в области литературного творчества. В нем сидел нелицемерный культ Пушкина и Гоголя; он в свое

время, да и в эти годы, способен был поддержать своим сочувствием всякое новое дарование. Но связи с тогдашними передовыми идеями у него уже не было настолько, чтобы самому обновиться. Он уже растратил все то, что имел, когда писал лучшие свои повести, в роде «Истории двух калош», и свой «Тарантас». Он, действительно, разменялся, кидаясь от театра (вплоть до водевиля) к этнографии, к разным видам полуписательской службы, состоя чиновником по специальным поручениям.

Но и в этой сфере он был для меня интересен. Только что перед тем он брал командировку в Париж по поручению министра двора для изучения парижского театрального дела. Он охотно читал мне отрывки из своей обширной докладной записки, из которой я сразу ознакомился со многим, что мне было полезно и тогда, когда я в Париже, в 1867—1870 гг., изучал и общее театральное дело и преподавание сценического искусства.

В Соллогубе остался и бурш, когда-то учившийся в Дерпте, член русской корпорации. Сквозь его светскость чувствовался все-таки особого пошиба барин, который и в петербургском монде в годы молодости выделялся своим тоном и манерами, водился постоянно с писателями и, когда женился и зажил домом, собирал к себе пишущую братию.

И тут—в предпоследнюю мою дерптскую зиму—он вошел в наше сценическое любительство, когда мы с благотворительной целью (в пользу русской школы, где я преподавал) ставили спектакли в клубе «Casino», давали и «Ревизора», и «Свадьбу Кречинского», и обе комедии Островского.

Он приходил в наши уборные, гримировал нас и одевал, и угощал при этом шампанским.

Его жена, графиня Софья Михайловна, была для всего нашего кружка гораздо привлекательнее графа. Но первое время она казалась чопорной и даже странной, с особым тоном, жестами и говором, немного на иностранный лад. Но она была—в ее поколении—одна из самых милых женщин, каких я встречал среди наших барынь света и придворных сфер; а ее мать вышла из семьи герцогов Биронов и воспитывала ее вместе с ее сестрой, Веневитиновой, чрезвычайно строго.

Тогда графиня уже была матерью целой вереницы детей, и старшая дочь (теперь Е. В. Сабурова) еще ходила в коротких платьях и носила прозвище «Булки», каким окрестил ее когда-то Гоголь.

Воспоминания о Гоголе были темой моих первых разговоров с графиней. Она задолго до его смерти была близка с ним, состояла с ним в переписке и много нам рассказывала из разных полос жизни автора «Мертвых душ».

В маленьком кабинете графини (в Карлове) я читал ей в последнюю мою зиму и статьи и беллетристику, в том числе и свои вещи. Тогда же посвятил я ей пьесу «Мать», которая явилась в печати под псевдонимом ³⁹.

В семье Соллогуба, в той же зале Карлова, продолжалась, но уже менее широко и гостеприимно, жизнь дерптских русских.

Не знаю, выдавались ли такие же эпохи в дальнейших судьбах русской колонии, с таким оживлением и светским и литературно-художественным. Вряд ли. Что-то я не слышал этого потом от дерптских—бывших студентов и не-студентов,—с какими встречался до последнего времени.

В прямой связи с тем, что исходило от русских и шло из России, находились и мои поездки на вакации, сначала на все летние, а раза два-три и на зимние.

Первая поездка—исключительно в Петербург—пришлась на ближайшую летнюю вакацию. Перевод учебника химии Лемана я уже готовил к печати. Переписал мне его мой сожитель по квартире З—ч, у которого случилась пистолетная дуэль с другим моим спутником З—ным, уже превратившимся в бурша. З—ч стал сильно хандрить в Дерпте, и я его уговаривал перейти обратно в какой-нибудь русский университет, что он и сделал, перебравшись в Москву, где и кончил по медицинскому факультету.

Впервые познал я в Петербурге хлопоты о помещении своего труда. Старик Клаус прослушал всю огромную рукопись с весны 1856 года и дал от себя удостоверение о достоинстве перевода. У меня были рекомендации к двум русским химикам.—Воскресенскому и гораздо более известному, даже знаменитому Н. Н. Зинину. Оба—бывшие ученики Юстуса Либиха, оба—академика, жившие в академических зданиях. Воскресенский ничего для меня не сделал. Зинин сейчас же познакомил меня с доктором Ханом, впоследствии редактором «Всемирного Труда», где я печатал в конце шестидесятых годов свой роман «Жертва вечерняя» ⁴⁰. Доктор Хан свел меня к книгопродавцу Маврикию Вольфу, тогда еще только начинавшему свое книгоиздательство, на том же месте, в Гостином дворе. Вольф купил у меня рукопись в сорок с лишком печатных листов за триста рублей. Из них он сто рублей мне не уплатил под тем предлогом, что перевод был неточен и он должен был отдать его кому-то на исправление. Это не помешало ему пропечатать то удостоверение, какое я получил от профессора Клауса.

Из двухсот рублей заплатил я шестьдесят З—чу за переписку, сто сорок рублей были моим первым гонораром. Это приходилось по 3 рубля 50 копеек за перевод печатного листа in 8°, который я продолжал

около двух лет. Не знаю, в какой степени перевод вышел удачен, но я, переводя и неорганическую и органическую части этого учебника, должен был создавать русские термины. Тогда химической литературы по-русски почти что не существовало. Вся она сводилась к двум учебникам: Гессе, русского немца, и к переводу неорганической химии француза Реньо. Органическую химию я слушал целый год у А. М. Бутлерова, но совсем не в таких размерах, какие значились в учебнике Лемана. Множество терминов я пустил в первые в русской печати, и мне некоторым подспорьем служили только учебники фармакологии: в том числе и перевод Эстерлена—того же доктора Хана,—перевод местами очень плохой, с варварскими германизмами и с уродливыми переделками терминов.

Академик Зинин заинтересовал меня в те визиты, какие я ему делал. Я нашел в нем отъявленного противника самостоятельного развития физиологической химии, как раз специальности моего дерптского учителя Карла Шмидта.

Я еще не встречал тогда такого оригинального чудака на подкладке большого ученого. Видом он напоминал скорее отставного военного, чем академика: коренастый, уже очень пожилой, дома в архалуке, с сильным голосом и особенной речистостью. Он охотно «разносил», в том числе и своего первоначального учителя Либиха. Все его симпатии были за основателей новейшей органической химии—француза Жерара и его учителя Лорана, которого он также зазнал в Париже.

Зинин изображал его жертвой тупоумия и ученого генеральства таких тузов химического мира, как Дюма и знаменитый швед Берцелиус.

Я затруднился бы передать стенографически те выражения, какие соскакивали с губ Зинина. Некоторые были совершенно нецензурные.

В этом сказывался настоящий казанец начала сороковых годов, умный, хлесткий в своей диалектике и рассказах русак, хотя он был, если не ошибаюсь, сын французки.

Мало знал я на своем веку таких оригинальных русских самородков, как Зинин, который и в долгие годы заграничной выучки не утратил своего казанского «букета» во всем, что он знал, о чем думал и говорил. Тогда с молодыми учеными начальство не церемонилось. Зинина послали изучать химию, а потом ему приказали превратиться в технолога и еще во что-то, по воле тогдашнего казанского самодура, попечителя Мусина-Пушкина. Он не без юмора рассказывал мне про все опыты, какие с ним проделывало начальство. И под конец, когда он перешел в Медико-Хирургическую академию, он должен был по тогдашнему уставу сдавать экзамены из всех естественных и медицинских наук.

Я еще застал Зинина в живых, когда я поселился в Петербурге, и незадолго до его смерти встречал его. Его лаборатория в академии перешла к Бутлерову, и в его академической квартире я бывал вплоть до смерти Александра Михайловича, уже в восьмидесятых годах.

Оба знаменитые химика оказались казанцами. Бутлеров создал русскую «школу» химии, чего нельзя сказать про Зинина. Он оставался сам по себе, крупный ученый и прекрасный преподаватель, но не сыграл такой роли, как Бутлеров, в истории русской химической науки—в смысле создания целой «школы».

Личность Зинина сделала мою летнюю экскурсию в Петербург особенно ценной. В остальном время прошло без таких ярких и занимательных эпизодов, о которых стоило бы вспоминать.

Муж кухни моего отца—тогда обер-прокурор одного из департаментов сената—предложил мне жить в его пустой городской квартире. Его чиновничья фигура и суховатый педантический тон порядочно коробили меня; к счастью, он только раз в неделю ночевал у себя, наезжая с дачи.

Стояли петербургские белые ночи, для меня еще до того не виданные. Я много ходил по городу, пристраивая своего Лемана. И замечательно, как и провинциальному студенту Невская «перспектива» быстро приедалась! Петербург внутри города был таким же, как и теперь, в начале XX века. Что-то такое фатально петербургское чувствовалось и тогда, в этих безлюдных широких улицах, в летних запахах, в белесоватой мгле, в дребезжании извозчицких дрожек.

И позднее, когда я попадал на острова и в разные загородные заведения, в роде Излера, я туго поддавался тогдашним приманкам Петербурга. И Нева, ее ширь, красивость прогулок по островам—не давали мне того столичного «настроения», какое нападало на других приезжих из провинции, которые годами вспоминали про острова, Царское, Петергоф.

Зимнего Петербурга вкусил я еще студентом, в вакационное время, в начале и в конце моего дерптского студенчества. Я гащивал у знакомых студентов; ездил в Москву зимой, несколько раз осенью, проводил по неделям и в Петербурге, возвращаясь в свои «Ливонские Афины». С каждым заездом в обе столицы я все сильнее втягивался в жизнь тогдашней интеллигенции, сначала как натуралист и медик, по поводу своих научно-литературных трудов, а потом уже как писатель, решившийся попробовать удачи на театре.

Москва конца пятидесятих годов (где З—ч знакомил меня со студенческой братней) памятна мне всего больше знакомствами в ученом и литературном мире.

Через год после продажи перевода химии Лемана я задумал обширное руководство по животно-физиологической химии—в трех частях, и первую часть вполне обработал и хотел найти издателя в Москве. Поручил я первые «ходы» З—чу, который отнес рукопись к знаменитому д-ру Кетчеру, экс-другу Герцена и переводчику Шекспира. Он в то время заведывал только что народившимся книгоиздательством фирмы «Солдатенков и Щепкин».

Мой учебник (первую его часть) весьма одобрил тогдашний профессор химии Ляковский, к которому я привез письмо от Карла Шмидта. Мне и теперь кажется курьезным, что студент задумал целый учебник «собственного сочинения», и самая существенная часть его—первая—удостоилась лестной рекомендации от авторитетного профессора.

Из-за издания моего учебника попал я к Кетчеру, и сношения о нем затянулись на несколько сезонов. Не один год на задней странице обертки сочинений Белинского стояло неизменно:

«Печатается: «Руководство к животно-физиологической химии» Петра Боборыкина».

Но на деле рукопись «и не думала» печататься, и уже, конечно, не автор ее был виновник такого обмана публики. Зачем так поступал Кетчер—не знаю; но что я прекрасно знаю и помню, это—то, что он затягивал печатание сначала потому, что потребовались рисунки по химико-микроскопическому анализу крови и других животных жидкостей, образцы которых (с одного немецкого издания) я и доставил; а потом он требовал, кажется, окончания моей работы. Вскоре, однако, выяснилось, что рукопись моя затерялась, и я после того не мог ее получить ни лично (в проезды Москвой), ни через З—ча.

Жаловаться, затевать историю я не стал, и труд мой, доведенный мною почти до конца второй части, так и погиб «во цвете лет», в таком же возрасте, в каком находился и сам автор. Мне тогда было не больше двадцати двух лет.

У Кетчера я бывал не раз, в его домике-особняке с садом, в одной из Мещанских, за Сухаревой башней. Этот дом ему подарили на какую-то годовщину его друзья, главным образом, конечно, Кузьма Терентьевич Солдатенков, которого мне в те годы еще не удалось видеть.

В посмертных очерках и портретах, вошедших в том, изданный тотчас после кончины А. И. Герцена, есть превосходная характеристика Кетчера-друга, с которым Герцен впоследствии разошелся и заочно⁴¹. Охлаждение произошло со стороны Кетчера, вероятно, испугавшегося дальнейшей фазы революционной эволюции своего московского закадыки. Кетчер у Герцена—как вылитый, со всеми беспощадными подробностями его интимной жизни, вплоть до связи с простой женщиной, связи

(кажется, впоследствии узаконенной), которая медленно, но радикально изменила весь его душевный облик.

И вот в такой период «перерождения» и зазнал я этого курьезного москвича, званием «штадт-физика» города Москвы, считавшегося еще в публике другом Герцена и Бакунина, Грановского, Огарева и всех радикалов сороковых и пятидесятых годов.

Такого же точно литературного Собакевича я не знал, не исключая и М. Е. Салтыкова! Кетчеровский «смех» сделался легендарным. Слово «смех» слишком слабо... Надо бы сказать «хохочущее ржание», которое раскатисто гремело после каждой фразы. Он был виртуозный ругатель. Про кого бы вы ни упоминали, особенно из петербургских писателей, он сейчас раздражался каким-нибудь эпитетом во вкусе Собакевича. Помню, в один из наших разговоров от него особенно круто досталось Полонскому и Некрасову,—одному по части умственных способностей, другому—по части личной нравственности,—и то и другое по поводу изданий их стихотворений, которые он должен был корректировать, так как их издала фирма «Солдатенков и Щепкин». Вся Москва десятки лет знала кетчеровскую огромную голову, и его рот с почернелыми большими зубами, и его топорно-сбитую фигуру в вицмундире медицинского чиновника.

Дома он по утрам принимал в кабинете, окнами в сад, заваленном книгами, рукописями и корректурами, с обширной коллекцией трубок на длинных чубуках. Он курил «жуков» ⁴², беспрестанно зажигал бумажку и закуривал, ходил в затрапезном халате, с раскрытым воротом ночной рубашки не особенной чистоты. Его старая подруга никогда не показывалась, и всякий бы счел его закоренелым холостяком.

Из его приятелей я встретил у него в разные приезды двоих: Сатина, друга Герцена и Огарева и переводчика шекспировских комедий, и Галахова, тогда уже знакомого всем гимназистам составителя хрестоматии. Сатин смотрел барином сороковых годов, с прической à la moujik, а Галахов—учителем гимназии, с сухим петербургским тоном, очень похожим на его педагогические труды.

Трудно мне было и тогда представить себе, что этот московский обыватель с натурой и пошибом Собакевича состоял когда-то душою общества в том кружке, где Герцен провел годы «Былого и дум». И его шекспиромания казалась мне совершенно не подходящей ко всему его бытовому *habitus*. И то сказать: по тогдашней же прибаутке, он более «перепер», чем «перевел» великого «Вилли» ⁴³.

Театр он любил и считал себя самым авторитетным носителем традиций Малого театра, но Малого театра мочаловско-щепкинской эпохи, а не той, которая началась с рождением новой генерации исполнителей,

нашедших в Островском своего автора, то-есть Садовских, Сасильевых, Косицких, Полтавцевых.

К Островскому Кетчер относился прямо ругательно, как бы не признавал его таланта и того, чем он обновил наш театр. Любимым его прозвищем было: «Островитяне», «папуасы». Этой кличкой он окрестил всех ценителей Островского.

«Папуасы! Ха-ха! Островитяне! Ха-ха! Иерихонцы! Трактирные ярыги!»—вот что звенело в ушах дерптского студюоза—автора злосчастного руководства, когда он шел от Сухаревой башни к тому домику мешачки Поносовой (эта фамилия оставалась у меня в памяти десятки лет), где гостил у своего товарища.

Вероятно, Кетчер не мог не сознавать таланта и значения Островского, но ему, кроме разностной его натуры и вкоренившейся в него ругательной манеры, мешало запоздалое уже и тогда, крайнее западничество, счеты со славянофилами, обида за европеизм, протест против купеческой «чуйки» и мужицкой «сермяги», которые начали водворяться на сцене и в беллетристике.

Об Аполлоне Григорьеве он выражался так же резко, и термин «трактирные ярыги» относился всего больше к нему.

Случилось мне за эти пять лет провести и зимние праздники в Москве, куда приехал пожить и полечиться и отец мой. Мы жили в тех архимосковских номерах челяшевского дома ⁴⁴, которые прошли через столько «аватаров» и кончили в виде миллионного «Метрополя», после грандиозного пожара. Тогда Малый театр снова захватил меня, после впечатлений гимназиста в зиму 1852—53 года. Щепкин еще играл, и я его видел в «Свадьбе Кречинского» и в переделанной на русские нравы комедии Ожье «Le gendre de m-r Poigrier». Он уже сильно постарел и говорил невнятно от вставной челюсти, которая у него раз и выпала, но это случилось не при мне. Инцидент этот, как я говорю, передавал мне позднее, в шестидесятых годах, мой сотрудник по «Библиотеке для Чтения», Е. Н. Эдельсон.

Таланты Шумского, Самарина и всех «папуасов» (по номенклатуре Кетчера)—Садовского, Сергея Васильева, его жены Екатерины, Степанова, Косицкой, Колосовой, Бороздиных, Акимовой—были в полном расцвете; а две замечательные старухи—Сабурова и Кавалерова—уже доживали свой сценический век.

Как я расскажу ниже, толчок к написанию моей первой пьесы дала мне не Москва, не спектакль в Малом, а в Александринском театре. Но это был только толчок: Малый театр, конечно, всего более помог тому внутреннему процессу, который в данный момент сказался в поэме к писательству в драматической форме.

Поездки в Нижний и в деревню, почти в каждую летнюю вакацию, вели дальше эту скрытую работу над русской действительностью. И в Нижнем и в усадьбе отца я входил в жизнь дворянского общества и в крестьянский быт, с прибавкой того разнообразного купеческого и мещанского различия, которое имел возможность наблюдать на Макарьевской ярмарке.

Сестра моя вышла замуж в Нижнем за местного дворянина, учившегося в Дерпте как раз в те годы, когда С. Ф. Уваров, приехавший из-за границы, поступил в «Рутению» и готовился потом к магистерскому экзамену. Отношение ко мне всех моих нижегородских родных, начиная с матушки, вступило в новую фазу. Время и та самостоятельность, которая развилась во мне в Дерпте, сделали то, что на меня все смотрели уже как на личность. И прежняя разница между тем, как мне жилось в доме у деда (где оставалась мать моя), и в тамбовской усадьбе, у отца, уже не чувствовалась. Но с отцом все-таки жилось гораздо привольнее, как бы в воздухе товарищества, мы проводили дни в откровенных беседах, я очень много читал, немного присматривался к хозяйству, лечил крестьян, ездил к соседям, с возрастающим интересом приглядывался и прислушивался ко всему, что давали тогдашняя деревня, помещики и крестьяне.

Запахло освобождением крестьян. Дед мой в Нижнем, еще бодрый старик за восемьдесят лет, ревниво и зорко следил за всем, что делалось по крестьянскому вопросу, разумеется, не мирился с такими крутыми, на его аршин, мерами, но не позволял себе вслух никаких резких выходов. Отец не стоял на стороне реформы, как то меньшинство, которое поддерживало ее впоследствии, но особого раздражения не выказывал, не предавался преувеличенным страхам. Впоследствии он довольно долго состоял кандидатом в мировые посредники и не без гордости носил крест в память 19 февраля.

Ежегодные мои поездки «в Россию» — в целом и в деталях — доставляли обширный материал будущему беллетристу. И жизнь нашего дерптского товарищеского кружка в последние два года питалась уже почти исключительно чисто русскими интересами. Журналы продолжали свое развивающее дело. Они поддерживали во мне сильнее, чем в остальных, уже не одну книжную отвлеченную любознательность, а все возраставшее желание самому испробовать свои силы.

В семействе Дондуковых я нашел за этот последний дерптский период много ласки и поощрения всему, что во мне назревало, как в будущем писателе. Два лета я — отчасти или целиком — провел в их живописной усадьбе, в Опочечком уезде, Псковской губернии. Там писалась и вторая моя — по счету — пьеса «Ребенок»; первая —

«Фразеры»—в Дерпте; а «Одноворец»—у отца в усадьбе, в селе Павловском, Лебедянского уезда, Тамбовской губернии.

Петербургу принадлежит знаменательная доля впечатлений за последние дерптские годы и до того момента, когда я приступил к первой серьезной литературной вещи.

Довольно свежо сохранился у меня в памяти тот проезд Петербургом, когда выставлялась картина Иванова: «Явление Христа народу». Я попал в воздух горячих споров и толков на Васильевском острове, и помню, что молодежь (в том числе мои приятели и новые знакомцы из студентов) стояла за картину Иванова, а в академических кружках на нее сильно нападали. На Васильевском острове зазнал я немало студентов, принимавших потом участие в волнении 1861 года. Я гостил в квартире братьев того Вл. Бакста, с которым мы в Дерпте перевели первый том физиологии Дондерса. Оба они известны публике: старший—как один из первых передовых издателей, переводчик немецких и английских книг; второй—как профессор физиологии. Позднее, к шестидесятым годам, к тем же кружкам принадлежал студент Н. Неклюдов, вожак студенческой братии, который начал свою известность с Петропавловской крепости, а кончил должностью товарища министра внутренних дел и умер в здании «у Цепного моста», превратившись из архикрасного в белоснежного государственника и обличителя крамолы ⁴⁵.

Автором пьес я—еще студентом—попал и в тогдашний театрально-писательский мир и в журнальную среду.

Из тогдашних крупных литераторов зазнал я Дружинина, к которому явился, как к члену Театрально-Литературного комитета, куда я представил уже свою комедию «Шила в мешке не утаишь», переименованную потом во «Фразеры». Из-за пьесы вышло знакомство с Я. П. Полонским, жившем в доме Штакеншнейдера. Он заставил меня прочесть мою вещь на вечере у хозяев дома, где я впервые видел П. Л. Лаврова в форме артиллерийского полковника, Шевченко, Бенедиктова, М. Семевого—офицером, а потом, уже летом, Полонский познакомил меня с М. Л. Михайловым, которого я видал издали еще в Нижнем, где он когда-то служил у своего дяди—заведующего соляным правлением.

Помню я маленький эпизод, о котором рассказывал С. В. Максиму в год его смерти, когда мы очутились с ним коллегами по академии. Это было в конце лета, когда я возвращался в Дерпт. У Доминика, в ресторане, меня сильно заинтересовал громкий разговор двух господ, в которых я сейчас же заподозрил литераторов. Это были Василий Курочкин и Максимов.

В последнюю мою поездку в Петербург дерптским студентом я был принят и начальником репертуара П. С. Федоровым, после того как мою комедию «Фразеры» окончательно одобрили в комитете и она находилась в цензуре, где ее и запретили. В судьбе ее повторилась история с моим руководством. Редакция «Русского Слова» затеряла рукопись, и молодой автор оказался так безобиден, что не потребовал никакого вознаграждения.

Теперь, в заключение этой главы, я отмечу особенно главные моменты того, как будущий писатель складывался во мне в студенческие годы, проведенные в «Ливонских Афинах», и что поддержало во мне все возраставшее внутреннее влечение к миру художественно воспроизведенной русской жизни, удаляя меня от мира теоретической и прикладной науки.

В корпорации, как я уже говорил, в тот семестр, который я пробыл в ней «фуксом», я в самый горячий период моего увлечения химией, для оживления якобы «литературных» очередных вечеров, сочинил и прочел с большим успехом юмористический рассказ «Званные блины», написанный в тоне тогдашней сатирической беллетристики.

После того прошло добрых два года, и в этот период я ни разу не приступил к какой-нибудь серьезной «пробе пера». Мысль изменить научной дороге еще не созрела. Но в эти же годы чтение поэтов, романистов, критиков, особенно тогдашних русских журналов, продолжительные беседы и совместная работа с С. Ф. Уваровым, поездки в Россию, в обе столицы, Нижний и деревню—все это поддерживало работу «под порогом сознания», по знаменитой фразе психофизика Фехнера.

Если б кто продолжал упорно отрицать бессознательную «церебрацию»,—на моем примере должен бы был убедиться в возможности такого именно психического явления.

Я продолжал заниматься наукой, сочинял целый учебник, ходил в лабораторию, последовательно перешел от специальности химика в область биологических наук, перевел с товарищем целый том физиологии Дондерса, усердно посещал лекции медицинского факультета, даже практиковал как «студент-куратор», ходил на роды и дежурил в акушерской клинике,—и в то же время писательская церебрация шла своим чередом, и к четвертому курсу я был уже на один вершок от того, чтобы взять десть бумаги, обмакнуть перо и начать писать, охваченный назревшим желанием что-нибудь создать.

В какой форме? Почему первая серьезная вещь, написанная мною четверокурсником, была пьеса, а не рассказ, не повесть, не поэма, не ряд лирических стихотворений?

Поэтом, и даже просто стихотворцем, я не мечтал быть. В Дерпте я кое-что переводил и написал даже несколько стихотворений, которые моим товарищам очень понравились. Но это не развилось. Серьезно я никогда в это не уходил.

Драматическая форма явилась сразу, в виде замысла большой комедии из современных нравов, опять-таки как результат бессознательной психической работы.

Наши спектакли в Дерпте, открывшие у меня актерские способности и все мои русские впечатления делали для меня театр все ближе и ближе.

И вот раз (это было осенью), возвратившись из Петербурга, я стал думать о комедии, где героиней была бы эмансипированная девица, каких я уже видел, хотя больше издали.

Я попал в Александринский театр на бенефис А. И. Шуберт, уже и тогда почти сорокалетней ingénue, поражавшей своей молодостью. Давали комедию «Капризница» с главной ролью для бенефициантки. Но не она заставила меня мечтать о моей героине, а тогдашняя актриса на первое амплуа в драме и комедии, Владимпрова. Ее эффектная красота, тон, туалеты в роли «Далилы» в переводной драме Октава Фелье—взволновали приезжего студента. И между этим спектаклем и замыслом первой моей пьесы—несомненная связь.

Обстановку действия и диалогов доставила мне помещицья жизнь, а характерные моменты я взял из впечатлений того лета, когда тамбовские ополченцы отправлялись на войну. Сдается мне также, что замысел выяснился после прочтения повести Н. Д. Хвощинской «Фразы». В первоначальной редакции комедия называлась «Шила в мешке не утаишь», а заглавие «Фразеры» я поставил уже на рукописи, которую переделал по предложению Театрально-Литературного комитета.

Этот прием имел решающее значение. Стало быть, целый комитет считал меня уже молодым писателем, достойным поощрения.

Чем ближе подходил срок окончания курса, тем ближе был я к решению: врачом не делаться, а заняться литературой, как профессиональному писателю.

Замысел «Одноворца», написанного в усадьбе отца, был уже совсем свой, несколько не навеянный ни впечатлениями сцены, ни мотивами тогдашней беллетристики, по крайней мере никаким определенным произведением. Комитет принял «Одноворца» сразу; журнал «Библиотека для Чтения» поместил его в октябрьской книжке 1860 года. Мое писательское крещение совершилось. Измена химии и медицине уже совсем назрела. Когда «Одноворец» лежал в комитете, а потом в редакции толстого журнала, я—в следующее лето—уже написал

драму «Ребенок». В ней идеализм с оттенком прекраснотушия был навеян тем воздухом, каким я уже более года дышал в семье Дондуковых. Это было и для меня пробуждением моего лиризма, потребности в любви и нежности, которые слишком долго лежали под спудом в душе студента, ушедшего в мозговую жизнь и в научную философию.

Когда я с вакации из усадьбы Дондуковых вернулся в Дерпт, писатель уже вполне победил химика и медика. Я решил засесть на четыре месяца, написать несколько вещей, с медицинской карьерой проститься, если нужно, держать на кандидата экзамен в Петербурге и начать там жизнь литератора.

И действительно, я написал целых четыре пьесы, из которых три были драмы и одна веселая, сатирическая комедия. Из них драма «Старое зло» была принята Писемским; а драму «Мать» я напечатал четыре года спустя уже в своем журнале «Библиотека для Чтения», под псевдонимом; а из комедии появилось только первое действие, в виде «сцен», в журнале «Век», с сохранением первоначального заглавия «Наши знакомцы»⁴⁶.

Этот заряд «творчества» (выражаясь высоким термином), хотя самые продукты и не могли быть особенно ценны, показывал несомненно, что бессознательная перебрация находилась в сильнейшем возбуждении. И ее прорвало в виде такой чрезмерной производительности перед оставлением «Ливонских Афин».

После напечатания «Однотворца» я стал считать драматическую литературу моей коренной областью.

О повествовательной беллетристике я не думал в двухлетний, уже прямо писательский период моего студенчества. Будь это иначе—я бы написал повесть или хотя бы два-три рассказа.

После «Званных блинов» я набросал только несколько картинок из жизни казанских студентов (которые вошли впоследствии в казанскую треть романа «В путь-дорогу») и даже читал их у Дондуковых в первый их приезд, в присутствии профессора Росберга, который был очень огорчен низменным уровнем нравов моих бывших казанских товарищей и вспоминал свое время в Москве, когда все они более или менее настраивали себя на идеи, чувства, вкусы и замашки идеалистов. Но Писемский в своих «Людах сороковых годов» изображает тогдашние нравы далеко не в розовом свете; а его эпоха отстояла от студенческих годов профессора всего на какой-нибудь десяток лет.

Эти казанские очерки были набросаны до написания комедии. Потом, вплоть до конца 1861 года, когда я приступил прямо к работе над огромным романом, я не написал ни одной строки в повествовательном роде.

А беллетристика второй половины пятидесятих годов очень сильно увлекала меня. Тогда именно я знакомился с новыми вещами Толстого, накидываясь в журналах и на все, что печатал Тургенев. Тогда даже в корпорации «Рутения» я делал реферат о «Рудине». Такие повести, как «Ася», «Первая любовь», а главное «Дворянское гнездо» и «Накануне», следовали одна за другой и питали во мне все возмставшее чисто литературное направление.

О «Дворянском гнезде» я даже написал небольшую статью для прочтения и в нашем кружке и в гостиной Карлова, у Дондуковых. Настроение этой вещи, мистика Лизы, многое, что отзывалось якобы недостаточным свободомыслием автора, вызывали во мне недовольство. Художественная прелесть повести не так на меня действовала тогда, как замысел и тон, и отдельные сцены «Накануне».

Помню, я первый схватил книжку «Русского Вестника», прибежал домой и читал до трех часов ночи в постели, а потом не мог заснуть до рассвета.

С тех пор я не помню, чтобы какая-нибудь русская или иностранная вещь так захватила меня, даже и в молодые годы.

Почти так же зачитывался я и «Обломовым»; и в нашем кружке и в знакомых русских домах о нем целую зиму шли оживленные толки.

И все, что тогда печаталось по беллетристике, лучше и хуже,—Григоровича, Писемского, Авдеева, Печерского, Хвоцинской, М. Михайлова, а затем Щедрина (о первых его «Губернских очерках» я делал, кажется, доклад в нашем кружке) и начинающих: Ник. Успенского, разных обличительных беллетристов—все это буквально поглощалось мною сейчас же, в первые же дни по получении книжек всех тогдашних больших журналов.

Островский, Потехин, Писемский (как драматург), Сухово-Кобылин так же питали мой писательский голод, как и беллетристы-повестователи.

И я стал сильно мечтать именно о театре и выливать все, что во мне назревало в этот студенческий период писательства, с 1858 по 1860 год включительно, в драматическую форму.

Но в этот же трехлетний период я сделался и публицистом студенческой жизни, летописцем конфликта «Рутении» с немецким «комманом». Мои очерки и воззвания разосланы были в другие университеты; составил я и сообщение для архилиберального тогда «Русского Вестника». Катков и Леонтьев сочувственно отнеслись к нашей «истории», но затруднились напечатать мою статью.

Когда в Казани в конце пятидесятих годов подуло другим ветром и началось что-то в роде волнения, я, как бывший казанец, написал

целое послание, которое отправил моему товарищу по нижегородской гимназии В—скому. Оно начиналось возгласом: «Товарищи, други и не-други!», с эпиграфом из Вольтера: «La vérité a des droits imprescriptibles». И этот эпиграф я взял в «разрывной» по тому времени книжке Бюхнера: «Kraft und Stoff». В послании к казанцам я проводил параллель между тем, что такое была Казань в мое время, и как можно учиться в Дерпте, при чем некоторым кафедрам и профессорам досталось особенно сильно. Это «послание» имело сенсационный успех, разошлось во множестве списков, и я встречал казанцев двадцать-тридцать лет спустя, которые его помнили чуть не наизусть.

Мне самому было бы занимательно прочесть его в эту минуту, но я не имел ни одного экземпляра. Я писал прямо набело, как отчетливо помню, на листах почтовой бумаги большого формата, и они составили порядочную тетрадку.

Стало, были опыты и по публицистике; но опять-таки—ни одного цельного рассказа, ни плана повести, и еще менее—романа.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Перед переселением в столицу.—Неожиданное наследство.—Мой план зимнего сезона в Петербурге.—Первые впечатления писателя.—Журнал «Библиотека для Чтения».—П. А. Плетнев.—П. И. Вейнберг.—М. Л. Михайлов.—А. В. Дружинин.—А. Ф. Писемский.—Театральный мир.—Судьба «Однودворца» и «Ребенка».—Цензура Третьего отделения.—Цензор И. А. Нордштрём. Первый сюжет русской труппы.—Ф. А. Снеткова.—П. И. Сосницкий.—Самойлов.—Максимов.—П. Каратыгин и Григорьев.—Леонидов.—Павел Васильев.—Ф. Бурдин.—Дебюты Нильского.—Старые театральные порядки.—Мои сверстники: Н. Потехин и актер-писатель Чернышев.—Русская опера.—Французский театр.—Балет.—Светские знакомства.—На Острове.—Студенческий кружок.—Университет.—Н. Неклюдов.—Жизнь писателей.—Манифест 19-го февраля.—В аудиториях.—Прерванный экзамен.—Отъезд.

Писательское настроение возобладало во мне окончательно в последние месяцы житья в Дерпте, особенно после появления в печати «Однودворца», и мой план с осени 1860 года был быстро составлен:

На лекаря или прямо на доктора не держать, дожить до конца 1860 года в Дерпте и написать несколько баллетристических вещей.

Тогда драматическая форма владела всецело мною. Я задумал и выполнил в каких-нибудь три месяца целых четыре пьесы: одну юмористическую комедию, одну бытовую пьесу с драматическим оттенком и две драмы.

Из легкой комедии «Наши знакомцы» только один первый акт был напечатан в журнале «Век»; другая вещь «Старое зло»—целиком в

«Библиотеке для Чтения», дана потом в Москве, в Малом театре, в несколько измененном виде и под другим заглавием: «Большие хоромы»; одна драма так и осталась в рукописи—«Доезжачий», а другую под псевдонимом я напечатал, уже будучи редактором «Библиотеки для Чтения», под заглавием «Мать».

Такая производительность кажется мне теперь просто фантастической. Молодость творит чудеса. Разумеется, эти пьесы, написанные в каких-нибудь три месяца, не были «перлами создания». Но для всех этих пьес у меня оказался все-таки реальный материал, накопившийся незаметно еще в студенческие годы.

Помню и более житейский мотив такой усиленной писательской работы. Я решил бесповоротно быть профессиональным литератором. О службе я не думал, а хотел приобрести в Петербурге кандидатскую степень и устроить свою жизнь—на первых же порах не надеюсь ни на что, кроме своих сил. Это было довольно-таки самонадеянно; но я верил в то, что напечатая и поставлю на сцену все пьесы, какие напишу в Дерпте до переезда в Петербург.

Собственных обеспеченных средств у меня тогда не было. То, что я получал от отца, не превышало сносной студенческой субсидии. Первый гонорар из «Библиотеки для Чтения» за «Однودворца», по пятидесяти рублей за лист, составлял весьма скромную цифру.

Но надежда окрыляла. «Однодворец» был уже сразу одобрен к представлению на императорских сценах и находился в театральной цензуре. Также могли быть одобрены и те четыре вещи, которые я так стремительно написал.

Подо всем этим были еще и другие соображения и мечты.

Мое юношеское любовное увлечение оставалось в неопределенном status quo. Ему сочувствовала мать той еще очень молодой девушки, но от отца все скрывали. Семейство это уехало за границу. Мы нередко переписывались с согласия матери, но ничто еще не было выяснено. Два-три года мне нужно было иметь перед собою, чтобы стать на ноги, найти заработок и какое-нибудь «положение». Даже и тогда дело не обошлось бы без борьбы с отцом этой девушки, которой тогда шел всего еще шестнадцатый год.

Словом, я сжег свои корабли «бывшего» химика и студента медицины, не чувствуя призвания быть практическим врачом или готовиться к научной медицинской карьере. И перед самым новым 1861 годом я переехал в Петербург, изготовив себе в Дерпте и гардероб «штатского» молодого человека. На все это у меня хватило средств. Жить я уже слачился с одним приятелем и выехал к нему на квартиру, где мы и прожили весь зимний сезон.

И только что я водворился там, как получил депешу из Нижнего: дед мой по матери, П. П. Григорьев, престарелый генерал павловских времен, умер, оставив мне по завещанию прямо (помимо того, что получала моя мать) два имения в черноземной полосе Нижегородской губернии.

Я сразу делался довольно состоятельным землевладельцем Лукояновского уезда Нижегородской губернии, где значилось, по тогдашнему выражению, сто с чем-то «душ», вскоре уже «временно-обязанных» крестьян.

Для меня это была совершенная неожиданность. Дед, когда я приезжал в Нижний на вакации, был ко мне благосклонен; но ласков он не бывал ни с кем, и не только в разговорах со мною, но и с взрослыми своими детьми никогда не намекал даже на то, как он распорядится своим состоянием, сплошь благоприобретенным.

И вот я еще при жизни отца и матери—состоятельный человек. Выходило нечто прямо благоприятное не только в том смысле, что можно будет остаться навсегда свободным писателем, но и для осуществления мечты о браке по любви.

Но эта спавшая сверху благодать не изменила ни на йоту моих ближайших планов. Я не кинулся сейчас же в Нижний получать наследство, а оставил это до летних месяцев, когда сдам экзамен на кандидата.

И это ободрило меня больше всего как писателя—прямое доказательство того, что для меня и тогда уже дороже всего была свободная профессия. Ни о какой другой карьере я не мечтал, уезжая из Дерпта, не стал мечтать о ней и теперь, после депеши о наследстве. А мог бы по получении его, приобретя университетский диплом, поступить на службу по какому угодно ведомству и, по всей вероятности, сделать более или менее блестящую карьеру.

Но я этим ни на минуту не прельстился и тотчас же попросил у матушки и тетки (как сонаследниц моих) освободить меня от хозяйственных дел до июня, когда я предполагал уже сдать экзамен.

Мне предстояли в Петербурге два ближайших дела: 1) сдать экзамен, 2) сделаться профессиональным писателем.

Насчет экзамена я приехал уже с готовым планом.

Конечно, я мог бы остаться и без всякого диплома. Но мне делалось как-то жутко и как бы совестно перед самим собою—как же это я после семилетнего пребывания в двух университетах (в Казани и Дерпте), после того, как, сравнительно со своими сверстниками, отличался интересом к серьезным занятиям (для чего и перешел в Дерпт), после того, как изучал специально химию, переводил научные сочинения

и даже составлял сам учебник, а на медицинский факультет перешел из чистой любознательности,—и вдруг останусь «не кончившим курса», без всякого звания и всяких «прав»?

Сюда входил также и мотив моих брачных планов. Слишком уже я представлял бы собой незначительную величину в глазах отца девушки, о которой продолжал мечтать.

Да и для литератора было бы в собственных же глазах неловко: не иметь диплома высшего учебного заведения, хотя я и не рассчитывал ни на какие права и преимущества по службе.

И тут мне пригодилось то, что я был в Казани камералистом. Я знал, что в тогдашнем Петербургском университете на юридическом факультете существует так называемый «разряд административных наук», то-есть такое же камеральное отделение, только без естественных наук и технологии, которые я слушал в Казани.

Это был как бы подфакультет политических наук, где слушались все юридические предметы, кроме церковного и римского права, судебной медицины, уголовного и гражданского судопроизводства.

Наезжая в Петербург еще дерптским студентом, я завязал знакомство и с тамошним студенчеством, главным образом через братьев Бакст, у которых один раз зимой и гостил на Васильевском острове. И я был au courant многого, что делалось в университете, где тогда веяло уже новым духом, допущены были женщины, шло сильное движение, которое и разыгралось «событием» в сентябре 1861 года, когда университет был закрыт на целый год⁴⁷. Как раз в эту полосу я и попал; но на сдачу экзамена я посмотрел только как на завершение моих студенческих экскурсий в течение многих лет и приобретение диплома. Я решил поступить в вольнослушатели на второе полугодие 1860—61 года. И надеялся употребить эти месяцы, до мая включительно, на усиленное чтение лекций и учебников, а экзамен сдать вместе с четверокурсниками отделения «административных наук».

Из Дерпта я привез—кажется, единственное—рекомендательное письмо к тогдашнему ректору П. А. Плетневу от профессора русской словесности Росберга. О Плетневе я, конечно, имел понятие, как о друге Пушкина и когда-то издателе «Современника». Я явился к нему, однако, не как будущий «вольный слушатель»—это для меня не составляло никакой важной статьи,—а как начинающий литератор.

Случилось так, что вторая жена Петра Александровича была в ближайшем родстве с одной из моих теток, свояченицей отца, А. Д. Боборыкиной. Тетка мне часто говорила о ней, называя уменьшенным именем: «Сашенька».

И когда я сидел у Плетнева в его кабинете, она вошла туда и, узнав, кто я, стала вспоминать о нашей общей родственнице и потом сейчас же начала говорить мне очень любезные вещи по поводу моей драмы «Ребенок», только что напечатанной в январской книжке «Библиотеки для Чтения» за 1861 год,—они с мужем прочли шакалуне «Ребенка»; а после жены и муж стал в унисон с женою хвалить мою драму. Вышло так, что рекомендательное письмо дерптского профессора пришлось как нельзя более кстати. В нем говорилось о молодом писателе.

Плетнев тогда был уже пожилой человек, еще бодрый на вид, хорошего роста, с проседью, с выбритым лицом, держался довольно прямо, с ласковым выражением глаз; смотрел больше добрым приятелем, чем университетским сановником—в своем синем вицмундире со звездой. Он только что пришел с какого-то заседания и попросил позволения снять вицмундир и надеть домашний сюртучок. Все в нем отзывалось другой эпохой, вплоть до покроя коротких—только по щиколку—пantalон и обуви на тонких подошвах, какую носил и мой дед. В литературные кружки он меня не обращал и не расспрашивал, с кем из петербургских литераторов я уже знаком. Как и оказалось потом, он стоял тогда уже совсем в стороне от литературного движения. К ректору у меня не было никакого дела, требующего особой рекомендации. Я по тогдашним правилам мог свободно поступить в вольные слушатели на второй семестр, внося плату—что-то в роде двадцати пяти рублей. Эта цифра почему-то осталась у меня в памяти. Самый университет не настолько меня интересовал, чтобы я вошел сразу же в его жизнь. Мне было не до слушания лекций. Я смотрел уже на себя как на литератора, которому надо—между прочим—выдержать на кандидата «административных наук».

Тянули меня к себе два мира: журналы и театр.

Первое ощущение того, что я уже писатель, что меня печатают и читают в Петербурге, испытал я в конторе «Библиотеки для Чтения», помещавшейся в книжном магазине ее же издателя, В. П. Печаткина, в Невском, в доме Армянской церкви, где теперь тоже какой-то, но не книжный магазин.

Я пришел получить гонорар за «Ребенка». Уже то, что пьесу эту поместили на первом месте и в первой книжке, показывало, что журнал дорожит мною. И гонорар мне также прибавили за эту—по счету—вторую вещь, которую я печатал, стало быть, всего в каких-нибудь три месяца, с октября 1860 года.

В магазине я нашел и хозяина, самого Печаткина,—личность, которая—увы!—сыграла довольно-таки печальную роль в моих испытаниях литературного деятеля, о чем расскажу дальше.

Это был один из членов обширной семьи местных купцов. Отец его—кажется, еще державшийся старообрядчества,—был в делах с известным когда-то книгопродавцем и издателем Ольхиным, как бумажный фабрикант, а к Ольхину—если не ошибаюсь—перешли дела Смирдина и собственность «Библиотеки для Чтения», основанной когда-то домом Смирдина, под редакцией Сенковского—«барона Брамбеуса».

И вот одному из сыновей—Вячеславу—старик отдал книжное дело вместе с журналом, а до того держал его по горной промышленности. Мне об этом рассказывал сам издатель «Библиотеки для Чтения», когда мы вступили в переговоры по покупке у него журнала, в начале 1863 года. Тогда такие издатели журналов были еще в редкость. Теперь их сколько хотите, то-есть промышленники купеческого звания, не имеющие ничего общего с литературой. К чести Печаткина надо сказать, он сам сознавал, что совсем не в своей роли, которая была ему навязана волей его родителя. Он считал себя «горным инженером», хотя специальной подготовки не имел; но был грамотный человек, вероятно, учившийся в какой-нибудь коммерческой школе. По типу он не отзывался купеческим бытом, смотрел петербургским деловым человеком, очень старательно одевался, брил бороду, имел тон культурного человека, в разговоре чуть-чуть заикался, держал себя солидно, чопорно, никакого запанибратства с сотрудниками и с клиентами магазина не позволял себе.

Зато его главный приказчик в магазине, с наружностью щедринского «поручика Живновского»,—как я его прозвал,—был известен в литературном мире как самый неутомимый рассказчик и красноречивый, одержимый страстью сообщения всяких новостей, слухов и анекдотов.

Я знал его не один год, и никогда не был уверен—какая у него фамилия. Даже и в имени и отчестве его не был тверд, но, кажется, его звали Николай Павлович. Известно было, что он подвержен «запою», но в магазине я не видал его в скандальном образе; зато почти всегда—очень возбужденным и неистощимым на болтовню. Он ходил обыкновенно за прилавком—от конторки до двери в узкую комнатку магазина (где потом, кажется, была меняльная лавочка) и, размахивая руками, все говорил, представляя многое в лицах. Знал он всю пишущую братию, начиная с самых крупных писателей того времени. И по своему роду занятий имел постоянно дело с персоналом нескольких редакций.

У магазина не было особенно бойкой розничной торговли; но, кроме «Библиотеки для Чтения», тут была контора «Искры» и нового еженедельника «Век»; только что пошедшего в ход с января 1861 года и сразу очень бойко, под главным редакторством П. И. Вейнберга, перед

тем постоянного сотрудника «Библиотеки для Чтения», при Дружинине и Писемском. О Вейнберге я узнал тогда же от этого приказчика, что называется, «всю подноготную». Он же мне сообщил и его адрес. А я уже слышал от своей родственницы, его знакомой по Тамбову, что П. И. справлялся обо мне у ней и очень желал бы пригласить меня в сотрудники.

С этого литературного знакомства я и начну здесь мои воспоминания о писательском мире Петербурга в шестидесятых годах, до моего редакторства и во время его, то-есть до 1865 года.

П. И. шел именно тогда, что называется, «полным ходом». Затеянный им еженедельник пошел также с небывалым успехом; подписка в начале года поднялась, кажется, до шести тысяч, что по тем временам была цифра необычайная.

Я явился к нему, предупрежденный,—как сейчас сказал,—о его желании иметь меня в числе своих сотрудников. Жил он и принимал, как редактор, в одном из переулков Стремянной, чуть ли не в том же доме, где и Дружинин, к которому я являлся еще студентом. Помню, что квартира П. И. была в верхнем этаже.

Встретил он меня особенно любезно и повторял то, что я уже слышал от моей тетушки,—барыни, получившей тогда как раз очень большое наследство и переехавшей из Тамбова, где ее муж служил.

Кто знаком с теперешней наружностью моего собрата—с его обликом «Нестора» петербургского писательского мира,—вряд ли мог бы составить себе понятие о тогдашнем его внешнем виде.

Он был резкий брюнет, с бородкой, уже с редеющей шевелюрой на лбу и более закругленными чертами лица, но с тем же тоном и манерами. Дома он носил длинный рабочий сюртук—род плафрока, принимал в первой, довольно просторной, комнате, служившей редакторским кабинетом. В «Веке» появился разбор моего «Ребенка», написанный самим редактором,—очень для меня лестный. Оценка эта исходила от такого серьезного любителя и знатока сценического дела. Он раньше—в Петербурге же—играл Хлестакова в том знаменитом спектакле, когда был поставлен «Ревизор» в пользу «Фонда», и где Писемский (также хороший актер) исполнял Городничего, а все литературные «имена» выступали в немых лицах купцов, в том числе и Тургенев.

Вейнберга я в эту зиму 1860—61 года (или в следующую) видел актером всего один раз, в пьесе «Слово и дело», на любительском спектакле в какой-то частной театральной зале.

Автор этой комедии «с направлением», имевшей большой успех и в Петербурге и в Москве на казенных театрах (других тогда и не было), приводился потом Вейнбергу свояком, женатым на сестре его

жены. Это был сын историка Устрялова, впоследствии издатель газеты, кончивший совершенным разорением и нищетой. П. И. играл в его комедии роль резонера пьесы. У него были на казенных сценах такие конкуренты, как Самойлов и Шумский. Мне тогда показалось, что роль была не совсем в темпераменте исполнителя. Он держался на сцене свободно, «читал» умно и значительно, но типа не создал.

С Вейнбергом у меня сразу установились хорошие отношения. Я ему написал какие-то сцены; а раньше у него появился и первый акт моих «Знакомцев». На следующую зиму положение «Века» значительно покачнулось, после истории с громовой газетной статьей М. Л. Михайлова: «Безобразный поступок «Века».

Сам П. И. как-то в «Союзе писателей», уже в начале XX века, счел нелишним сделать—хоть и задним числом—сообщение pro domo sua, где он старался показать, до какой степени была преувеличена его вина перед тогдашним освободительным настроением литературных сфер. Некоторые из наших общих приятелей находили, что П. И. напрасно потревожил эту старину. Не следовало—на их оценку—оправдываться⁴⁹.

Я не хочу решать—кто прав, кто не прав в этом вопросе; я стараюсь только восстановить здесь «из запаса памяти» то, как разыгралась в общих чертах вся эта история тогда.

Она свелась, в сущности, к обличению со стороны Михайлова и не вызвала никакой громкой коллективной манифестации. Я не помню, чтобы вся тогдашняя либеральная пресса (в журналах и газетах) встала «как один человек» против фельетониста журнала «Век» с его псевдонимом Камень Виногоров (русский перевод имени и фамилии автора), и чтобы его личное положение сделалось тогда невыносимым. Даже «Искра», игравшая в Петербурге как бы роль «Колокола», ограничилась юмористическим стихотворением редактора В. Курочкина, написанным в размере пушкинских «Египетских ночей», которые г-жа Толмачева и читала где-то, в Вятке или в Перми.

Помню до сих пор начало этих куплетов:

Чертог снял, стихи звучали,
И проза мерная лилась,
Все восхищались, все зевали...

И в той же «Искре» явился карикатурный рисунок, где Вейнберга в одежде кающегося грешника ведет на веревке Михайлов.

О М. Л. Михайлове я должен забежать вперед, еще к годам моего отрочества в Нижнем. Он жил там одно время у своего дяди, начальника соляного правления, и уже печатался; но я гимназистом видал его

только издали, привлеченный его необычайно некрасивой наружностью. Кажется, я еще и не смотрел на него тогда как на настоящего писателя, и его беллетристические вещи (начиная с рассказа «Кружевница» и продолжая романом «Перелетные птицы») читал уже в студенческие годы.

В первый раз я с ним говорил у Я. П. Полонского, когда являлся к тому еще дерптским студентом, автором первой моей комедии «Фразеры». Когда я сказал ему у Полонского, что видал его когда-то в Нижнем, то Я. П. спросил с юмором:

— Вероятно, в каком-нибудь неприличном месте?

И я вспомнил тогда, что Михайлова считали автором скабрёзных куплетов на Нижегородскую ярмарку, где есть слобода Кунавино.

Ах, где та слобода,
Где живут без труда? и т. д.

Про него в Нижнем и Казани распевали куплеты:

Михайлов-пиита
Тянет все клико́,
Не терпит лафита,
Ибо — не крепко́.

После знакомства с Вейнбергом я столкнулся с Михайловым у Писемского, вскоре после приезда моего в Петербург. Он, уходя, жаловался Писемскому на то, что у него совсем нет охоты писать беллетристику.

— А ведь я был романист!—вскричал он.

— Заучились, батюшка, заучились... вот и растеряли талант!—пожурил его Писемский.

В эти годы Михайлов уже отдавался публицистике в целом ряде статей на разные «гражданские» темы в «Современнике» и из-за границы, где долго жил, вернулся очень «красным» (как говорили тогда), что и сказалось в его дальнейшей судьбе.

Сколько я мог тогда заметить—как новичок-писатель в Петербурге—из-за «безобразного поступка Века» не вышло, повторяю, никакого поднятия мыслей; «Век» продолжал выходить, и ни один из соредакторов Вейнберга—ни Дружинин, ни Безобразов, ни Кавелин—не покинули журнала, продолжали в нем участвовать.

Это сказалось только на подписке следующего года, которая вдруг сильнейшим образом упала. Но я не думаю, чтобы это вызвано было только историей с г-жой Толмачевой. Вообще журнал издавался

неисправно, и сам П. И. впоследствии горько жаловался мне на то, как вели дело его пайщики-соредакторы.

Вся зима и лето прошли для издателя «Века» пестро и шумно; он был уже женихом, когда я с ним познакомился, и праздновал свою свадьбу летом, на даче. Мне пришлось даже танцевать там и с его женой и со свояченицей.

Судьбе угодно было столкнуть меня и с той провинциальной львицей, над которой подсмеялся Вейнберг в своем фельетоне и прозой и припевом:

Как ваше слово
Живо, ново,
Мадам Толмачева!

Я ехал с ней на пароходе по Волге и был заинтересован ее видом, туалетом и манерой держать себя. Эта дама как нельзя больше подходила к той фигуре эмансипированной чтицы, какая явилась в злополучном фельетоне Камня Виногорова, хотя, кажется, П. И. никогда и нигде не видал ее в лицо.

С П. И. мы одинаково—он раньше несколькими годами—попали сразу по приезде в Петербург в сотрудники «Библиотеки для Чтения». Там он, при Дружинине и Писемском⁵⁰, действовал по разным отделам, был переводчиком романов и составителем всяких статей, писал до десяти и больше печатных листов в месяц.

С дружининского кружка начались и его литературные знакомства и связи. Он до глубокой старости любил возвращаться к тому времени и рассказывать про «журфиксы» у Дружинина, где он познакомился со всем цветом тогдашнего писательского мира: Тургеневым, Гончаровым, Григоровичем, Писемским, Некрасовым, Боткиным и др.

Он—так же провинциал, как и я—испытывал вполне «благоговейное» чувство к этому синклиту. И беседы за ужином (где подавались неизменно котлеты с горошком) были для него в высшей степени интересными и развивающими.

Сколько раз он повторял—до последних годов, что на такие писательские ужины он уже потом не попадал, потому что их и не бывало. Это были действительно сливки тогдашней литературы.

Но дружининский кружок, за исключением Некрасова, уже и в конце пятидесятых годов оказался не в том лагере, к которому принадлежали сотрудники «Современника» и позднее «Русского Слова». Мой старший брат и по этой части очутился почти в таком же положении, как и я. Место, где начинаешь писать, имеет немалое значение, в чем я горьким опытом и убедился впоследствии.

В зиму 1860—61 года дружининские «журфиксы», сколько помню, уже прекратились. Когда я к нему явился—кажется, за письмом в редакцию «Русского Вестника», куда повез одну из своих пьес,—он вел уже очень тихую и уединенную жизнь холостяка, жившего с матерью, кажется, все в той же квартире, где происходили и ужины.

Он умер еще совсем не старым человеком (сорока лет с чем-то), но смотрел старше, с утомленным лицом. Он и дома прикрывал ноги пледом, «полулежа» в своем обширном кабинете, где читал почти исключительно английские книжки, о которых писал этюды для Каткова,—тогдашнего Каткова, либерала и англомана.

Но больным Дружинина нельзя еще было назвать. Хорошего роста, не худой в корпусе, он и дома одевался очень старательно. Его портреты из той эпохи достаточно известны. Несмотря на усики и эспаньолку (по тогдашней моде), он не смахивал на отставного военного, каким был в действительности, как отставной гвардейский офицер.

Говорил он довольно слабым голосом, шепеляво, медленно, с характерными барскими интонациями. Вообще же, всем своим *habitus* похож был скорее на светского, образованного петербургского чиновника из бар, чем на профессионального литератора.

Таких литераторов уже нет теперь—по тону и внешнему виду, как и вся та компания, которая собиралась у автора «Полиньки Сакс», «Записок Ивана Чернокнижникова» и «Писем иногороднего подпичика».

К 1861 году Дружинин, как и Тургенев, перестал быть сотрудником «Современника»⁵¹. Не знаю, разошелся ли он лично с Некрасовым к тому времени (как вышло то у Тургенева), но по направлению он, сделавшись редактором «Библиотеки для Чтения» (которую он оживил, но материально не особенно поднял), стал одним из главарей эстетической школы, противником того утилитаризма и тенденциозности, какие он усматривал в новом руководящем персонале «Современника»—в Чернышевском и его школе, в Добролюбове с его «Свистком» и в том обличительном тоне, которым эта школа приобрела огромную популярность в молодой публике.

Если Тургеневу принадлежит фраза о Чернышевском и Добролюбове: «Один—простая змея, а другой—змея очковая»⁵², то Дружинин по своему тогдашнему настроению мог быть также ее автором. Он и во всемирной литературе не признавал, например, Гейне, потому что поэт, по его убеждению, не должен так уходить в «злобы дня» и пускать в ход сарказм и издевательство. Как критик, он уже сказал тогда свое слово и до смерти почти что не писал статей по текущей русской литературе. В «Веке» он продолжал тогда свои юмористические фельетоны,

утратившие и ту соль, какая значилась когда-то в его «Записках Чернокнижника».

Студентом в Дерпте, усердно читая все журналы, я знаком был со всем, что Дружинин написал выдающегося по литературной критике. Он до сих пор, по-моему, не оценен еще как следует. В эти годы, перед самой эпохой реформ, Дружинин был самый выдающийся критик художественной беллетристики, с определенным эстетическим credo. И все его ближайшие собратья—Тургенев, Григорович, Боткин, Анненков—держались почти такого же credo. Этого отрицать нельзя.

Позднее, когда я ближе познакомился с Григоровичем (в 1861 году я только изредка видал его, но близко знаком не был), я от него слышал бесконечные рассказы о тех «афинских вечерах», которые «заказывал» Дружинин.

Затрудняюсь передать здесь—со слов этого свидетеля и участника тех эротических оргий—подробности, например, елки, устроенной Дружининым под Новый год... в «семейных банях».

Григорович известен был за краснобаю, и кое-что из его свидетельских показаний надо было подвергать «очистительной критике»; но не мог же он все выдумывать? И от П. И. Вейнберга] (оставшегося до поздней старости целомудренным в разговоре) я знал, что Дружинин был эротоман и проделывал даже у себя в кабинете разные «опыты»—такие, что я затрудняюсь объяснить здесь, в чем они состояли.

Я узнал обо всем этом позднее; но, когда являлся к нему и студентом и уже профессиональным писателем, никак бы не мог подумать, что этот высоко приличный русский джентльмен, с такой чопорной манерой держать себя и холодноватым тоном, мог быть героем даже и не похожений только, а разных эротических затей.

Вообще, надо сказать правду (и ничего обсахаривать и прикрашивать я не намерен), та компания, что собиралась у Дружинина, то-есть самые выдающиеся литераторы пятидесятых и шестидесятых годов, имели старинную барскую наклонность к скабрёзным анекдотам, стихам, рассказам.

Этим страдал, прежде всего, и сам откровенный рассказчик всяких интимностей о своих собратах—Григорович. Не чужд был этого—особенно в те годы—и Некрасов, автор целой поэмы (написанной, кажется, в сотрудничестве с М. Лонгиновым) из нравов монастырской братии. Отличался этим и Боткин. И Тургенев до старости не прочь был рассказать скабрёзную историю, и я прекрасно помню, как уже в 1878 году, во время международного конгресса литераторов в Париже, он нас, более молодых русских (в том числе и М. М. Ковалевского, бывшего тут),

удивил за завтраком в ресторане и по этой части. Я его перед тем знал лично уже около пятнадцати лет (с 1864 года)—и не предполагал, чтобы он был в состоянии услаждать себя такими вещами.

В этом сказывается эпоха, известная генерация, пережиток нравов.

Все они могли иметь честные идеи, изящные вкусы, здравые понятия, симпатичные стремления; но они все были продукты старого быта, с привычкой мужчин их эпохи—и помещиков, и военных, и сановников, и чиновников, и артистов, и даже профессоров—к «скромным» речам. У французских писателей до сих пор, как только дойдут до десерта и ликеров, сейчас начнутся разговоры о женщинах и пойдут эротические и прямо «похабные» словца и анекдоты.

Все это мог бы подтвердить, прежде всего, сам П. И. Вейнберг. Он был уже человек другого поколения и другого бытового склада, по летам как бы мой старший брат (между нами всего шесть лет разницы), и он сам служил резким контрастом с таким барским эротизмом и склонностью к скромным разговорам. А ему судьба как раз и приготовила работу в журнале, где сначала редактором был такой эротоман, как Дружинин, а потом такой «Иона-циник», как его преемник Писемский.

К нему я теперь и перейду. Он был ведь главным объектом моих писательских планов и соображений. До переезда в Петербург я лично с ним не сносился. «Однодворца» снес к нему мой товарищ, музыкант Балакирев. Пьесу напечатали, мне прислали гонорар еще в Дерпт, и я не помню, чтобы между мной и Писемским установилась переписка. Я послал в редакцию «Ребенка», который тотчас же был принят. До того я, попадая в Петербург, вряд ли где видал Алексея Феофилактовича (или Филатовича, как его иные звали, особенно москвичи); но, как писательская личность, он был мне уже хорошо известен. Я с гимназических годов читал все, что он печатал, начиная с «Москвитянина». Особенно живо сохранились у меня в памяти эпизоды его сатирической повести из московской жизни сороковых годов «Брак по страсти». И потом—вплоть до «Тысячи душ»—я читал его очень усердно. Его пьеса «Горькая судьбина», напечатанная уже в «Библиотеке для Чтения» (и получившая уваровскую премию вместе с «Грозой» Островского) захватила меня—в своем роде—так же сильно, как когда-то «Банкрут» Островского. И все, что он раньше печатал в «Современнике» и «Библиотеке», вызывало не в одном мне из молодых читателей живейший интерес. Тогда—до начала шестидесятых годов—Писемский считался, несомненно, либеральным беллетристом, с заветами Гоголя, изобразителем всех темных сторон «николаевщины». И по своим журнальным связям он принадлежал к либеральному кружку

«Современника». Некрасов дорожил его сотрудничеством, и работа в его журнале, дававшая хороший гонорар, побудила всего сильнее Писемского оставить службу в провинции и переселиться в Петербург, как профессиональному литератору, до редакторства в «Библиотеке». Та же самая тетюшка, которая послужила *trait d'union* между мною и Вейнбергом, оказалась в родстве с женой Алексея Феофилактовича, урожденной Свипьиной, дочерью того литератора двадцатых годов, который впервые стал издавать «Отечественные Записки». И тут у меня вышло дальнее «свойство» с женой, как и у П. А. Плетнева. Писемский квартировал в те годы—до самого своего переселения в Москву—в том длинном трехэтажном доме (тогда Куканова), что стоит на Садовой, против Юсупова сада, не доходя до Екатерингофского проспекта. Дом этот по внешнему виду совсем не изменился за целых с лишком сорок лет, и я его видел в один из последних моих приездов, в октябре 1906 года, таким же; только лавка и магазины нижнего жилья стали пофрантоватее.

Тогда, в начале шестидесятых годов, по соседству с ним, на углу Екатерингофского проспекта, помещалась управа благочиния, одно имя которой пахло еще николаевскими порядками. При ней значился и адресный стол.

Квартиру Писемский нанимал во втором этаже, по парадной лестнице, без швейцара—довольно обширную. Через просторную залу вы проходите налево в его светлый кабинет, с двумя окнами на улицу. Отделка этой комнаты стоит передо мной как живая, точно я смотрю на ее изображение в стереоскоп. Прямо против двери, у стены, кресло перед письменным столом, где всегда принимал хозяин. Направо и налево висят литографии в натуральную величину: Беранже и Жорж-Занд—в рамках. Они висели у него и в Москве, когда он жил в одном из своих домов, где я у него бывал. Слева—книжный шкаф, и в углу между шкафом и большим турецким диваном висела шуба, а под шубой—ночной сосуд. Эта житейская подробность как нельзя больше характерна для личности Писемского. «Жизнебеззаботность» и помещичьи привычки! Шубу он держал, боясь, что у него ее украдут из передней, а «фиал гнева» (как называл один мой приятель в Дерпте)—потому, что лень было удаляться из кабинета за естественной надобностью. Левую от двери стену занимал широкий клесчатый диван.

Позднее я часто заставал Писемского совершенно по-домашнему, то-есть в халате, в ночной рубашке и непременно с обнаженной, чуть не до пояса, жирной и мохнатой грудью. В таком виде он писал по целым дням, и вообще не имел привычки с утра одеваться. Но тут

я его застал—это было уже не рано—одетым в светло-серый костюм из мохнатой материн, хорошо спитый. Наружность его была мне уже знакома по литографированному портрету из коллекции Мюнстера, появившемуся в продаже незадолго до того. Позднейшие портреты (например знаменитый портрет работы Перова в Третьяковской галерее) дают уже слишком растрепанного и дикого Писемского. В Москве он стал бриться, когда поступил опять на службу, в губернское правление. Превосходный портрет Репина—из последних годов его московской жизни—изображает уже человека обрюзгшего, с видом почти клинического субъекта и в том «развращенном» виде, в каком он сидел дома и даже по вечерам принимал гостей в Москве.

Тогда же, в январе 1861 года, он был мужчина еще молодой, с интересной некрасивостью, плотный, но не ожирелый. Темные глаза с блеском, несколько курчавые волосы, борода. Пальцы толстые, и тогда уже были выпачканы в чернилах. Профессиональным писателем он не смотрел, а скорее помещиком; но и чиновничьего не было в нем ничего, сразу бросающегося в глаза,—ни в наружности, ни в манерах, ни в тоне, хотя он до переезда в Петербург все время состоял на службе в провинции, в Костроме. Костромского можно было в нем распознать сразу—по говору. По этой части он был человек чисто «бытовой», хотя и дворянского рода, помещик и сын помещиков. Но местный говор удержался в нем сильнее, чем в других костромских из образованного класса, например его младшем сверстнике, покойном Максимове, в его ближайшем земляке Алексее Потехине и его братьях.

Как уроженец Нижнего, я с детства наслушался тамошнего народного говора на «он» и в городе—от дворовых, мещан, купцов, и в деревне—от мужиков. Но нижегородский говор отличается от костромского. Когда к нам в дом летом приходили работники костромские (плотники из Галичского уезда, почему народ, в том числе и наши дворовые, всегда звали их «галки»), я прислушивался к их говору и любил болтать с ними.

Писемский был родом из Кинешемского уезда, но у него сохранился говор «галок». Это звучит не особенно резко на «он», а сказывается больше в известного рода певучести и в растяжении и усечении гласных. Окончания глаголов: «глотаёт», «начинаёт» и т. д. он произносит, как -а а т, а фамилию Плещеева—Плещээв, с открытым «э». Словом, никто уже в писательском мире—и тогда и позднее, за целых сорок лет—не имел такого «акцента», как Писемский, и только в последние годы Максим Горький не освободился от своего говора на «он», совершенно в таком роде, как говорят у нас в Нижнем мастеровые, мещане, мелкие лавочники, семинаристы.

Сопоставление этих писателей двух эпох, сохранивших народный говор, будет тут совершенно кстати для характеристики Писемского. В авторе «На дне» чувствуется нижегородский обыватель простого звания, прямо из мира босяков и скитальцов попавший во всесветные знаменитости, без той выправки, какую дают принадлежность к высшему сословию, средняя школа, университет. И в Писемском вы видели нечто в таком же роде на почве личных и отчасти бытовых особенностей. Но он был провинциальное помещичье чадо, хватившее потом и жизни Москвы, где он учился в университете, типичный представитель дворянско-чиновничьего класса пятидесятых годов. Разночинец в особенном смысле от него не пахло. Это был—при всех своих слабостях и чувственном характере—человек «умственный», природно чрезвычайно умный и острый, иногда с циническим оттенком. Но тут надо различать две половины Писемского, или лучше—два его состояния: трезвое и возбужденное. Он был склонен к возлияниям, хотя тогда еще вовсе не форменный алкоголик; по рассказам тех, кто знал его кутежи, бывал способен на самые беспардонные проявления своего кутильно-эротического темперамента—и в России (в особенности в Петербурге, по водворении туда) и за границей, в Париже. П. И. Вейнберг сохранил в своей памяти гомерические эпизоды, когда ему приходилось ездить за Писемским в такие места, где он предавался вакханалиям не одни сутки, и увозить его оттуда. Но я его видел пьяным всего один раз—у него дома и по совершенно особому случаю, о чем расскажу дальше.

Обыкновенно и днем, в редакционные часы, и за обедом, и вечером, когда я бывал у него, он не производил даже впечатления человека выпивающего, а скорее слабого насчет желудочных страстей,—так он сам выражался. Поесть он был великий любитель и беспрестанно платился за это гастрическими схватками. Помню, кажется, на вторую зиму нашего знакомства я нашел его лежащим на диване в халате. Ему подавал лакей какую-то минеральную воду, он охал, отдувался, пил.

— Что с вами?—спрашиваю я его.

— Ох, батюшка... Уходил себя дикой козой. Увидал я ее в лавке у Каменного моста... Три дня приставал к моей Катерине Павловне (имя жены его): «Сделай мне из нее окорочек буженины и вели подать под сливочным соусом». Вот и отдуваюсь теперь.

И вообще он был самый яркий ипохондрик (недаром он написал комедию под таким заглавием) из всего своего литературного поколения, присоединяя сюда и писателей постарше: Анненкова, Боткина, а в особенности Тургенева, который тоже был мнителен, а холеры боялся до полного малодушия. Чуть что—Писемский валялся на диване, охал,

ставил горчичники, принимал лекарство и со своим костромским акцентом зывал:

— Понимаешь? Подпираат, братец, подпираат мне всю внутреннюю...

Но при всех этих курьезных повадках и слабостях он вообще вел себя с тактом, был скорее сдержан, я бы сказал даже—с большим сознанием того, кто он, не без напыщенности. Вы сейчас чувствовали, что это крупный писатель, и с первых слов видели, как бойко и своеобразно играл в нем наблюдательный, часто насмешливый ум. Он мог подаваться—особенно после событий 1861—1862 годов—в сторону охранительных идей, судить неверно, пристрастно о многом в тогдашнем общественном и чисто литературном движении; наконец, у него не было широкого всестороннего образования, начитанность, кажется,—только по-русски (с прибавкой, быть может, кое-каких французских книг), но в пределах тогдашнего русского «просвещения» он был совсем не игнорант, в нем всегда чувствовался московский студент сороковых годов; он был искренно предан всем лучшим заветам нашей литературы, сердечно чтит Пушкина, напечатал когда-то критический этюд о Гоголе, увлекался с юных лет театром, считался хорошим актером и был прекраснейший чтец «в лицах». В нем,—если взять его лучшее время, до начала шестидесятых годов,—сказывалось очень большое соответствие между человеком и писателем. Он был чрезвычайно похож на свои произведения во всех смыслах—и в положительную и в отрицательную сторону. Сила, ум, цепкая наблюдательность, своеобразная форма, беспощадный реализм всего миропонимания, а рядом с этим—склонность к обличению того, что ему было не по душе в новом строе общества и литературы, грубоватость приемов, чисто русские слабости и пороки: малодушие, себе на уме, приобретательская жилка. Когда я с ним познакомился, он был уже на перепутьи между общим либерализмом людей его эпохи и отчуждением от того, что тогда представлял собою кружок Чернышевского, «Искры» и других центров петербургского радикализма. Но реакционера в нем еще тогда не было—ни в политическом, ни в религиозном, ни в чисто литературном смысле. Он—я помню—стал мне говорить в одно из первых моих посещений о Токвиле, книга которого переводилась тогда в «Библиотеке для Чтения»⁵³, высказывался о всех наших порядках очень свободно, заинтересован был вопросом освобождения крестьян, вовсе не как крепостник.

Не нужно забывать, что Писемский по переезде своем в Петербург (значит, во второй половине пятидесятых годов) стал близок к Тургеневу, который одно время сделал из него своего любимца, чрезвычайно высоко ставил его, как талант, водил с ним приятельское

знакомство, кротко выносил его разносы и участвовал даже volens-nolens в его кутежах. Тургенева, как художника, Писемский понимал очень тонко и определял образно и даже поэтично обаяние его произведений.

— Это—благоухающий сад... и в нем беседка. Вы сидите в ней, и над вами витают светлые тени... его женщин...

Но он, хоть и добродушно, не прощал Тургеневу слабость его характера и неустойчивость его в отношениях к людям и даже в идеях, симпатиях и убеждениях.

— Человек в жизни своей не имел ни семьи, ни жены, ни открытой любовницы, ни закадычного друга.

Он и на многолетний роман с Виярдо смотрел как на доказательство «тряпичности» натуры своего приятеля.

Не прощал он ему тогда и его петербургских великосветских связей, того, что тот водился с разными высокопоставленными господами из высшего «монда». Могу довольно точно привести текст рассказа Писемского за обедом у него, чрезвычайно характерный для них обоих. Обедал я у Писемского запросто. Сидели только, кроме хозяина, жена его и два мальчика-гимназиста.

Тургенев приглашал его к себе провести вечер. «Пришел и Огарев (тогда только что отпущенный за границу), а хозяин вскоре скрылся. Он извинился перед нами, что ему надо непременно куда-то ехать в «монд» и обещал пробыть не больше как с час, много полтора. Остались мы вдвоем с Огаревым. Я его тогда в первый раз видел. Парень душевный... Человек подал нам водки и закуски. Мы с ним опорожнили графинчик и спросили второй. И оба мы распались на Ивана Сергеевича за такое его малодушие: пригласил приятелей, а сам полетел к какой-нибудь кислой фрейлине читать рассказ. Сидим час-другой, спросили и третий графинчик. Звонок. Но вместо самого Тургенева является какой-то великосветский барин в звании камер-юнкера (кажется, это был Маркевич—тогда еще приятель Тургенева), в белом галстуке и во фраке. Мы его спрашиваем: пьете водку? Он отказался и стушевался минут через пять, увидев, на каких ребят он наскочил. И только в час ночи возвращается Тургенев и начинает извиняться. Вот мы его тогда с Огаревым и принялись валять в два жгута. А он только просит прощения... И меня, хмельного, привез домой и довел до передней».

— Да, папа,—остановил Писемского его старший сын Паша (впоследствии профессор Московского университета),—ты был сильно выпивши, и Тургенев внес сам в руках твои калоши. Ты их растерял на лестнице.

Тургеневу он не прощал и приятельства с таким «лодырем» (так он называл его), как Болеслав М[арке]вич—тогда еще не романист, а камер-юнкер, светский декламатор и актер-любитель, стяжавший себе громкую известность за роль Чацкого в великосветском спектакле в доме Белосельских, где он играл с Верой Самойловой в роли Софьи.

— Не водитесь вы с ним!—упрашивал он и меня.—Наверно вытянет у вас сто рублей без отдачи... а то хоть и беленькую. Я его не принимаю, а ежели он нахально станет кланяться, я ему говорю: «Для вас нет у меня денег».

И каждый раз Писемский прибавлял:

— А Иван Сергеевич водит приятельство с такой дрянью!

Мое знакомство с великолепным «Болеславом» вышло вот каким образом, в первую же зиму. Он жил на одной квартире с неким Казначеевым, бывшим чиновником при графе Закревском в Москве, как и Маркевич. А Казначеева я знал через семейство князей Д[ондуко]вых. М[арке]вич пожелал меня «шармировать», стал рассказывать про свои светские связи и приятельство с «Иваном Сергеевичем», прохаживаясь насчет его бесхарактерности и беспринципности. Между прочим он мне изобразил в лицах (он был большой краснбай), как Тургенев во дворце у Елены Павловны на рауте сначала ругательски ругал весь этот высший мир; а когда одна великая княгиня сказала ему несколько любезностей, то «весь растаял». Этим рассказом я воспользовался впоследствии в романе «Жертва вечерняя», где у меня является некий Балдевич, очень смахивающий на М[арке]вича. Тогда Тургенев его уже отстранил от своей особы, и реакционный романист мстил ему за это всю жизнь.

Водил он близкое приятельство с графом В. Соллогубом, которого я застал в Петербурге одного, в меблированной квартире в доме Воронина, в Фонарном переулке, за чтением вслух моей драмы «Ребенок». Сидел тут М[арке]вич, и Соллогуб заставил его докончить чтение. А когда мы шли от Соллогуба вдвоем, то М[арке]вич всю дорогу сплетничал на него, возмущался, какую тот ведет безобразную жизнь, как он на днях проиграл ему у себя большую сумму в палки и не мог заплатить, и навязывал ему же какую-то немку, актрису Михайловского театра. Я сам не мог и тогда понять, как Иван Сергеевич Тургенев водит приятельство с таким индивидом и позволяет ему играть в великосветском обществе роль присяжного чтеца его произведений. Писемский был сто раз прав в своих грубых, но справедливых разносах.

Своеобычный Алексей Феофилактович жил в Петербурге так, как жил бы в Костроме помещик или видный чиновник: просторная квартира с приличной обстановкой, но без всякой оригинальности, как

говорится—«общеармейского» типа. Была прислуга, как в каждом барском доме средней руки: лакей, повар, горничная. Вопреки своим кутильным эксцессам не только по части Бахуса, но и по части Афродиты, он был очень семейный человек. И судьба послала ему превосходную жену. Екатерина Павловна и тогда еще была красивая женщина, с ясным и добрым выражением лица, всегда спокойная, с прекрасным тоном, с полным отсутствием какой-нибудь рисовки или жеманства. Такие женщины были не редкость в дворянском кругу, особенно провинции, в сороковых и пятидесятых годах. Водились они и раньше. К мужу своему Е. П. относилась с неизменной кротостью, хотя совсем не принадлежала к натурам пассивным и сладковатым. Она была к нему искренно и честно привязана и прощала ему все отклонения от супружеского сredo. Привыкла она смотреть сквозь пальцы и на его кутильные наклонности. И он ее весьма уважал, ценил ее по достоинству, по-своему любил, в молодости, наверно, был сильно влюблен в нее. В Писемском семейный инстинкт сказывался очень ярко. Он нежно любил своих детей, любовался ими, дрожал за их здоровье, обходился мягко, с юмором, баловал в меру, следил за их успехами в гимназии.

У него было всего два сына. Тогда оба уже учились в гимназии и шли по успехам прекрасно. И оба кончили так трагически. Меньший, еще при жизни отца,—самоубийством в Петербурге, блестящим учителем в разных заведениях. Он мальчиком был очень красивый, с тонкими чертами лица. Старший, Паша—наружностью больше в отца, веселый, добродушный, здоровый мальчик. Кто бы подумал тогда, глядя на этого бойкого и крепкого гимназиста, что он кончит душевной болезнью, после смерти отца, и в такой длительной форме полного распада личности? И мать долгие годы была его пестуном. Кажется, он еще до сих пор не умер. При мне не раз, когда мальчики прибегали к нему в кабинет, вернувшись из гимназии, Алексей Феофилактович целовал их, гладил по голове, весело шутил с ними. Я редко видал впоследствии в писательском кругу такую нежную любовь отца к детям, уже довольно большим мальчикам, и такое любованье ими, не лишнее, однако, разных юмористических замечаний и забавных прозвищ, которые он им давал.

Для меня, как начинающего писателя, который должен был совершенно заново знакомиться с литературной сферой, дом Писемских оказался не малым ресурсом. Они жили не открыто, но довольно гостеприимно. С Алексеем Феофилактовичем у меня установились очень скоро простые хорошие отношения и как с редактором. Я бывал у него и не в редакционные дни и часы, а когда мне понадобится.

Когда у него собирались—особенно во вторую зиму,—он всегда приглашал меня. У него я впервые увидел многих писателей с именами. Прежде других—А. Майкова, родственника его жены, жившего с ним на одной лестнице. Его более частыми гостями были: из сотрудников «Библиотеки»—Карнович, из тогдашних «Отечественных Записок»—Дудышкин, из тургеневских приятелей—Анненков, с которым я познакомился еще раньше, в одной из тогдашних воскресных школ, где я преподавал. Она помещалась в казарме Гальванической роты.

Про Анненкова и Дудышкина Писемский всегда говорил:

— Это мои присяжные критики. Я читаю им все, что напишу.

Тургенев в те две зимы не наезжал в Петербург, и я не мог его видеть у Писемского. Дружинин что-то не бывал у него. Во вторую зиму, когда Писемский стал приглашать на слушание первых двух частей своего «Взбаламученного моря», бывало больше народу. Там я впервые видал и слышал Серова, только что сделавшегося музыкальным критиком «Библиотеки». Помню, он сильно разносил Антона Рубинштейна и называл его «тапер», с очень злобной интонацией. Главного критика журнала, Еф. Зарина, у Писемского я не встречал и познакомился с ним уже гораздо позднее.

Был ли Писемский вполне на своем месте в качестве редактора? Сравнительно с тем, кто и теперь попадает в издатель-редакторы журналов и газет, скорее—да. Он носил громкое тогда имя, любимое и публикой либерального направления. Не нужно забывать, как сам Писарев даже и позднее высоко ценил его. Он кончил курс в Московском университете, любил литературу, как умный и наблюдательный человек, выработал себе довольно верный вкус, предан был заветам художественного реализма, способен был оценить все, что тогда выделялось в молодом поколении. Я не стану напирать на то, что он оценил автора «Однодворца» и «Ребенка». Но он из тогдашних молодых талантов «Современника» всегда хвалебно отзывался о Помяловском и отчасти о Николае Успенском. Глеб явился позднее, и в Петербурге я в 1863 году пустил его в ход впервые, рассказом «Старьевщик». Я уже сказал выше, что до второй половины пятидесятых годов Писемский состоял постоянным сотрудником Некрасовского «Современника», перед тем, как направлению этого журнала начали давать более резкую окраску Чернышевский и позднее Добролюбов. Даже осенью 1861 года, когда я вернулся из деревни и приехал раз днем к Писемскому, он мне сказал:

— Сейчас засылал ко мне Некрасов Салтыкова приторговать мою новую вещь. Я ему говорю: «С кого и взять, как не с вас? К вам деньжища валят».

А какая это была «новая вещь»? Роман «Взбаламученное море», которого он писал тогда, кажется, вторую часть.

Конечно, если б Некрасов познакомился предварительно со всем содержанием романа, вряд ли бы он попросил Салтыкова поехать к Писемскому позондировать почву; но это прямо показывает, что тогда и для «Современника» автор «Тысячи душ», «Горькой судьбины», рассказов из крестьянского быта не был еще реакционером, которого нельзя держать в сотрудниках. К нему заслали, заслали кого?—самого Михаила Евграфовича, тогда уже временно—между двумя вице-губернаторствами—состоявшего в редакции «Современника»⁵⁴.

Салтыкова я после не видал никогда у Писемского и вообще не видал его нигде в те две зимы и даже после, во время моего редакторства. Как руководитель толстого журнала, Писемский запоздал, совершенно так, как я сам два года спустя слишком рано сделался издателем-редактором «Библиотеки».

В те годы ветер стал дуть, как и теперь, в сторону «переоценки всех ценностей»: и государственно-общественных устоев, и экономических и нравственных идеалов, и мышления, и литературно-художественных идей, запросов и вкусов.

Десять лет раньше Писемский был бы совершенно на месте и даже представлял бы собою прогрессивную силу в журнализме, хотя бы и без особенно научной или литературной подготовки. Ведь и Краевский в свое время далеко не представлял собою кладезя учености, а Пушкин считал его выдающейся личностью, и его знаменитый промах в энциклопедическом лексиконе Плюшара («Доед д'Аге»)*⁵⁵ не помещал ему сделать из «Отечественных Записок» передовой орган сороковых годов и привлечь даровитейших и свободомыслящих людей от Герцена и Белинского до Тургенева и того же Писемского.

«Библиотека для Чтения» ко второй половине пятидесятых годов под редакцией Дружинина оживилась, она стала органом тургеневско-боткинского кружка, в котором защищались пушкинские традиции и заветы Белинского,—но не того только, что действовал в «Современнике», а прежнего эстета, гегельянца, восторженного ценителя Пушкина. С этой окраской перешел журнал и к Писемскому. Сам он не мог действовать как критик, что делал Дружинин, но он стал, как юморист (в фельетонах «Статского советника Салатушки»), подсмеиваться—к наступлению шестидесятых годов—над крайностями тогдашнего «нигилистического духа». При всей грубоватости его натуры он высоко

* Так он перевел термин «doyen d'âge».

ставил искусство и художественную литературу, и ему не могло быть по душе направление критики, шедшее от Чернышевского. Он не любил резкой тенденциозности в беллетристике, пропитанной известными, хотя бы и очень модными, темами, и боялся (быть может, не так сильно, как Дружинин), что «свистопляска» в «Современнике» и «Искре» понизит уровень литературных идеалов. Помню разговор в его кабинете, когда я познакомился с его московским приятелем Эдельсоном (впоследствии рекомендованным мне Писемским же как критик), о тогдашнем фурорном романе Авдеева «Подводный камень», который печатался в «Современнике». Оба они—Эдельсон так же, как и Писемский—отзывались об этой вещи как о тенденциозной «композиции», где нет настоящей художественной правды, где все подведено к мотиву во вкусе жорж-зандовских романов, значит, в сущности, к чему-то новому только в России; а во Франции эта «жорж-зандовщина» процветала еще в тридцатых годах.

Могут привести довольно отчетливо слова Писемского:

— Я Тургенева не мало дразню: «Авдеев-то, мол, ваш выученик; только он подражает вам в искании интересных тем, а не в настоящей творческой работе».

И ведь это была безусловно верная оценка.

Тогдашние статьи Чернышевского своей разрушительной подкладкой прямо смущали его и даже возмущали тоном, манерой на все смотреть «скандачка», все валить.

Раз при мне Писемский все повторял, обращаясь к Карновичу, который писал и в «Современнике»:

— Вы мне скажите, хороший ли он человек? Коли человек он хороший, то ему многое можно простить.

А вся эта разрастающаяся рознь между двумя лагерями—тем, где стояли Дружинин, Писемский, Боткин и Тургенев, и кружком Чернышевского—поддерживалась тем, что они нигде уже не сходились. Не существовало никакого общего дела, ни клуба, ни «Союза писателей», а «Фонд» был только благотворительным учреждением, да и то чернышевцы и добролюбовцы вряд ли смотрели на него дружественно⁵⁶. Ведь его основали «генералы»—все тот же Дружинин и Тургенев со своими ближайшими сверстниками. Вот все это и начало всплывать в грубоватых шутках и сарказмах моего предшественника (как фельетониста «Библиотеки») — Статского советника Салатушкин, который уже действовал «во-всю», когда я сделался постоянным сотрудником «Библиотеки», то-есть в сезон 1860—61 года. К началу шестидесятых годов и разгорелось в Писемском то недоумевающее, а потом и отрицательное отношение к тогдашним «нигилистам» русского журнализма.

Точно такой же внутренний процесс произошел не только в Фете, Боткине или Дружинине, но и в Тургеневе, еще до напечатания «Отцов и детей», после того как он «разорвал» с Некрасовым. То же чувство находили вы и в Москве, в кружке бывших приятелей Герцена, особенно в Кетчере. Я помню еще в конце пятидесятых годов (когда с ним познакомился) раскаты его смеха и беспощадные возгласы, направленные против «Современника», при чем и Некрасову досталось очень сильно, больше, впрочем, как человеку.

Журналом в зиму 1860—61 года Писемский занимался, как говорится, «с прохладцей», что не мешало ему кряхтеть и жаловаться, находить, что редакционная работа ужасно мешает писательству. Он и в ту зиму писал, но не так, как в следующий сезон, когда он приступил к «Взбаламученному морю», задуманному в шести частях. Тогда вообще в журналах не боялись больших романов, и мелкими рассказами трудно было составить себе имя *. Как истинный русак, Писемский, отдавшись работе над вещью крупных размеров, писал запоем, просиживал целые дни в халате за письменным столом, и тогда уже не жаловался на то, что редакторство заедает его, как романиста. Процесс его работы был очень похож на всю его личность. Он писал сперва черновой текст, жена сейчас же переписывала, и я был свидетелем того, как Екатерина Павловна приходила в кабинет с листком в руке и просила прочесть какое-нибудь слово. Почерк у него был крупный и чрезвычайно беспорядочный—другого такого я ни у кого из писателей не видал. Это было больше мазанье, чем писанье. Жена вставляла ему и французские фразы в светских сценах. Писемский не владел ни одним иностранным языком. По-французски, может быть, читал, но ни по-немецки, ни по-английски. Черновой текст, переписанный женою, Писемский исправлял и перемарывал и делал это так необузданно, что пальцы правой руки были у него по целым неделям измазаны ниже вторых суставов. Об этом многие знали и приводили всегда, когда разговор о Писемском принимал анекдотический характер.

Для меня, как беллетриста, работа в «Библиотеке» и частые свидания с ее редактором были выгодны во многих смыслах. Тогда, за отсутствием Тургенева, кроме Достоевского, в Петербурге не было более крупного романиста и драматурга. И талант, и своеобразный ум, и юмор сказывались всегда в его разговорах. Передо мною в его лице стояла целая эпоха, и он был одним из ее типичнейших представителей:

* Исключение следует сделать разве для Тургенева, как автора «Записок охотника»,

настоящий самородок из провинциального помещичьего быта, без всяких заграничных влияний, полный всяких чисто российских черт антикультурного свойства, но все-таки талантом, умом и преданностью литературе, как высшему, что создала русская жизнь, поднявшийся до значительного уровня. И он же был жертвой своих чувственных инстинктов, в нем же засели разные виды бытовой жизненной боязливости, грубоватый и чересчур развитый пессимизм, недостаток высших гражданских идеалов, огромный недочет по части более тонких свойств души.

Но, повторяю, в ту первую зиму в Петербурге Писемский оставался самым ценным для меня литературным знакомством.

Некрасова и Салтыкова я не встречал лично до возвращения из-за границы в 1871 году. Федора Достоевского узнал я уже позднее. К его брату Михаилу, уже издававшему журнал «Время», обращался всего раз, предлагал ему одну из пьес, написанных мною в Дерпте перед переездом в Петербург. С Тургеневым я познакомился в 1864 году, когда был уже издателем «Библиотеки».

Из других выдающихся журналистов был у Краевского, возил ему другую пьесу, но он предложил мне слишком скудный гонорар; я уже получал тогда в «Библиотеке» по семидесяти пяти рублей за лист.

Никто меня так и не свел в редакцию «Современника». Я не имел ничего против направления этого журнала в общем и статьями Добролюбова зачитывался еще в Дерпте. Читал с интересом и «Очерки гоголевского периода» там же, кажется, еще не зная, что автор их, Чернышевский, уже первая сила «Современника» к половине пятидесятых годов.

Прошла вся первая зима, и я не имел повода пойти в редакцию «Современника». Из постоянных сотрудников «Библиотеки» Карнович работал и там; но мы с ним в ту зиму были очень мало знакомы. В студенческих кружках, с какими я начал водиться, еще наезжая из Дерпта, были пылкие сторонники идей, которым до появления «Отцов и детей» еще никто не давал прозвища «нигилистических». Я был уже знаком со студентом Михаэлисом, братом г-жи Шелгуновой, тогдашним вожаком петербургского студенчества, приятелем М. Л. Михайлова, которого я видал в этом же кружке ⁵⁷.

Но личного знакомства с «Современником» так и не вышло вплоть до отъезда моего за границу в 1865 году.

Добролюбов уже умирал. Его нигде нельзя было встретить. И вышло так, что едва ли ни с одним из корифеев литературного движения той эпохи я лично не познакомился и даже не видал его, хотя бы издали, как это случилось у меня с Чернышевским.

А ведь Добролюбов—мой земляк, нижегородец, и мой ровесник—1836 года. Дом его отца, протоиерея Никольской церкви, приходился против нашего флигеля на Лыковой Дамбе. Отца его я видал очень часто, хотя он был настоятелем не нашего прихода. Помню его несколько суровую наружность, с черной бородой и в очках,—как он едет в санях в консисторию, где состоял членом.

В его доме долго жило семейство князя В. Трубецкого, куда «Николаша» Добролюбов ходил еще семинаристом, а позднее студентом Педагогического института, переписывался со свояченицей князя, очень образованной дамой (моей знакомой) Пальчиковой, урожденной Пещуровой. И при мне в Дерпте у Дондуковых (они были в родстве с Пещуровыми) кто-то прочел вслух письмо Добролюбова, тогда уже известного критика, где он горько жалеет о том, что во-время не занялся иностранными языками, с грехом пополам читает французские книги, а по-немецки начинает заново учиться.

Не встретился я ни в эту, ни в следующую зиму и с преемником Добролюбова по литературной критике, Антоновичем.

Меня притягивал особенно сильно театр.

Дела мои стояли так. Литературно-Театральный комитет (где большую роль играл и Краевский) одобрил—после «Фразеров», принятых условно,—и «Однودворца» и «Ребенка» без всякого требования перделки.

Обе пьесы лежали в цензуре: драма «Ребенок» только что туда поступила, а «Однодворец»—уже несколько месяцев раньше.

Тогда театральная цензура находилась в Третьем отделении, у Цепного моста, и с обыкновенной цензурой не имела ничего общего; а Главное управление по делам печати еще не существовало.

Справиться обо всем этом надо было у тогдашнего начальника репертуара императорских театров, знаменитого П. С. Федорова, бывшего водевилиста и почтового чиновника.

Я уже являлся к нему студентом, и он меня любезно принял.

Он посоветовал мне самому поехать к цензору И. А. Нордштрему и похлопотать.

Обе мои пьесы очень понравились комитету. «Однودворца» еще не предполагалось ставить в тот же сезон, из-за цензурной задержки, а о «Ребенке» Федоров сейчас же сообщил мне, что ролью чрезвычайно заинтересована Ф. А. Снеткова.

— Наш первый драматический сюжет,—прибавил он в пояснение.—Вы поезжайте к ней теперь же. Она очень желает с вами познакомиться.

Это было для меня особенно приятно.

Счеткову я уже видал и восхитился ею с первого же раза. Это было проездом (в Дерпт или оттуда) в пьесе тогдашнего модного «злобиста» Львова «Предубеждение, или не место красит человека».

Такой милой, поэтической *ingénue* я еще не видал на русской сцене.

А к 1861 году Фанни Александровна сделалась уже «первым сюжетом», особенно после создания роли Катерины в «Грозе» Островского.

Она жила со своей старшей сестрой, танцовщицей Марией Александровной, у Владимирской церкви, в доме барона Фредерикса. Я нашел ее такой же обаятельной, как и на сцене, и мое авторское чувство не мог не ласкать тот искренний интерес, с каким она отнеслась к моей пьесе. Ей сильно хотелось сыграть роль Верочки еще в тот же сезон, но с цензурой разговоры были долгие.

Цензор Нордштрём принимал в своем кабинете, узкой комнате рядом с его канцелярией, где в числе служащих оказался один из сыновей Фаддея Булгарина, тогда уже покойного.

Проникать в помещение цензуры надо было через лабиринт коридоров со сводами, пройдя предварительно через весь двор, где помещался двухэтажный флигель с камерами арестантов. Денно и ночью ходил внизу часовой-жандарм, и я в первый раз в жизни видел жандарма с ружьем при штыке.

Мои хождения в это «логово» жандармерии продолжались очень долго. Убийственно было то, что тогда вам сразу не запрещали пьесы, а водили вас месяцами, иногда и годами.

Ни «Однودворца», ни «Ребенка» Нордштрём не запрещал безусловно, но придерживал и кончил тем, что в конце лета 1861 года я должен был переделать «Однودворца», так что комедия (против печатного экземпляра) явилась в значительно измененном виде.

«Ребенка» мне удалось спасти от переделки; но за разрешением я походил-таки вплоть до начала следующего сезона.

Раз эта волокита так меня раздражила, что я без всякой опаски в таком месте, как Третье отделение, стал энергично протестовать.

Нордштрём остановил меня жестом.

— Вы студент. И я был студент Казанского университета. Вы думаете, что я ничего не понимаю?

И, указывая рукой на стену, в глубь здания, он вполголоса воскликнул:

— Но что же вы прикажете делать с тем кадетом?

А тот «кадет» был тогдашний начальник Третьего отделения, генерал Тимашев, впоследствии министр внутренних дел.

И он, действительно, был экс-кадет, учился где-то, не то в Пажеском корпусе, не то в тогдашней Школе гвардейских подпрапорщиков.

Но что вышло особенно курьезно, это—то, что тотчас же за либеральной фразой цензора в дверь просунулась голова рыжего жандармского «вахтера», и он пробасил:

— Ваше превосходительство, генерал уехал.

Значит, вам всем—чинушам—можно итти по домам.

Через Фанни Снеткову и—позднее—П. Васильева и актера-писателя Чернышева я вошел и в закулисный мир Александринского театра.

Печальное воспоминание оставила во мне «Александринка» после воскресного спектакля, куда я попал в первый раз, переезжая в Дербт в ноябре 1855 года,—особенно во мне, получившем от московского Малого театра еще в 1853 году такой сильный заряд художественных впечатлений.

С тех пор я имел случай лучше ознакомиться с русской драматической труппой Петербурга. Первая героиня и кокетка в те годы, г-жа Владимирова, даже увлекла меня своей внешностью в переводной драме О. Фелье «Далила», и этот спектакль заронил в меня нечто, что еще больше стало влечь к театру.

В той же «Далиле» я видел и Снеткову, и Самойлова, и тогда только что выступившего в роли любовника Малышева, товарища Снетковой по Театральному училищу.

Но все-таки я не видал до зимы 1860—61 года ни одного замечательного спектакля, который можно бы было поставить рядом с тем, что я видел в московском Малом театре еще семь-восемь лет перед тем.

Нравы закулисного мира я специально не изучал. В лице тогдашней первой актрисы Ф. А. Снетковой я нашел питомицу Театрального училища, в роде институтки. Она вела самую тихую жизнь и довольствовалась кружком знакомых ее сестры, кроме тех молодых людей (в особенности гвардейцев, братьев X—х), которые высиживали в ее гостиной по несколько часов, молчали, курили и «созерцали» ее.

Она почти нигде не бывала в городе. Раз я стал ей говорить на эту тему.

— Артистке надо знать жизнь всяких слоев общества. Вот вы, Фанни Александровна, играете Катерину в «Грозе» и создаете поэтический образ, но, согласитесь, вы ведь не видали, наверно, ни одной такой купчихи? Почему вы летом не поездите по Волге на пароходе?

— Как же это? Сестрица не так здорова, а одна... я не могу...

И вся программа ее жизни состояла в репетициях, спектаклях, приеме гостей, работе над ролями, изредка—прогулке. По субботам

и воскресеньям—Владимирская церковь, куда она ходила ко всенощной и к обедне.

Писемский любил распространяться на ту же тему, но в своем, циническом, вкусе. Он презирал «Александринку», но особенно сильно доставалось от него петербургским актрисам.

— Хоть бы они нили, что ли? Ничего-то они не умеют играть, как надо. Разве одних только д..., да и то не веселых, а скучных, немецких!

Разумеется, эти «разносы» надо оставить на его ответственности.

Кроме Снетковой, в труппе был такой талант, как Линская, не уступавшая актрисам на бытовые роли и в московской труппе, и несколько хороших полезностей.

А мужской персонал стоял в общем довольно высоко. Еще действовал такой прекрасный актер, как старик П. И. Сосницкий, создавший два лица из нашего образцового театра: Городничего и Репетилова.

Он был актер «старой» школы, но какой? Не ходульной, а тонкой, правдивой, какая нужна для высокой комедии. Когда-то *jeune premier* в светских ролях, Сосницкий служил даже моделью для петербургских фешенеблей, а потом перешел на крупные роли в комедии и мог с полным правом считаться конкурентом М. С. Щепкина, своего старшего соратника по сцене.

Только что сошел в преждевременную могилу А. Е. Мартынов, и заменить его было слишком трудно: такие дарования рождаются один-два на целое столетие. Смерть его была тем прискорбнее, что он только что, со второй половины пятидесятих годов, стал во весь рост и создал несколько сильных, уже драматических лиц—в пьесах Чернышева, в драме Потехина «Чужое добро в прок нейдет», и, наконец, явился Тихоном Кабановым в «Грозе».

Обед, данный ему петербургскими литераторами незадолго до его смерти, было, кажется, первое чествование в таком роде. На нем впервые сказалась живая связь писательского творчества сценического художника.

Его ближайший сверстник и соперник по месту, занимаемому в труппе и в симпатиях публики, В. В. Самойлов, как раз ко времени смерти Мартынова и к шестидесятым годам окончательно перешел на серьезный репертуар и стал «посягать» даже на создание таких лиц, как Шейлок и король Лир. А еще за четыре года до того я, проезжая Петербургом (из Дерпта), видел его в водевиле «Анютины глазки и барская спесь», где он играл роль русского «пейзана» в тогдашнем вкусе и пел куплеты.

Замечательно, что он ни тогда, ни позднее не связал своего имени ни с Грибоедовым, ни с Гоголем и только гораздо позднее стал появляться в «Ревизоре» в маленькой роли Ростаковского. Островский ему сразу не удался. Его Любим Торцов был найден деланной фигурой. Самойлова упрекали—особенно поклонники Садовского—в том, что он играл это лицо слишком по-своему, без всякого знания купеческого быта, даже позволял себе к возгласу Торцова: «Изверги естества» прибавлять слово «анафема» и при этом щелкать пальцами.

Самойлов не был коренным русаком. Это семейство, как известно теперь доподлинно,—еврейской крови. Он был по своему происхождению и воспитанию слишком петербургский человек, пошедший в певцы из горных инженеров после какого-то публичного оскорбления. Дилетантский характер лег с самого начала на его артистическую карьеру. Но так как он был очень талантлив и способен на чрезвычайно разнообразную игру, то с годами он и выработал из себя не только ловкого, но и замечательного исполнителя, особенно в несильной драме и комедии. Славолубие у него было громадное, и он, подчиняясь тогдашним новым литературным вкусам, стал «посягать» на Шекспира. Эти опыты подняли его престиж. В труппе он занимал исключительное место, как бы «вне конкурса» и выше всяких правил и обязанностей, был на «ты» с Федоровым, называл его «Паша», сделался—отчасти от отца, а больше от удачной игры—домовладельцем, членом дорогих клубов, где вел крупную игру, умел обставлять себя эффектно, не бросал своего любительства, как рисовальщик и даже живописец, почему и отличался всегда своей гримировкой, для которой готовил рисунки.

Самые строгие его судьи были москвичи, особенно Аполлон Григорьев, тогда уже действовавший в Петербурге как театральный критик, а также и актеры, начиная с Садовского.

Они все считали его более «ловким» и «штукарем», чем искренним и вдохновенным артистом. Но про него нельзя было сказать, что он лишен внутреннего чувства. Он мог растрогать даже в такой роли, как муж-чиновник, от которого уходит жена, в комедии Чернышева «Испорченная жизнь», и в сцене пробуждения Лира на руках своей дочери Корделии; да и сцену бури он вел художественно, тонко, правдиво, не впадая в декламацию. Он был несомненный реалист, не сбившийся с пути в каратыгинское время, сознательно стоявший за правду и естественность, но слишком иногда виртуозный, недостаточно развитый литературно, а главное—ставивший свое актерское «я» выше всего на свете. Таких типов теперь я уже не знаю и среди самых известных «первых сюжетов» столиц и провинции.

Обе сестры его, Вера и Надежда, уже покинули сцену до зимы 1860—61 года. И это была огромная потеря, особенно уход Веры Васильевны.

Более прямым конкурентом и соперником Самойлова считался А. Максимов—тоже сначала водевильный актер, а тогда уже на разных ампула: и светских и трагических; так, и он выступал в «Короле Лире», в роли Эдмонда. Он верил в то, что он сильный драматический актер, а в сущности был очень тонкий комик на фатовское ампула, чему помогали его сухая, длинная фигура и испитое чахоточное лицо, и глухой голос в нос, и странная дикция.

Он вскоре умер жертвой, как и Мартынов, общерусского артистического недуга—закоренелого алкоголизма.

В труппе почетное место занимали и два сверстника Василия Каратыгина: его брат Петр Андреевич и П. И. Григорьев—оба плодотворные драматурги, авторы бесчисленных оригинальных и переводных пьес, очень популярные в Петербурге личности, не без литературного образования, один—остряк и каламбурист, другой—большой говорун.

С Каратыгиным я познакомился уже в следующую зиму, когда ставил «Ребенка», а Григорьева стал встречать в книжном магазине Печаткина. Тогда он уже оселся на благородных отцах, играл всегда Фамусова—довольно казенно,—изображал всяких генералов, штатских чиновников, отставных военных. Он отличался «запойным» незнанием ролей, а если ему приходилось начинать пьесу по поднятии занавеса, он сначала вынимал табакерку и устремлял взгляд на суфлерскую будку, дожидаясь, чтобы ему «подали реплику».

Еще не стариком застал я в труппе и Леонидова, каратыгинского «выученика», которого видел в Москве в 1853 году в «Русской свадьбе». Он оставался все таким же «трагиком», и перед тем, что называется, «осрамился» в роли Отелло. П. И. Вейнберг, переводчик, ставил его сам и часто представлял мне в лицах, как играл Леонидов и что он он выделял в последнем акте.

То, в чем он тогда выступал, уже не давало ему повода пускаться такие неистовые возгласы и жесты. Он состоял на ампула немолодых мужей (например в драме Дьяченко «Жертва за жертву») и мог быть даже весьма недурен в роли атамана «Свата Фаддеича» в пьесе Чаева.

Лично я познакомился с ним впервые на каком-то масленичном пикнике по подписке, в заведении Излера. Он оказался добродушным малым, не без начитанности, с высокими идеалами по части театра и литературы. Как товарища—его любили. Для меня он был типичным представителем николаевской эпохи, когда известные ученики

Театрального училища выходили оттуда с искренней любовью к «просвещению» и сами себя развивали впоследствии.

Самой интересной для меня силой труппы явился в тот сезон только что приглашенный из провинции на бытовое амплуа в комедии и драме Павел Васильев, меньшей брат Сергея—московского.

Для меня он не был совсем новым лицом. В Нижнем, на ярмарке, я дерптским студентом уже видал его; но в памяти моей остались больше его коротенькая фигура и пухлое лицо с маленьким носом, чем то, в чем я его видел.

В Петербурге появление П. Васильева совпало с постановкой—после долгого запрета—первой большой комедии Островского: «Свои люди—сочтемся».

Я тогда еще не видал Садовского в Подхалузине (мне привелось видеть его в этой роли в Петербурге же уже позднее), и мне не с кем было сравнивать Васильева.

Сейчас же чувлось в нем сильное и своеобразное дарование при невыгодных внешних средствах: малый рост, короткая фигура, некрасивость пухлого облика и голос хриповатый и—как и у брата его Сергея—в нос.

Подхалузина он задумал без всяких уступок внешнему комизму—серьезного и тихого плута, в гримировке и в жестах очень типичного брионета.

Когда мы с ним лично познакомились, он мне рассказывал, кто послужил ему моделью,—содержатель одного притона в Харькове, где Васильев долго играл.

Публика оценила его талант в первый же сезон, и он сделался соперником если не прямо Самойлова, то тогдашнего «бытовика», приятеля Островского, взявшего его репертуар точно на откуп.

Это был в то время очень популярный во всем Петербурге Бурдин, про которого была сложена песенка:

Он у нас один —
Теодор Бурдин!..

Кажется, еще до переезда в Петербург, я уже знал, что этот актер сделался богатым человеком, получив в дар от одного откупщика каменный многоэтажный дом на Владимирской.

Часто передавал мне П. И. Вейнберг, как Писемский на какой-то пирушке, уже значительно «урезав», приставал к Бурдину.

— Нет, ты скажи нам, Федька, как ты себе дом приобрел; коли честно—научи, а коли ёрнически—покайся всенародно.

Откупщик Голенищев, подаривший ему дом, был в тогдашнем вкусе меценат, скучающий вивёр, муж известной красавицы. Бурдин состоял при его особе, ездил с ним в Париж, читал ему, рассказывал анекдоты.

«Теодор» — москвич, товарищ по одной из тамошних гимназий Островского — считал себя в Петербурге как бы насадителем и нового бытового реализма, и некоторым образом его alter ego. Выдвинулся он ролью Бородин (рядом с Читау-матерью) к началу второй половины пятидесятых годов и одно время прогремел. Это вскружило ему голову, и без того ужасно славолубивую: он всю жизнь считал себя первоклассным артистом.

Если б не эта съедавшая его претензия, он для того времени был, во всяком случае, выдающийся актер, с образованием, очень бывалый, много видевший и за границей, с наклоном к литературе (как переводчик), очень влюбленный в свое дело, приятный воспитанный человек, не без юмора, довольно любимый товарищами. Поедала его страсть к карточной игре, и он из богатого человека постарался превратиться в беднягу.

Про его тщеславие ходило немало анекдотов. В Париже он посетил могилу Тальмы и сделал надпись: «A Talma Théodore Bourdine». Там же он один из первых «заполучил самое Ригольбощ» — канканерку Второй империи, которую каждый русский прожигатель считал долгом приобрести.

Для Бурдина присутствие Васильева в труппе было — «нож острый». Сравнение было слишком не в его пользу. Как и Васильев, он считал себя и комиком и трагиком, и в сильных местах всегда слишком усердствовал, не имея настоящего драматического дарования.

Писемский говаривал про него в таких случаях:

— Федька-то Бурдин... понимаешь, братец, лампы глотает от усердия...

Московские традиции и преданность Островскому представлял собою и Горбунов, которого я стал — вне сцены — видать у начальника репертуара Федорова, где он считался как бы своим человеком. Как рассказчик — и с подмостков и в домах — он был уже первый увеселитель Петербурга. По обычаю того времени свои народные рассказы он исполнял всегда в русской одежде и непременно в красной рубахе.

Как актер, он выделялся пока только Кудряшем в «Грозе», но и всю жизнь в нем рассказчик стоял гораздо выше актера, что и доказывает, что огромная подражательная способность еще не создает крупного актера*.

* О таланте и заслугах Линской я буду говорить в следующей главе.

Федоров (в его кабинет я стал проникать по моим авторским делам) поддерживал и молодого *jeune premier*, заменявшего в ту зиму А. Максимова (уже совсем больного)—Нильского. За год перед тем, еще дерптским студентом, я случайно познакомился на вечере в «интеллигенции» с его отцом, Нилусом, одним из двух московских игроков, которые держали в Москве на Мясницкой игорный дом. Оба были одно время высланы при Николае I.

Этот Нилус, узнав, что я написал пьесу, стал мне говорить про своего «незаконного» сына, который должен скоро выйти из Театрального училища.

В школе его звали Нилус, а в труппе он взял псевдоним Нильского.

Я его в первый раз увидел в переводной пьесе «Любовь и предразсудок», где он играл актера Сюливана, еще при жизни Максимова, уже больного.

Его выпустили в целом ряде ролей, начиная с Чацкого. Он был в них неплох, но и нехорош и превратился в того «мастера на все руки», который успевал получать свою перспективную плату в трех театрах в один вечер, когда считался уже первым сюжетом и получал тридцать пять рублей за роль.

Более требовательные ценители никогда не ставили его высоко. Останься он «полезностью»—он был бы всегда желанный исполнитель; но он брался за все, и в нем можно было видеть олицетворение тогдашнего чиновничьего режима петербургских сцен.

Тогда ведь царила безусловно система привилегии. Частных театров не было ни одного. Императорская дирекция ревниво ограждала свои привилегии и даже с маскарадов и концертов взимала плату.

Порядки на Александринском театре держались за два рычага: разовая плата и система бенефисов.

Когда я сам сделался рецензентом, я стал громить и то и другое. И действительно, при разовой плате актеры и актрисы бились только из-за того, чтобы как можно больше играть, а при бенефисном режиме надо было давать каждую неделю новый спектакль и ставить его поспешно, с каких-нибудь пяти-шести репетиций.

Эти порядки—не без участия наших протестов—рухнули в 1882 году; а ведь для нашего брата—начинающего драматурга—и то и другое было выгодно. Разовая плата поощряла актеров в вашей пьесе, и первые сюжеты не отказывались участвовать; а что еще выгоднее, в сезоне надо было поставить до двадцати (и больше) пьес в четырех и пяти действиях; стало быть, каждый бенефициант и каждая бенефициантка сами усердно искали пьес, и вряд ли одна мало-мальски

сносная пьеса (хотя бы и совершенно неизвестного автора) могла провалиться под сукном.

Я это лично испытал на себе. Приехал я в Петербург к январю 1861 года; и обе мои вещи (правда, после долгих цензурных мытарств) были расхвачаны у меня: «Однودворец» — для бенефиса П. Васильева в октябре того же года, а «Ребенок» — для бенефиса Бурдина в январе следующего года. То же вышло и в Москве.

Поощрения было тогда довольно и со стороны начальства, но для этого надо было воздерживаться писать о театре. Тогда дирекция сразу менялась.

Из моих конкурентов трое владели интересом публики: Дьяченко (которого я ни тогда, ни позднее не встречал), актер Чернышев и Николай Потехин, который пошел сразу так же ходко, как и старший брат его Алексей, писавший для сцены уже с первой половины пятидесятых годов.

Чернышев, автор «Испорченной жизни», был автор-самоучка, из воспитанников Театральной школы, сам плоховатый актер, без определенного амплуа; до того посредственный, что казалось странным — как он, зная хорошо сцену, по-своему наблюдательный и с некоторым литературным вкусом, мог заявлять себя на подмостках таким бесцветным? Он немало играл в провинции и считался там хорошим актером, но в Петербурге все это с него слиняло.

С ним мы познакомились по «Библиотеке для Чтения», куда он что-то приносил и — сколько помню — печатался там. Он мне понравился, как очень приятный собеседник, с юмором, с любовью к литературе, с искренними протестами против тогдашних «порядков». Добродушно говорил он мне о своей неудачной влюбленности в Ф. А. Снеткову, которой в труппе два соперника делали предложение, и она ни за одного из них не пошла: Самойлов и Бурдин.

Таким драматургам, как Чернышев, было еще удобнее ставить, чем нам. Они были у себя дома, писали для таких-то первых сюжетов, имели всегда самый легкий сбыт при тогдашней системе бенефисов.

Первая большая пьеса Чернышева «Не в деньгах счастье» выдвинула его, как писателя, благодаря игре Мартынова.

«Испорченная жизнь» разыграна была ансамблем из Самойлова, П. Васильева, Снетковой и Владимировой.

Этот тип актера-писателя также уже не повторится. Тогда литература приобретала особое обаяние, и всех-то драматургов (и хороших и дурных) не насчитывалось больше двух-трех дюжин, а теперь их значится чуть не тысяча.

В кабинете Федорова увидал я Николая Потехина (уже автора комедии «Дока на доку нашел»), чуть ли не на другой день после дебюта П. Васильева в Подхалюзине.

Мой молодой собрат (мы с ним были, вероятно, ровесники) горячо восхищался Васильевым, и в тоне его чувствовалось то, что он «повит» московскими традициями.

У него была уже наготове новая пьеса: «Быль молодцу—не укор», со Снетковой в главной роли. Вероятно, и он увлекался ею. Что-то такое я и слышал... впоследствии. Он еще не мечтал о поступлении на сцену. И тогда он был такой же «картавый», с оттенком северного волжского выговора.

Театром тогда стали запойно увлекаться и в обществе.

Еще раньше спектакль литераторов заинтересовал Петербург, но больше именами исполнителей. Зала Пассажа стала играть роль в жизни Петербурга: там читались лекции, там же была и порядочных размеров сцена.

И я в следующий сезон не избег того же поветрия, участвовал в нескольких спектаклях с персоналом, в котором были такие силы, как старуха Кони и красавица Спорова (впоследствии вторая жена Самойлова). Ею увлекались оба моих старших собрата: Островский и Алексей Потехин. Потехин много играл и в своих пьесах, и Гоголя, и Островского, и сам Островский пожелал исполнить роль Подхалюзина, уже после того, как она была создана такими силами, как Садовский и П. Васильев.

За три самых бойких месяца сезона вплоть до поста театральный Петербург показал мне себя со всех сторон.

«Александринка» тогда еще была в загоне у светского общества. Когда состоялся тот спектакль в Маринском театре (там играла и драматическая труппа), где в «Грозе» Снеткова привлекла и петербургский «монд», это было своего рода событием.

Русская опера только что начала подниматься. Для нее немало сделал все тот же Федоров, прозванный «Губошлепом». В этом чиновнике-дилетанте действительно жила любовь к русской музыке. Глинка не пренебрегал водить с ним приятельство и даже аранжировал один из его романсов: «Прости меня, прости, небесное создание».

Тогда в русской опере бывали провинциалы, чиновники (больше все провиантского ведомства, по соседству), офицеры и учащаяся молодежь. Любили «Жизнь за царя», стали ценить и «Руслана» с новой обстановкой; довольствовались такими певцами, как Сетов (тогдашний первый сюжет, со смешноватым тембром, но хороший актер) или Булахов, такими примадоннами, как Булахова и Латышева. Довольствовались

и кое-какими переводными новинками, в роде «Марты», делавшей тогда большие сборы.

Но в опере были такие таланты, как О. А. Петров и его сверстница по репертуару Глинки Д. М. Леонова, тогда уже не очень молодая, но еще с прекрасным голосом и выразительной игрой.

Оригинальное композиторство только еще намечалось. Ставилась «Русалка»; Серов уже написал свою «Юдифь». Образовался уже кружок «кучкистов»⁵⁸.

Через Балакирева я ознакомился на первых же порах с этим русским музыкальным движением; но больше присматривался к нему во второй сезон, и в отдельности поговорю об этом дальше.

Остальные три группы императорских театров стояли очень высоко, были каждая в своем роде образцовыми: итальянская опера, балет и французский театр. Немецкий театр не имел и тогда особой привлекательности ни для светской, ни для «большой» публики, но все-таки стоял гораздо выше, чем десять и больше лет спустя.

Лично я не стал фанатиком итальянской оперы, посещал ее сравнительно редко и только на третью зиму (уже редактором) обзавелся абонементом. Тогда самым блестящим днем считался понедельник, когда можно было видеть весь придворный, дипломатический, военный и са-новный Петербург.

Но и в эти дни не бросались в глаза то усиленное франтовство, отчаянная погоня за модами, такой спорт ношения бриллиантов и декольте, как теперь в Мариинском на воскресных спектаклях балета... Все было гораздо поскромнее, и не царило такое стихийное увлечение певцами, как в последние годы. Не было таких «властителей», которые могли брать безумные гонорары и вызывать истерические вопли теперешних психопатов.

А вспомните, что только что умерла (при мне) Бозини, пели такие тенора, как Тамберлик и Кальцолари.

В известные дни можно было всегда достать билет—даже и у барышников—не за разбойнические цены. Словом, тогда «улица», толпа так не царила: все держалось в известных пределах, да и требования были иные.

На балет не так тратили, как это повелось со второй половины восьмидесятых годов, при И. А. Всеволожском, постановки не пора-жали такой роскошью; но хореография была не ниже, а по обилию своих, русских, талантов и выше.

Я застал самый роскошный расцвет грации и танцев Петипа («по себе»—Суровщиковой), таких балерин, как Прихунова, Е. Соколова, Муравьева, и целый персонал первоклассных солисток. То же и в мужском

персонале—с такими исполнителями, как старик Гольц, сам Петипа, Иогансон, Л. Иванов, Кшесинский, Стуколкин, Пишо и т. д., и т. д.

И в балетомана я не превратился: слишком разнообразны были для меня после дерптской скудости зрелища, хотя, кроме императорской дирекции, никому тогда не дозволялось давать ни опер, ни драм, ни комедий,—ничего!

Французская труппа (уже знакомая мне и раньше, в мои приезды студентом) считалась тогда после парижской «Comédie Française» едва ли не лучше таких театров Парижа, как «Gymnasse» и «Vaudeville».

Сравнивать я не мог до поездки в Париж, уже в 1865 году; но и безотносительно—труппа была полная и довольно блестящая, а репертуар—как и всегда—возобновлялся каждую субботу; но тогда гораздо чаще давали водевили, фарсы и бульварные мелодрамы.

Амплуа героинь занимала роскошная блондинка, г-жа Напталъ-Арно, вышедшая вторым браком за петербургского игрока, г. Э. Она брала больше красотой и пластикой и в драме казалась нам рутиннее и тяжелее, чем в светской комедии.

Но в труппе были таких две превосходных актрисы на пожилые роли, как Вольние и жена первого комика Лемениль. С прошлым парижской знаменитости, когда-то блестящей и увлекательной *jeune première*, Вольнис держала теперь амплуа матерей и характерных персонажей, как никто позднее, вплоть до настоящей минуты. Комический персонал вообще выделялся тогда: в труппе еще состояли такие артисты, как Лемениль, Верне, Дешан, Пешна, Тетар и целый ассортимент молодых хорошеньких актрис, в том числе и знаменитая когда-то наездница (и даже директорша бывшего «императорского» цирка) Лора Бассен.

Дирекция держала в своих руках, как я уже заметил, все артистические удовольствия Петербурга, и даже концерты давались только с ее разрешения. До поста их давали мало. Любимыми «утрами» были университетские симфонические концерты под управлением виолончелиста Шуберта. Постом начинался в театрах ряд бенефисных «живых картин»—тогдашняя господствующая и единственная форма драматических зрелищ, так как ни оперы, ни балета, ни драмы давать постом не разрешали. К посту и для меня пришло время подумать о подготовке к экзамену на кандидата административного права.

Весь этот развал сезона дал мне вкусить тогдашнюю столичную жизнь в разных направлениях. В писательский мир я уже был вхож, хотя еще с большими пробелами, в театральный также, публичные собрания посещал достаточно.

Через двоих моих сожителей по квартире, В. Д[онду]кова и П. Г[ейден]а, я ознакомился отчасти и со сферой молодых гвардейцев. Они оба вышли из Пажеского корпуса, и один из них, Г[ейден], кончил курс в Артиллерийской академии, а Д[ондуков] состоял вольным слушателем в университете. В военную службу никто из них не поступил.

Для меня, как для будущего бытописателя, не лишними интереса оказались и их воспоминания, рассказы, анекдоты кадет о лагерной службе и все их ближайшие приятели, служившие в разных частях гвардии.

Светский круг знакомств сложился у меня с первой же зимы довольно большой, главным образом, через Д[ондуко]ва, с семейством которого я в Дерпте так сошелся, и через мою двоюродную сестру С. Л. Боборыкину, тогда круглую сироту, жившую у своей кузины, княгини Шаховской, жены известного тогда крупного деятеля по финансово-экономической части А. И. Бутовского, директора Департамента мануфактур и торговли.

Сонечка Боборыкина считалась красавицей. Когда она была еще в Екатерининском институте и я навещал ее студентом, моя мать сильно побаивалась, чтобы я со временем не женился на ней. До этого не дошло, и когда я нашел ее в доме Бутовских роскошной девицей, собирающейся замуж, у нас установились с ней чисто приятельские отношения. Я не был уже влюблен в нее, а она имела со мною всегда шутиливый тон и давала мне всякие юмористические прозвища.

В доме ее кузины, в огромном казенном помещении около Технологического института, давали танцевальные вечера, и со многими дамами и девицами я познакомился, как писатель. Но это не было там особенно привлекательным званием.

В ту же зиму Сонечка вышла за офицера некрасивой наружности, без всякого блеска, даже без большого состояния, одного из сыновей поэта Баратынского, к немалому удивлению всех ее поклонников. Они поселились в Петербурге, и у меня стало зимним домом больше.

В том, что теперь зовется «интеллигенцией», у меня не было еще больших связей за недостатком времени, да и вообще тогдашние профессиональные литераторы, учителя, профессора, художники—все это жило очень скромно. Центра, в роде «Союза писателей», не существовало. Кажется, открылся уже «Шахматный клуб»; но я в него почему-то не попадал; да он и кончил фиаско. Вместо объединения кружков и партий он, кажется, способствовал только тому, что все это гораздо сильнее обострилось ⁵⁹.

В обществе чувствовалось все сильнее либеральное течение, и одним из его симптомов сделались воскресные школы ⁶⁰. Вскоре их ограничили,

но в мою первую петербургскую зиму это превратилось даже— в некоторых местностях Петербурга—в светскую моду. Учили чумазных сапожных и кузнечных мальчиков фрейлины, барышни, дамы, чиновники, военные, пажы, лицеисты, правоведы, разумеется, и студенты.

И меня в первый раз повезла в школу Гальванической роты (около Садовой) большая барыня (но с совершенно бытовым тоном), сестра графини Соллогуб, А. М. Веневитинова, па которой когда-то Гоголь мечтал, кажется, жениться. Она ездила туда с своей девочкой, и мы втроем обучали всякий народ обоего пола.

Там-то я и познакомился сначала с П. В. Анненковым. Преподавал ли он сам—не знаю, больше наезжал и состоял, вероятно, в одном из комитетов.

Поддерживал я знакомство и с Васильевским островом. В университет я редко заглядывал, потому что никто меня из профессоров особенно не привлекал, а время у меня было и без того нарасхват. Явился я к декану Горлову попросить указаний для моего экзамена, и его маленькая, курьезная фигурка в халате оставила во мне скорее комическое впечатление.

А «властителя дум» у тогдашнего студенчества почти что не было. Популярнее были Кавелин, Утин, Стасюлевич, Спасович. О лекциях, профессорах в том кружке, куда я был вхож, говорили гораздо меньше, чем о всяких злобах дня, в том числе и об ожидавшейся к 19 февраля крестьянской воле.

В кружке, куда я попадал, главную роль играли Михаэлис и один из братьев Неклюдовых, бывших казанских студентов. Иван—старший—весь ушел в книжки и лекции и сделался потом образцовым сенатским чиновником. Младший—Николай, перешедший также из Казани,—увлекался разными веяниями, а также и разными предметами научных занятий. Он из математика превратился в юриста и скоро сделался вожаком, оратором на вечеринках и собраниях.

Та зима как раз и шла перед взрывом беспорядков к сентябрю 1861 года. Но пока еще ничего особенного не происходило. Оба эти вожака—Михаэлис и Неклюдов—выделялись больше других. Они должны были сыграть роль в массовом движении через несколько месяцев.

Двух других студентов—«деятелей» с влиянием, бывавших везде,—я хорошо помню из той же эпохи. Одного из них я узнал годом раньше. Это были Чубинский и Покровский. Оба очутились потом в ссылке ⁶¹.

Чубинский водил приятельство с Аполлоном Григорьевым, еще когда тот состоял одним из редакторов «Русского Слова» графа

Кушелева-Безбородко⁶². Поэровского я помню уже перед самым уличным движением в сентябре.

У братьев Бакст собирались часто. Там еще раньше я встречался с покойным В. Ковалевским, когда он носил еще форму правоведа. Он поражал—сравнительно со студентами—своей любознательностью, легкостью усвоения всех наук, изумительной памятью, бойкостью диалектики (при детском голосе) и необычайной склонностью участвовать во всяком движении. Он и тогда уже начал какое-то издательское дело, переводил целые учебники⁶³.

Роль «старосты» в смысле движения играл Михаэлис—натурой и умом сильнее многих, типичный выученик тогдашней эпохи, чистокровный «нигилист», каким он явился у Тургенева, пошедший в студенты из лицейстов, совершенно «опростивший» себя—вплоть до своего внешнего вида—при значительной, почти красивой наружности.

В этом кружке, кажется, он один был запросто вхож к Чернышевскому, вероятно, через М. Л. Михайлова, так как он был родной брат г-жи Шелгуновой.

Николай Неклюдов и тогда уже смотрел кандидатом в пансионеры Петропавловской крепости, куда и попал позднее. В нем температура его «разрывных» взглядов и стремлений сказывалась всегда и в поднятом тоне его высокого певучего голоса и в выражении красивых, темных глаз. Юноша этот легко увлекал толпу товарищей и отличался смелостью вожака и даже трибуна.

И кто бы подумал, что настанет такой момент, когда его тело (в звании товарища министра внутренних дел) вынесут из какого здания?—из бывшего Третьего отделения, куда я ходил когда-то в театральную цензуру к И. А. Нордштрему.

Несколько раньше Неклюдов был уже не то обер-прокурор, не то товарищ государственного секретаря⁶⁴.

Судьба столкнула нас на прогулке в Киссингене. Мы не видались более двадцати лет. Я его помнил еще молодым мировым судьей (после его студенческих передраг и крепости) и видел перед собою очень утомленного, болезненного мужчину, неопределенных лет, сохранившего все тот же теноровый студенческий голос.

— Видите, Неклюдов,—сказал я ему,—какие жизнь шутки шутит!

Идя рядом по аллее, он вбок посмотрел на меня вопросительно.

— Вот хоть бы взять и нас обоих. Вы о тех пор, как мы встречались на Острове, из красного сделались розовым, а потом и совсем побелели. А я все краснел по сие время. Может быть, дойду и до густо красного колера.

Он ничего на это не заметил.

Но и я еще тогда не ожидал, что той же судьбе угодно будет устроить вынос его тела из дома государственной полиции.

И то сказать, еще Герцен острил, что в Петропавловской крепости меняются не только «образы мыслей», но и «образы мыслителей».

Вот в таких кружках, какой я посещал, и по городу, у педагогов, чиновников, неслужащих дворян (которых было больше, чем теперь), и шло движение, кроме редакции журналов, в роде «Современника». Но столичная жизнь в более осязательных своих проявлениях не давала достаточно чувствовать, что мы накануне великого дня 19 февраля. Журнальный мир не был объединен общностью своих интересов. Крепостное право, кроме «Вести»⁶⁵, никто не поддерживал. Каждый почти журнал стоял за освобождение крестьян с землею; но это не носилось в воздухе. Да и средств не имелось еще налицо для более ярких проявлений общественного чувства.

Пишущая братия сидела по редакциям. Не устраивалось ни обедов, ни банкетов, ни чтений в известном духе. Все это было бы гораздо труднее и устраивать.

Правительство, как всегда, делало из мухи слона. Неизвестно—по каким донесениям своих агентов, оно вообразило себе, что ко дню объявления воли произойдут уличные беспорядки. И оно не решалось объявить о ней в самый день подписания манифеста, а позднее, в прощальное воскресенье на масленице, что пришлось уже в марте.

Да никто среди молодежи и не говорил о том, что готовятся какие-то манифестации. Столица жила своим веселым сезоном. То, что составляет «tout Pétersbourg», оставалось таким же жуирным, как и сорок четыре года спустя, в день падения Порт-Артура или адских боен Лаояна и под Мукденом: такая же разряженная толпа в театрах, ресторанах, загородных увеселительных кабаках.

Кто радовался освобождению,—а таких было немало,—делали это тихо, келейно.

В ту «историческую» зиму едва ли не в одном движении по воскресным школам сказался пульс либерального Петербурга... да и оно должно было стихнуть после разных полицейских репрессий.

Всего прямее следовало бы ему сказываться в общей товарищеской жизни тогдашнего писательства, но этого, повторяю, не было. Иначе в эти три месяца, до 19 февраля 1861 года, наверно были бы сборища, обеды, вечера, заседания, на которые я, конечно бы, попал.

Если взять хотя бы такого писателя, как П. И. Вейнберг, с его общительными и организационными наклонностями, и сравнить его жизнь теперь, когда ему минуло 76 лет, и тогда, когда он был молодой

человек 31 года и вдобавок стоял во главе нового, пошедшего очень бойко журнала.

Этот журнал, свои дела, женитьба поглощали его совершенно. Я видал его в конторе, на Невском, в театрах (и то редко), но не помню, чтобы он устраивал что-нибудь обще-литераторское, в чем сказывалась бы близость великой исторической годовщины, расколовшей историю России на две эпохи: рабовладельчества и падения его.

Был дом литературного мецената графа Кушелева-Безбородко, затеявшего незадолго перед тем журнал «Русское Слово».

Он кормил и поил пишущую братию, особенно в первые два года. Журнал (к зиме 1860—61 года) взял уже в свои руки Благосветлов. Прежняя редакция распалась. А. Григорьев ушел к братьям Достоевским в журнал «Время» ⁶⁶.

Но разливанное море, может быть, и в ту зиму еще продолжалось. Я туда не стремился, после того как редакция «Русского Слова» затеряла у меня рукопись моей первой комедии «Фразеры».

От того же П. Н. Вейнберга (больше впоследствии) я слышался рассказов о меценатских палатах графа, где скучающий барин собирал литературную «компанию», в которой действовали такие и тогда уже знаменитые «потаторы», как Л. Мей, А. Григорьев, поэт Кроль (родственник жены графа) и другие «кутилы-мученики». Не отставал от них и В. Курочкин.

Вообще, я уже и тогда должен был помириться с тем фактом, что нравы пишущей братии по этой части весьма и весьма небезупречны.

Таких алкоголиков—и запойных и простых,—как в ту «эпоху реформ», уже не бывало позднее среди литераторов, по крайней мере, такого «букета», если его составить из Мея, Кроля, Григорьева и Якушкина, знаменитого «ходебщика», позднее моего сотрудника.

Даже такой на вид приличный и даже чопорный человек, как Эдельсон, приятель Григорьева и Островского (впоследствии мой же сотрудник), страдал припадками жестокого запоя. Но он это усиленно скрывал, а завсегдатаи кушелевских попок делали все это открыто и—по свидетельству очевидцев—позволяли себе в графских чертогах всякие виды пьяного безобразия.

Я счастлив тем, что инстинктивно воздерживался от прямого знакомства с такими «эксцессами» представителей литературы, которой я приехал служить верой и правдой. Сколько помню, я не попал ни на один такой безобразный кутеж.

Но распушенность писательских нравов не вела вовсе к закреплению товарищеского духа. Нетрудно было мне на первых же порах

увидать, что редакции журналов (газеты тогда еще не играли роли) все более и более обособляются и уже готовы к тем ужасным схваткам, которые омрачили в скором времени петербургский журнализм небывалым и впоследствии цинизмом ругани ⁶⁷.

Нечего, стало быть, и удивляться тому, что день, когда появился манифест 19 февраля, прошел в петербургском писательском мире без всякого торжества, как самый заурядный последний день масленицы.

Опасения правительства до поздних часов ночи оказались нуфом.

А о утра по Невскому, по Морским, по другим улицам—и в центре и на окраинах—разъезжали патрули жандармов. Этим только и отличалось масленичное воскресенье от последних дней той же кутильной недели. Те же балаганы, катанье на них, вейки-чухонцы, снованье праздного подвыпившего люда. Ничего похожего на особые группы молодежи, на какую-нибудь процессию.

Этого даже и в воздухе не было. Не помню, чтобы и на Васильевском острове собирались какие-нибудь студенческие группы.

Дообеденные часы я,—как страстный любитель сцены,—провел в Михайловском театре на какой-то французской пьесе, мною еще не виданной. Помню, сбор был плохой. В буфетах тогда можно было иметь блины, и я спросил себе порцию в один из антрактов.

И до театра и после него (еще засветло) я поехал по Невскому и Морским, и в памяти моей остался патруль жандармов, который я повстречал на Морской, около пешеходного мостика, где дом, принадлежащий министерству внутренних дел.

И тогда же, до обеда, я попал в мой студенческий кружок, в квартиру, где жил Михаэлис с товарищами. Там же нашел я и М. Л. Михайлова за чаем. Они только что читали вслух текст манифеста и потом все начали его разбирать по косточкам. Никого он не удовлетворял. Все находили его фразеологию напыщенной и уродливой—весь его семинарский «штиль» митрополита Филарета ⁶⁸. Ждали совсем не того, не только по форме, но и по существу.

Сильнее и ядовитее всех говорил Михайлов. Он прямо называл все это ловушкой и обманом и не предвидел для крестьян ничего, кроме новой формы закрепощения.

Тут—в первый раз—тон и содержание его протестов показывали, что этот человек уже «сжег свои корабли»; но и раньше я догадывался, что его считают прикосновенным к революционной организации, после его поездки за границу, в Лондон.

Так оно и случилось, и вскоре по Петербургу были уже разбросаны прокламации, автором которых и оказался Михайлов ⁶⁹.

Кажется, больше я его уже не встречал, и только после приговора мне дали взглянуть на карточку, где он снят в шинели и фуражке арестанта, в ту минуту, когда его заковывали в кандалы.

Надо было окончательно с первым великопостным колоколом застесеть за чтение лекций и учебников.

Раздобыться лекциями по всем главным предметам было нелегко. А из побочных два предмета «кусались» больше главных: это курсы Спасовича и Кавелина.

Николай Неклюдов свел меня в аудитории с одним вольнослушателем, Неофитом К—ным. От него я и пользовался многими записками. Мне предстояло сдавать с четверокурсниками. Экзамены начинались с мая. Времени—по моему расчету—хватало. Как бывший камералист, я уже сдавал экзамены из политической экономии, слушал части статистики, финансового права, уголовных законов, государственных законов Российской империи. Я смотрел на себя уже как на писателя с большим университетским прошедшим, с привычкой к более серьезной работе. То, как я делал когда-то по химии и медицинским наукам,—все это стояло гораздо выше чтения лекций по предметам, не требовавшим никакой особенной остроты памяти или специальных дарований. Словом, готовился я с полной уверенностью в успех и даже «с прохладой», в первые недели великого поста продолжал выезжать по вечерам, бывал в концертах и на живых картинах.

Политической экономией начинались экзамены. Прочитал я учебник Горлова и еще две-три книги. Когда-то И. К. Бабст поставил мне в Казани пять с плюсом, и его преподавание было новее и талантливее, чем у Горлова.

Настало и то «майское утро», когда надо было отправляться на Васильевский остров и начинать мытарства экзамена. Предметов одних главных оказалось чуть не десяток: политическая экономия, статистика, русское государственное право, государственное право иностранных держав, международное право, финансовое право, торговое право и еще что-то.

Некоторых профессоров, например, Ивановского, Андреевского, Михайлова, я и в глаза не видал и слышал очень мало о том, как они экзаменуют, к чему надо больше и к чему меньше готовиться.

Политическая экономия, худо ли—хорошо ли, вошла в чемодан памяти. Через день надо было отправляться.

И вдруг—опять вести из Нижнего: отчаянные письма моей матери и тетки. Умоляют приехать и помочь им в устройстве дел. Необходимо съездить в деревню, в тот уезд, где и мне достались «маетности», и поладить с крестьянами другого большого имения, которых дед отпустил

на волю еще по духовному завещанию. На все это надо было употребить месяца два, то-есть май и июнь.

Я сам видел необходимость ехать в Нижний, но после экзамена. А тут приходилось поставить все вверх дном.

Как быть?

Еду в университет, ищу ректора, добрейшего П. А. Плетнева, наталкиваюсь на него в коридоре, излагаю ему мое затруднительное положение, прошу разрешить мне сдать все экзамены в сентябре, когда будут «переэкзаменовки».

Он затруднился дать мне такой отпуск собственной властью, что меня несколько удивило, и тут же послал меня к попечителю.

— Иван Давыдович [Делянов] примет вас и сделает все, что можно.

Отправляюсь в дом Армянской церкви, где жил Делянов, и меня сейчас же принимают.

— Так и так—необходим отпуск и позволение держать в сентябре.

Иван Давыдович, ходивший со мною по кабинету мелкими шажками, остановился, положил руку на мое плечо и, подмигнув, сказал так сладко:

— Мой друг... у вас найдется знакомый доктор... добудьте свидетельство.

Я понял—какое.

И вот—в первый и в последний раз моей жизни—я пошел на такую процедуру: добывание ложесвидетельства—по благосклонному наущению попечителя округа. Больше мне никогда не приводилось выправлять никаких свидетельств такого же рода.

Кто-то расписался в том, что у меня злокачественный «катар» чего-то, я представил этот законный документ при прошении и прервал экзамены, не успев даже предстать перед заборную фигурку профессора Горлова, которого так больше и не видал, даже и на сентябрьских экзаменах, когда он сам отсутствовал.

С моим благодетелем по части лекций Неофитом, я условился (если он также будет почему-либо держать в сентябре) усиленно готовиться вместе—денно и ночью—начиная с июля, для чего и просил его подыскать мне квартиру на Острове.

Приходилось поступать на ампула хозяина и ходатая по владельческим интересам моих сонаследниц.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Деревня. — Мое владение. — Возвращение в Петербург. — Экзамены. — Волнения в университете. — История моего диплома. — Постановка «Однoдворца» в бенефис Павла Васильева. — Столкновение с Самойловым. — Липская. — Поездка в Москву. — «Однoдворец» в бенефис П. М. Садовского. — Воспитанница Познякова. — «Ребенок» в Москве и Петербурге. — Ф. А. Снеткова в роли Верочки. — Петербургские сезоны: 1861—62 и 1862—63 годов. — Мой дебют как фельетониста «Библиотеки для Чтения». — Нигилизм. — Чернышевский на эстраде дома Руадзе. — Общий уровень тогдашней молодежи. — Инцидент с «Искрой». — Дальнейшие знакомства с писателями.

Деревню я знал до того только как наблюдатель, и в отрочества и студентом, проводя почти каждое лето или в подгородной усадьбе деда около Нижнего (деревня Анкудиновка), или—студентом—у отца, в селе Павловском, Лебедянского уезда Тамбовской губернии.

Крестьянство всегда интересовало меня. Студентом я стал входить с ним в большее общение, и присматривался к хозяйству отца, и как студент медицины, когда начал полегоньку лечить его крестьян.

Крепостное право было в полном разгаре, на всем протяжении моих детских и юношеских лет—вплоть до акта эмансипации в начале 1861 года. Но я не могу сказать, чтобы я делался очевидцем самых тяжелых сторон рабовладельчества. Ни у деда, довольно-таки строгого помещика, ни еще менее у отца моего я не был свидетелем таких фактов крепостничества, которые залегают в душу на всю жизнь. Еще в городе, в доме деда (со стороны матери), припоминаются сцены, где права «вотчинника» заявляли себя, в роде отдачи лакеев в солдаты и арестантские роты, обыкновенно за кражу со взломом; но дикостей крепостного произвола над крестьянами за целых десят и более лет—особенно у отца моего—я положительно не видал и не хочу ничего прикрашивать в угоду известной тенденции.

Тогда всех нас, юношей, в николаевское время гораздо сильнее возмущали уголовные жестокости: торговые казни кнутом, прохождение «сквозь строй», бесправие тогдашней солдатчины, участь евреев-кантионистов. На все это можно было достаточно насмотреться в таком губернском городе, как мой родной город Нижний. К счастью для меня, целых пять лет, проведенных мною в Дерпте, избавили меня почти совершенно от таких удручающих впечатлений.

Но летом 1861 года я сам должен был выступить в звании «вотчинника», наследника двух деревень и, кроме того, принужден был взять на себя и роль посредника и примирителя между моими сонаследницами—матушкой моей и тетушкой—и крестьянским обществом деревни Обуховки (в той же местности),—крестьянами, которых

дед мой отпустил на волю с землей по духовному завещанию, стало быть—еще до 19 февраля 1861 года.

Поехал я из Нижнего в тарантасе—из дедушкина добра. На второе лето взял я старого толстого повара Михайлу. И тогда же вызвался пожить со мною в деревню мой товарищ З—ч, тот, с которым мы перешли из Казани в Дерпт. Он тогда уже практиковал, как врач, в Нижнем, но неудачно; вообще хандрил и не умел себе добыть более прочное положение. Сопровождал меня, разумеется, мой верный «famulus», Михаил Мемнонов, проделавший со мною все годы моей университетской вычки.

Впервые мог я, уже в качестве владельца, ознакомиться с крестьянским бытом, и как раз в имениях, где помещики никогда не жили.

Имение Обуховка (более трехсот душ), отошедшее на волю по завещанию моего деда, было ему пожаловано (тогда еще только в количестве ста с чем-то душ) при воцарении императора Павла, как «гатчинскому» офицеру, сейчас же переведенному в Преображенский полк.

Мы с детства всегда считали эту Обуховку благословенным краем. Оттуда привозили всякие поборы—хлебом, баранами, живностью, маслом, медом; там были «дремучие» (как мы думали) леса; там мужики все считались отважными «медвежатниками»; оттуда взяты были во двор несколько человек прислуги. И няня моей матери была также из Обуховки, и я был с младенческих лет полон ее рассказов про ее родную деревню, ее приволье, ее урочища, ее обычаи и нравы.

Первое мое впечатление было такое: из леса, которым мы ехали довольно долго, мы попали прямо против длинного деревенского «порядка»—больше все из новых изб. Незадолго перед тем Обуховка наполовину выгорела.

Этой постройкой из леса, который ни формально, ни фактически мужикам не принадлежал, начались первые же разбирательства, в которые я был—против моего желания—втянут, как защитник интересов моих сонаследниц.

Крестьяне жили неплохо, хотя и на постоянной барщине. При мне справлялись свадьбы, стоившие всегда не меньше ста и полутора рубля на угощенье. По завещанию деда они получили, кроме усадебной земли, по три десятины на душу, что в том крае считалось высшим наделом.

Управлял Обуховкой приказчик, из бывших камердинеров моего дяди, потихоня, плутоватый и тайно испивающий. Он жил в барском «флигере», на людской половине. А комнатки на улицу пошли под меня.

Сейчас же я очутился в совершенно чуждой и жуткой для меня сфере застарелых счетов между конторой и миром, с пререканиями, наветами, обличениями и оправданиями.

Совсем вновь встал я лицом к лицу и к деревенскому парламенту, то-есть к «сходу», и впервые распознал ту истину, что добиваться чего-нибудь от крестьянской сходки надо, как говорится, «каши поевши». Как бы ясно и очевидно ни было то, что вы ей предлагаете, или на что хотите получить ее согласие,—мужичья логика оказывается всегда со своими особенными предпосылками, а стало быть, и со своими умозаключениями.

Обуховские дела брали у меня всего больше времени, и, несмотря на мое неперменное желание уладить все мирно, я добился только того, что какой-то грамотей настроил в губернский город жалобу, где я был назван «малолеток Боборыкин» (а мне шел уже двадцать пятый год) и выставлен как самый «дошлый» их «супротивник».

То же испытал я позднее и с крестьянами тех двух деревень, которые отошли мне по завещанию моего деда.

При одной из них я нашел хутор с инвентарем, довольно плохим, скотиной и запашкой, кроме леса-«заказника». Имения эти дядя мой (без всякой надобности) заложил незадолго до своей смерти, и мне из выкупной ссуды досталась впоследствии очень некрупная сумма.

Тут я увидел тоже впервые, что во мне нет никакой хозяйственной «жилки», что я не рожден собственником, что приобретательское скопидомство совсем не в моей натуре.

Как бывший студент-«камералпст», я мог бы заинтересоваться агрономией. Поля, леса, быт мужиков, сельскохозяйственные порядки—все это и писателя могло в известной степени привлекать; но всему помехой было положение владельца, барина, «вотчинника». А отсутствие более сильных хозяйственных наклонностей не давало того себялюбивого, но естественного довольства от сознания, что вот у меня лично будет тысяча десятин незаложенной земли, что у меня есть лес-«заказник», что я могу хорошо обставить хутор, завести образцовый скотный двор. Словом, отсутствовало то помещичье-приобретательское чувство, которому Л. Толстой—он это говорит в своей «Исповеди»—предавался не один десяток лет.

Я был прирожденный «citadin», городской житель, то, что потом я сам в русской печати окрестил термином «интеллигент».

И меня с первых же недель потянуло назад в Петербург, где я принужден был бросить экзамены.

Соседи мои так и посмотрели на меня. Я попал в целое «дворянское гнездо». Поблизости к Обуховке стояло большое село Ш—во, и там

я нашел три помещичьих усадьбы. Один из братьев Р. был и моим мировым посредником,—сам хороший, рациональный агроном, мягкий, более гуманный, с оттенком либерализма, который сказывался и в том, что он ходил и у себя и в гостях в русском костюме (ополченской формы), но без славянофильского жаргона. К нему надо было обращаться по всем моим делам с крестьянами, и обуховскими и моими временно-обязанными.

Николай Иванович помогал мне своими советами, и как посредник, считался скорее сторонником крестьян; но ему хотелось бы видеть во мне молодого владельца, который «сел бы» на землю и превратился в рационального хозяина, а потом послужил бы земству, о чем уже начали поговаривать, как о ближайшей реформе.

Дамы и девицы в трех усадьбах смотрели на меня только как на петербургского молодого человека, выбравшего себе писательскую дорогу. Это считалось не особенно привлекательным и почетным, но не было и никакой враждебности. Общий культурный уровень был не особенно выше среднего. Кое-что почитывали, занимались музыкой, говорили по-немецки и по-французски. Но даже и у самого развитого и либерального Николая Ивановича, моего посредника, не было особенного желания делать что-нибудь для народа вне хозяйственной сферы. Школ и больниц я что-то во всей округе не помню в помещичьих имениях.

Мои собственные владельческие дела шли очень медленно. Хозяйничать я не собирался, но—«пока что»—надо было как-нибудь да вести так называемое «барское» хозяйство. Барщины уже не было. Главный и неотлагательный вопрос был: написание уставной грамоты. И тут я и вошел в долгие переговоры с миром. Сходка—не знаю уже, на что рассчитывая—упиралась безусловно, на выкуп не шла, даже и на самых льготных условиях, и дело это тянулось до тех пор, пока я принужден был дать крестьянам обеих деревень даровой надел (так называемый «сиротский»), что, конечно, невыгодно отозвалось в ближайшем будущем на их хозяйственном положении.

Забегая вперед на целый год, я покончу здесь с моей судьбой, как землевладельца. Я должен был взять приказчика; а со второго лета хозяйством моим стал заниматься тот медик 3—ч, мой товарищ по Казани и Дерпту, который оставался там еще несколько лет, распоряжаясь, как умел, запашкой и отдачей земли в аренду. Но дефицит по изданию «Библиотеки для Чтения» заставил меня к 1864 году заложить мою землю с лесом в Нижегородском дворянском банке за ничтожную сумму в пятнадцать тысяч рублей (теперь она стоила бы гораздо более ста тысяч), и она пошла с аукциона менее, чем за

двадцать тысяч. Тогда цены на земли не были еще высоки, и один из моих соседей, брат посредника, воспользовался таким выгодным случаем и купил землю (вероятно, с переводом долга) за несколько тысяч рублей.

И вышло так, что все мое помещичье достояние пошло, в сущности, на литературу. За два года с небольшим я, как редактор и сотрудник своего журнала, почти ничем из деревни не пользовался и жил на свой труд. И только по отъезде моего товарища З—ча из имения я всего один раз имел какой-то доход, пошедший также на покрытие того многотысячного долга, который я нажил издательством журнала к 1865 году.

Не считаю лишним сказать здесь с полной искренностью, что в те годы, когда я неожиданно стал землевладельцем и должен был сводить свои счета с крестьянами, я не был подготовлен в своих идеях и принципах к тому, например, чтобы подарить крестьянам полный надел, какой полагался тогда по уставным грамотам. Не знаю, сделали я бы это, если б имение не было заложено. Как раз три четверти выкупной ссуды, освободившей меня от долга, и представляли бы собою дополнительный надел—до полной нормы, если б я им отдал их землю даром.

Не в виде оправдания, а как фактическую справку, приведу то, что из людей сороковых, пятидесятых и шестидесятых годов, сделавших себе имя в либеральном и даже радикально-революционном мире, один только Огарев еще в николаевское время отпустил своих крепостных на волю, хотя и не совсем даром. Этого не сделали ни славянофилы, тогдашнему распинавшиеся за народ (ни Самарин, ни Аксаковы, ни Киреевские, ни Кошелев), ни И. С. Тургенев, ни М. Е. Салтыков, жестокий обличитель тогдашних порядков, ни даже К. Д. Кавелин, так много ратовавший за общину и поднятие крестьянского люда во всех смыслах. Не сделал этого и Лев Толстой!

И Герцен, хотя фактически и не стал по смерти отца помещиком (имение его было конфисковано), но как домовладелец (в Париже) и капиталист-рантье—не сделал ничего такого, что бы похоже было на дар крестьянам, даже и в роде того, на какой пошел его друг Огарев⁷⁰.

Рабовладельчеством мы все возмущались, и от меня—по счастью,—отошла эта чаша: крепостными я не владел; но для того, чтобы произвести даровое полное отчуждение, надо и теперь быть настроенным в самом «крайнем» духе. Да и то обязательное отчуждение земли, о которое первая Дума так трагически споткнулась⁷¹, в сущности есть только выкуп (за него крестьяне платили бы государству), а не дар в размере хорошего надела, как желали народнические партии трудовиков, социал-демократов и революционеров.

Мои временно-обязанные получили даровую землю, только в недостаточном количестве—разница количественная, а не по существу. Прибавлю (опять-таки не в оправдание, а как факт), что они могли тут же арендовать у землевладельца землю по цене, меньшей той, что с них потребовали бы «хорошие» хозяева, а не молодой писатель, который так скоро стал тяготиться своей ролью владельца.

Первая моя экскурсия в деревню—летом 1861 года—длилась всего около двух месяцев; по для будущего бытописателя-беллетриста она не прошла даром. Все это время я каждый день должен был предаваться наблюдениям и природы, и хозяйственных порядков, и крестьянского «мира», и народного быта вообще, и приказчиков, и соседей, и местных властей, в роде тех, кто вводил меня во владение.

В Петербург я возвращался уже с некоторыми плюсами в моем знакомстве с тогдашней дворянско-мужицкой жизнью. Но надо было торопиться. На подготовку к кандидатскому экзамену оставалось неполных два месяца.

И вот я опять студент, да еще житель Васильевского острова.

Вольнослушатель Неофит К—н, с которым меня познакомил Николай Неклюдов, приготовил мне квартиру у какой-то немки, в нескольких шагах от того дома, где он жил,—кажется, в десятой линии.

И началось «зубрение». Странно выходило то, что всего сильнее мы должны были готовиться из двух побочных предметов—из уголовного права (с его теорией) и гражданского—оттого, что обоих профессоров всего больше боялись, как экзаменаторов,—В. Д. Спасовича и К. Д. Кавелина.

Ни того ни другого я еще лично не знал: Спасовича видел на «пробном» суде присяжных (когда судили студента за растрату), а Кавелина видал в аудиториях ⁷².

Курс Спасовича был двойной: право с его теорией и история судебных учреждений, начиная с древности.

Тогда уже вышел его учебник, составленный очень подробно и набитый изложением разных теорий вменения; моему коллеге К—ну все это довольно-таки туго давалось. И многое приходилось перечитывать по два и по три раза.

Читали мы целый день—до поздних часов белых ночей, часов иногда до двух; никуда не ездили за город, и единственное наше удовольствие было ходить на Неву купаться. На улицах стояло такое безлюдье, что мы отправлялись в домашних костюмах и с собственным купальным бельем под мышкой.

Иногда—к концу нашего сиденья—приходили приятели К—на из студентов или бывших студентов.

У него я познакомился с В. В. Чуйко (критиком), только что вернувшимся из-за границы.

Но я все-таки не мог уйти совершенно от интересов и забот драматического писателя, у которого уже больше года его первая пьеса «Однодворец» томилась в Третьем отделении, вместе с драмой «Ребенок».

Цензор потребовал от меня переделки двух актов—второго и третьего. Его смущала сцена супружеской неверности. А дюльтер считался тогда вообще запретным плодом, и тень моего Ивана Андреевича Нордштрема содрогнулась бы, если б она попала на представление некоторых нынешних ныее на казенных сценах.

Пришлось урвать у заучиванья лекций добрую неделю, чтобы вовремя представить опять «Однодворца» и добиться его разрешения к началу сезона.

Нам—«администраторам»,—желавшим сдать на кандидата, дали для сдачи всех главных предметов (а их было около десятка) всего один день!

Через такой эксперимент я еще не проходил во всю мою долгую студенческую жизнь в двух университетах.

В Дерпте, когда я сдавал первую половину экзаменов (rigogosum), как специально изучающий химию, я должен был выбрать четыре главных предмета и сдать их в один день. Но все-таки это было в два приседа, по два часа на каждый, и наук значилось всего четыре, а не восемь, если не десять.

И тот дерптский экзамен был неизмеримо серьезнее, почти как магистерский, и в другой форме—не школьнически, перед столом экзаминатора стоя,—студенты в мундире,—а сидя, в виде как бы продолжительной беседы.

Отправились мы в университет 1 сентября. Мой коллега К—н слушал всех профессоров, у кого ему предстояло экзаменоваться, а я—почти что никого, и большинство их даже не знал в лицо, и как раз тех, кто должен был экзаменовать нас из главных предметов.

Большая аудитория (какая по счету—уже не помню), светлая, обставленная во все стороны столами. К правой стороне целых три экзаминатора. Горлов (политическая экономия и статистика) не явился, и за него экзаменовал один из тех, кто сидел на этой стороне аудитории. Я никого не знал в лицо. Спрашиваю: кто сидит посреди?—говорят мне: профессор финансового права; а вот тот рядом—Иван Ефимович Андреевский, профессор полицейского права и государственных законов;

а вот тот бодрый старичок с военным видом—Ивановский, у которого тоже приходилось сдавать целых две науки разом: международное право и конституционное, которое тогда уже называлось «государственное право европейских держав».

Так и я стал обходить их по порядку.

Сейчас же мне бросилось в глаза то, что уровень подготовки экзаменующихся был крайне невысок. А сообразно с этим—и требования экзаминаторов. У И. Е. Андреевского, помню, мне вышал билет (по тогдашнему времени самый ходовой)—«Крестьянское сословие», и я буквально не говорил больше пяти минут, как он уже остановил меня с улыбкой и сказал: «Очень хорошо. Довольно-с». И поставил мне пять, чуть не с плюсом.

То же было и у финансистов; а Ивановский, прослушав меня, так минут по пяти, на темы «морских конвенций» и «Германского союза», поставил мне по две пятерки, и в паузу, выходя в одно время со мною из аудитории в коридор, взял меня под руку и спросил:

— А как вы, молодой человек, думаете поступить по сдаче кандидатского экзамена? Какую дорогу избираете?

Я понял это как намек на то: «не хотите ли быть оставленным при университете по одной из моих кафедр»?

Я ответил, что выбрал себе дорогу писателя, и уже выступил на это поприще около года назад.

Ивановского любили, считали хорошим лектором, но курсы его были составлены несколько по-старинному, и авторитетного имени в науке он не имел. Говорил он с польским акцентом и смотрел характерным паном, с открытой физиономией и живыми глазами.

Так же быстро был мною сдан и экзамен из политической экономии и статистики, и, таким образом, все главное было уже помечено вожделенной цифрой 5. Оставалось только торговое право у бесцветного профессора Михайлова; и оно «проехало благополучно».

Такой экзамен напомнил мне николаевское время в Казани, а после дерптской «предметной системы» и гораздо большей серьезности испытаний казался чем-то довольно-таки школьным, гимназическим.

И не мог я не видеть резкого контраста между такой плохой подготовленностью студентов (державших не иначе, как на кандидата) и тем «новым» духом, какой к шестидесятым годам начал веять в аудиториях Петербургского университета.

Но одно дело,—увлечение освободительными протестами, другое—усидчивый труд или, по крайней мере, общая развитость и начитанность. Некоторые студенты из петербургских франтиков прямо поражали меня своей неразвитостью. Они буквально не могли грамотно

построить ни одной фразы, и нет ничего удивительного, что меня остановил Андреевский после пятиминутного ответа.

И забавнее всего было то, что такие «бакенбардисты» (термины из «Гамлета Щигровского уезда»), начинали сейчас же торговаться.

— Я не могу вам поставить больше трех,—деликатнейшим тоном говорил такому индивиду все тот же Андреевский.

— Нет-с, господин профессор! Я на этом помириться не могу! Мне необходима, по меньшей мере, четверка.

И такие спорщики преобладали.

На побочные науки были даны другие дни. Обязательным предметом стояла и русская история. Из нее экзаменовал Павлов, только что поступивший в Петербургский университет. Более мягкого, деликатного, до слабости снисходительного экзаминатора я не видал во всю мою академическую жизнь. «Бакенбардисты» совсем одолели его. И он, указывая им на меня, повторял:

— Как же мне быть, господа? Вот они (это я) как отвечали—и я ставлю им пять. Могу ли я, по совести, ставить вам столько же?

По русской истории я не готовился ни одного дня на Васильевском острове. В Казани у профессора Иванова я прослушал целый курс, и не только прагматической истории, но и так называемой «пропедевтики», то-есть науки об источниках, вещных и письменных, и, должно быть, этого достаточно было, чтобы и через пять с лишком лет кое-что да осталось в памяти.

Из всеобщей истории отвечал я М. М. Стасюлевичу на билет об «Аугсбургском исповедании».

Оставалось два самых «страшных», хотя и побочных, предмета: гражданское и уголовное право.

Кавелин считался еще более строгим экзаминатором, чем Спасович, хотя почему-то боялись его меньше.

Экзамен происходил в аудитории днем, и только с одним Кавелиным, без ассистента. Экзаменовались и юристы и мы—«администраторы». Тем надо было—для кандидата—добиваться пятерок, мы же могли довольствоваться тройками; но и тройку заполучить было гораздо потруднее, чем у всех наших профессоров главных факультетских наук.

С К. Д. Кавелиным впоследствии, со второй половины семидесятых годов, я сошелся, посещал его не раз, принимал и у себя (я жил тогда домом на Песках, на углу 5-й и Слоновой); а раньше, из-за границы, у нас завязалась переписка на философскую тему по поводу диссертации Соловьева, где тот защищал «кризис» против позитивизма⁷³.

Молодой драматург, подходивший к столу брать билет из гражданского права у профессора, считавшегося, несмотря на свою популярность, очень строгим, не мог предвидеть, что более чем через десять лет сойдется с ним, как равный с равным.

Кавелин видел меня тогда, кажется, в первый раз, но фамилию мою знал, и читал если не «Однودворца», то комические сцены, которые я напечатал перед тем в журнале «Век», где он был одним из пайщиков и членов редакции.

Передо мной сдавал (на пятерку) студент-юрист Скалон, впоследствии известный кавалерийский генерал. Не знаю, для чего ему понадобился кандидатский диплом, так как он тогда уже говорил товарищам, что сейчас же поступит в лейб-уланский полк.

Кавелин порядочно-таки «пронимал» его, заставил брать второй билет; прохаживался и по всему предмету. Все мы, чаявшие своей очереди, сейчас почуяли, что ответом в несколько минут тут не отвертишься.

Кавелин был тогда очень крепкий, средних лет и небольшого роста мужчина, с красными щеками, еще не седой, живой в движениях. Он носил—после какой-то болезни—на голове шелковую скуфью. Глаза его, живые и блестящие, зорко и экзаменаторски взглядывали на вас. Он не сидел, а двигался около стола, заложив руки в карманы панталон. Был он в вицмундире.

Впоследствии, когда я—после смерти А. И. Герцена и знакомства с ним в Париже (в зиму 1869—70 года)—стал сходить с Кавелиным, я находил между ними обоими сходство—не по чертам лица, а по всему облику, фигуре, манерам, а главное—голосу и языку истых москвичей и одной и той же почти эпохи. Кавелин рано сблизился с Герценом, и тот стал его большой симпатией до их разрыва, случившегося на почве политических взглядов и уже в шестидесятых годах: того момента, когда я попал в аудиторию к строгому экзаменатору.

После бойкого претендента на кандидатскую отметку, собиравшегося в уланские юнкера, подошел я к столу и взял билет: «О личных отношениях супругов между собою» по X тому.

Я сказал то, что вспомнил из записок, которые мы подзубривали с Неофитом К—ным.

Кавелин заметил мне—строгонько в тоне,—что есть и другие виды супружеских отношений. Я ответил ему, что в записках, составленных по его лекциям, стоят только эти.

Ему такой ответ не понравился, и он заставил меня взять еще билет. Это было: «О покоенном и поголовном наследстве».

Тут он стал уже до н и м а т ь м е н я , л о в я н а н е т о ч н о с т и ф о р м у л и р о в к и р а з н ы х о п р е д е л е н и й и к о н ч и л т а к о й ф р а з о й :

— Господин Боборыкин, вы пишете очень милые вещи, но я больше тройки поставить вам не могу.

— Я и не требую, господин профессор,—сказал я, несколько взволнованный таким оборотом фразы.—Но позвольте вам заметить, что мое писательство не имеет никакого отношения к этому экзамену.

Он изменился в лице, но больше ничего не сказал.

Я вышел в коридор, а через несколько минут выкатил из аудитории студент—из дерптских буршей, высланный оттуда за дуэль, подбежал ко мне и, бледный, кинул мне: «Was hast du gethan?!»

Он обвинил кругом меня в своем жестоком провале у Кавелина, которого я рассердил своим ответом, и он поставил ему единицу.

Предстояло идти ко второму «пугалу» тогдашних юристов и «администраторов», к В. Д. Спасовичу.

Кто бы сказал мне тогда, что с этим профессором, которого на экзаменах боялись как огня, мы будем так долго водить приятельство, как члены Шекспировского кружка, и что он в 1900 году будет произносить на моем сорокалетнем юбилее одну из приветственных речей?

Спасович тогда заболел к началу наших испытаний и явился позднее. Дело было вечером. С подвязанной щекой от сильнейшего флюса, хмурый и взъерошенный, он сидел один, без ассистента, за столом, кажется, в той самой аудитории, где он зимой был председателем студенческого суда присяжных.

Большая аудитория—в полутьме, с двумя свечами на столе. У дверей в коридоре—студенты, «идущие на пропятие», сгруппировались и совершенно, как чиновники в «Ревизоре», смертельно боятся проникнуть в то логовище, где их пожрет жестокий экзаминатор.

Я был одним из первых смельчаков.

Спасович, действительно, своим тогдашним видом мог смущать даже и тех, кто оказался похрабрее. Но этот устрашающий вид не помешал ему оказаться экзаминатором если и не во вкусе И. Е. Андреевского, то весьма справедливым и несколько не придиричивым...

Мне надо было брать два билета—по двум курсам, и их содержание до сих пор чрезвычайно отчетливо сохранилось в моей памяти: «О давности в уголовных делах», и о той форме суда присяжных в древнем Риме, которая известна была под именем «quaestiones perpetuae»⁷⁴.

Хмурый экзаминатор, раздраженный зубной болью, по своей привычке все подталкивал меня своим «ну-с, ну-с», но ни к чему не придирался и по обоим ответам поставил мне по четыре, что было более чем достаточно для «администратора».

Так как по главным наукам у меня в среднем была пятерка, то я мог быть спокоен насчет приобретения кандидатского диплома.

А в самом университете как раз с первых чисел сентября началось усиленное брожение.

Я помню сцену, когда один из студенческих вожakov, Н. Неклюдов (будущий шеф государственной полиции ⁷⁵), догонял попечителя, генерала Филипсона, во главе группы студентов, вступал с ним в переговоры и ставил свой ультиматум.

Всю эту смуту заварил новый министр Путятин со своими «матрикулами» ⁷⁶, которых русские университеты до того не знали, и студенты посмотрели на это как на что-то унижительное и архиполицейское.

Но такие самые матрикулы издавна существовали в Дерпте, и я пять лет имел у себя книжку, с которой там, у немцев, все мирились и даже считали ее совершенно необходимой в учебном быту.

Она называлась «Anmeldungsbogen» или—как студенты чаще называли—«Belegbogen». В ней прописывалась специальность студента (я, например, назывался «возделывателем химии»—*chemiae cultor*), и стоял перечень предметов его разряда. И так как мы там сдавали побочные предметы, когда нам вздумается, то тут же профессор и ставил отметку, а по окончании семестра делал другую отметку—о посещении студентом его предмета. Но на практике установилось так, что мы всегда получали отметку: «изредка посещал» («zuweilen besucht»), хотя мы и глаз никогда к нему не казали.

И вот такие-то (или в роде того) матрикулы и подняли всю академическую бурю. Мы на радостях с Неофитом К—ным вкушали сладкий отдых от зубрения и несколько дней не заглядывали в университет. Мне захотелось узнать, получил ли я действительно средний балл, дающий кандидатскую степень, и пошел, еще ничего не зная, что в это утро творилось в университете, и попал на двор, привлеченный чем-то необычайным.

Прежде всего я узнал в калитке стоявшего для наблюдения—кого же?—Моего цензора Нордштрема, в шляпе и шинели, с лицом официального соглядатая. Но ведь он был чиновник Третьего отделения и получил это «особое» поручение, с драматической цензурой имевшее мало общего.

И судьба подшутила над ним: в эту минуту над тысячной толпой студентов, на лестнице, прислоненной к дровам, говорил студент Михайлис, тот приятель М. Л. Михайлова (и брат г-жи Шелгуновой), с которым я видался в студенческих кружках еще раньше. А он

приходился... чуть не племянником этому самому действительному статскому советнику и театральному цензору.

Я попал как раз в тот момент, когда с высоты этой импровизованной трибуны был поставлен на referendum вопрос: идти ли всем скопом к попечителю и привести или привезти его из квартиры его (на Колокольной) в университет, чтобы добиться от него категорических ответов на требования студентов?

Толпа решила идти, и вся она прямо со двора двинулась в порядке через Дворцовый мост по Невскому.

Пошел и я туда же.

День был ясный, теплый, точно праздничный. Ни около университета, ни на мосту, ни на площади Зимнего дворца никто эту процессию не останавливал. Были тут и вольнослушатели и немало сочувствующих в штатском платье.

По Невскому студенты шли по солнечной стороне, тихо, без пения, не вызывая никакого замешательства в движении пешеходов и экипажей.

Публика оглядывалась, больше улыбалась и расспрашивала участников процессии. Ни одна лавка не закрывалась, и на всем протяжении Невского, до Владимирской и дальше до Колокольной, никто не разгонял студентов.

Попечитель жил в одном из небольших домов, видных от решетки церкви. Тут я остановился, и все, что потом происходило у дома и по всей улице, с Владимирской было мне хорошо видно.

Первый приехал в карете тогдашний начальник Третьего отделения—граф П. Шувалов; вышел из кареты в одном мундире и вскоре поспешно уехал⁷⁷. Он-то, встретив поблизости взвод (или полроты) гвардейского стрелкового батальона, приказал ему идти на Колокольную. Я это сам слышал от офицера, командовавшего стрелками, некоего П—ра, который бывал у нас в квартире, у моих сожителей, князя Дондукова и графа П. А. Гейдена—его товарищей по Пажескому корпусу.

Стрелки выстроились. На балконе того дома, где жил попечитель, показалась рослая и плотная фигура генерала. Начались переговоры. Толпа все прибывала; но полиция еще бездействовала, и солдаты стояли все в той же позиции. Вожаки студентов волновались, что-то кричали толпе товарищей, перебежали с места на место. Они добились того, что генерал Филиппсон согласился отправиться в университет, и процессия двинулась опять тем же путем по Владимирской и Невскому.

Во всем этом, на взгляд стороннего зрителя, не было ничего похожего на «бунт», на «разгром» и даже на воинственную «манифестацию».

Для простой публики было даже невдомек, что, собственно, тут происходит.

И когда студенческая толпа двинулась в обратный путь, вожаки— из тех, кого и я знал в лицо,—пришли в радостное возбуждение. Из них самый сильный по характеру был Михаэлис, потом Николай Неклюдов, Николай Утин, Чубинский, Покровский и др.

Подневольное следование попечителя со всей студенческой братией по Невскому было, конечно, небывалым фактом. Но победа, увы, оказалась чем-то в роде поражения, потому что дальше пошло гораздо хуже.

Демонстрация из-за матрикул перед главным входом окончилась побоищем. Действовали Преображенский и Финляндский полки. Здание было занято военным постом, что я сам видел, когда пришел узнать— как стоят дела ⁷⁸. Сени со стороны Невы похожи были на кордегарию. Обер-полицеймейстер Паткуль хвалился, однако, что он действовал, как настоящий джентльмен, и делал «все возможное».

Началось следствие с арестами и разбирательствами, которое затянулось до половины зимы. Главная роль пришлась на долю профессора Андреевского. По его предмету:—полицейскому или (как в Москве профессор Лешков уже величал его тогда) «общественному» праву—я подал и диссертацию. Материал для нее доставил мне один еще дерптский мой знакомый, служивший в Министерстве государственных имуществ.

Диссертация называлась так: «О мирских капиталах, вспомогательных и сберегательных кассах у государственных крестьян».

Тема, как видите, весьма далекая от всех моих тогдашних первенствующих интересов, как писателя. Но материал достался мне стоящий, да вдобавок еще отвечавший общему настроению в сторону мира, деревни, крестьянства.

Но прежде всего надо было еще раз повернее узнать, получим ли мы с моим Неофитом К—ным кандидатские баллы. Разброд в университете был полнейший. Фактически он не существовал. Отметки были у нас несомненно кандидатские. Диссертацию я быстро изготовил, уже переселившись с Васильевского острова в квартиру, где опять поместился с моими прошлогодними сожителями, в том самом квартале, где произошла студенческая манифестация на Колокольной, также близ Владимирской церкви, в одном из переулков Стремянной.

С университетом прямая связь прервалась. Здание «Двенадцати коллегий» стояло пустое. Студенчество рассеялось. Много было «сосланных» и «высланных»; разбирательство затянулось очень надолго ⁷⁹. Кроме всяких «кар», надо было позаботиться и о материальном положении студенческой массы.

Всем этим заведывал популярный тогда «Иван Ефимыч», то-есть все тот же профессор полицейского права,—тоже пикантное совпадение.

Чтобы добыть кандидатский диплом, надо было получить удостоверение о том, что диссертация моя просмотрена и одобрена профессором по этому предмету, то-есть опять-таки все тем же вездесущим «Иваном Ефимычем».

Помнится мне мое посещение его квартиры. Это было вечером. Я на-шел его в самом пекле его «административных» хлопот... Что-то в роде справочной конторы, с постоянным приходом и уходом студенческой братии. И маленькая юркая фигурка Андреевского—в беспрестанном движении, справках, ответах, распоряжениях, выслушивании всевозможных жалоб, требований, просьб.

Дошла очередь и до меня. Конечно, он не помнит, что я ему отвечал на экзамене по двум предметам.

— У вас лежит и моя диссертация, Иван Ефимович.

Он восприсительно усмехнулся.

Я постарался напомнить ему содержание ее. Он засуетился, стал искать в картонах и в полках этажерок.

Видно было, что если она и попадала ему в руки, то не оставила в его памяти никакого заметного следа.

— А как заглавие вашей диссертации?—спросил он, убедившись, что у него ее нет.

— «О мирских капиталах и вспомогательных и сберегательных кассах у государственных крестьян».

— Хорошо-с! Я так и напишу.

Хранится это злополучное рассуждение в архивах петербургского университета или нет,—я не знаю.

Но я получил кандидатский диплом уже в январе 1862 года на пергаменте, что стоило шесть рублей, с пропиской всех наук, из которых получил такие-то отметки и за подписью исправляющего должность ректора профессора Воскресенского. Когда-то, дерптским студентом, я являлся к нему с рекомендательным письмом от моего наставника Карла Шмидта по поводу сделанного мною перевода учебника Лемана.

Если б какой-нибудь казуист пожелал доказывать, что у меня диплом был от фактически не существовавшего университета, ему не трудно было бы доказать это, так как действительно тогда университет в смысле академической деятельности не существовал⁸⁰.

Я по необходимости забежал вперед. За это время университет успел перебраться отчасти в залы думы, где открылись публичные лекции самых популярных профессоров.

Это поддерживало связь его с обществом, со всем тем Петербургом, который сочувствовал молодежи даже и в ее увлечениях и протестах. Возмездие, постигшее студентов, было слишком сильно, даже и за то, что произошло перед университетом, когда действовали войска. Надо еще удивляться тому, что лекции в думе могли состояться так скоро.

И во мне они поддерживали связь с миром академической молодежи, и я (хоть и в самый разгар моих тогдашних писательских дебютов и всяких столичных впечатлений и испытаний) посещал эти лекции довольно усердно, и при мне разыгралась знаменитая сцена на лекции Костомарова. Но о ней я расскажу позднее в связи с другими фактами тогдашнего брожения.

Сразу к октябрю 1861 года я был охвачен широкой волной личных «переживаний» писателя.

«Однодворец» после переделки, вырванной у меня цензурой Третьего отделения, нашел себе сейчас же такое помещение, о каком я и не мечтал. Самая крупная молодая сила Александринского театра—Павел Васильев—обратился ко мне. Ему понравились и вся комедия и роль гарнизонного офицера, которую он должен был создать в ней. Старика-отца, то-есть самого Однодворца, он предложил Самойлову, роль старухи, жены его,—Линской, с которой я (как и о Самойловым) лично еще не был до того знаком.

Для Ф. А. Снетковой в пьесе не было роли, вполне подходившей к ее амплуа. Она вернулась из-за границы как раз к репетициям «Однодворца». Об этой ее заграничной поездке, длившейся довольно долго, ходило немало слухов и толков по городу. Но я мало интересовался всем этим сплетничаньем, тем более, что сама Ф. А. была мне так симпатична, и не потому только, что она готовилась уже к роли в «Ребенке», прошедшем через цензурное пекло без всяких переделок.

Кроме Самойлова, из участников в моей вещи—рядом с бенефициантом—самый яркий талант был у Линской.

Я уже видал ее в такой «коронной» ее роли, как Кабаниха в «Грозе», и этот бытовой образ, тон ее, вся повадка и говор убеждали вас сейчас же, какой творческой силой обладала она, как она умела «перевоплощаться», потому что сама по себе была чисто петербургское дитя кулис,—добродушное, веселое, наивное существо, не имеющее ничего общего со складом Кабанихи, ни с тем бытом, где родилось и распустилось роскошным букетом такое дореформенное существо.

Как начинающий автор, ставящий свою первую вещь, я нашел в Линской особенную приветливость, без всяких претензий и замашек любимцы публики. Она только что перед тем вышла—уже пожилой женщиной—по любви за Аврамова, любителя из офицеров, который и

добился места в труппе, и вскоре так жестоко поплатилась за свою запоздалую страсть—разорилась и кончила нищетой: четыре пятых ее жалованья отбирали на покрытие долгов, наделанных ее супругом, который, бросив ее, скрылся в провинции, где долго играл, женился и сделался даже провинциальной известностью.

Вообще тогда начинающему автору было гораздо легче. Система бенефисов делала то, что актеры всегда нуждались в новых пьесах. А бенефисы имели почти все, кроме самых третьестепенных.

Поэтому никто с нами и не «важничал». Никто и не отказывался от ролей, потому что они получали тогда, сверх жалованья, «разовую плату», от трех до тридцати пяти рублей за роль. Это их заставляло браться за какую угодно роль.

А мы,—когда стали писать о театре,—из принципа восставали против той и другой системы—и бенефисов и разовой платы.

Я сказал: «никто с нами не важничал»,—за исключением премьер-а труппы, Самойлова. Он занимал совершенно особое, «генеральское» положение в труппе, и все ему сходило с рук.

И первое мое серьезное столкновение на сцене случилось именно с ним; а больше я никогда, ни в Петербурге, ни в Москве, не имел за сорок лет таких коллизий.

Роль Одиодворца он благосклонно принял, но на счетку не явился и, встретив меня на лестнице, небрежно кинул мне:

— Они там собрались для счетки.

А для меня, дескать, никакой закон не писан.

Я был уже предупрежден, что такое «Василий Васильевич», и уклонился от каких-либо замечаний. Но на второй или третьей репетиции он вдруг в одном месте, не обращая ко мне, как к автору, крикнул суфлеру:

— Я это место выкидываю. Вычеркни эти строки!

И прочитал по тетради.

Оставить без протеста такую выходку я, хоть и начинающий автор, не счел себя в праве во имя достоинства писателя, тем более, что накануне, зная самойловские замашки по части купюр, говорил бенефицианту, что я готов сделать всякие сокращения в главной роли, по прошу только показать мне эти места, чтобы сделать такие выкидки более литературно.

Мой протест, который я сначала выразил Васильеву, прося его быть посредником, вызвал сцену тут же, на подмостках. Самойлов в вызывающей позе, с дрожью в голосе, стал кричать, что он «служит» столько лет и намерен повторять то, что он десятки раз говорил со сцены. И, разумеется, тут же пригрозил бенефицианту отказаться

от роли; Васильев испугался и стал его упраскивать. Режиссер и вышнее начальство ступшевались, точно это совсем не их дело.

Режиссером был тогда очень плохой актер, неглупый человек, с некоторым образованием,—Воронов, но без всякого значения и веса, совершеннейший театральный «чинуш». А начальник репертуара, знаменитый «Губошлеп», даже и не спросил меня «конфиденциально», что у меня вышло с Самойловым.

На дальнейших репетициях я не произносил ни одного слова, и «премьер» вел себя так, точно никакого автора тут и не сидит. Репетировал он кое-как, без игры, и сыграл по-своему хорошо, но не Олноворца, а просто бывшего управителя, по трафарету.

И свое поведение он завершил поступком, который дал настоящую ноту того, на что он был способен: сыграв роль, он тут же, в ночь бенефиса, отказался от нее, и начальство опять ступшевалось, не сделало ни малейшей попытки отстоять права автора.

«Губошлеп» стал просить П. И. Григорьева, резонера труппы, на амплу «благородных отцов», взять на себя роль. Это прервало представление более чем на целую неделю и лишило пьесу главного исполнителя, с репутацией Самойлова.

Григорьев справился с ролью, как мог, но, разумеется, никакого бытового лица он не создал.

Самым ярким пятном исполнения вышла игра Васильева. Он был «вылитый» гарнизонный офицер из кантонистов. Его фигура, тон, говор, движения, подергиванье плечами, короткое отплеиванье вбок при курении—все это была сама жизнь. Играл он свою роль с большой охотой, и ничего лучшего никакой автор, даже и избалованный, не мог бы желать и требовать.

Васильев и Липская были украшением всего персонала петербургского «Олноворца». Остальное все оказалось весьма и весьма посредственным. От исполнения тех же ролей в Москве это отстояло, как небо от земли.

В роли помещика, который выдал свою любовницу, гувернантку дочери, за офицера, Леонидов вышел каким-то ярмарочным игроком из бывших ремонтеров. Гувернантку—по-актерски выражаясь, «выигрышную» роль—я должен был, по совету режиссера, поручить Федоровой, сухой актрисе, с высокой, сухой фигурой, низким голосом и отсутствием темперамента. Она состояла на «светском» амплу, а карьеру свою начала в императорском цирке, куда при Николае I выпустили в наездницы «высшей школы» двух учениц Театрального училища—вот эту Федорову и еще Натарову, долго служившую в Александринском театре на амплу горничных и кухарок.

Умный и далеко не бездарный актер Зубров оказался карикатурным в комическом лице помещика Жабина. Г-жа Подобедова—тогда еще очень молодая и красивая—сделала из дочери самую обыкновенную «инженю».

О теперешних требованиях, какие заявляют авторы и режиссеры, руководители театров, особенно в Москве, в Художественном театре, тогда смешно было бы и заикаться.

На большую пьесу в пяти действиях полагалась одна неделя, и порядочных репетиций шло три-четыре. Обстановка самая заурядная—в старых декорациях, со старой бутафорией. Из-за всякого костюма выходила переписка с конторой, что и до сих пор еще не вывелось на казенных сценах. Чиновничьи порядки царили безусловно. На прессу, по отделу театра, надет был специальный намордник в виде особой цензуры при ведомстве императорского двора.

Но, если б не инцидент с Самойловым, я, как начинающий автор, не имел бы повода особенно жаловаться. Публика приняла мою комедию благосклонно, поставлена она была в бенефис даровитого актера, сделавшегося к началу своего второго сезона в Петербурге уже любимцем публики.

Впервые испытал я приятное щекотанье авторского «я», когда меня стали вызывать. Тогда авторы показывались из директорской ложи. Мне был поднесен даже лавровый венок, что сконфузило меня самого. Такое подношение явилось чересчур поспешным и отзывалось слишком дешевыми лаврами. Поусердствовала, кажется, одна моя тетушка, и была виновницей карикатуры в «Искре», где прошлись насчет моих ранних трофеев.

Критика тогда сводилась к двум-трем газетам. Сколько помню, рецензенты не особенно напали на «Однودворца», но и не помогли его успеху, который свелся к приличной цифре представлений. Тогда и огромный успех не мог дать—при системе бенефисов—в один сезон более двадцати спектаклей, и то не под ряд. Каждую неделю появлялась новая большая пьеса.

Но моя «история» с Самойловым—совершенно неожиданно для меня—попала в заграничные газеты, сначала в «Nord», а потом в «Indépendance Belge», где она была рассказана в очень сочувственном мне тоне. Тогда это было совсем внове. Я и до сих пор не знаю, кто автор этой корреспонденции. Может быть, Загуляев, который тогда уже перевел «Гамлета» и стал уже писать по-французски. Тогда я с ним нигде не встречался, и личное наше знакомство завязалось уже после 1875 года, то-есть после моего вторичного возвращения из продолжительного пребывания за границей.

Вскоре после бенефиса Васильева, бывшего в октябре, я получил письмо от П. М. Садовского, который просил у меня мою комедию на свой бенефис, назначенный на декабрь. Это было очень лестно. Перед тем я не делал еще никаких шагов насчет постановки «Однودворца» на московском Малом театре.

Прошло всего, стало быть, восемь лет с масленицы 1853 года, когда меня привез дядя из Нижнего гимназистом и дал мне возможность пересмотреть в Малом театре весь тогдашний лучший репертуар, с такими исполнителями, как Щепкин и Пров Михайлович Садовский в ролях Осипа и Подколесина.

Нижегородский гимназист и не мечтал тогда, что когда-нибудь будет «ставить» большую комедию на этой первой драматической сцене и сам «Пров Михайлович» обратится к нему с просьбою уступить ему ее на его бенефис.

Москва всегда мне нравилась. И я, хотя и много жил в Петербурге (где провел всю свою первую писательскую молодость), петербуржцем никогда не считал себя. Мне было особенно приятно поехать в Москву и за таким делом, как постановка на Малом театре пьесы, которая в Петербурге могла бы пройти гораздо успешнее, во всех смыслах.

Меня привлекали и самый город и те знакомства, которые я неминому должен был сделать в театральных и писательских кружках.

До того, кроме Кетчера (когда я бывал у него по делу издания моего учебника, еще дерптским студентом), я не имел еще связей ни в том, ни в другом мире.

Но я уже был знаком с издателями «Русского Вестника» Катковым и Леонтьевым. Не могу теперь безошибочно сказать, в эту ли поездку я являлся в редакцию с рекомендательным письмом к Каткову от Дружинина, или раньше; но я знаю, что это было зимой, и рукопись, привезенная мною,—одно из писем, написанных перед отъездом из Дерпта; стало, я мог ее возить только в 1861 году.

Катков и Леонтьев жили тогда еще не в доме университетской типографии, а на частной квартире, в Армянском переулке. Меня пригласили запросто отобедать, и за столом я мог на свободе рассматривать этих «сиамских близнецов русского журнализма».

Леонтьеву я привез поклон из Дерпта от С. Ф. Уварова, его товарища по Берлину в сороковых годах.

Я уже знал, по рассказам Уварова, что Леонтьев—горбун с характером не совсем приятным, настоящий «гелертер», с которым не очень-то легко было ладить.

В кабинете редакции и за столом Леонтьев больше молчал или пускал короткие фразы, тяжело дыша, как горбоносец. Он при Каткове

как бы умышленно ступсывался и смахивал на родственника, живущего в доме, как это водилось так еще часто в московских домах.

Катков тогда смотрел еще совсем не старым мужчиной, с лицом благообразного типа, красивыми глазами, тихими манерами и спокойной речью глуховатого голоса. Он похож был на профессора гораздо больше, чем на профессионального журналиста. Разговорчивостью и он не отличался. За столом что-то говорили об Англии, и сразу чувствовалось, что это—главный конек у этих англоманов и тогда самой чистой воды либералов русской журналистики⁸¹.

Пьесу мою они обещали прочесть, но не напечатали. Я не хотел их торопить, и вряд ли был у них еще раз в тот приезд, когда ставил «Однودворца».

Театр слишком меня притягивал к себе. Я попал как раз к приезду нового директора, Л. Ф. Львова, брата композитора, сочинившего музыку на «Боже, царя храни». Начальником репертуара был некто Пельт, из обруселой московской семьи французского рода, бывший учитель и гувернер, без всякого литературного прошлого, смесь светского человека с экс-воспитателем в хороших домах.

Тогда Москва имела отдельную, самостоятельную дирекцию, на одинаковом положении с Петербургом. Но общие порядки были все такие же, только в Малом драматическая труппа сложилась гораздо удачнее; был еще жив М. С. Щепкин, а с репертуаром Островского являлась целая группа талантливых бытовых исполнителей. И чиновнический гнет чувствовался гораздо меньше.

Начальник репертуара повез меня к директору, который не выехал еще в казенную квартиру и остановился в отеле Мореля,—теперь уже не существующем,—на углу Петровки и Кузнецкого переулка.

Начальство приняло меня любезно и тотчас же сообщило, что в выпускном классе Самарина в Театральном училище объявился большой талант—воспитанница Познякова, и Самарин разучивал с ней как раз роль героини моей драмы «Ребенок».

Это была вторая радость для молодого драматурга: появиться перед московской публикой в бенефис Садовского, в главной роли комедии, и найти так неожиданно «новоявленный» женский талант для лица Верочки, которое я создавал с большим внутренним настроением всего полтора года назад.

И. В. Самарин, с которым я только что познакомился, повез меня вечером в Театральное училище, помещавшееся тогда не в здании на Неглинной, где оно теперь, а на задах театральной конторы, со входом со двора, на углу Большой Дмитровки и Столешникова переулка.

В танцевальной зале с плохим освещением собралась молодая труппа, уже хорошо налаженная на предыдущих репетициях «Ребенка». Она состояла из учениц школы и двух-трех только что выпущенных актеров. Из них один—Лавров—недавно умер.

Надзирательница, встретившая нас, была чрезвычайно красивая молодая особа, и ее фигура среди воспитанниц в голубых платьях и белых пелеринах придавала этому «классу» что-то интимное, чрезвычайно женственное, точно какой репетиции домашнего спектакля.

Принесли диван, несколько стульев, стол—и расставили их посреди залы. Публика поместилась вокруг надзирательницы, около тех мест, где посадили нас с Самариным. Некоторые воспитанницы уселись прямо на пол.

Самарин подвел ко мне героиню, восходящую звезду Малого театра. Ей надо было еще доучиться до выпускного экзамена весной.

Гликерия Николаевна Позняковой шел тогда шестнадцатый год. Она была ровно на десять лет моложе автора «Ребенка». Красотой она не брала. Простое милое лицо с мелким овалом и небольшим, немного вздернутым носом, с ясным выражением тоже неэффектных глаз. Но во всем что-то мягкое, свое, бытовое, чрезвычайно русское—и в фигуре, и в движениях, и в прическе,—во всем. С первых ее слов, когда она начала репетировать (а играла она в полную игру) ее задушевный голос и какая-то прозрачная искренность тона показали мне, как она подходит к лицу героини драмы, и какая вообще это натура для исполнения не условной театральной *ingénue*, а настоящей девичьей «наивности», то-есть чистоты и правды той юной души, которая окажется способной проявить и всю гамму тяжелых переживаний, всю трепетность тех нравственных запросов, какие трагически доводят ее до ухода из жизни.

Ничего такого я еще ни на русских, ни на иностранных сценах не видал и не слышал. Это было идеальное—и простое, правдивое, совершенно реальное, и свое родное—олицетворение того, что тогда литературная критика любила выражать словом «непосредственность».

Голос этой девушки—мягкий, вибрирующий, с довольно большим регистром—звучал вплоть до низких нот меднума, прямо хватал за сердце даже и не в сильных сценах; а когда началась драма, и душа «ребенка» омрачилась налетевшей на нее бурей, я забыл совсем, что я—автор и что мне надо «следить» за игрой моей будущей исполнительницы. Я жил с Верочкой и в последнем акте был расстроган, как никогда перед тем не приводилось в театральной зале.

Это было нечто совсем из ряду вон, действительно открытие прирожденного таланта и такой «женственности», о какой можно было

только мечтать. Точно судьбе угодно было создать для автора «Ребенка» такую актрису. Но—повторяю—я забывал о себе, как авторе, я не услаждался тем, что вот после дебюта в Москве с «Одноворцем», где будут играть лучшие силы труппы, предстоит еще несомненный успех, и не потому, что моя драма так хороша, а потому, что такая Верочка наверно подымет всю залу, и пьеса благодаря ее игре будет восторженно принята, что и случилось не дальше, как в январе следующего 1862 года, в бенефис учителя Позняковой Самарина. Он тогда же попросил у меня «Ребенка», и я, конечно, был вдвойне порадован таким предложением.

Вечер в Театральном училище во всей моей долгой драматической карьере останется единственным. Больше—даже и в слабой степени—он нигде не повторялся.

Как все это вместе было мило, просто, молодо, трепетно! И обстановка залы, и публика, и угощение чаем нас с Самаринным, и полная безыскусственность самого зрелища. Ни декораций, ни костюмов, голые стены, диван, два стула, столы. Точно в шекспировское время, когда на сцену ставили шест с надписью: «Это—море», или: «Это—сад».

И обаяние искренности и правды было таково, что все это решительно забывалось, и царила душа молодого существа, ее поэзия, ее страдания,—то, что так трогательно и местами сильно прорывалось в звуках девического голоса, в слезах и возгласах.

Как бы «зачарованный» этим неожиданным впечатлением, я нашел и в Малом театре то, чего в Петербурге (за исключением игры Васильева и Линской) ни минуты не испытывал: совсем другое отношение и к автору и к его пьесе, прекрасный бытовой тон, гораздо больше ладу и товарищеского настроения в самой труппе. Только роль жены помещика, чрезвычайно удавшегося Самарину, в исполнении Рыкаловой осталась бесцветной; да она и в пьесе не особенно рельефна; все остальное «разошлось» (как говорят на сцене) прекрасно: Самарин, Садовский, молодой тогда актер Рассказов (офицер), Живокيني (комическое лицо Жабина) и Екатерина Васильева, которая из гувернантки сделала чудесное лицо. Оно стало ее коронной ролью в тот сезон и позднее.

Тогда она была в полном расцвете своего разнообразного таланта. Для характерных женских лиц у нас не было ни на одной столичной сцене более крупной артистки. Старожилы Москвы, любящие прошлое Малого театра, до сих пор с восхищением говорят о том, как покойница Е. Н. Васильева играла гувернантку в «Одноворце».

В драме у ней с годами являлась некоторая искусственность тона, но в комедии она держалась вполне реального тона и в диалоге

умела выказать большую тонкость интонации, привлекала умом и гибкостью дарования.

«Наивность» пьесы,—дочь помещика, сумела выдвинуть А. И. Колосова (жена бездарного актера), любимица публики, с милой, игривой наружностью и заразительной веселостью в более комических ролях.

Старуха—жена Оdnодворца—в игре Талановой вышла посуше, чем у Линской; но зато по бытовому тону и говору настоящий тип из тогдашней деревенской жизни. Эта «Ханея Ивановна», как ее звали в труппе, напомнила мне мое детство. Она была из крепостной труппы князя Шаховского, открывшего в Нижнем первый публичный театр. Девницей она носила фамилию Стрелковой, и ее меньшая сестра сделалась известной актрисой в провинции. «Ханея» и на столичной сцене сохранила свои повадки бывшей «вольноотпущенной»; права была не особенно покладливого, но со мною, как с племянником моего дяди, обращалась в особенно почтительном тоне, в роде, как, бывало, у нас в доме старухи, жившие на покое, из разряда так называемых «барских барынь».

Словом, труппа сделала для меня все, что только было в ее средствах. Но постановка, то-есть все зависевшее от начальства, от конторы, было настолько скудно (особенно на теперешний аршин), что, например, актеру Рассказову для новой офицерской формы с каской, темляком и эполетами выдали из конторы одиннадцать рублей. Самарин ездил к своему приятелю, хозяину магазина офицерских вещей Живаго, просить его сделать скидку побольше с цены каски; мундира нового не дали, а приказано было перешить из старого.

Декораций ни одной новой, если не считать того, что, по ремарке автора, комнату в доме Оdnодворца следовало обклеить старыми газетами.

Вряд ли все расходы конторы, считая декорации и костюмы, обошлись более чем в двадцать пять рублей. Но мы тогда не были так чувствительны, как теперь,—авторы, критика, публика. Все сводилось к игре, к тону и к кое-какой бытовой постановке, где это было безусловно нужно.

Режиссером Малого театра был тогда Богданов, старик, из отставных танцовщиков, приятель некоторых московских писателей, служивший перед тем в провинции, толковый—по-старинному, но не имевший авторитета. Он совсем и не смахивал на закулисного человека, а смотрел скорее помещиком из отставных военных.

Как и в Петербурге, надо было сладить большую пятиактную вещь в одну неделю. Садовский только на предпоследней репетиции пустил

в последней сцене горячие интонации, а на самой последней воздержался и, обратясь ко мне, сказал при всех:

— Сегодня я полным ходом не пушу, а то, пожалуй, завтра на спектакле и пороку не хватит.

Ничего подобного самойловским замашкам по бесцеремонному обращению с текстом Пров Михайлович не позволял себе, держался, как всегда, тихо, говорил мало, не вмешивался в *mise en scène*, хотя и был, как бенефициант, хозяином спектакля. Совсем вблизи я его видел впервые. Таким я и должен был его найти в жизни. Никто больше его не был таким бытовым типом, как он. И при этом ничего специфически актерского—ни в манерах, ни в тоне, ни в обращении с людьми. Точно какой серьезный, но с юмором, московский обитатель Замоскворечья или Козихи (где он и жил в собственном домике), вряд ли имеющий что-нибудь общее с миром искусства и в то же время такой прирожденный художник сцены.

Самарина он, как и Шумского, и тогда уже недолюбливал. Те были «ковровые» актеры, на оценку таких бытовиков, как он. Репертуар Островского провел грань между «рубашечными» и «ковровыми» актерами. Самарин рядом с Провом Михайловичем представлял собой Европу, сохранил представительность, манеры и главное—тон и дикцию бывшего первого любовника с блестящим успехом, долгие годы.

И он был типичный москвич, но из другого мира—барски-интеллигентного, одевался франтовато, жил холостяком, в квартире с изящной обстановкой, любил поговорить о литературе (и сам к этому времени стал пробовать себя, как сценический автор), покучивал, но не так, как бытовики, имел когда-то большой успех у женщин.

Со мною он держал себя не только без всякой претензии и рисовки, но как артист и преподаватель театрального искусства, готовый показать мне всякого рода поддержку и внимание.

За бенефисный вечер Садовского я несколько не боялся, предвидел успех бенефицианта, но не мог предвидеть того, что и на мою долю выпадет прием, лучше которого я не имел в Малом театре в течение целых сорока лет, хотя некоторые мои вещи («Старые счеты», Доктор Мошков», «С бою», «Клеймо») прошли с большим успехом.

Когда прекратились вызовы актеров и дошла очередь до меня, я должен был восемь раз сряду появляться в ложе, и на этот раз не в директорской, а в министерской, в той, что слева от зрителей.

А впереди меня ждало еще первое представление «Ребенка» о такой Верочкой, как Познякова—«Луша», как ее звали тогда за кулисами.

Только что вернулся в Петербург, как надо было приступить к разучиванию «Ребенка». Но тут опять Петербург сулил мне совсем не то, что дала Москва.

Правда, Ф. А. Снеткова была даровитая артистка и прелестная женщина, но по фигуре, характеру красоты, тону, манерам она мало подходила к той Верочке, которая рисовалась воображению автора и охарактеризована во всей пьесе. Остальной персонал был также не к выгоде пьесы. Вместо Шумского, взявшего роль отца Верочки,— П. А. Каратыгин, совсем уже не подходивший к этому лицу, ни в каком смысле. Роль учителя в Москве взял на себя Самарин, потому что он был бенефициант. Он уже отяжелел тогда для «любовников», по все-таки мог справиться с своей ролью лучше, чем совсем молодой петербургский актер Малышев.

Фанни Александровна почему-то ужасно боялась за роль Верочки. Это было первое новое лицо, в котором она выступала по возвращении из-за границы осенью. Мы с ней проходили роль у нее дома, в ее кабинетике, задолго до начала репетиций. Она очень старалась, читала с чувством, поправляла себя, выслушивала кротко каждое замечание. Но у ней не было той смеси простой натуры с порывами лиризма и захватывающей правды душевных переживаний Верочки.

В день спектакля, перед поднятием занавеса, когда мы с нею ходили в глубине сцены, весьма примитивно изображавшей помещичий сад, она, поглядев на меня вбок своими чудесными глазами, сказала серьезно, почти строго:

— Не понимаю, Петр Дмитриевич, как вы в такую минуту можете быть так веселы!..

Я уверил ее, что совсем не рисуюсь; но у меня совсем не было той авторской лихорадки, которая так похожа на ту, что мы в гимназии и университете называли «*febris examinalis*».

Снетковой роль очень нравилась; но она, вероятно, сама почувала, что у нее не та натура и не тот вид женственного обаяния; да и внешность была уже не девушки, только что вышедшей из подростковых, а молодой женщины, создавшей с таким успехом Катерину в «Грозе».

Ее и в Верочке хорошо «принимала» публика, но она все-таки не могла поддержать так пьесу,—как это случилось на дебюте Позняковой; в бенефис Самарина моя драма прошла, как говорится, «по-переднему» и репертуарной не сделалась. Рецензии, кроме той, которую написал П. И. Вейнберг в «Веке» еще до появления «Ребенка» на сцене, были строгоньки к автору. Снисходительно барственный И. П. Панаев (я с ним не был никогда лично знаком) в фельетоне «Современника»

(по псевдонимом «Новый поэт») пожалел «юного» автора за его усилия создать драму из сюжета, лишённого драматического содержания.

В этом он вряд ли был прав. Сюжет был гамлетовский, с мотивом, который вел к сильному душевному переполоху. Но «юный» автор слишком много впустил лиризма и недостаточно сгустил ход драмы, растянув ее на целых пять актов.

Когда я явился к Писемскому, то он с юмором спросил меня (уже по печатании пьесы в «Библиотеке для Чтения»):

— Да отчего собственно умирает ваша героиня? От какой болезни? Неужто только от горя?

Тогда я еще не настолько изучил «Гамбургскую драматургию» Лессинга, чтобы ответить ему его словами:

— Героиня умирает от пятого акта.

Да я и сам хорошенько не представлял себе, от какой собственно болезни моя Верочка ушла из жизни на сцене—от аневризма или от какого острого воспалительного недуга. Мне дороги были те слова, с какими она уходила из жизни, и Познякова произносила их так, что вряд ли хоть один зритель в зале Малого театра не был глубоко расстроган.

В эволюции моего писательства, я думаю, драма эта была единственной вещью с налетом идеалистического лиризма. Но я не с нее начал, а, напротив, с реального изображения жизни—в более сатирическом тоне—в первой моей комедии «Фразеры» и с большой бытовой объективностью—в «Однودворце».

«Ребенок» как раз написан был в ту полосу моей интимной жизни, когда я временно отдавался некоторому «духовному» настроению. Влюбленность и жизнь в семействе той очень молодой девушки, которая вызвала во мне более головное, чем страстное чувство, настраивали меня в духе, резко противоположном тому научному взгляду на человека, его природу и все мироздание, который вырабатывался у меня в Дерпте за пять лет изучения естественных наук и медицины.

И на первых двух частях романа «В путь-дорогу» этот временный идеализм еще отлинял; но потом я от него совсем освободился.

Тогдашний Петербург, публика Александринского театра, настроение журналов и газетной прессы—не были благоприятны такой интенсивной драме с гамлетовским мотивом, без яркого внешнего действия и занимательных бытовых картин.

К амплуа того автора, который попросил у меня «Ребенка» на свой бенефис, пьеса также не подходила.

Это был «Теодор» Бурдин, желавший показать этим, что он ценит дарование автора и желает поставить «вполне литературную» вещь.

Для себя он возобновил старинную пьесу Лукина «Рекрутский набор», в постановке «Ребенка» прямого участия не принимал, но, случаясь на сцене и во время репетиций, со мною бывал чрезвычайно любезен и занимал меня анекдотами и воспоминаниями из своей московской жизни и парижских походов.

Вообще, в личных сношениях он был очень приятный человек; а с актерами я никогда не имел дела, потому что с 1862 года до восьмидесятых годов лично ничего не ставил в Петербурге; а к этому времени Бурдин уже вышел в отставку и вскоре умер.

И случилось так, что я из-за репетиций «Ребенка» в Петербурге не попал на первое представление пьесы в Москве. Бенефисы Самарина и Бурдина совпали. Но я наверно бы урвался в Москву, если б не слетал туда на одну из последних репетиций—всего на двадцать четыре часа, провожал даму, у которой был роман с одним моим товарищем. Тогда на репетиции никого посторонних не пускали, так что я должен был просить директора, чтобы этой даме позволили сесть в глубине одной из лож бенуара. Репетиция была уже со всеми исполнителями бенефисного спектакля, а Познякова еще носила свое школьное голубое платье с пелериной—как нельзя более шедшее к лицу Верочки.

Но это был не единственный спектакль с Верочкой—Позняковой, на котором я присутствовал в Малом театре. В мой приезд для постановки «Однودворца» начальство так было заинтересовано талантом, открытым в школе И. В. Самаринным, что устроило пробный спектакль в таком же составе, какой играл передо мной в танцевальной зале Театрального училища.

В кресла было приглашено целое общество—больше мужчины—из стародворянского круга, из писателей, профессоров, посетителей Малого театра. Там столкнулся я опять с Кетчером, и он своим зычным голосом крикнул мне:

— Это вы? После химии?

— Да, с вашего позволения,—ответил я ему в тон.

А давно ли было, что я являлся к нему с рукописью учебника по «животно-физиологической химии»? Всего каких-нибудь три-четыре года.

Представили меня и старику Сушкову, дяде графини Ростопчиной, написавшему когда-то какую-то пьесу, с заглавием в роде «Волшебный какаду». От него пахло на меня миром «Горя от ума».

Но я отведал душу в беседе с М. С. Щепкиным, который мне, как автору, никаких замечаний не делал, а больше говорил о таланте Позняковой и, узнав, что ту же роль в Петербурге будет играть Снеткова, рассказал мне, как он ей давал советы, насчет одной ее роли, кажется, в переводной польской комедийке «Прежде маменька».

Михаила Семеновича я тогда впервые видел вне сцены и разговаривал с ним. Он еще не был дряхлым стариком, говорил бойко, с очень приятным тоном и умением рассказывать; на этот раз без той слезливости, над которой подсмеивались среди актеров-бытовиков, с Садовским во главе. Щепкин по своему культурному складу принадлежал к той эпохе в художественно-литературной жизни Москвы, когда связь актера с интеллигенцией,—какая была у него,—являлась редким фактом. И все его чисто сценические заявления отличались меткостью и любовью к правде прежде всего.

Так я и не видал тогда ни в ту зиму, ни впоследствии «Ребенка» на Малом театре. О триумфе дебютантки мне писали приятели после бенефиса Самарина, как о чем-то совершенно небывалом. Ее вызывали без числа. И автора горячо вызывали, так что и на его долю выпадала бы крупная доля таких восторженных приемов.

Шумский хоть и участвовал в пьесе, в мало выигрышной и весьма несимпатичной роли отца Верочки, но, видя, какое событие вышло с дебютом Позняковой, взял «Ребенка» и в свой бенефис, не дальше, как через неделю.

Молодой автор не догадался условиться с этим вторым бенефициантом насчет гонорара и ничего не получил с Шумского; а дирекция платила тогда только за казенные спектакли, да и та благостыня была весьма скудная сравнительно с тем, что получают авторы теперь. Тогда нам отчисляли пятнадцатую часть двух третей сбора, что не составляло и при полном сборе более пятидесяти-шестидесяти рублей в вечер.

Передо мною прошел целый петербургский сезон 1861—62 года—очень интересный и пестрый. Переживая настроения, заботы и радости моих первых постановок в обеих столицах, я отдавался и всему, что Петербург давал мне в тогдашней его общественной жизни.

Закрытие университета подняло сочувствие к нему всего города. На Невском, в залах думы, открылись целые курсы с самыми популярными профессорами⁸². Начались, тогда еще совсем внове, и литературные вечера в публичных залах. В зале Пассажа, где и раньше уже состоялся знаменитый диспут Погодина с Костомаровым⁸³, читались лекции; а потом пошло увлечение любительскими спектаклями, в которых и я принимал участие.

Писемский предложил мне сделаться фельетонистом «Библиотеки для Чтения». Сам он уже ленился писать свои сатирические заметки «Статского советника Салатущки», которые молодой публике не нравились.

Писать фельетонные заметки я согласился охотно. Тона моего предшественника я не хотел держаться; но не боялся быть самостоятельным в своих оценках и симпатиях. А выражать их пришлось сейчас же по поводу всяких новых течений и веяний литературных и художественных новостей и выдающихся личностей.

Задача—сложная. Можно было очень легко не угодить тем кружкам, где народившийся тогда «нигилизм» являлся уже в роде мундира.

В настоящую минуту, по прошествии почти пятидесяти лет, можно спокойно и объективно отнестись к тому, что делалось у нас тогда, и к своей тогдашней «платформе».

Из Дерпта я приехал уже писателем и питомцем точной пауки. Мои семь с лишком лет учебы не прошли даром. Без всякого самомнения я мог считать себя, как питомца университетской науки, никак не ниже того уровня, какой был тогда у моих сверстников в журнализме, за исключением, разумеется, двух-трех, стоящих во главе движения.

В философском смысле я приехал с выводами тогдашнего немецкого свободомыслия. Лиловый томик Бюхнера «Kraft und Stoff» и «Kreislauf des Lebens» были давно мною прочитаны; а в Петербурге это направление только что еще входило в моду. Да и философией я, занимаясь химией и медициной, интересовался постоянно, ходил на лекции психологии, логики, истории философских систем.

И по всеобщей литературе начитанность у меня была достаточная, особенной по немецкой литературе и критике, по Шекспиру и новейшей английской литературе, не говоря уже о французской.

Все, чем наша журналистика стала жить с 1856 года, я и дерптским студентом поглощал, всему этому сочувствовал, читал жадно статьи Добролюбова и Чернышевского, сочувствовал отчасти и тому «антропологическому» принципу, который Чернышевский проводил в своих статьях и философии истории. Но во мне не было той именно нигилистической закваски, которая сказывалась в разных «оказательствах» тона, вкусов, замашек, костюма, игры в разные опыты нового общежития.

В аудиториях университета допуск женщин был мне симпатичен; но, «нигилистическим» мундиром я не восхищался: ни стриженными волосами, ни умышленно небрежным туалетом, ни резкостью манер и жаргона.

Для того времени я имел право считать себя вполне свободомыслящим, особенно в вопросах религии, мистики, основных и всяких других предрассудков.

Но я не метил в революционеры и не уходил еще в вопросы социальные, не увлекался теориями западных искателей общественного

Эльдорадо: Фурье, Кабэ, Пьера Леру, Анфантена, не останавливался еще с более серьезным интересом на критике Прудона.

«Колокол» был в те годы уже на верху своего влияния. Я его читал, когда можно было достать; но не держался того обязательно восторженного тона, с каким молодежь относилась к нему, и не верил даже и тогда напускному радикализму петербургских чиновников, которые зачитывались лондонским изданием и—на словах—либеральничали всласть.

Я был—прежде всего и сильнее всего—молодой писатель, которому особенно дороги: художественная литература, критика, научное движение, искусство во всех его формах и впереди всего—театр, и свой, русский, и обще-европейский.

С такой платформой и с таким багажом я и стал писать фельетоны, сочинив себе псевдоним: «Петр Нескажусь».

И в одном из первых я выразил свое недоумение насчет двух девиц, которых встретил на лекции в думе, куда молодежь стала ходить очень усердно.

Это были две типичных нигилистки. Можно было, конечно, оставить их в покое. Но не было преступлением и отнестись к ним с некоторой критикой.

Ведь и тогда М. Е. Салтыков занял уже положение самого радикального сатирика; а он и позднее гораздо язвительнее стал прохаживаться насчет крайностей тогдашних нигилистических нравов и повадок ⁸⁴.

Дух независимости с юных лет сидел во мне. Я и тут не хотел поддаваться модному поветрию, и, не сочувствуя ничему реакционному, я считал себя в праве, как молодой наблюдатель общества, относиться ко всему с полнейшей свободой.

Представился как раз случай говорить и о Чернышевском, не как о главе нового направления журналистики и политических исканий, а просто как об участнике литературного вечера в зале Коноцова (где теперь Новый театр), на том самом вечере, где бедный профессор Павлов сказал несколько либеральных фраз и возбужденно, при рукоплесканиях, крикнул на всю залу: «Имей уши слышать—да слышит!» ⁸⁵

Его сейчас же лишили места и сослали в уездный городишко Костромской губернии.

А раньше выступил Чернышевский с пространной беседой о Добролюбове, только что тогда умершем.

Добролюбов был мой земляк и однолесток. Но я его никогда не видал и в Петербурге уже не застал.

И мне было в высшей степени интересно послушать о нем, как личности и литературной величине, от его ближайшего коллеги по журналу, сначала его руководителя, а потом уступившего ему первое место, как литературному критику «Современника».

Когда Чернышевский появился на эстраде, его внешность мне не понравилась. Я перед тем нигде его не встречал и не видал его портрета. Он тогда брился, носил волосы *à la moujik* (есть такие его карточки) и казался неопределенных лет, одет был не так, как обыкновенно одеваются на литературных вечерах,—не во фраке, а в пиджаке и в цветном галстуке.

И как он держал себя у кафедры, играя постоянно часовой цепочкой, и каким тоном стал говорить с публикой, и даже то, что он говорил,—все это мне пришлось сильно не по вкусу. Была какая-то бесцеремонность и запайбратство во всем, что он тут говорил о Добролюбове,—не с личностью покойного критика, а именно с публикой. Было нечто, напоминавшее те обращения к читателям, которыми испещрен был два-три года спустя его роман «Что делать?»

Главная его тема состояла в том, чтобы выставить вперед Добролюбова и показать, что он—Чернышевский—нимало не претендует считать себя руководителем Добролюбова, что тот сразу сделался в журнале величиной первого ранга.

В сущности это было симпатично, но тон все портил.

Может быть, на меня его манера держать себя и бесцеремонность этой импровизированной беседы действовали слишком сильно; а я по своим тогдашним знакомствам и связям не был достаточно революционно настроен, чтобы все это сразу простить и смотреть на Чернышевского только как на учителя, на бойца за самые крайние идеи в радикальном социализме, на человека, который подготавливает нечто революционное.

В ту зиму я уже мало водился со студенческой молодежью и еще не был достаточно знаком с персоналом молодых писателей.

Сколько помню, публика на том вечере не сделала Чернышевскому особенно громких оваций, и профессор Павлов имел гораздо более горячий прием, что его и загубило.

Когда впоследствии я читал о знакомстве Герцена с Чернышевским, который приехал в Лондон уже как представитель новой революционной России, я сразу понял, почему Александру Ивановичу так не понравился Николай Гаврилович. Его оттолкнули, помимо разницы в их «платформах», тон Чернышевского, особого рода самоуверенность и нежелание ничего признавать, что он сам не считал умным, верным и необходимым для тогдашнего освободительного движения.

Ведь и Чернышевский отплачивал ему тем же. И для него Герцен был только запоздалый либерал, барин-москвич.

Как фельетонисту, мне пришлось в ту же зиму говорить и о полемике, объектом которой сделался как раз тогда Чернышевский. Я держался шутливого тона и хотел выставить только его полемический темперамент; но в «Библиотеке для Чтения» тотчас после «Статского советника Салатухи» мой тон мог показаться исходящим от принципиального противника всего, чем тогда «Современник» и его вдохновитель увлекали революционно настроенную молодежь.

Но этого в сущности не было; утверждаю это положительно.

Если я «прошелся» раз над нигилистками и их внешностью, то я совсем еще не касался тех признаков игры в социализм, какие стали вырастать в Петербурге в виде общежитий на коммунистических началах. В те кружки я не попадал и не хотел писать о том, чего сам не видал и не наблюдал.

Все же, что было в тогдашней молодежи обоего пола по части увлечения естествознанием, точной наукой, протестов против метафизики, всяких предрассудков и традиционных верований, что вскоре так талантливо и бурно прорвалось у Писарева,—все это не могло не вызывать моего сочувствия.

Я весьма своим студенческим учением доказал самому себе, до какой степени я высоко ставил точную науку, и к окончанию моего курса в Дерпте держался уже сам мировоззрения, за которое «Современник» и потом «Русское Слово» ратовали.

Но я был уже старше той «зеленой» молодежи, которая увлекалась Бюхнером, Фогтом и Молешоттом и восторженно приняла книгу Дарвина «О происхождении видов».

Тогда и студенты и студентки повторяли в каком-то экстазе:

— Человек—червяк!

В этой формуле для них сидело все учение, которое получило у нас смысл не один только научный, а и революционный.

Тогда я еще недостаточно познал ту истину, что в России все получает такой смысл и значение,—всякая книга, пьеса, роман, статья, открытие.

Так ведь идет и до сих пор, и будет так идти, пока между обществом и правящими сферами будет лежать или глубокая пропасть, или резкая демаркационная линия.

Мне, как писателю, начавшему с ответственных произведений, каковы были мои пьесы, не было особенной надобности в роли фельетониста. Это сделалось от живости моего темперамента, от желания иметь прямой повод усиленно наблюдать жизнь тогдашнего Петербурга. Это

и беллетристу могло быть полезным. Материального импульса тут не было... Заработок фельетониста давал очень немного. Да и вся-то моя кампания общественного обозревателя не пошла дальше сезона и к лету была прервана возвращением в деревню.

Именно оттого, что я в фельетоне «Библиотеки для Чтения» был как бы преемником Писемского, я и воздержался от всякой резкой выходки, от всего, что могло бы поставить меня в неверный и невыгодный для меня свет перед читателем, хотя бы и нерадикально настроенным, но уважающим лучшие литературные традиции.

И вот случился инцидент, где я как раз рисковал повредить себе в глазах той публики, какую я всегда имел в виду, и перед персоналом своих собратов.

Писемский сильно недолюбливал «Искры» и, читая корректуру моего фельетона, вставил от себя резкую фразу по адресу ее издателей, Курочкина и Степанова, не сказав мне об этом ни слова⁸⁶.

Вышла книжка. Не помню, заметил ли я сразу эту редакторскую вставку в мой текст, но когда заметил—было уже поздно.

Я бросился сначала в контору, и там издатель журнала, узнав, что в «Искре» возмущены и собираются начинать историю, добыл тотчас же последнюю корректуру из типографии и отдал мне ее, указав место, где рукою Писемского была вставлена та обидная для «Искры» фраза.

С этим документом я и поехал к Алексею Феофилактовичу. Нельзя же было не объясниться и не позволить мне, по меньшей мере, сделать оговорку, что та резкая фраза не принадлежит автору, который подписывает свои фельетоны псевдонимом «Петр Нескажусь».

У Писемского в зале, за столом, я нашел такую сцену:

На диване он—в халате и—единственный раз, как я его видел,—в состоянии достаточного хмеля. Рядом—справа и слева—жена и его земляк и сотрудник «Библиотеки» Алексей Антипович Потехин, с которым я уже до того встречался.

Писемский был в совершенном расстройстве и сейчас же жалобным тоном стал сообщать мне, что редакция «Искры» прислала ему вызов за фразу из моего фельетона.

Я вынул из кармана корректурный сверстанный лист и указал ему на то место, где вставлена была фраза его почерком. Он, конечно, не отрицал этого. Если б я сам написал это, я,—а не он,—должен был бы принять вызов. Он признавал вполне свою ответственность. Но дуэль ему не улыбалась. И мне было обидно за него то, что его передернуло, и то, как он сейчас же прибегнул к вину и очутился в некрасивом виде. Выходило так, что эта дуэль непременно должна состояться. Но она не

состоялась. В каких выражениях он извинился перед «Искрой» — я не видал; но если б он наотрез отказался от поединка и не захотел извиниться, редакция, наверное, потребовала бы тогда имя автора фельетона.

Ко мне никто оттуда не обращался. Но у «Искры» остался против меня зуб, что и сказалоcь позднее в нападках на меня, особенно в сатирических стихах Д. Минаева. Личных столкновений с Курочкиным я не имел, и не был с ним знаком до возвращения моего из-за границы, уже в 1871 году. Тогда «Искра» уже еле дотягивала свои дни. Раньше, из Парижа, сделался ее сотрудником под псевдонимом: «Экс-король Вейдаут»⁸⁷.

Мои оценки тогдашних литературных нравов, полемики, проявлений «нигилистического» духа — все это было бы, конечно, гораздо уравновешеннее, если б можно было сходиться со своими собратами, если б такой молодой писатель, каким был я тогда, попадал чаще в писательскую среду. А ведь тогда были только журнальные кружки. Никакого общества, клуба не имелось. Были только редакции со своими ближайшими сотрудниками.

К «Современнику» я ни за чем не обращался и никого из редакции лично не знал. «Отечественные Записки» совсем не собирали у себя молодых сил⁸⁸. С Краевским я познакомился сначала, как с членом Литературно-Театрального комитета, а потом всего раз был у него в редакции, возил ему одну из моих пьес. Он предложил мне такую плохую плату, что я не нашел нужным согласиться, что-то в роде сорока рублей за лист, а я уже получал на 50% больше даже в «Библиотеке», финансы которой были уже не блистательны.

От Краевского только что перешли к В. Ф. Коршу «Петербургские Ведомости». С Коршем я познакомился у Писемского на чтении одной части «Взбаламученного моря», но в редакцию не был вхож. Мое сотрудничество в «Петербургских Ведомостях» началось уже в Париже, в сезон 1867—68 года.

Но я бывал везде, где только столичная жизнь хоть сколько-нибудь вызывала интерес: на лекциях в думе, на литературных вечерах, — тогда еще довольно редких, во всех театрах, в домах, где знакомился с тем, что называется «обществом» в условном светском смысле.

Настоящих литературных «салонов» тогда что-то не водилось в свете, кроме двух-трех высокопоставленных домов, куда допускались такие писатели, как Тургенев, Тютчев, Майков и некоторые другие. Приглашали и Писемского.

Граф Кушелев-Безбородко держал тогда открытый дом, где пировала постоянно пишущая братия. Там сначала, в качестве одного из

соредакторов «Русского Слова», заседал и Аполлон Григорьев (это было еще до моего переселения в Петербург), а возлияниями Бахусу отличались всего больше поэты Мей и Кроль, родственник графа по жене.

Туда легко было бы попасть, но меня почему-то не влекло в этот барски-писательский «кабак», как его и тогда звали многие.

Теперь я объясняю это чувством той брезгливости, которая рано во мне развилась. Мне было бы неприятно попасть в такой барский дом, где хозяин, примостившийся к литературе, кормил и поил литературскую братию, как, бывало, бары в крепостное время держали прихлебателей и напайвали их. И то, что я тогда слышал про пьянство в доме графа, прямо пугало меня, не потому, чтобы я был тогда такая «красная девица», а потому, что я слишком высоко ставил звание писателя. Мне было бы слишком прискорбно и обидно видеть своих старших собратьев—и в том числе такого даровитого поэта, как Мей,—безобразно пьяными.

Я мог бы попасть и на тот литературный вечер, где Мей должен был произнести одно стихотворение наизусть. В нем стоял стих в роде такого:

И смокла его рубашка.

Поэт был уже на таком взводе, что споткнулся на этом самом стихе, дальше не пошел, а все повторял его и должен был, наконец, сойти постыдно с эстрады.

Из остальных именитых «питухов» кушелевских чертогов с Григорьевым я познакомился позднее, а Кроля видел раз в трактире «Новый Палкин» и, разумеется, «не в своем виде».

Была еще редакция, где первым критиком состоял уже Григорьев,—журнал «Время» братьев Достоевских.

С самым издателем—Михаилом Достоевским—я всего один раз говорил у него в редакции, когда был у него по делу. Он смотрел отставным военным, а на литератора совсем не смахивал—в таком же типе, как и Краевский, только тот был уже совсем седой, а этот еще с темными волосами.

До возвращения его брата Федора и издания журнала «Время» Михаила мало знали в писательских кругах. И в публике у него не было имени. Кто интересовался театром, знал, что он переводчик «Дон-Карлоса» и написал одноактную комедию «Старшая и меньшая» или что-то в этом роде⁸⁹. И был ли он славянофил или западник—этим тоже не интересовались. Неославянофильскую «почву» его журнал стал проповедывать, когда его брат Федор нашел себе единомышленников и вдохновителей в Аполлоне Григорьеве и Страхове, с тем псевдонимом

«Косица», который сделался мишенью нападков радикальных журналов.

Страхова я тогда нигде не встречал и долго не знал даже, кто этот Косица. К Федору Достоевскому никакого дела не имел и редакционных сборищ не посещал. В первый раз я увидел его на литературном чтении. Он читал главу из «Мертвого дома», и публика принимала его так же горячо, как и Некрасова.

Позднее, уже в мое редакторство, я с ним познакомился, и у нас были даже деловые свидания.

Тогда публика, особенно молодежь, еще смотрела на него только как на бывшего каторжника, на экс-политического преступника. В его романе «Униженные и оскорбленные» все видели только борца за общественную правду и обличителя всего того, что давило в России всякую свободу и тушило каждый лишний луч света.

«Мертвый дом» явился небывалым документом русской каторги. А то, что в нем уже находилось мистически-благонамеренного, еще не было всеми понято, как должно, и тогдашний Достоевский еще считался чуть не революционером. Издание журнала, когда почвенное неославянофильство достаточно высказалось,—изменило взгляд на сredo автора «Мертвого дома», но все-таки его ставили особо. В той жестокой полемике, какая завязалась между «Временем»,—а впоследствии «Эпохой»,—и радикальными журналами, Федор Достоевский весьма сильно участвовал, но не подписывал своих статей.

И позднее, когда оба журнала—и «Время» и «Эпоха»—прекратились и началось печатание «Преступления и наказания», он продолжал быть любимым романистом, сильно волновал ту самую молодежь, идеям которой он нимало не сочувствовал.

И еще позднее автор «Бесов» не только заставил себе все простить, а под конец жизни стал как бы своего рода вероучителем, и его похороны показали, как он был популярен во всяких сферах и классах русского общества.

Пolemика тогдашних журналов, если на нее посмотреть «ретроспективно», явилась симптомом того, что после акта 19 февраля на очереди не стояло что-нибудь такое же крупное, как падение рабовладельчества. Правительство держалось еще умеренно-либерального фарватера; на очереди стояли реформы земская и судебная. Но это еще не волновало публику и не отвлекало достаточно публицистику и критику от своих счетов, препирательств и взаимных обличений...⁹⁰

«Библиотека» почти что не участвовала в этом ругательном хоре. Критиком ее был Еф. Зарин, который, правда, вступал в полемику с самим Чернышевским⁹¹. Но все-таки отличались «передовые»

журналы. И то, что в «Свистке» Добролюбова было остроумно, молодо, игриво, то теперь стало тяжело, грубо и бранно. Автора «Темного царства» заменил в «Современнике» тот критик, который в начале 1862 года отличился своей знаменитой рецензией на «Отцов и детей»⁹².

Если «Петр Нескажусь» позволил себе юмористически касаться пшенисток и рассказывать о полемических подвигах Чернышевского, то он не позволил себе ничего похожего на то, чему предавались тогда корифеи передовой журналистики.

Все это не могло меня привлекать к тогдашней журнальной «левой». У меня не было никакой охоты «итти на поклон» в те редакции, где цвела такая ругань. В подобной полемике я не видал борьбы за высшие идеи, за то, что всем нам было бы дорого, а просто личный задор и отсутствие профессиональной солидарности и товарищеского чувства.

Ведь все это происходило между «собратами». А я так высоко ставил звание и дело писателя. И если б не моя тогдашняя любовь к литературе, я бы, конечно, позадумался делаться профессиональным литератором, а поехал бы себе хозяйничать в Нижегородскую губернию.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Лекции в думе. — История с Костомаровым. — Театр. — Сухово-Кобылин, автор «Свадьбы Кречинского». — Островский и его сверстники. — Заезжие знаменитости. — Музыка. — Балакирев и начало «кучкизма». — Два поколения. — «Отцы и дети». — Замысел романа «В путь-дорогу». — Издательство.

Петербург жил (в сезон 1861—62 года) на тогдашнюю меру очень бойко.

То, что еще не называлось тогда «интеллигенцией» (слово это пущено было в печать только с 1866 года), то-есть и люди сороковых и пятидесятых годов, испытанные либералы, чаявшие так долго падения крепостного права, и молодежь — мои сверстники и моложе меня — придавали столичному сезону очень заметный подъем. Это сказывалось, кроме издательской деятельности, в публичных литературных вечерах и в посещении временных университетских курсов в залах думы.

Газетное дело было еще мало развито. На весь Петербург была, в сущности одна либеральная газета, «С.-Петербургские Ведомости». «Очерки» не пошли. «Голос» Краевского явился уже позднее и стал чем-то средним между либеральным и охранительным органом⁹³.

Розничная продажа на улицах еще не показывалась. И вообще, газетная пресса еще не волновала публику, как это было десять и более лет спустя.

Тогда первым тенором в газете был воскресный фельетонист. Это считалось самым привлекательным отделом газеты. Вся «злободневность» входила в содержание фельетона, а передовицы читались только теми, кто интересовался серьезными внутренними вопросами. Цензура только что немного «оттаяла», но по внутренней политике поневоле нужно было держаться формулы, сделавшейся прибауткой: «нельзя не признаться, но нужно сознаться».

«Свисток» и «Искра» привили уже вкус к высмеиванию, зубоскальству, памфлету, карикатуре, вообще к нападкам на всем известные личности. И Корш в своих корректных «Петербургских Ведомостях» завел себе также воскресного забавника, который тогда мог сказать про себя, как Загорецкий, что он был—«ужасный либерал». Его обличительные очерки были тогда исключительно направлены на дореформенную Россию, и никто не проявлял большей бойкости и литературного таланта среди его газетных конкурентов. Все, кто жадно читал втихомолку «Колокол», довольствовались въявь и тем, что удавалось фельетонисту «Петербургских Ведомостей» разменивать на ходячую подцензурную монету.

Корш же дал ход (но уже позднее) и другому забавнику и памфлетисту в стихах и прозе, которым не пренебрегали и «Отечественные Записки», даже к семидесятым годам. Попал он и ко мне, когда я начал издавать «Библиотеку», и, разумеется, в качестве очень либерального юмориста ⁹⁴.

Что из этих «сиамских братьев» русского острословия сделала впоследствии жизнь—всем известно; но тогда честный и корректный Корш искренно считал их за самых завязятых радикалов.

Молодая публика, принимавшая участие в судьбе петербургского студенчества до и после «сентябрьской» истории, была обрадована открытием курсов самых известных профессоров в залах думы.

Главный контингент аудитории думы был, конечно, студенты и курсистки, хотя тогда такого звания для женщин еще не существовало.

Хозяевами явились исключительно студенты. Они составляли особый комитет, сносились с лекторами, назначали часы лекций, устанавливали плату. Их распорядители постоянно находились тут, при кассе и в разных залах.

Одним из самых деятельных распорядителей был студент Печаткин, брат издателя «Библиотеки», женатый на одной из самых энергичных тогда девиц ⁹⁵. Впоследствии он занимался издательством, держал, если не ошибаюсь, и свою типографию.

Все шло хорошо. Курсы имели и немало сторонних слушателей. Из лекций, кроме юридических, много ходило к Костомарову.

Николай Иванович никогда не был блестящим лектором и злоупотреблял даже цитатами из летописей, и вообще более читал, чем говорил. Но его очень любили. С его именем соединен был некоторый ореол его прошлого, тех мытарств, чрез какие он прошел со студенческих своих годов.

И недавняя его «пря» (диспут) с Погодиным в зале Пассажа поднимала его популярность ⁹⁶.

Я ходил аккуратно на несколько курсов, в том числе и к Костомарову. И мне привелось как раз присутствовать при его столкновении со студенчеством.

Боюсь приводить здесь точные мотивы этой коллизии между любимым и уважаемым наставником и представительством курсов. Но Костомаров, как своеобразный «хохол», не считал нужным сделать что-то, как они требовали, и когда раздалось шиканье по его адресу, он, очень взволнованный, бросил им фразу, смысл которой был такой: что если молодежь будет так вести себя, то она превратится, пожалуй, в «Расплюевых» ⁹⁷.

Слова эти были подхвачены. Имя «Расплюевы» я слышал; но всю фразу я тогда не успел отчетливо схватить.

Это имя «Расплюевы», употребляемое Костомаровым, показывало, что комическое лицо, созданное Сухово-Кобылиным, сделалось к тому времени уже нарицательным.

А «Свадьбе Кречинского» было всего каких-нибудь пять лет отроду: она появилась в «Современнике» во второй половине пятидесятых годов ⁹⁸. Но комедия эта сразу выдвинула автора в первый ряд тогдашних писателей и, специально, драматургов.

Она сделалась репертуарной и в Петербурге и в Москве, где Садовский создал великолепный образ Расплюева.

На Александринском театре Самойлов играл Кречинского блестяще, но почему-то с польским акцентом; а после Мартынова Расплюева стал играть П. Васильев и делал из него другой тип, чем Садовский, но очень живой, забавный, а в сцене второго акта—и жалкий.

Автор «Свадьбы Кречинского» только с начала шестидесятых годов стал показываться в петербургском свете.

Я впервые увидел его в итальянской опере, когда он в антрактах входил в ложи тогдашних «львиц».

Он смотрел тогда еще молодым мужчиной: сильный брюнет, с большими бакенбардами, по тогдашней моде, очень барственный и эффектный.

На нем остался налет подозрения не больше, не меньше, как в совершении убийства ⁹⁹.

Это крупное дело сильно волновало барскую и чиновную публику обеих столиц. Оно по своему содержанию носило на себе яркий отпечаток крепостной эпохи.

О нем мне много рассказывали еще до водворения моего в Петербурге; а в те зимы, когда Сухово-Кобылин стал появляться в петербургском свете, А. И. Бутовский (тогда директор Департамента мануфактур и торговли) рассказал мне раз, как он был прикосновенен в Москве к этому делу.

Он служил тогда председателем Коммерческого Совета в Москве и попал как раз на тот вечер у г-жи Н[арышкиной], когда в квартире Сухово-Кобылина была убита француженка, его любовница.

От Бутовского обвиненный хотел иметь на следствии показание, что он видел его еще на вечере, когда сам уезжал домой.

Такого показания Бутовский не мог дать, потому что не хотел утверждать этого положительно, а для обвиненного это нужно было, чтобы доказать свое *alibi*.

Француженку, якобы, убили повар и лакей—оба крепостные Сухово-Кобылина и ночью свезли ее на кладбище, при чем она, кажется, не была ими даже достаточно ограблена.

Вся Москва, а за ней и Петербург, повторяли рассказ, которому все легко верили, а именно, что оба крепостные взяли убийство на себя и пошли на каторгу. Но и барин был, кажется, «оставлен в подозрении» по суду.

Рассказывали в подробностях сцену, как Сухово-Кобылин приехал к себе вместе с г-жой Н[арышкиной].

Француженка ворвалась к нему (или уже ждала его) и сделала скандальную сцену. Он схватил канделябр и ударил ее в висок, отчего она тут же и умерла.

Мне лично всегда так ярко представлялась эта, быть может, и выдуманная, сцена, что я воспользовался ею впоследствии в моем романе «На суд», где фабула и психический анализ мужа и жены не имеют, однако, ничего общего с этой московской историей.

С автором Кречинского я тогда нигде не встречался в литературных кружках, а познакомился с ним уже спустя с лишком тридцать лет, когда он был еще бодрым старцем и приехал в Петербург хлопотать в дирекции императорских театров по делу, которое прямо касалось «Свадьбы Кречинского» и его материальной судьбы в Александринском театре. Дирекция,—по оплошности ли автора, когда комедия его шла на столичных сценах, или по чему другому,—ничего не платила ему за пьесу, которая в течение тридцати с лишком лет дала ей не один десяток тысяч рублей сбору.

Состоялось запоздалое соглашение, и сумма, полученная автором «Свадьбы Кречинского», далеко не представляла собою гонорара, какой он имел бы право получить, особенно по новым правилам восьмидесятих годов.

Сухово-Кобылин оставался для меня, да и вообще для писателей и того времени и позднейших десятилетий, как бы невидимкой, некоторым иксом. Он поселился за границей, жил с иностранкой, занимался во Франции хозяйством и разными видами скопидомства, а под конец жизни купил видлу в Болье—на Ривьере, по соседству с М. М. Ковалевским, после того, как он в своей русской усадьбе совсем погорел.

Петербургской встречей и ограничилось наше знакомство. Меня пригласил «на него» оди́н чиновник Кабинета, которому он и был обязан успехом сделки с дирекцией. Я у этого чиновника обедал с ним, а потом навестил его в «Hôtel de France».

Хотя он, кажется, немного красил себе волосы, но все-таки порождал своим бодрым видом, тоном, движениями. А ему тогда было уже чуть ли не под восемьдесят лет.

Для меня было интересно поближе приглядеться к такому типу московского барина-писателя, когда-то светского льва, да еще пови́того трагической легендой.

Фешенебля в нем уже не осталось ничего. Одевался он прилично—и только. И никаких старомодных претензий и замашек также не выказывал. Может быть, долгая жизнь во Франции стряхнула с него прежние повадки. Говорил он хорошим русским языком с некоторыми старинными ударениями и звуками, например, произносил: не́ «фило́соф», а «филозо́ф».

И вот, когда мы с ним разговорились у него в номере «Hôtel de France», то это и был всего больше «философический разговор». Впервые я узнал, что Александр Васильевич уже до тридцатых годов прошлого века кончил курс по математическому факультету (тогда учились не четыре, а три года), поехал в Берлин и сделался там правоверным гегельянцем. И что замечательно: его светская жизнь, быстрая слава, как автора «Кречинского», все его дальнейшие житейские передраги и долгая полоса хозяйничанья во Франции и у себя, в русском имении, не остудили в нем страсти к «философии». Он перевел всего подлинного Гегеля (кроме его лекций, изданных учениками, а не им самим написанных), и часть этого многолетнего труда сгорела у него в усадьбе. Но он восстановил ее и все еще надеялся, что кто-нибудь издаст ему «всего подлинного Гегеля». Он написал и философский трактат в гегельянском духе, и стал мне читать из него отрывки.

Тогдашним нашим литературным и общественным движением он мало интересовался, хотя говорил обо всем без старческого брюзжания. И театр уже ушел от него; но чувствовалось, что он себя ставил в ряду первых корифеев русского театра: Грибоедов, Гоголь, он, а потом уже Островский.

Суд над ним по делу об убитой француженке дал ему материал для его пьесы «Дело», которая так долго лежала под спудом в цензуре. Не мог он и до конца дней своих отрешиться от желания обелять себя при всяком удобном случае. Сколько помню, и тогда, в номере «Hôtel de France», он сделал на это легкий намек. Но у себя, в Болье (где он умер), М. М. Ковалевский, его ближайший сосед, слышал от него не раз протесты против такой «клеветы».

Эта черта—во всяком случае характерная для тех, кто имел дело с обвиненными, которые в глазах общественного мнения (а тут, кажется, и по суду) оставлены «в подозрении».

В Болье я попал в ту зиму, когда он уже был очень болен. Он жил одиноко, со своей дочерью, и оставил по себе у местного населения репутацию «L'un russe très parcimonieux». Случилось и то, что я клал за него шар, когда его баллотировали в почетные академики.

Возвращаясь к театральным сезонам, которые я проводил в Петербурге до моего редакторства, нельзя было не остановиться на авторе «Свадьбы Кречинского» и не напомнить, что он после такого крупного успеха должен был—не по своей вине—отойти от театра. Его «Дело» могло быть тогда и напечатано только за границей в полном виде.

Цензура так же сурово обходилась и с Островским.

«Свои люди—сочтемся» попала на столичные сцены только к 1861 году. И в те зимы, когда театр был мне так близок, я не могу сказать, чтобы какая-нибудь пьеса Островского, кроме «Грозы» и отчасти «Грех да беда», сделалась в Петербурге репертуарной, чтобы о ней кричали, чтобы она увлекала массу публики или даже избранных зрителей.

Культом Островского отличался только Аполлон Григорьев—в театральной критике. На сцене о пьесах Островского хлопотал всегда актер Бурдин, но дирекция их скорее не долюбливала.

У меня в памяти осталась фраза начальника репертуара Федорова. Выпячивая свои большие губы, он говорил с брезгливой миной:

— Вот нас упрекают все, что мы мало играем Островского (он произносил: Островс^{ко}го), но он не дает сборов.

И правда: даже лучшая его вещь—«Свои люди—сочтемся»—не удержалась с полными сборами.

Мало того, позднее Литературно-Театральный комитет возвратил ему даже «Женитьбу Бальзаминова», найдя, что это—Фарс, недостойный его.

Но это случилось уже позднее; а пока Островский для Петербурга был еще новинкой, и очень немногие и в литературном кругу лично знали его.

А тогда он уже сошелся с Некрасовым и сделался одним из исключительных сотрудников «Современника». Этот резкий переход из руссофильских и славянофильских журналов, как «Москвитянин» и «Русская Беседа», в орган Чернышевского облегчен был тем, что Добролюбов так высоко поставил общественное значение театра Островского в своих двух знаменитых статьях. Островский сделался в глазах молодой публики писателем-обличителем всех темных сторон русской жизни.

В какой степени он действительно разделял, например, тогдашнее *scredo* Чернышевского в политическом и философском смысле—это большой вопрос. Но ему приятно было видеть, что после статей Добролюбова к нему уже не относятся с вечным вопросом: славянофил он или западник?

Аполлон Григорьев попрежнему восторгался народной «почвенностью» его произведений и ставил творца Любима Торцова чуть не выше Шекспира. Но все-таки в Петербурге Островский был для молодой публики сотрудник «Современника». Это одно не вызывало, однако, никаких особенных восторгов театральной публики. Пьесы его всего чаще имели средний успех. Не помню, чтобы за две зимы—от 1861 до 1863 года—я видел, как Островский появлялся в директорской ложе на вызовы публики.

Но раньше всего я увидел его все-таки в театре, но не в ложе, а на самых подмостках, в качестве любителя.

Тогда театральное «аматерство» было уже в большом ходу и приютилось в Пассаже, в его зале со сценой, не там, где теперь театр, а на противоположном конце, ближе к Невскому.

К этому любительству и я был привлечен. Тогда среди любителей блистала г-жа Спорова, младшая дочь генеральши Бибиковой—курьезного типа тогдашней *madame Sans-Gêne*. Спорова особой талантливостью не выдавалась, но брала красотой. Ее сестра, г-жа Квадри, была талантливее. Она и ее муж, офицер Квадри (недавно умерший), страстно любили театр и готовы были играть всегда, везде и какие угодно роли. К этому кружку принадлежала и даровитая Сандунова, когда-то артистка императорских театров и писательница—в те годы, когда ее муж издавал «Репертуар и Пантеон»¹⁰⁰. Она была прекрасной исполнительницей бытового репертуара.

И меня втянули в эти спектакли Пассажа. Поклонником красоты Споровой был и Алексей Антипович Потехин, с которым я уже водил знакомство по дому Писемских. Он много играл в те зимы—и Дикого и Городничего. Мне предложили роль Кудряша в «Грозе», а когда мы ставили «Скупого рыцаря» для такого же страстного чтеца и любителя А. А. Стаховича (отна теперешних общественных деятелей¹⁰¹), го я изображал и герцога.

В память моих успехов в Дерпте, когда я был «первым сюжетом» и режиссером наших студенческих спектаклей (играл Расплюева, Бородинна, Городничего, Фамусова), я мог бы претендовать и в Пассаже на более крупные роли. Но я уже не имел достаточно времени и молодого задора, чтобы уходить с головой в театральное любительство. В этом воздухе интереса к сцене мне все-таки дышалось легко и приятно. Это только удваивало мою связь с театром

Квадри в труппе Пассажа выделялся большой опытностью и способностью браться за всякие роли. Он мог бы быть очень недурным легким комиком, но ему хотелось всегда играть сильные роли. Из репертуара Потехина он выступил в роли ямщика Михайлы (в пьесе «Чужое добро в прок не пойдет»), прославленной в Петербурге и Москве игрой Мартынова и Сергея Васильева, а в те годы и Павла Васильева—на Александринском театре.

Пассаж оставался верен бытовому театру. И участие не только Потехина, но и самого Островского было неожиданной приманкой для той публики, которая состояла из самых испытанных театралов.

Островского я еще не слышал, как чтеца сцен из его комедий. Читал он не так, как Писемский, то-есть не по-актерски в лицах, а писательски, без постоянной перемены тона и акцента, но очень своеобразно и умело.

Появление его в роли Подхалюзина—это и был «гвоздь» и для тогдашних любителей театра. Ему сделали прием с подношением венка, но в городе это прошло почти что не замеченным большой публикой.

Как актер, Островский не брал ни комизмом, ни созданием типичного лица. Он был слишком крупен и тяжеловат фигурой. Сравнение с Павлом Васильевым было для него невыгодно. Но всю роль провел он умно и с верностью московскому бытовому тону.

И тогда уже и за кулисами и в зале поговаривали, что ему не следовало бы с его именем рисковать такой любительской забавой. Красота госпожи Споровой и на него подействовала, после того как он ее видел на той же сцене в Катерине.

Мое личное знакомство с Александром Николаевичем продолжалось много лет; но больше к нему я присматривался в первое время, и

в Петербурге, где он обыкновенно жил у брата своего (тогда еще контрольного чиновника, а впоследствии министра), и в Москве, куда я попал к нему зимой, в маленький домик у «Серебряных» бань, где-то на Яузе, и нашел его в обстановке, которая как нельзя больше подходила к лицу и жизни автора «Банкрута» и «Бедность—не порок».

Он работал тогда над своим «Мининым», отделял его начисто; но первая половина пьесы была уже совсем готова.

Домик его в пять окон—самой обывательской внешности—окунул и меня в дореформенный московский мир купеческого и приказного люда.

В передней меня встретила еще не старая, полная женщина, которую я бы затруднился признать сразу тогдашней подругой писателя. Это была та «Федосья Ивановна», про которую я столько слышал от москвичей, приятелей Островского, особенно в годы его молодости, его первых успехов.

Ей он—по уверению этих приятелей—был многим обязан по части знания быта и, главное, языка, разговоров, бесчисленных оттенков юмора и красноречия обитателей тех московских урочищ.

Федосья Ивановна сейчас же ступевалась, и больше я ее никогда не видал.

В первой же комнате, служившей кабинетом автору «Минина», у дальней стены стоял письменный стол, и за ним сидел—лицом ко входу—Александр Николаевич в халате на беличьем меху. Такие его портреты многим памятливы.

Он сейчас же начал говорить мне о своем герое, как он его понимает, что он хотел в нем воспроизвести.

Замысел его нельзя было не найти верным и глубоко реальным. Минин—по его толкованию—простой человек, без всякого героического налета, без всякой рисовки, тогдашний городской обыватель, с душой и практической сметкой.

В его хронике нижегородский «говядарь» сбивается с этой бытовой почвы, и автор заставляет его произносить монологи в духе пароднического либерализма.

Но, судя по тем сценам, какие Островский мне прочел,—а читал он, особенно свои вещи, превосходно—и я был уверен, что лицо Минина будет выдержано в простом, реальном тоне.

И тогда уже и позднее, на протяжении более двадцати лет, я находил в Островском такую веру в себя, такое довольство всем, что бы он ни написал, какого я решительно не видал ни в ком из наших корифеев: ни у Тургенева, ни у Достоевского, ни у Гончарова, ни у Салтыкова, ни у Толстого, и всего менее—у Некрасова.

По этой части он с молодых годов—по свидетельству своих ближайших приятелей—«побил рекорд», как говорят нынче.

Его приятель, будущий критик моего журнала «Библиотека для Чтения», Е. Н. Эдельсон, человек деликатный и сдержанный, когда заходила речь об этом свойстве Островского, любил повторять два эпизода из времен их совместного «прожигания» жизни, очень типичных в этом смысле.

Когда мне лично привелось раз заметить Александру Н[иколаевичу], как хорошо такое-то лицо в его пьесе, он с добродушной улыбкой, поглаживая бороду и поводя головой на особый лад (жест, памятный всем, особенно тем, кто умел его копировать) выговорил невозмутимо:

— Ведь у меня всегда все роли—превосходные!

Поэтому, когда он ставил пьесу—и на Александринском театре,—он всегда был отменно доволен всеми исполнителями, даже и актера Никольского похваливал. Раз они играют в его пьесе—они должны быть безукоризненно хороши.

Может быть, это повышенное самосознание и давало ему нравственную поддержку в те годы (а они продолжались не один десяток лет), когда он постоянно бился из-за постановки своих вещей, и дирекция держала его, в сущности, в черном теле.

Переписка А[лександра] Н[иколаевича], появившаяся после смерти актера Бурдина, бывшего его постоянным ходатаем, показала достаточно, как создатель нашего бытового репертуара нуждался в заработке; а ставил он обыкновенно по одной пьесе в сезон на обоих императорских театрах.

И позднее, в семидесятых и восьмидесятых годах, его новые вещи в Петербурге не давали больших сборов, и критика делалась к нему все строже и строже.

Но все это не могло поколебать той самооценки, какой он неизменно держался, и в самые тяжелые для него годы. Реванш свой он получил только перед смертью, когда реформа императорских театров, при директоре П. А. Всеволожском, выдвинула на первый план самых заслуженных драматургов—его и Потехина, а при восстановлении самостоятельной дирекции в Москве Островский взял на себя художественное заведывание московским Малым театром.

Ему предложили и директорство, но он отказался от главного административного поста.

И поразительно скоро,—как все говорили тогда за кулисами,—он приобрел тон и обхождение скорее чиновника, облекся в вицмундир и усилил еще свой обычный важный вид, которым он отличался и

как председатель Общества драматических писателей, где мы встречались с ним на заседаниях многие годы.

Такая писательская психика объясняется его очень быстрыми успехами в конце семидесятых годов и восторгами того приятельского кружка из литераторов и актеров, где главным запевалой был Аполлон Григорьев, произведший его в русского Шекспира. В Москве около него тогда стояла группа преданных хвалителей, больше из мелких актеров. И привычка к такому антуражу развила в нем его самооценку.

Но вся его жизнь прошла в служении идее реального театра, и, кроме сценической литературы, которую он так слил с собственной судьбой, у него ничего не было такого же дорогого. От интересов общественного характера он стоял в стороне, если они не касались театра или корпорации сценических писателей. Остальное брала большая семья, а также и заботы о покачнувшемся здоровье.

Вряд ли он когда-либо пробовал себя в других родах литературы, несмотря на свой несомненный поэтический дар, что он доказал достаточно «Снегурочкой».

Художественность его писательской работы являлась естественным продуктом его объективного реализма, знания русского быта, души русского бытового человека и любви к характерным чертам русского ума, юмора, комизма и трагизма.

Едва ли не в одной комедии «Доходное место» он поддался тогдашней либеральной тенденции. Моралистом он был несомненно, но широким, иногда очень широким. Но главной его заботой оставалось жизненное творчество—язык, нравы, типичность и своеобразность лиц.

Родился ли он драматургом по преимуществу? Такой вопрос может показаться странным, но я его ставил еще в семидесятых годах в моем цикле лекций: «Островский и его сверстники», где я указывал впервые на то, что создатель нашего бытового театра обладает скорее эпическим талантом¹⁰². К сильному (как немцы говорят—«драстическому») действию он был мало склонен. Поэтому большинство его пьес так полны разговоров, где много таланта в смысле яркой психики действующих лиц, но мало движения.

Островский под влиянием критических статей Добролюбова стал смотреть на себя как на избалованного купеческого «темного царства». В первых своих вещах он был более объективным художником, склоняясь и к народническим симпатиям («Не в свои сани не садись», «Бедность—не порок» и в особенности драма: «Не так живи, как хочется»). А позднее—в целом ряде комедий—он только смеялся над

своими купцами и купчихами и редко забирал глубже. Вот почему он совсем не захватил новейшего развития нашего буржуазного мира, когда именно в Москве купеческий класс стал играть и более видную общественную роль.

Если б он к восьмидесятым годам захотел давать нам картины этой самой буржуазии, он мог бы это делать.

То, что явилось в моем романе «Китай-город»¹⁰³ (к восьмидесятым годам), было как раз результатом наблюдений над новым купеческим миром. Центральный тип смехотворного «Кита Китыча» уже сошел со сцены. Надо было совсем иначе относиться к московской буржуазии. А автор «Свои люди—сочтемся» не желал изменять своему основному типу обличительного комика, трактовавшего все еще по-старому своих купцов.

Такое добровольное пребывание в старых комических тенетах объясняется отчасти жизнью, которую Островский вел в последние двадцать лет. Наблюдательность должна питаться все новыми «разведками» и «съемками». А он стоял в стороне не только от того, что тогда всего сильнее волновало передовую долю общества, но и от писательского мира. Ни в Петербурге, ни в Москве он не был центром какого-нибудь кружка, кроме своих коллег по обществу драматургов.

Кажется, всего один раз в моей жизни я видел его на банкете, который мы устроили Тургеневу в зиму 1878—79 года, в зале ресторана «Эрмитаж». А перед всей литературной Россией он едва ли не один всего раз явился на празднике Пушкина¹⁰⁴.

И я не знавал писателей—ни крупных, ни мелких,—кто бы был к нему лично привязан или говорил о нем иначе, как в юмористическом тоне, на тему его самооценки. Из сверстников ближе всех по годам и театру стоял к нему Писемский. Но он не любил его, хотя они и считались приятелями. С Тургеневым, Некрасовым, Салтыковым, Майковым, Григоровичем, Полонским—не случилось мне лично говорить о нем, не только как о писателе, но и как о человеке.

Критик Анненков ставил его очень высоко, даже «Минина» его находил замечательным. Но они были люди совсем разного склада, образования и литературного прошлого.

Быть может, из наших первоклассных писателей Островский оставался самым ярким, исключительным бытовиком по своему душевному складу, хотя он и был университетского образования, начитан по русской истории и выучился даже на старости лет настолько по-испански, что переводил пьески Сервантеса.

Сезон петербургской зимы 1862—63 года (когда началась моя редакторская жизнь) был, как читатель видит, очень наполнен. Вряд ли

до наступления событий 1905—1906 годов Петербург жил так полно и разнообразно.

Не надо, однакоже, вдаваться в преувеличенные восторги. Выражением «шестидесятые года» у нас ужасно стали злоупотреблять. Если прикинуть телерешный аршин к тогдашнему общественному «самосознанию», то окажется, что тогда не нашлось бы и одной десятой того количества людей, и старых и молодых, участвующих в движении, какое бросилось в борьбу к осени 1905 года. Не нужно забывать, что огромный класс дворянства на две трети был против падения крепостничества; чиновничество в массе держалось еще прежнего духа и тех же правов. Только незначительное меньшинство в столицах—и всего больше в Петербурге—жило идеями, упованиями, протестами и запросами шестидесятых годов.

Но в пределах тогдашних «возможностей» все: и художественная литература, и публицистика, и критика, и театр, и другие области искусства—все это шло усиленным ходом.

Мы видели сейчас, что даже такая подробность, как театральное любительство,—и то привлекало тогдашних корифеев сценической литературы.

Театр по творческой производительности переживал свой героический период. Никогда позднее не действовало одновременно столько крупных писателей, из которых два—Островский и Писемский—создавали наш новый, реальный, бытовой репертуар.

Пьесы Алексея Потехина отвечали тогда прямо на потребность в «гражданских» мотивах. И он выбирал все более сильные мотивы, до тех пор, пока цензура не заставила его надолго отказаться от сцены, после его комедии «Отрезанный ломоть»¹⁰⁵.

Публика привыкла тогда к тому, чтобы ей каждую неделю давали новую пьесу. И несколько молодых писателей, в роде Дьяченко, Николая Потехина, Владыкина и др., отвечали—как могли и умели—этим бенефисным аппетитам.

Дьяченко сделался очень быстро самым популярным поставщиком Александрийского театра, и его пьесы имели больше внешнего успеха, чем новые вещи Островского, потому что их находили более сценичными.

Уровень игры стоял—если не по ансамблю и постановке, то по отдельным талантам—очень высоко. Никогда еще в одну эпоху не значились рядом такие имена, как Сосницкий, Самойлов, Павел Васильев, Ф. Снеткова, Линская.

Если привилегия императорских театров не позволяла в столицах частной антрепризы, то это же сосредоточивало художественный интерес на одной сцене; а система бенефисов, хотя и не позволяла ставить

пьесы так, как бы желали друзья театра и драматурги, но этим самым драматургам бенефисная система давала гораздо более легкий ход на сцену, что испытал и я на первых же моих дебютах.

Итальянская опера, стоявшая тогда во всем блеске, балет, французский и немецкий театр—отвечали всем вкусам любителей драмы, музыки и хореографии. И мы—молодые писатели—посещали французов и немцев вовсе не из одной моды, а потому что тогда и труппы, особенно французская, были прекрасные, и парижские новинки делались все интереснее. Тогда в самом расцвете своих талантов стояли Дюма-сын, В. Сарду, Т. Баррьер. А немцы своим классическим репертуаром поддерживали вкус к Шиллеру, Гёте и Шекспиру.

Тогда и Шекспир стал проникать в Александринский театр в новых переводах и в новом, более правдивом, исполнении. Самойлов выступал в Шейлоке и Лире, и постановка «Лира» в талантливом переводе Дружинина была настоящим сценическим событием.

Тогда и западное сценическое искусство явилось к нам в лице нескольких знаменитостей, чтобы поднять интерес нашей публики к классическому репертуару, и Шекспиру отведено было первое место, хотя называть его театр классическим (как это до сих пор у нас водится) вряд ли правильно.

Американский негр—из бывших невольников—Айра Ольдريدж приехал в Петербург с громкой рекламой—после *tournée* в Америке и Англии.

Он был как бы прирожденный «мавр», и Отелло сделался его коронною ролью. Играл он с немцами, которые тогда действовали еще на Мариинском попеременно с русской оперой, иногда с русской драмой.

Кажется до того петербургская публика не бывала еще на таких разноязычных спектаклях, даже и в операх. Айра Ольдريدж мог говорить только по-английски. Остальная труппа играла по-немецки. Выходило странно, но менее странно, чем с русскими актерами, что началось уже в Москве, где юная Познякова-Федотова играла с ним Дездемону. Потом негритянская знаменитость долго ездила по провинции, играла на Нижегородской ярмарке и в других городах. Айра сделался популярным, и даже немного приелся. В провинции на него сбегались смотреть, как на диковинку... Спектакли производили полукомическое впечатление. Обыкновенно после «реплики» актер или актриса щелкали пальцем или делали другой условный знак. То же проделывал и сам Айра. Уже было несколько историй. Сначала он ужасно пугал актрис, и одна из немок, игравших с ним в Петербурге, чуть не выскочила из кровати, когда он начал душить ее. Он в жизни

проявлял темперамент Отелло; но был, кажется, довольно добродушное дитя природы.

Для более развитой доли столичной публики Айра явился самым страстным и реально страшным Отелло, какого она когда-либо видала. В двух других его ролях—в Шейлоке и в Лире—он брал тоже почти исключительно темпераментом. В этих ролях он принужден был усиленно мазать себе лицо. Шейлок выходил у него более злобным евреем, чем художественно созданным шекспировским лицом. Лиру также недо-ставало глубокого трагизма. Все это стояло гораздо ниже того, что много лет спустя Петербург и Москва видели у Росси и Сальвини, особенно в сальвиниевском Отелло.

Но все-таки это была не только курьезная, но и просветитель-ная новинка. Прививая вкус к шекспировскому театру, она давала повод к сравнительному изучению ролей. Самойлов как раз высту-пал в Шейлоке и Лире. У Айры Ольдриджа было, конечно, вчетверо больше темперамента, чем у русского «премьера», но в общем он не стоял на высоте талантливости Самойлова.

Другой толкователь Шекспира и немецких героических лиц, при-езжавший в Россию в те же сезоны,—тогда уже немецкая знаме-нитость, актер Дависон, считался одной из первых сил в Германии, на ряду с Девриеном.

Я его встретил раз в кабинете начальника репертуара, тотчас по его приезде. Он был уже не молодой, с резко еврейским профилем и даже легким акцентом, или, во всяком случае, с особенным каким-то немецким выговором.

На этой героической знаменитости мы—тогдашние «люди театра»—могли изучать все достоинства и дефекты немецкой игры: необыкно-венную старательность, выработку дикции, гримировку, умение носить костюм и даже создавать тип, характер, и при этом—все-таки неприят-ную для нас, русских, искусственность, декламаторский тон, неспо-собность глубоко захватить нас: все это доказательства головного, а не эмоционального темперамента.

По выработке внешних приемов Дависон стоял очень высоко. Его принимали, как знаменитость. Немцы бегали смотреть на него; охотно ходили и русские, но никто в тогдашнем писательском кругу и среди страстных любителей сцены не восторгался им, особенно в таких ро-лях, как Гамлет, или маркиз Поза, или Макбет. Типичнее и блестящее был он все в том же Шейлоке, где ему очень помогало и его еврей-ское происхождение.

Гораздо больше волновала Петербург—во всех классах общества, начиная со светски-чиновного,—Ристори, особенно в первый ее приезд.

После Рашели (бывшей в России перед самой Крымской кампанией и оставившей глубокую память у всех, кому удалось ее видеть) Ристори являлась первой актрисой с такой же всемирной репутацией.

Те, кто видал Рашель, находили, что она была по таланту выше итальянской трагической актрисы. Но Рашель играла почти исключительно в классической трагедии, а Ристори по репертуару принадлежала уже к романтической литературе, и едва ли не в одной Медее изображала древнюю героиню; но и эта «Медея», как пьеса, была новейшего итальянского производства.

И я до ее появления у нас не видал такой живописной и внушительной наружности, такого телесного склада и поступи, таких пластических движений,—всего, что требуется для создания сильно драматических и трагических ролей.

Прибавьте к этому музыкальный орган с низковатым бархатным звуком, чудесную дикцию, самую красоту итальянского языка. Ристори пленяла, а в сильных местах проявляла натиск, какого ни в ком из русских, немецких и французских актрис мы не видали.

И все-таки она больше поражала, восхищала, действовала на первые, чем захватывала вас порывом чувства, или задушевностью, или слезами, то-есть теми сторонами женственности, в каких проявляется очарование женской души. Все это, например, она могла бы показать в одной из своих любимых ролей—в шиллеровской Марии Стюарт. Но она не трогала вас глубоко; и в предсмертной сцене не одного меня неприятно кольнуло то, как она, отправляясь на эшафот, посылая поцелуй распятию.

В других своих коронных ролях—Медее и Юдифи—она могла пускаться в ход интонации ревности и ярости, силу характера, при творство. Все это проделывалось превосходно; но и тут пластика игры, декламация и условность жестикуляции были романтическими только по тону пьесы, а отзывались еще своего рода классической традицией.

О ее игре я имел разговор тогда с Писемским. Он ходил смотреть Ристори и очень метко оценивал ее игру. Он был еще строже и находил, что у ней нет настоящего темперамента там, где нужно проявлять страсть, хотя бы и бурную.

Ристори приехала и в другой раз в Петербург, привлеченная сборами первого приезда. Но к ней как-то быстро стали охладевать. Чтобы сделать свою игру доступнее, она выступала даже с французской труппой, в пьесе, специально написанной для нее в Париже Легуве, из современной жизни, но это не подняло ее обаяния, а, напротив, повредило. Пьеса была слащавая, ординарная, а она говорила по-французски все-таки с итальянским акцентом.

Как первая трагическая итальянская актриса, она оставила очень определенный, выработанный образец игры, помимо своих эффектных внешних средств.

Всего сильнее действовала она на нашу публику в пьесе, изображающей жизнь английской королевы Елизаветы. Она и умирает на сцене. По созданию лица, по реализму отдельных положений это было самое оригинальное из того, что она тогда выполняла.

Пьеса эта, как и трагедия «Юдифь», была написана тогдашним поставщиком итальянских сцен (кажется, по фамилии Джакометти) в грубовато романтическом тоне, но с обилием разных более реальных подробностей. В Елизавете он дал ей еще больше выгодного материала, чем в Юдифи. И она показала большое мастерство в постепенных изменениях посадки тела, голоса, лица, движений, вплоть до момента смерти.

С тех пор я более уже не видал Ристори ни в России, ни за границей, вплоть до зимы 1870 года, когда я впервые попал во Флоренцию, во время франко-прусской войны. Туда приехала депутация из Испании звать на престол принца Амедея. В честь испанцев шел спектакль в театре «Николлини», и Ристори, уже покинувшая театр, проиграла сцену из «Орлеанской девы» по-испански, чтобы почтить гостей.

Жутко было смотреть на эту почти шестидесятилетнюю женщину в костюме театральной пастушки.

Выйдя замуж за титулованного итальянского барина, она долго еще жила, как говорится, «окруженная всеобщим уважением». Ее палатца на Арно известно многим русским, кто жил во Флоренции.

Музыка в те зимы входила уже значительно в сезонный обиход столицы. Но Петербург (как и Москва) не имел еще средств высшего музыкального образования. Даже о какой-нибудь известной частной школе или курсах что-то совсем не было слышно. Общая музыкальная грамотность находилась еще в зачатке. Музыка учили в барских домах и закрытых заведениях, и вкус к ней был довольно распространен, но только «в свете», между «господ»; а гораздо меньше—в среднем кругу и среди того, что называют «разночинцами».

Мальчиков, воспитывавшихся в достаточных и богатых домах, часто приохочивали к фортепиано, а девочек учили уже непременно, и в институтах они проходили довольно строгую «муштру».

Я лично, после не совсем приятных мне уроков фортепиано, пожелал сам учиться на скрипке, и первым моим учителем был крепостной «Сашка», выездной лакей и псовый охотник. В провинции симфонической и отчасти оперной музыкой и занимались только при богатых барских домах и в усадьбах. И у нас в городе долго держали свой бальный

оркестр, который в некоторые дни играл, хоть и с грехом пополам, «концерты», то-есть симфонии и квартеты.

Скрипку я оставил, когда, к переходу в Дерпт, мною овладела точная наука, но вкус к музыке остался, и я в Дерпте, в доме князей Дондуковых, постоянно слушал хорошую фортепианную игру и пение, в котором и сам участвовал.

В Петербурге я не оставался равнодушным ко всему тому, что там исполнялось в течение сезона. Но—повторяю—тогдашние любители не шли дальше виртуозности игры и пения арий и романсов. Число тех, кто изучал теорию музыки, должно было сводиться к ничтожной кучке. Да я и не помню имени ни одного известного профессора «генерал-баса», как тогда называли теорию музыки.

Учреждений, кроме Певческой Капеллы, тоже не было. Процветала только виртуозность, и не было недостатка в хороших учителях. Из них Гензельт (фортепиано), Шуберт (виолончель) и несколько других были самыми популярными. Концертную симфоническую музыку давали на университетских утрах, под управлением Шуберта, и на вечерах Филармонического общества. И вся виртуозная часть держалась почти исключительно немцами. Что-нибудь свое, русское, создавалось по частной инициативе, только что нарождавшейся.

Но и тот музыкант, которому Россия обязана созданием музыкальной высшей грамотности,—Антон Григорьевич Рубинштейн—в те годы для большей публики был, прежде всего, удивительный пианист. Композиторский его талант мало признавался; а он уже к тому времени, кроме множества фортепианных и концертных вещей, выступал и как оперный композитор.

Никто из заезжих иностранных виртуозов не мог помрачить его славы, как пианиста; а в Петербург и тогда уже приезжали на сезон все западные виртуазы. Великопостный сезон держался тогда исключительно концертами (с живыми картинами), и никаких спектаклей не полагалось.

Рубинштейна я в первый раз увидал на эстраде, но издали, и вскоре в один светлый зимний день столкнулся с ним на Невском, когда он выходил из музыкального магазина, запахиваясь в шубу, в меховой шапке, какие тогда только что входили в великую моду.

Он уже не смотрел очень молодым; но так же брил все лицо и отличался уже сходством своих черт и всей головы с маской Бетховена.

У меня не было случая с ним познакомиться в те зимы, хотя я посещал один музыкальный салон, который держала учительница пения, сожигаемая также страстью к сцене, и как актриса и как писательница. Она состояла в большой дружбе с семейством Рубинштейна (по

происхождению она была еврейка); у нее часто бывал его брат в форме военного врача; но Антон не заезжал.

Наше знакомство завязалось гораздо позднее, уже за границей, в половине семидесятых годов, и продолжалось до его смерти,—о чем я еще буду иметь повод и место поговорить.

А тогда я попал в кружок, где Рубинштейна ценили только как виртуоза, но на композитора смотрели свысока и вообще сильно недолюбливали, как музыканта старой немецкой школы.

Тогда мой товарищ Милий Балакирев уже устроился в Петербурге, переехав туда из Казани во второй половине пятидесятых годов. Его покровитель Улыбышев привез его туда, представил Глинке и ввел в тогдашний музыкальный кружок.

Его сейчас же оценили и как пианиста и как будущего композитора. Он сошелся через братьев Стасовых, с нарождавшейся тогда «кучкой» музыкантов, которые ратовали за русскую музыку, преклонялись перед Глинкой, высоко ставили Даргомыжского; а в иностранной музыке их «отцами церкви» были Шуман, Лист и Берлиоз.

По направлению это были первые—после Глинки и отчасти Даргомыжского—наши народники-реалисты, стоявшие за освобождение от традиций классических музыкантов немецкой школы, застывших на Моцарте, Бетховене, Мендельсоне и Шуберте.

Шопен был им ближе, и Балакирев всегда любил его играть. Но в Казани, где мы с ним расстались, он еще не выяснил себе своей музыкальной «платформы». Это сделалось в кружке его друзей и—на первых порах—руководителей, в кружке Стасовых.

Теории музыки ему не у кого было учиться в провинции, и он стал композитором без строгой теоретической выучки. Он мне сам говорил, что многим обязан был Владимиру Стасову. Тот знакомил его со всем, что появлялось тогда замечательного в музыкальных сферах у немцев и французов. Через этот кружок он сделался и таким почитателем Листа и в особенности Берлиоза.

Мы видались с Балакиревым в мое дерптское время каждый год. Проезжая Петербургом туда и обратно, я всегда бывал у него, кажется, раз даже останавливался в его квартире. Жил он холостяком (им и остался до большой старости и смерти), скромно, аккуратно, без всякого артистического кутежа, все с теми же своими маленькими привычками. Он уже имел много уроков, и этого заработка ему хватало. Виртуозным тщеславием он не страдал и не бился из-за великосветских успехов.

В эти четыре года (до моего водворения в Петербурге) он очень развился не только как музыкант, но и вообще стал гораздо литературнее,

много читал, интересовался театром и стал знакомиться с писателями; мечтал о том, кто бы ему написал либретто.

О своих замыслах он много беседовал со мною и охотно играл свои новые вещи. Он уже заявил себя как серьезный композитор—и двумя-тремя оркестровыми сочинениями и целым циклом романсов.

Без систематической школы по части теории музыки он быстро овладел этой премудростью; а своими вкусами, оценками, идеями в духе народнического реализма так же быстро поднялся до роли центрального руководителя нашей новой музыкальной школы. Тогда прозвище «могучая кучка» не было еще пущено в ход. Оно взято было из фельетона Кюи, но уже позднее.

Как преподаватель, Балакирев привык с особым интересом обращаться ко всякому дарованию. И уже с первых его годов жизни в Петербурге под его крыло стали собираться его молодые сверстники, еще никому почти не известные—в других, более замкнутых кружках любителей музыки.

У Балакирева я в первый раз увидел и Мусоргского. Их тогда было два брата: один носил еще форму гвардейского офицера, а другой—автор «Бориса Годунова»—только что надел штатское платье, не оставшись долее в полку, куда вышел, если не ошибаюсь, из Училища гвардейских подпрапорщиков.

Тогда это был еще светский «jeune homme-чик», франтоватый, приятного вида, очень воспитанный, без военных ухваток. Он держался с Балакиревым, как ученик с наставником, но без всякой лести или подслуживанья. Они при мне часто играли в четыре руки и вели разговоры на те темы, которыми весь их кружок так горячо жил. Мусоргский пробовал себя уже как композитор, но к крупным своим вещам он приступил позднее. Его новаторские идеи уже владели им, и Балакирев очень им сочувствовал. Даргомыжский задумал тогда своего «Каменного гостя». Идея полного слияния поэтического слова с музыкальным звуком была всем им дорога. Но, ратуя за нее, кружок будущих «кучкистов» совсем не увлекался Вагнером, написавшим тогда все, чем он прославился,—от «Тангейзера» вплоть до его циклаNibelungen и «Тристана и Изольды». Я никогда не слышал у Балакирева разговоров о создателе «музыки будущего».

И когда сам Вагнер к зиме 1862—63 года явился в Петербург, где дал несколько концертов под своим дирижерством, при чем имел очень шумный успех, наши народники-реалисты, найдя его прекрасным капельмейстером, вовсе не преклонялись перед ним, как перед композитором, не искали его знакомства, не приглашали его к себе.

В тогдашнем Петербурге вагнеризм еще не входил в моду; но его приезд все-таки был событием. И Рубинштейн относился к нему с большой критикой; но идеи Вагнера, как создателя новой оперы, слишком далеко стояли от его вкусов и традиций. А «кучка», в сущности, ведь боролась также за два главных принципа вагнеровской оперы: народный элемент и, главное, полное слияние поэтического слова с музыкальной передачей его.

И все-таки соглашения не состоялось. Вагнерьянцем явился из тогдашних даровитых музыкантов один только Серов. С Серовым у кружка Стасовых (с которыми он вначале считался приятелем) завелись какие-то интимные счеты, где замешался и женский пол (о чем мне Балакирев что-то рассказывал); а потом явились и профессиональные счеты, и Серов разорвал совершенно со стасовским кружком.

Для него приезд Вагнера и личное сближение явились решающим моментом в его композиторстве. Но и такого восторженного своего поклонника Вагнер считал чем-то настолько незначительным, что в своей переписке из этой эпохи не упоминает ни о нем, ни о каком другом композиторе,—ни о Даргомыжском, ни о Балакиреве; а о Рубинштейне—в его новейшей биографии—говорится только по поводу интриги, которую якобы Рубинштейн собирался повести против него в Петербурге (?).

Будущие «кучкисты», конечно, были на его концертах; но встречи там с Балакиревым или с Вл. Стасовым (которого я уже лично знал) я что-то не помню.

Вагнер—тогда человек лет около шестидесяти—смотрел совсем не гениальным немцем, довольно филистерского типа. Но его женская нервность и крутой нрав сказывались в том, как он вел оркестр. Музыканты хотя и сделали ему оvation, но у них доходило с ним до весьма крупного столкновения.

Тогда он уже достиг высшего предела своей мании величия и считал себя не только великим музыкантом, но и величайшим трагическим поэтом. Его творчество дошло до своего зенита—за исключением «Парсифаля»—именно в начале шестидесятых годов, хотя он тогда еще нуждался и даже должен был бежать от долгов со своей виллы близ Вены; но его ждала волшебная перемена судьбы: влюбленность баварского короля и все то, чего он достиг в последнее десятилетие своей жизни.

Какой разительный контраст, если сравнить судьбу автора «Тристана» и «Парсифаля» с жалким концом музыкального создателя «Бориса Годунова» и «Хованщины»! Умереть на солдатской койке военного госпиталя, да и то благодаря доброте доктора, который положил его, выдав за денщика!

И только в 1908 году Париж услышал его «Бориса» в русском исполнении с Шалыпиным, и французская критика, восхищаясь его оперой, признала его создателем небывалого рода реально-народной музыки.

Мусоргского я и позднее встречал, когда он входил в известность, но я не видел той полосы, когда он так нуждался и, предаваясь русской роковой страсти и разрушая свою личность, дошел до того Мусоргского, которого так высокодаровито воспроизвел Репин в знаменитом портрете.

А тем временем мой земляк и товарищ Балакирев, приобретая все больше весу, как музыкальный деятель, продолжал вести скромную жизнь преподавателя музыки, создал бесплатную воскресную школу, сделался дирижером самых передовых тогдашних концертов.

Оперы он не написал, а долго мечтал об этом, искал либреттистов, совсем было сладился с поэтом Меем; но тот только забирал с него «авансы», а так ничего ему и не написал.

В психической жизни создателя русской школы произошла (это было в те годы, когда я жил за границей) резкая перемена, совпадающая с его поездкой к славянам. В юности он был далек от всякой мистики, отличался даже, бывало, в Казани охотой к выпучиванию всего церковного, но тут всплыло в нем мистическое настроение, и на почве личной огорченности (как объясняли некоторые его приятели) он совсем скрылся, разорвал надолго сношения со своим кружком, бросил музыку и очутился мелким служащим на станции железной дороги.

Это продолжалось довольно долго, и такого Балакирева я не встречал. Я жил те годы или за границей, или подолгу в Москве. Потом он пришел в норму, принял заведывание Певческой Капеллой, стал опять давать уроки, но прежнего положения занимать не желал.

Таким я его видел в последний раз в доме Дмитрия Васильевича Стасова, куда он приехал играть Шопена в день посмертного юбилея его любимого славянского композитора.

Славянофильство и национализм наложили на него свою окраску; а по музыкальному своему сгедо он не мог уже относиться с теми же симпатиями и к кучкистам. Некоторые ушли далеко: и Бородин, и Римский-Корсаков, и Кюи, и все новые в той генерации, где так выделился Глазунов.

О Чайковском мне не привелось с ним беседовать. На композитора «Евгения Онегина» кучкисты долго смотрели как на «выученика» консерватории, созданной братьями Рубинштейнами. Но позднее они к нему относились без предвзятости, оставаясь все-таки с другими музыкальными идеалами.

Серов—их антагонист и неприятная им личность—в сущности делал их же дело. И он вдохновлялся народными сюжетами, как «Рогнеда» и «Вражья сила», и стремился к слиянию слова с мелодией, да и вагнерьянство не мешало ему идти своим путем.

В те зимы, о которых я заговаривал здесь, его «Юдифь» явилась—после «Русалки» Даргомыжского—первой большой оперой, написанной музыкантом новой формации.

Тогдашний Петербург работал над созданием, с одной стороны, музыкальной школы и добился учреждения консерватории, а с другой—дал ход творческой работе и по симфонической музыке и по оперной. Кружок реалистов-народников, образовавший «могучую кучку», отстаивая русскую своеобразность, считал своими западными руководителями таких музыкантов, как Шуман, Лист и Берлиоз. Стало быть, и кучкисты были западниками, но в высшем смысле. Они недостаточно ценили то, что принес с собой Вагнер, но это помогло им остаться более самими собою, а это—немаловажная заслуга.

Они привлекали публику к серьезным музыкальным наслаждениям и в критике дружно ратовали за свое *credo*.

Когда я в 1871 году вернулся в Петербург после почти пятилетнего житья за границей, музыкальность нашей столицы шагнула вперед чрезвычайно. По общей подготовке, по грамотности и высшему обучению сделал это Антон Рубинштейн, а по развитию своего оригинального стиля в музыкальной драме—те, кто вышел из «кучки», и те, кто был воспитан на их идеалах, что не помешало, однако, таланту, как Чайковский, занять рядом с ними такое видное и симпатичное место. И он ведь не остался узким западником, а, вызывая в иностранной публике, до смерти своей, всего больше сочувствия и понимания, выработал свой стиль, свое настроение—и как оперный композитор и как симфонист.

В эти же зимы и наши пластические искусства получили другое направление.

«Академия» царила еще в половине пятидесятых годов. Приезд Александра Иванова с его картиной «Явление Христа народу» вызвал, быть может, впервые, горячий спор двух поколений. Молодежь стояла за картину, особенно студенчество. Я тогда проезжал Петербургом и присутствовал при таких схватках. Но тогдашние академические эстеты не восхищались картиной, в том числе и такие знатоки, каким уже считался тогда Григорович.

Как «кучкисты», так и новые народники реалистического направления в живописи и скульптуре нашли себе рьяного защитника и пропагандиста во Вл[адимире] Стасове.

С ним,—как я уже рассказывал раньше,—Балакирев познакомил меня еще в конце пятидесятых годов, когда я студентом привез в Петербург свою первую комедию «Фразеры». На квартире Стасова я её и читал. Там же, помню, были и какие-то художники.

В шестидесятых годах я у Стасовых не бывал и с Владимиром в литературных кружках не встречался, но видался часто в концертах и на оперных представлениях.

И тогда он уже был такой же, только не седой: высокий, бородастый, с зычным голосом, с обрывистой и грубоватой речью, великий спорщик и «разноситель», для многих трудно выносимый не только в личных сношениях, но и в статьях своих.

Всего резче отзывался о нем Серов, с которым я стал чаще видаться уже позднее, к 1862 году.

Раз он при мне у Писемского с особенным «смаком» повторял такую прибаутку, вероятно, им же самим и сочиненную:

«Один знакомый спрашивает другого:

— Знаете вы Стасова?

— Которого?

— Вот такой долговязый?

— Да они все—с коломенскую версту!

— Такой глупый?

— Да они все такие!..»

Немудрено, что и такой тонкий и убежденный западник, как Тургенев, не мог также выносить Стасова. Он видел в его проповеди русского искусства замаскированное славянофильство, а славянофильское сredo было всегда ему противно, что он и выразил так блестяще и зло в рассуждениях своего Потугина, в «Дыме».

Но Стасов был поклонник не уваровской формулы¹⁰⁶—он и во все не дружил с тогдашними «почвенниками» в роде Ап. Григорьева, а преклонялся скорее перед Добролюбовым—и главное—перед Чернышевским, воспитал свое художественное понимание на его диссертации: «Эстетические отношения искусства к действительности», и держался весьма либеральных взглядов. Его руссофильство было скорее средством проповеди своего, самобытного искусства, протестом против подражания иностранной «казенщине» во всем: в музыке и в изобразительных искусствах.

Как он ругал «итальянщину» в опере, так точно он разносил и Академию, и посылку ее пенсионеров в Италию, и увлечение старыми итальянскими мастерами.

Это был своего рода нигилизм на национальной подкладке. Нечто в том же роде происходило в литературной критике, где несколько

позднее раздались чисто иконоборческие протесты против изящных искусств и поэзии, лишенной гражданских мотивов.

Стасов не проповедывал отрицания искусства, но его эстетика была узко реалистическая. Он признавал безусловную верность одного из положений диссертации Чернышевского: что настоящее яблоко выше нарисованного. Поэтому, ратая за русское искусство, он ставил высоко идейную живопись и скульптуру, восхвалял литературные сюжеты на «злобы дня» и презирал чистое искусство не менее самых заядлых тогдашних нигилистов.

Но никто до него так не распинаялся за молодые русские таланты. Никто так не радовался появлению чего-либо своеобразного, не казенного, не «академического». Только бы все это отзывалось правдой и было свое, а не заморское.

И как проповедь театрального нутра к половине пятидесятых годов нашла уже целую плеяду московских актеров, так и суть «стасовщины» упала на благодарную почву. Петербургская Академия и Московское училище стали выпускать художников-реалистов в разных родах. Русская жизнь впервые нашла себе таких талантливых изобразителей, как братья Маковские, Прянишников, Мясоедов, потом Репин и все его сверстники. И русская природа под кистью Шишкина, Волкова, Куинджи стала привлекать правдой и простотой настроений и приемов.

Столичная публика только к началу шестидесятых годов стала так посещать выставки, а любители с денежными средствами так охотно покупать картины и заказывать портреты.

Общество «передвижников» — прямое создание этого народно-реалистического направления.

Это был вызов, брошенный впервые казенной Академией, не в виде только разговоров, споров или задорных статей, а в виде дела, общей работы, проникнутой хотя и односторонним, но искренним и в основе своей задорным направлением.

Стало быть, и мир искусства в разных его областях обновился на русской почве именно в эти годы. Тогда и заложено было все дальнейшее развитие русского художественного творчества, менее отрешенного от жизни, более смелого по своим мотивам, более преданного заветам правды и простоты.

То же случилось и со скульптурой. У Антокольского были уже предшественники к шестидесятым годам, хотя и без его таланта. И опять все тот же «долговязый» и «глупый» Стасов (по формуле Серова), все тот же несносный крикун и болтун (каким считал его Тургенев) открыл безвестного виленского еврейчика, влюбился в его

талант и ломал потом столько копий за его «эпоху делающее» произведение «Иоанн Грозный».

Все это было очень искренно, горячо, жизненно — и в то же время, однако, слишком прямолинейно и преисполнено узко идейного реализма. Таким неистовым побóрником русского искусства оставался Стасов до самой своей смерти. И мы с ним в последние годы его жизни имели нескончаемые споры по поводу книги Толстого об искусстве.

Стасов оказывался толстовцем если не в отрицании искусства, то в отстаивании его морального значения и в нападках на все, что ему было не по душе в западном искусстве, в том числе и на оперы Вагнера.

Таким полутолстовцем он и должен был кончить... и старцем восьмидесяти лет отроду, таким же неистовым, как и сорок пять лет перед тем.

Тогда только и проявился во всех сферах мысли, творчества и общественного движения антагонизм двух поколений, какого русская жизнь до того еще не видывала. В литературной критике и публицистике самую яркую ноту взял Писарев, тотчас после Добролюбова, но он и сравнительно с автором статьи «Темное царство» был уже разрушителем и упразднителем более нового типа. Он попал в крепость за политические идеи. Но его «нигилизм» заявлял себя гораздо сильнее в вопросах общественной и частной морали, в освобождении ума от всяких пут мистики и метафизики, в проповеди самого беспощадного реализма, вплоть до отрицания Пушкина и Шекспира.

Все возрастающая распря между «отцами» и «детьми» ждала момента, когда художник такого таланта, как Тургенев, скажет свое слово на эту первенствующую тему.

Создателя «Отцов и детей» я в ту зиму не видал, да, кажется, он и не был в Петербурге при появлении романа в январе 1862 года.

И даже в том, как оценен был Базаров двумя тогдашними критиками радикальных журналов, сказались опять две ступени развития в молодом поколении.

«Нигилисты» постарше зачитывались статьей Антоновича¹⁰⁷, где произведение Тургенева сравнивалось с «Асмодеем» тогдашнего обскуранта-ханжи Асоченского; а более молодые упразднители, в лице Писарева, посмотрели на тургеневского героя совсем другими глазами и признали в нем своего человека.

«Современник» и его главный штаб с особенной резкостью отнеслись к роману Тургенева и Герцен (на первых порах) отрицательно отзывался о Базарове, увидав в своем тогдашнем приятеле Тургеневе «зуб» против молодежи¹⁰⁸.

Все крепостническое, чиновничье, дворянско-сословное и благонамеренное так и взглянуло на роман, и сам Иван Сергеевич писал, как ему противны были похвалы и объятия разных господ, когда он приехал в Россию.

Он не мог заранее предвидеть, что его роман подольет масла к тому, что разгорелось по поводу петербургских пожаров. До сих пор легенда о том, что подожгли Апраксин двор студенты вместе с поляками, еще жива ¹⁰⁹. Тогда революционное брожение уже начиналось. Михайлов за прокламации пошел на каторгу. Чернышевский пошел туда же через полтора года. Рассылались в тот сезон 1861—62 года и подпольные листки; но все-таки о «комплотах» и революционных приготовлениях не ходило еще никаких слухов.

Пожары дали материал, предлог—и этого было достаточно. И молодежь—та, которая не додумалась до писаревской оценки Базарова,—и та часть «отцов», которая ждала от Тургенева чего-нибудь менее сильного по адресу «нигилизма», не могли оценить того, что представляют собою «Отцы и дети».

Уже одно то, что роман печатался у Каткова, журнал которого уже вступал в полемику с «Современником» и вообще поворачивал выправу, вредило автору.

В настоящий момент мне трудно ответить и самому себе на вопрос: отнесся ли я тогда к «Отцам и детям» вполне объективно, распознал ли сразу огромное место, какое эта вещь заняла в истории русского романа в XIX веке?

Заодно могу ответить и теперь—по прошествии целых сорока шести лет,—что мне рецензия Антоновича не только не понравилась, но я находил ее мелочной, придирчивой, очень дурного тона и без всякого понимания самых даровитых мест романа, без признания того, что я сам чувствовал и тогда: до какой степени в Базарове уловлены были коренные черты русского протестанта против всякой фразы, мистики и романтики. Этот склад ума и это направление мысли и анализа уже назревали в студенческом мире и в те годы, когда я учился, то-есть как раз во вторую половину пятидесятых годов.

Много было разговоров и споров о романе; но я не помню, чтобы о нем читались рефераты и происходили прения на публичных вечерах или в частных домах. Бедность газетной прессы делала также то, что вокруг такого произведения раздавалось гораздо меньше шума, чем это было бы в начале XX века.

Но вот что тогда наполняло молодежь всякую,—и ту, из которой вышли первые революционеры, и ту, кто не предавался подпольной пропаганде, а только учился, устраивал себе жизнь, воевал со старыми.

порядками и дореформенными нравами,—это страстная потребность выработать себе свою мораль, жить по своим новым нравственным и общественным правилам и запросам.

Этим было решительно все проникнуто среди тех, кого звали и «нигилистами». Движение стало настолько же разрушительно, как и созидательно. Созидательного, в смысле нового этического credo, оказывалось больше. То, что потом Чернышевский в своем романе «Что делать?» ввел как самые характерные черты своих героев,—не выдуманное, а только разве слишком тенденциозное изображение, с разными, большею частью не нужными, разводами.

Контраст с нынешними протестами наших крайних индивидуалистов—разительный. Эти чуть не обоготворяют свое «я», отрицают всякую мораль, жаждут только «оргиастических» ощущений и наитий. А те свое «я» приносили в жертву идее, даже и тогда, когда ратовали за полную свободу своей личности и не хотели ничего признавать, что считали не подходящим для себя. В их нигилизме сидел даже аскетический элемент, и все их «эксцессы» в смысле чувственных наслаждений сводились к таким вольностям, которые теперешним оргиастам мистического толка и всяких других толков показались бы детскими забавами.

Затеивались, правда, разные коммунистические общежития, на брак и сожительство стали смотреть по-своему, стояли за все виды свободы, но и в этой сфере чувств, понятий и правил тогда и слыхом не слыхать было об умышленном цинизме, о порнографии, о желании вводить в литературу разнузданность воинствующего эротизма.

Правда, в печать тогдашняя цензура ничего такого и не пустила бы, но ведь цензура в сороковых годах и в начале пятидесятых годов была еще строже, а это не мешало «отцам» любить скоромное в непечатной литературе стихов, анекдотов, целых поэм.

Такая целомудренность—и при нигилистических протестах против закрепощения мужчин и женщин в прежнем браке—прямое доказательство того, что все тогда было проникнуто серьезным служением «делу» и высшими задачами прогресса, и шабаш теперешнего эгоизма был бы немислим.

Какую же вся эта интенсивная жизнь тогдашнего центра русского движения вызвала во мне,—посвятившем себя бесповоротно писательскому поприщу,—дальнейшую «эволюцию»?

Драматическим писателем я уже приехал в Петербург, и в первый же год сделался фельетонистом. Но я не приступал до конца 1861 года ни к какой серьезной работе в повествовательном роде.

В Казани и Дерпте я попробовал себя, как автор рассказов. В Дерпте в нашей русской корпорации мой юмористический рассказ «Званные блины» произвел даже сенсацию; но доказательством, что я себя не возомнил тогда же беллетристом, является то, что я целых три года не написал ни одной строки, и первый мой более серьезный опыт была комедия, в 1858 году. Тогда драматическая форма привлекала меня настолько сильно, что я с того времени стал мечтать о литературном «призвании», и литература одолела чистую науку, которой я считал себя до того преданным.

Какой контраст с тем, что мы видим (в последние двадцать лет, в особенности) в карьере наших беллетристов! Все они начинают с рассказов и одними рассказами создают себе громкое имя. Так было с Глебом Успенским, а в особенности с Чеховым, с Горьким и с авторами следующих поколений: Андреевым, Куприным, Арцыбашевым.

А тут вот что вышло с молодым писателем после одного столичного сезона.

В нем «спонтанно» (выражаясь научно-философским термином) зародилась мысль написать большой роман, где бы была рассказана история этического и умственного развития русского юноши—с годов гимназии, и проведя его через два университета—один чисто русский, другой с немецким языком и культурой.

И вот он берет дещь бумаги и на первом листе пишет:

«В путь-дорогу! Роман в шести книгах».

Почему в шести? Потому, что на каждый период: гимназия—Казань—Дерпт—надо было дать, по крайней мере, около двадцати печатных листов.

Такой замысел смутил бы теперь даже и не начинающего. Роман в шестьдесят печатных листов! И с надеждой, почти с уверенностью, что я его доведу до конца, что его непременно напечатают.

Тогда это не было так фантастично. Журналы любили печатать большие романы, и публика их всегда ждала.

Но все-таки замысел был смелый до дерзости. И в те месяцы (с января 1861 года до осени) я не попробовал себя ни в одном, хотя бы маленьком рассказе—даже в фельетонном жанре,—ни в «Библиотеке», ни у П. И. Вейнберга в «Веке».

И такая большущая «махинища» была действительно «пробой пера» начинающего романиста.

В рассказчики я попал уже гораздо позднее (первые мои рассказы были: «Фараончики» и «Посестрице»—1866 и 1871 гг.) и написал за тридцать лет до ста и более рассказов. Но это уже было после продолжительных работ, после больших и даже очень больших вещей.

В тогдашней литературе романов не было ни одной вещи в таком точно роде. Ее замысел я мог считать совершенно самобытным. Никому я не подражал. Теперь я бы не затруднился сознаться в этом. Не помню, чтобы прототип такой «истории развития» молодого человека, ищущего высшей культуры, то-есть «Ученические годы Вильгельма Мейстера» Гете, носился предо мною.

В Дерпте я больше любил Шиллера, и романистом Гете интересовался уже десятки лет спустя, особенно, когда готовил свою книгу «Европейский роман в XIX столетии».

Конечно, я и тогда имел понятие о Вильгельме Мейстере, но—вторую—этот прототип не носился передо мною.

Здесь будет кстати задать вопрос первой важности: чье влияние всего больше отливало на меня, как писателя, по содержанию, тону, настроению, языку?

В нашей критике вопрос этот вообще до сих пор недостаточно обработан, и только в самое последнее время в этюдах по истории нашей словесности начали появляться более точные исследования на эту тему:

Меня самого на протяжении целых сорока с лишком лет моей работы романиста интересовал вопрос: кто из иностранных и русских писателей всего больше повлиял на меня, как на писателя в повествовательной форме? А романист с годами отставил во мне драматурга на второй план. Для сцены я переставал писать подолгу, начиная с конца шестидесятих годов вплоть до восьмидесятих.

В моих «Итогах писателя»¹¹⁰, где находится моя авторская исповедь (они появятся после меня), я останавливаюсь на этом подробнее, но и здесь не могу не подвести таких же итогов по этому вопросу, важнейшему в истории развития всякого самобытного писателя: чистый ли он художник или романист с общественными тенденциями?

Всего лишь один раз во все мое писательство (уже к началу XX века) обратился ко мне с вопросными пунктами из Парижа известный переводчик с русского Гальперин-Каминский. Он тогда задумывал большой этюд (по поводу пятидесятилетней годовщины со смерти Гоголя), где хотел критически обозреть все главные этапы русской художественной прозы, языка, мастерства формы—от Гоголя и до Чехова включительно.

На вопрос: кого из молодых считаю я беллетристом, у которого чувствуется в манере письма мое влияние?—я ответил, что мне самому трудно это решить. На вопрос же: чрез какие влияния я сам прошел?—ответить легче; но и тут субъективная оценка не может быть безусловно верна, даже если писатель и совершенно спокойно и строго относится к своему авторскому «я».

О моей писательской манере, о том, что французы стали называть «l'écriture artiste», начали говорить в рецензиях только в восьмидесятые годы, находя, что я стал будто бы подражать французским натуралистам, особенно Золя.

Испытание самому себе я произвел тогда же, и для этого взял как раз «В путь-дорогу» (это было к 1884 году, когда я просматривал роман для «Собрания» Вольфа), и мог уже вполне объективно судить, что за манера была у меня в моем самом первом повествовательном произведении.

Роману тогда минуло уже ровно двадцать лет, так как он писался и печатался в 1861—1864 годах.

И что же?

С первых строк первой главы я имел перед собою свой язык, со своим ритмом, выбором слов и манерой описаний, диалогов, характеристик.

Ни Золя, ни его сверстниками тут и не «пахло». Я их по появлению в литературе был старше на много лет, и когда Золя и Додэ (и даже братья Гонкур) стали известны у нас,—«В путь-дорогу» давно уже печатался.

Но все это относится к тем годам, когда я был уже двадцать лет романистом. А речь идет у нас в настоящую минуту о том, под каким влиянием начал я писать, если не как драматург, то как романист в 1861 году.

Гимназистом и студентом и немало читал беллетристики, но никогда не пристращался к какому-нибудь одному писателю; а так как я до двадцати двух лет не мечтал сам пойти по писательской дороге, то никогда и не изучал ни одного романиста, как свой образец. Студентом (особенно в Дерпте, до 1875 года) я вообще мало читал беллетристики—я был слишком увлечен точной наукой. Моя тогдашняя начитанность по изящной литературе была по другим отделам ее: Шиллер, Гёте («Фауст»), Гейне и Шекспир. Романы, главным образом французские, читал я всегда у отца в усадьбе, на летних вакациях. Но никто из французских романистов—даже и Бальзак и Жорж-Занд—не делался «властителем моих дум», никто из них не доставлял мне такого духовного удовлетворения и так не волновал меня, как с половины пятидесятых годов, наши беллетристы, а раньше, в года отрочества и первой юности,—Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Грибоедов, Кольцов и позднее—Островский.

Конечно, в том кризисе, который произошел во мне в Дерпте, наша беллетристика дала самый сильный импульс. Но это все-таки не то, что прямое влияние одного какого-нибудь писателя, своего или иностранного.

Даже английские романисты, как Диккенс и Теккереи, которыми у нас зачитывались (начиная с сороковых годов), не оставили на мне налета, когда я сделался романистом, ни по замыслам, ни по тону, ни по манере. Это легко проследить и фактически доказать.

Думаю, что Тургенев за целое десятилетие 1852—1862 гг. был моим писателем более Гончарова, Григоровича (он мне одно время нравился), Достоевского и Писемского, который всегда меня сильно интересовал. Но опять-таки тургеневский склад повествования, его тон и приемы не изучались мною «нарочито», с определенным намерением достичь того же, более или менее.

Я еще не мечтал о повествовательной беллетристике даже и тогда, когда очутился опять в Петербурге, по возвращении из деревни. Это случилось как бы неожиданно для меня самого.

Но влияние может быть и скрытое. Тургенев незадолго до смерти писал (кажется П. П. Вейнбергу), что он никогда не любил Бальзака и почти совсем не читал его. А ведь это не помешало ему быть реальным писателем, действовать в области того романа, которому Бальзак еще с тридцатых годов дал такое развитие.

Может быть, в романе «В путь-дорогу» найдутся некоторые поты в тургеневском духе, и некоторые «тирады» я в 1884 году уничтожил, но вся эта вещь имеет свой пошиб.

Еще менее отличали на меня и тогда и позднее—манера, тон и язык Гончарова или Достоевского. Автора «Мертвого дома» я стал читать как следует только в Петербурге, и могу откровенно сказать, что весь пошиб его писательства меня не только не захватывал, но и не давал мне никакого чисто эстетического удовлетворения.

Моя писательская дорога сложилась так, что я с первых же шагов и впоследствии—непрерывно и неизменно стоял один, без всяких руководителей, без какого-либо литературного патрона, без дружеских или кружковых влияний ни в идейном, ни в чисто художественном смысле.

Когда я приехал в Петербург, мои обе пьесы были уже приняты и напечатаны. Писемский никогда не руководил мною, не давал мне никаких советов и указаний. Я не попал ни в какой тесный кружок сверстников, где бы кто-нибудь сделался моим—не то, что уже советником, а даже слушателем и читателем моих рукописей.

Не могу сказать, чтобы меня не замечали и не давали мне ходу. Но заниматься мною особенно было некому, и у меня в характере нашлось слишком много если не гордости или чрезмерного самолюбия, то просто чувства меры и такта, чтобы являться как бы «клиентом» какой-нибудь знаменитости, добиваться ее покровительства, или читать

ей свои вещи, чтобы получать от нее выгодные для себя советы и замечания.

Да если бы я и хотел этого (а такого желания у меня решительно не было), то мне и некогда было бы в такой короткий срок (от января до октября 1861 года) при тогдашней моей бойкой и разнообразной жизни устроить себе такой патронат.

Может показаться даже мало вероятным, что я, написав несколько глав первой части, повез их к редактору «Библиотеки», предлагая ему роман к январской книжке 1862 года и не скрывая того, что в первый год могут быть готовы только две части. Тогда редакторы были куда покладливее и принимали большие вещи по одной части. Так я печатал в 1871—1873 гг. и «Дельцов» у Некрасова. Но с конца 1873 года я в «Вестнике Европы» прошел в течение тридцати лет другую школу, и ни одна моя вещь не попадала в редакцию иначе, как целиком, просмотренная и приготовленная к печати, хотя бы в ней было до тридцати пяти листов, как например в романе «Василий Теркин».

Замысел романа «В путь-дорогу» явился как бы непроизвольным желанием молодого писателя пропозвести себе «самониспытание» перед тем, как всецело отдать себя своему «призванию».

За два с лишком года, как я писал роман, он давал мне повод и возможность оценить всю свою житейскую и учебную выучку, видеть, куда я сам шел—и непроизвольно и вполне сознательно. И вместе с этим передо мною самым развертывалась картина русской культурной жизни с эпохи «николаевщины» до новой эры.

То, что я взял героем молодого человека, рожденного и воспитанного в дворянской семье, по прошедшего все ступени ученья в общедоступных заведениях,—в гимназии и в двух университетах, было, по-моему, чрезвычайно выгодно. Для культурной России того десятилетия это было центральное течение.

В нашей беллетристике до конца XIX века роман «В путь-дорогу» по своей программе, бытоописательному и интеллигентному содержанию оставался единственным. Появились в разное время вещи из жизни нашей молодежи, но все это отрывочно, эпизодично.

Но таких «Lehrjahren» не появлялось. Только Гарин (Михайловский) напечатал роман «Студенты»; но в нем действуют воспитанники инженерного института, а не университетские студенты. Истории же гимназиста и картины двух университетов не имеется и до сих пор.

В какой степени «В путь-дорогу» — автобиографический роман? Когда я вспоминал свое отрочество и юность, вплоть до вступления на писательское поприще, я уже оговаривался на этот счет.

Весь быт в губернском городе, где родился, воспитывался и учился Телепнев, а потом в Казани и Дерпте—все это взято из действительности. Лица—на две трети также; начальство и учителя гимназии, профессора и товарищи—почти целиком.

Но Телепнева нельзя отождествлять с автором. У меня не было его романтической истории в гимназии, ни романа с казанской барыней, и только дерптская влюбленность в молоденькую девушку дана жизнью. Все остальное создано моим воображением, не говоря уже о том, что я студентом не был богатым человеком, а жил на весьма скромное содержание, и с 1856 года стал уже зарабатывать научными переводами.

Умственная и этическая эволюция Телепнева похожа и на мою, но не совпадает с нею. В нем последний кризис, по окончании курса в Дерпте, потянул его в земской работе, а во мне началась борьба между научной дорогой и писательством уже за два года до отъезда из Дерпта.

Как я сказал выше, редактор «Библиотеки» взял роман по нескольким главам, и он начал печататься с января 1862 года. Первые две части тянулись весь этот год. Я писал его, по кускам в несколько глав, всю зиму и весну, до отъезда в Нижний и в деревню; продолжал работу и у себя на хуторе, продолжал ее опять и в Петербурге и довел до конца вторую часть. Но к январю 1863 года у меня еще не было почти ничего готово из третьей книги,—как я называл тогда части моего романа.

Конечно, такая работа позднее меня самого бы не удовлетворяла. Так делалось по молодости и уверенности в своих силах. Не было достаточного спокойствия и постоянного досуга при той бойкой жизни, какую я вел в городе. В деревне я писал с большим «проникновением», что, вероятно, и отражалось на некоторых местах, где нужно было творческое настроение.

Об «успехе» первых двух частей романа я как-то мало заботился. Если и появлялись заметки в газетах, то вряд ли особенно благоприятные. «Одноворец» нашел в печати лучший прием, а также и «Ребенок». Писемский, повидимому, оставался доволен романом, а из писателей постарше меня помню разговор с Алексеем Потехиным, когда мы возвращались с ним откуда-то вместе. Он искренно поздравлял меня; но сделал несколько дельных замечаний.

В «Отечественных Записках» уже к следующему 1863 году появилась очень талантливо написанная рецензия, где самого Телепнева охарактеризовали как «чувствительного эгониста», но к автору отнеслись с большим сочувствием и полным признанием.

Эта рецензия появилась под каким-то псевдонимом. Я узнал от одного приятеля сыновей Краевского (тогда еще издателя «Отечественных Записок»), что за псевдонимом этим скрывается Н. Д. Хвощинская (Крестовский-псевдоним¹¹¹). Я написал ей письмо, и у нас завязалась переписка еще до личного знакомства в Петербурге, когда я уже сделался редактором-издателем «Библиотеки» и она стала моей сотрудницей.

Я не принадлежал тогда к какому-нибудь большому кружку, и мне нелегко было бы видеть, как молодежь принимает мой роман. Только впоследствии, на протяжении всей моей писательской дороги, вплоть до вчерашнего дня, я много раз убеждался в том, что «В путь-дорогу» делалась любимой книгой учащейся молодежи. Знакомясь с кем-нибудь из интеллигенции лет пятнадцать-двадцать назад, я знал вперед, что они прошли через «В путь-дорогу», и, кажется, до сих пор есть читатели, считающие даже этот роман моей лучшей вещью.

Я был удивлен (не дальше, как в 1907 году, в Москве), когда один из нынешних беллетристов самой новой формации, приехавший ставить свою пьесу из еврейского быта, пришел ко мне в номер «Лоскутной» гостиницы и стал мне изливаться—как он любил мой роман, когда учился в гимназии.

Теперь «В путь-дорогу» в продаже не найдешь. Экземпляры вольфовского издания или проданы, или сгорели в складах. Первое отдельное издание из «Библиотеки» в 1864 году давно разошлось. Многие мои приятели и знакомые упрекали меня за то, что я не забочусь о новом издании... Меня смущает то, что роман так велик: из всех моих вещей—самый обширный: в нем до 64 печатных листов.

Он был еще до семидесятых годов издан по-немецки в Германии в извлечении, но я никогда не держал в руках этого перевода; знаю только, что он был сделан петербуржцем, который должен был удалиться за границу.

Четыре остальные книги писались в 1863—1864 годах уже среди редакционных и издательских хлопот и мытарств, о чем я расскажу в следующей главе.

Могло, однако, случиться так, что я не только не завяз бы в самую гущу журнального дела, но, быть может, надолго бы променял жизнь петербургского литератора на жизнь в провинции.

Часть лета 1862 года я провел в имении. Крестьяне мои уперлись насчет большого надела, и возня с ними взяла много времени. Мой товарищ З—ч оставался у меня на хуторе с приказчиком. Мне за вычетом крестьянского надела приходилось с лишком тысяча десятин земли, в том числе лес-заказник; все это—чистое от банковского долга. Хозяйничать было бы можно, если б во мне билась

«хозяйственная жилка». А пока имение приносило кое-какой доход, который шел «между пальцев», и жил я почти исключительно на свой писательский заработок.

В деревне я отдохнул от Петербурга; там хорошо писалось, но не тянуло устраиваться там самому, делаться «земским» человеком, как захотел мой Телепнев, когда уезжал из Дерпта.

Я испытал на себе ту особенную «тягу», которую писательство производит на некоторые интеллектуально-эмоциональные натуры, к которым и я себя причисляю.

«Народника», в тогдашнем смысле, во мне не сидело; а служба посредником или кем-нибудь по выборам также меня не прельщала. Моих соседей я нашел все такими же. Их жизнь я не прочь был наблюдать, но слиться с ними в общих интересах, вкусах и настроениях не мог.

Наследство мое становилось мне скорее в тягость. И тогда, то-есть во всю вторую половину 1862 года, я еще не рассчитывал па доход с имения или от продажи земли с лесом для какого-нибудь литературного дела. Мысль о том, чтобы купить «Библиотеку», не приходила мне серьезно; хотя Писемский, задумавший уже переходить в Москву, в «Русский Вестник», приговаривал не раз:

— Что бы вам, Боборыкин, не взять журнала? Вы в нем—видный сотрудник, у вас есть и состояние, вы молоды, холосты... Право!

Но тогда я еще на это не поддавался.

Зимой, в 1863 году, поехал я на свидание с моей матерью и пожил при ней некоторое время. В Нижнем жила и моя сестра с мужем. Я вошел в тогдашнее нижегородское общество. И там театральное любительство уже процветало. Меня стали просить ставить «Однودворца» и играть в нем. Я согласился и не только сыграл роль помещика, но и выступил в роли графа в одноактной комедии Тургенева «Провинциалка».

Жизнь с матушкой вызвала во мне желание поселиться около нее, и я стал тогда же мечтать устроиться в Нижнем, где было бы так хорошо писать, где я был бы ближе к земле, если не на всегда, то на продолжительный срок.

Мое желание я высказывал матушке несколько раз, но она, хоть и была им тронута, боялась за меня, за то, как бы провинция не «затянула меня» и не отвлекла от того, что я имел уже право считать своим «призванием».

Я уехал в Москву и в Петербург по журнальным и театральным делам, но с определенным намерением вернуться еще той же зимой.

Было это—сколько помню—в конце января 1863 года, а через месяц я сделался уже собственником «Библиотеки для Чтения».

Как это могло случиться?

Меня стали уговаривать Писемский и некоторые сотрудники, а издатель усиленно предлагал мне журнал на самых необременительных, — как он уверял, — условиях.

Литературная жилка задрожала. Мне и раньше хотелось какого-нибудь более прочного положения. Службу я принципиально устранял из своей карьеры. Журнал представился мне самым подходящим делом. По выкупу я должен был получить вскоре некоторую сумму и, в случае надобности, мог, хоть и за плохую цену, освободиться от своей земли.

Был и еще — тоже не новый уже для меня — мотив: моя влюбленность и мечта о женитьбе на девушке, отец которой, вероятно, желал бы видеть своего будущего зятя чем-нибудь более солидным, чем простым журнальным сотрудником.

Так я и сделался, довольно-таки экспромтом, двадцати шести лет отроду, издателем-редактором толстого и старого журнала.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Издательство и редакторство «Библиотеки для Чтения» (1863—1865). Ядро материальной неудачи. — Разорение. — Моя цензора. — Старые и новые сотрудники. — Эдельсон. — Щеглов и Воскобойников. — Генслер, граф Салиас, князь А. И. Урусов, Лесков, Левитов, Глеб Успенский, Помяловский, П. Ткачев. — Ап. Григорьев, Н. Н. Страхов, П. Л. Лавров, А. Энгельгардт. — Графиня Е. В. Салиас (Евгения Тур), Н. Д. Хвощинская (В. Крестовский-псевдоним), сестра ее — «Весеньев», Марко-Вовчок, Я. П. Полонский, Н. И. Костомаров, профессор Шапов. — Встречи с Тургеневым, Григоровичем, Островским, Писемским, Плещеевым. — Светские знакомства. — Петербургские сезоны 1863—1865 гг. — Работа беллетриста. — Издательские тиски. — Ликвидация журнала. — Первая поездка за границу осенью 1865 года.

«Библиотека для Чтения» сыграла в моей жизни — во всех смыслах — роль того сосуда, в котором производится химическая сухая перегонка.

Если взять еще образ: мое редакционное издательство явилось пробным камнем для всего того, что во мне, как человеке, писателе, сыне своей земли, значилось более ценного и устойчивого.

Скажу без ложной скромности: не всякому из моих собратьев, и сверстников и людей позднейших генераций, выпал на долю такой и с к у с, такой «шок», как нынче выражаются, и вряд ли многие выдержали бы его и к концу своего писательского пятидесятилетия * стояли бы попрежнему «на бреши», все такими же работниками пера.

* Писано незадолго до моего пятидесятилетнего юбилея.

Помню, на одном чествовании, за обедом, который мне давали мои собраты, приятели и близкие знакомые, покойный князь А. И. Урусов сказал блестящий и остроумный спич:

«Петра Дмитриевича его материальное разорение закалило, как никого другого. Из барского «дитяти», увлекшегося литературой, он сделался настоящим писателем и вот уже не один десяток лет служит литературе».

Такова была его тема, которую он развил не только как прекрасный оратор, но и как человек, который с 1863 года сошелся со мною, сделавшись еще студентом, сотрудником «Библиотеки для Чтения».

В начале 1863 года, приехав к матушке моей в Нижний, я вовсе еще не собирался приобретать журнал, хотя Писемский и сам издатель Печаткин склоняли меня к этому.

Сделаться собственником и главным редактором большого литературного органа—в этом было все-таки и для меня много привлекательного.

Что я был еще молод—не могло меня удерживать. Я уже более двух лет как печатался, был автором пьес и романа, фельетонистом и наблюдателем столичной жизни. Издание журнала давало более солидное положение, а о возможности неудачи я недостаточно думал. Меня не смущало и то, что я по тогдашнему моему общественно-политическому настроению не имел еще в себе задатков руководителя органа с направлением, которое тогда гарантировало бы успех.

Одно могу утверждать: денежные расчеты ни малейшим образом не входили в это. У меня было состояние, на которое я прожил бы безбедно, особенно с прибавкой того, что я начал уже зарабатывать. Но я, конечно, не думал, что журнал поведет к потере всего, что у меня было, как у землевладельца.

Живя у матушки моей, еще в январе 1863 года, я предлагал ей поселиться в Нижнем. Тогда сестра моя оставалась подолгу в деревне со своим мужем, и мне искренно хотелось остаться на неопределенное время при моей старушке.

Ей это предложение не могло не прийти по душе; но она увидала в нем слишком большую жертву для меня, как писателя, который вместо столичной жизни обрек бы себя на житье в провинции. Если б она предвидела, что принесет мне издательство «Библиотеки для Чтения», она, разумеется, не стала бы меня отговаривать.

И я вернулся в Петербург, а к половине февраля уже подписал контракт с издателем «Библиотеки» и вступил фактически в заведывание и хозяйством и редакцией журнала.

У меня не сохранилось никаких записей, где бы я отмечал ход переговоров, где я мог бы найти теперь тот решающий факт, который подтолкнул меня слишком скоро в такому шагу.

Кажется, я получил в Нижнем письмо (но от кого—тоже не помню), где мне представляли это дело как самое подходящее для меня во всех смыслах. Верно и то, что я рассчитывал получить выкупную ссуду раньше того, как она была мне выдана, соображая, что такую сумму я, во всяком случае, должен буду употребить целиком на журнал.

Ничто меня не заставило решиться на такой шаг. И никто решительно не отсоветовал. Напротив, Писемский и те, кто ближе стояли к журналу, не говоря уже о самом издателе, выставляли мне дело весьма для меня если не соблазнительным, то выполнимым и отвечающим моему положению, как молодого писателя, так преданного интересам литературы и журнализма.

Не хочу никого ни обвинять без основания, ни в чем-либо умышленном подозревать. Вряд ли кто из моих собратьев, начиная с тогдашнего редактора «Библиотеки», знал подлинную правду о состоянии подписки журнала к февралю 1863 года, не исключая и самого Писемского. А издатель представил мне дело так, что журнал имел с лишком тысячу подписчиков (что-то около 1300 экземпляров), что по тогдашнему времени было еще не плохо, давал мне смотреть подписную книгу, в которой все было в порядке, предлагал необременительные условия. Разумеется, будь другой на моем месте, он бы произвел настоящую анкету и прежде всего навел бы справку в газетной экспедиции о числе экземпляров и подверг бы самую эту подписную книгу более тщательному осмотру.

И ничего этого я не знал, потому что был слишком «барское дитя», хотя и прошедшее долгую выучку студенческого учения. Доверчивость и вообще-то в моей натуре, а тут все-таки было многое заманчивое в перспективе сделаться хозяином «толстого журнала», как тогда выражались. Входила сюда, конечно, известная доля тщеславия—довольно, впрочем, понятного и извинительного.

Издатель предложил—до осени платить мне ежемесячно определенную сумму. Стало быть, я не обязан был сейчас же выкладывать капитал. И по типографии я мог сразу пользоваться кредитом. А со второго года издания я обязан был выплачивать род аренды на известный срок. В случае нарушения с моей стороны контракта я должен был заплатить неустойку в десять тысяч рублей.

Контракт этот я составлял сам. Хотя и носил звание «кандидата» и приобрел его на юридическом факультете, но впоследствии оказалось, что вся петля была на мне, и я ничего не мог бы добиться, если

бы и доказал, что число подписчиков было гораздо меньше, чем то, в котором меня уверили.

Через год, когда подписка 1864 года, в сущности, увеличилась на несколько сот (на что я и рассчитывал), цифра была все такая же, какую я номинально принял годом раньше.

Тогда только я, через посредство одного помощника присяжного поверенного, обратился к знаменитому адвокату С—му, возил ему *corpus delicti*, то-есть подписную книгу (после того, как с великим трудом добыл ее), и контракт, и он мне категорически заявил, что я процесса бы не выиграл, если б начал дело, и с меня все-таки присудили бы неустойку в десять тысяч рублей.

А проект контракта я никакому юристу не показывал, да у меня тогда и не было никаких связей с деловым миром.

Кажется, я не был еще знаком лично ни с одним известным адвокатом.

Эта роковая неустойка и была главной причиной того, что я был затянут в издательство «Библиотек» и не имел настолько практического навыка и расчета, чтобы пойти на ее уплату, прекратив издание раньше, например, к концу 1864 года. Но и тогда было бы уже поздно.

Выходило, однакож, так, что будь цифра, якобы переданная мне при заключении контракта, и в действительности такая, я бы мог по всей вероятности, повести дела не блестяще, но сводя концы с концами, особенно если б, выждав время, продал выгодно свою землю.

Каждый, читающий это,—в праве сказать:

«Да как же было не знать подлинной цифры подписчиков (даже и с даровыми экземплярами) с первого же месяца своего издательства?»

Очень просто: контора журнала была при магазине, принадлежавшем бывшему хозяину, и вся подписка шла в его карман до конца года; следовательно, у меня не было фактической возможности ничего проверить.

И фантастическая основа моего расчета выведена была на чистую воду уже слишком поздно, когда надо мною висела петля неустойки.

Я нарочно забегу здесь вперед, чтобы покончить с историей моего злополучного издательства и всего того, что оно за собою повело для меня по своим материальным последствиям.

Даже и в денежном смысле пустился я слишком палегке. Надо было, во всяком случае, приготовить свой, хотя бы небольшой, капитал. На тысячерублевую выдачу, которую производил мне бывший издатель, трудно было вести дело так, чтобы сразу поднять его. Приходилось

ограничивать расходы средними гонорами и не отягчать бюджета излишними окладами постоянным сотрудникам.

Но, как бы ни велось хозяйство, в основе его лежал фиктивный расчет, и невыгодность контракта с крупной неустойкой заранее парализовала дело.

Оно шло еще без особых тисков и денежных тревожений до начала 1864 года и дальше, до половины его. Но тогда уже выкупная ссуда была вся истрачена, и пришлось прибегать к частным займам, а в августе 1864 года я должен был заложить в нижегородском Александровском дворянском банке всю землю за ничтожную сумму в пятнадцать тысяч рублей, и все имущество с торгов пошло за что-то в роде девятнадцати тысяч уже позднее.

Долги росли—и процентщикам, и тем, кто давал мне займы, желая поддержать меня, и за типографскую работу, и за бумагу.

История—слишком хорошо знакомая всем, кто надевал на себя ярмо издателя журнала или газеты.

Теперь, в начале XX века, каждая газета поглощает суммы, в несколько раз большие и в такие же короткие сроки. Мое издательство продолжалось всего два года и три месяца, до весны 1865 года, когда пришлось остановить печатание «Библиотеки».

Познал я тогда—в последние полгода,—через какое пекло финансовых затруднений, хлопот, страхов должен проходить каждый, когда дело обречено на гибель и нет ни крупного кредита, ни умения найти во-время денежного компаньона, когда контракт затягивает вас, в роде как в азартной игре.

Как бы я строго теперь ни относился сам к тому, как велось дело при моем издательстве, но я все-таки должен сказать, что никаких не только безумных, но и вообще слишком широких трат за все эти двадцать восемь месяцев не производилось. Я взял очень скромную квартиру (в Малой Итальянской—теперь улица Жуковского, дом графа Салтыкова), в четыре комнаты с кухней, также скромно отделал ее и для себя и для редакции; дома стола не держал, прислуга состояла из того же верного слуги Михаила Мемнонова и его племянника Миши, выписанного из деревни. Единственный экстренный расход состоял в пайме помесячного извозчика, да и то в первый только год. Вряд ли я проживал много больше того, что получал бы как постоянный сотрудник и редактор. Думаю, что мои личные расходы (вызванные на одну треть жизнью хозяина толстого журнала) едва ли превышали четыре, много пять тысяч в год.

Когда денежные тиски делались все несноснее и не давали мне времени писать, я сдал всю хозяйственную часть на руки моего

постоянного сотрудника Воскобойникова, о роли которого в журнале буду говорить дальше. А теперь кратко набросаю дальнейшие переипетии моей материальной незадачи.

Когда сделалось ясно, в первой же трети 1865 года, что пельзя дойти и до второй половины года, я решил ликвидировать. Были сделаны попытки удовлетворить подписчиков каким-нибудь другим журналом. Но тогда не к кому было и обратиться в Петербурге, кроме «Отечественных Записок» Краевского. Пред тем мы, в 1864 году, вошли в такое именно соглашение с Ф. Достоевским, когда его журнал должен был прекратить свое существование¹¹². Но нам это не удалось. Обращался я—уже позднее—к издателю «Русского Вестника» в Москве, но и это почему-то не состоялось.

Пришлось расплачиваться за все и со всеми—и с денежными займодавцами, и с моим контрагентом, и по типографии, и по бумаге, и с сотрудниками, и с подписчиками—моими личными ресурсами.

Тогда именье мое еще не было продано, и на нем лежал незначительный долг, и только по тогдашнему отсутствию цен оно пошло окончательно за бесценок.

Мне оставалось предложить всем моим кредиторам взять это именье. Но и эта комбинация не осуществилась, несмотря на то, что я печатно обратился к ним и к публике с особенным заявлением, которое появилось в «Московских Ведомостях», как органе, всего более подходящем для такой публикации.

Измученный всеми этими мытарствами, я дал доверенность на заведывание моими делами и на самые небольшие деньги, взятые в долг у одной родственницы, уехал за границу в сентябре 1865 года, где и пробыл до мая 1866 года.

Тогда я и предложил займодавцам воспользоваться моим именем, которое продано еще не было. И вот со второй половины 1865 года вплоть до 1886 года—стало быть, свыше двадцати лет—я должен был нести обузу долгов, которые составили сумму больше чем тридцать тысяч рублей. По всем взысканиям, какие на меня поступили в разное время, я платил, вплоть до тех гонораров, на которые были выдаваемы долговые документы. Со стороны подписчиков были также представляемы отдельные претензии, но какого-либо общего протеста в печати я не помню.

С 1867 года, когда я опять наладил мою работу, как беллетриста и заграничного корреспондента, часть моего заработка уходила постоянно на уплату долгов. Так шло и по возвращении моем в Россию в 1871 году и во время нового житья за границей, где я был очень болен, и больной все-таки усиленно работал.

Бывали минуты, когда я терял надежду сбросить с себя когда-либо бремя долговых обязательств. Списывался я с юристами, и один из них, В. Д. Спасович, изучив мое положение, склонялся к тому выводу, что лучше было бы мне объявить себя несостоятельным должником, при чем я, конечно, не мог быть объявлен иначе как «неосторожным».

Но я не согласился, и как мне ни было тяжело—больному и уже тогда женатому, я продолжал тянуть свою лямку.

В 1873 году скончался мой отец. От него я получил в наследство имение, которое—опять по вине «Библиотеки»—продал. По крайней мере, две трети этого наследства пошли на уплату долгов, а остальное я—по годам—выплачивал вплоть до 1886 года, когда, наконец, у меня не осталось ни единой копейки долгу, и, с тех пор я и не делал его ни на полushку.

Расплата с главным виновником моего злосчастного предприятия произошла в мое отсутствие через одного доброго знакомого, покойного Е. Р[аго]зина. Уступки сделал мой главный займодавец весьма малые. Давность контракту еще не вышла. Даже, сколько я помню (и хотел бы ошибиться), по одному и тому же документу пришлось мне, уже лично, по приезде в Петербург в 1875 году, заплатить два раза. И мой кредитор не захотел и тут сделать уступку, хотя и знал, что этот долг был уже уплачен, и я тут сделался жертвой одной только оплошности.

Вот какое искупление пережил я за издательство, продолжавшееся всего два года с четвертью.

Если я легкомысленно пустился на этой «галере» в широкое море, то и был примерно наказан. И отец мой был в праве попенять мне за то, что он еще в 1862 году предлагал мне на выкупную ссуду поднять его хозяйство и вести его сообща. Мать моя не отговаривала меня, не желая обрезать мне крылья, и даже не хотела, чтобы я оставался при ней, в провинции.

Кроме денежных средств, важно было и то, с какими силами собрался я поднимать старый журнал, который и под редакцией таких известных писателей, как Дружинин и Писемский, не привлекал к себе большой публики. Дружинин был известный критик, а Писемский—крупный беллетрист. За время их редакторства в журнале были напечатаны, кроме их статей, повестей и рассказов, и такие вещи, как «Три смерти» Толстого, «Первая любовь» Тургенева, сцены Щедрина и «Горькая судьбина» Писемского.

Но направление журнала—недостаточно радикальное, его старая фирма, напоминавшая Барона Брамбеуса,—не привлекало молодежи.

На большой карикатуре, где изображен был весь тогдашний петербургский журнализм, меня нарисовали юным рыцарем, который поднимает упавшего коня: «Библиотеку для Чтения»¹¹³.

Вот эта старость журнала и должна бы была воздержать меня. А к тому же решил я слишком быстро и тогда, когда новый год уже прошел и подписка выяснилась.

Не мог я, разумеется, и подготовить новый персонал сотрудников. По необходимости я должен был ограничиться тем, что состояло уже при редакции и в «портфелях» редакции.

В портфелях я не нашел ничего сколько-нибудь выдающегося, а один рассказ навлек на меня вскоре (по выходе апрельского номера) обличение: оказалось, что автор переделал какой-то французский рассказ на русские нравы и выдал свою вещь за оригинальную.

Писемский перешел в Москву, к Каткову, в «Русский Вестник», и вскоре уехал из Петербурга. В качестве литературного критика он откомендовал мне москвича, своего приятеля, Е. Н. Эдельсона, считавшегося знатоком художественной литературы. Он перевел «Лаокоона» Лессинга и долго писал в московских журналах и газетах о беллетристике и театре.

Я и раньше встречал его у Писемского.

Он мне нравился своим тоном, верностью своих оценок, большой порядочностью. Тогда я еще не знал, что он подвержен периодическому алкоголизму. Но я никогда не видал его в нетрезвом виде. И никто бы не подумал, что он страдает запоем,—до такой степени он выделялся своим джентльменством и даже некоторой щепетильностью манер.

Мы условились, что он будет получать, сверх полистой платы, ежемесячное содержание и поведет дело критики.

Отношения у нас установились деловые, а не товарищеские. Он был гораздо старше меня летами, да и вообще не склонен был к скорому товарищескому сближению, и только со своими москвичами—«кутилами-мучениками», как Якушкин и Аполлон Григорьев, водил дружбу и был с ними на «ты».

Влиять я на него не мог: он слишком держался своих взглядов и оценок. «Заказывать» ему статьи было нельзя—по той же причине. Работал он медленно, никогда вперед ничего не сообщал о выборе того, о чем будет писать, и о программе своей статьи. Вот почему он не к каждой книжке приготавливал статьи на чисто литературные темы.

В числе его первых этюдов была рецензия «Казаков» Толстого. И в ней он выказал свое чутье, вкус, понимание того, что это была за вещь, как художественное произведение¹¹⁴.

А не нужно забывать, что «Казак» не вызвали в петербургской радикальной критике энтузиазма и даже просто таких оценок, каких они заслуживали. На них посматривали как на что-то почти реакционное, так как автор восторгался дикими нравами своих казаков и этим самым как бы восставал против интеллигенции и культуры.

Эдельсон был очень серьезный, начитанный и чуткий литературный критик, и, явись он в настоящее время, никто бы ему не поставил в вину его направления. Но он вовсе не замыкался в область одной эстетики. По университетскому образованию, он имел сведения и по естественным наукам, и по вопросам политическим, и некоторые его статьи, написанные, как всегда, по собственной инициативе, касались разных вопросов, далеких от чисто эстетической сферы.

Он переехал на жительство в Петербург, давно обзаведясь семьей, и оставался членом редакции журнала вплоть до самого конца.

Когда в 1864 году он узнал, в каких денежных тисках находилось уже издание, он пришел ко мне и предложил мне сделать у него заем в виде акций какой-то железной дороги. И все это он сделал очень просто, как хороший человек, с соблюдением все того же неизменного джентльменства.

Долг этот был рассрочен на много лет, и я его выплачивал его семейству, когда его уже не было на свете. Со второй половины 1865 года я его уже не видал. Смерть его ускорил, вероятно, тот русский недуг, которым он страдал.

Когда-нибудь и эта скромная литературная личность будет оценена. По своей подготовке, уму и вкусу он был уже никак не ниже тогдашних своих собратьев по критике (не исключая и критиков «Современника», «Эпохи» и «Русского Слова»). Но в нем не оказалось ничего боевого, блестящего, задорного, ничего такого, что можно было противопоставить такому идолу тогдашней молодежи, как Писарев.

И журналу он придавал слишком серьезный, спокойный, резонерский тон.

В «Библиотеке для Чтения» при Писемском присяжным критиком считался Еф. Зарин. И его я получил вместе с журналом. Но я ему не предложил литературно-критического отдела. Он писал по публицистике, по тогдашним злобам дня. У него завязалась перед тем полемика с Чернышевским¹¹⁵. Это тоже не могло поднимать престиж журнала у молодой публики. И его «направление» не носило на себе достаточно яркой окраски. Да и сама личность отзывалась,—когда я к нему стал присматриваться,—чем-то не тогдашним, не Петербургом и Москвой шестидесятых годов, а смесью некоторого либерализма с недостаточным пониманием того, к чему льнуло тогда передовое русское общество.

Кажется, он происходил из духовного звания, воспитался и учился в провинции, в Пензе, вряд ли прошел через университет, держался особняком, совсем не был вхож в тогдашние бойкие журнальные кружки.

Через него я не мог бы расширить круг талантливых и смелых сотрудников.

Но он был хотя и кропотливый, но дельный работник. И если б не его, быть может, слишком высокое мнение о себе, он мог бы выработаться в хорошего публициста.

Его статья о проекте земских учреждений считалась замечательной, и он при мне в конторе «Библиотеки для Чтения» сообщал с гордостью, что этой статьи потребовали пятнадцать оттисков в Государственный Совет.

У нас с ним, сколько помню, не вышло никаких столкновений; но когда именно и куда он ушел из журнала—не могу точно определить. Знаю только то, что не встречался с ним ни до семидесятых годов, ни позднее. И смерть его прошла для меня незамеченной. Если не ошибаюсь, молодой писатель с этой фамилией—его сын ¹¹⁷.

Во всяком случае, Еф. Зарин не участвовал в дальнейшей судьбе журнала. Но если б он стал в нем играть первенствующую роль, то вряд ли бы от этого дело пошло в гору.

С журналом получил я еще двух сотрудников, постоянно печатавшихся в «Библиотеке»,—Щ[ег]лова и Воскобойникова.

Щ[ег]лов писал по разным вопросам и стал известным своими статьями о системах социалистов и коммунистов—разумеется, в духе буржуазной критики.

До того я с ним не встречался. Он мне не нравился всем своим видом и тоном. От него «отшибало» семинаристом, и его литературная бойкость была на подкладке гораздо больше личного задора и злобности, чем каких-либо прочных и двигательных принципов.

Я сразу почувствовал, что это—«не мой человек» и что его бойкость и некоторая начитанность идут в сторону, которая может вредить журналу, какой я хотел вести, то-есть орган широко либеральный, хотя и без революционно-социалистического оттенка.

Щ[ег]лов служил преподавателем (кажется, истории) в одной из петербургских гимназий, и в нем была какая-то смесь «семинара» с учителем, каких я помнил еще из моих школьных годов.

Пока не было еще повода устранять его; но к концу года он уже не состоял ни в членах редакции, ни в постоянных сотрудниках.

И с ним, как и с Еф. Зариным, никакого резкого столкновения у меня не вышло. Мое внутреннее чутье подсказывало мне, что скорее

рано, чем поздно, придется вступить с ним в борьбу и пререкания.

Самый тип такого господина говорил о том, что он должен в скором времени очутиться в чиновничьем стане, что и случилось. И по Министерству народного просвещения он стал служить с отличием и, начав критикой Сен-Симона, Оуэна, Кабэ и П. Леру, кончил благонамеренным и злобным консерватизмом ученого «чинуша» в каком-то комитете ¹¹⁸.

Его дальнейшая судьба меня ни малейше не интересовала.

По своему облику, тону, манерам, жаргону он мог служить крайней противоположностью с Эдельсоном. Насколько первый был «хамоват», настолько второй—джентльмен, с неизменной корректностью тона, языка и манеры одеваться.

С Воскобойниковым у меня вышли, напротив, продолжительные сношения, и он, быть может, и против воли, сделался участником той борьбы, которую «Библиотека» должна была вести «с равнодушием публики», употребляя знаменитую фразу, которую пустила редакция московского журнала «Атеней», когда прекращала свое существование ¹¹⁹.

В «Библиотеке» он выступал как полемист и в полемике с Чернышевским оказался не в авантаже ¹²⁰. Как фельетонист—до моего редакторства, я говорил в шутливом тоне об этих полемических победах Чернышевского.

Воскобойников как будто водил приятельство с Щ[егло]вым, но заглазно любил пройтись насчет его язвительно. Как тип тогдашнего интеллигента, попавшего в журнализм, он представлял собой довольно своеобразную фигуру.

По внешности имел он совершенно штатский вид, а незадолго перед тем он носил еще военную форму инженера путей сообщения, то-есть каску, аксельбанты и шпory. Тогда «путейцы» считались офицерами и воспитание получали кадетское.

Воображаю, каким комическим рыцарем смотрел он в подобной форму и в каске с черным султаном из конского волоса! Он был малого роста, неловкий в движениях, чрезвычайно нервный, всегда небрежно одетый, с беспорядочной бородкой и длинной шевелюрой.

Насчет длинных волос он сам рассказывал, бывало, в редакции, как тогдашний начальник путей сообщения раз, когда он дежурил у него в приемной, подвел его к зеркалу и сказал поучительно:

— Господин поручик! полюбуйтесь вашими волосами. Рекомендую вам обстричь их!..

Тон у него был отрывистый, выговор с сильной картавостью на звуке «р». С бойким умом и находчивостью, он и в разговоре склонен

был к полемике; но никаких грубых резкостей никогда себе не позволял. В нем все-таки чувствовалась известного рода воспитанность. И со мной он всегда держался корректно, не позволял себе никакой фамильярности, даже и тогда,—год спустя и больше,—когда фактическое заведывание журналом, особенно по хозяйственной части, перешло в его руки.

В нем сидела, в сущности, как поляки говорят, «шляхетная» натура. Он искренно возмущался всем, что делалось тогда в высших сферах—и в бюрократии и среди пишущей братии—антипатичного, дикого, неблагоприятного и произвольного. Его тогдашний либерализм был искреннее и прямолинейнее, чем у Зарина и, тем более, у Щ[ег]лова. Идеями социализма он не увлекался, но в деле свободомыслия любил называть себя «достаточным безбожником» и сочувствовал в особенности польскому вопросу в духе освободительном.

Журнал попал в мои руки как раз к тому моменту, когда польское восстание разгорелось и перешло в настоящую партизанскую войну.

Польской литературой и судьбой польской эмиграции он интересовался уже раньше и стал писать статьи в «Библиотеке», где впервые у нас знакомил с фактами из истории польского движения, которые повели к восстанию. Он читал по-польски. Его интересовала личность Мерославского и других лидеров эмиграции. Он дельно и в хорошем тоне составлял ежемесячное обозрение с такими подробностями и цитатами с польского, каких нигде в других журналах не появлялось, даже и в тех, которые считались радикальнее во всех смыслах, чем наш журнал.

Когда я много лет спустя просматривал эти статьи в «Библиотеке», я изумлялся тому, как мне удавалось проводить их сквозь тогдашнюю цензуру. И дух их принадлежал ему. Я ему в этом очень сочувствовал. Со студенческих лет я имел симпатии к судьбам польской нации; а в конце шестидесятых годов, в Париже, стал учиться по-польски и занимался и языком и литературой поляков в несколько приемов, пока не начал свободно читать Мицкевича.

Такая черта в духовной физиономии моего постоянного сотрудника способствовала нашему сближению, но только до известного предела. Мне не нравилось в нем то, что он не свободен был от разных личных счетов и,—если б я его больше слушал,—способен был втянуть меня полегоньку в тот двойственный вид полулиберализма-полуконсерватизма, который в нем поддерживался его натурой—раздражительной и саркастической—больше, чем твердо намеченным *credo*.

У него не было литературного таланта, но некоторый темперамент и способность задевать злободневные темы. Писал он нервно, без породистой

литературности и был вообще скорее «литератор-обыватель», чем писатель, который нашел свое настоящее призвание.

И к 1863 году и позднее у него водилось немало знакомств в Петербурге в разных журналах, разумеется, не в кружке «Современника», а больше в том, что собирався у братьев Достоевских.

Не знаю—хитрил он, или нет, но московского славянофильства я в нем тогда не замечал, или увлечения той разновидностью славянофильства, которую проповедывали журнал Достоевских, Аполлон Григорьев и «Косица»,—псевдоним, под которым долго скрывался Н. Н. Страхов.

Но он со всеми ними водился и довольно-таки язвительно рассказывал о жизни братьев Достоевских.

Тогда автор «Карамазовых» хоть и стоял высоко, как писатель,—особенно после «Записок из мертвого дома», но отнюдь не играл роли какого-то праведника и вероучителя, как в последние годы своей жизни.

Будь я, как издатель, состоятельнее и, как редактор, постарше и поавторитетнее, такой сотрудник, как Воскобойников, вставленный в известные рамки, мог бы быть очень и очень полезным делу.

Несомненно, он с первого же года входил все больше и больше в интересы журнала. И, когда я к концу 1864 года, попав в тиски, поручил ему главное ведение дела, со всеми его дрызгами, хлопотами и неприятностями, чтобы иметь свободу для моей литературной работы, он сделался моим «alter ego», и в общих чертах его чисто редакционная деятельность не вредила журналу, но и не могла его особенно поднимать, а в деловом смысле он умел только держаться кое-как на поверхности, не имея сам ни денежных средств, ни личного кредита, ни связей в деловых сферах.

Он же нес на себе и обузу ликвидации в 1865 году и позднее, вплоть до конца 1886 года. Я выдал ему полную доверенность, и много векселей, счетов, расписок были им подписаны без моего ведома. Но я никогда не сомневался в его честности. И было бы с моей стороны невеликодушно и непорядочно теперь, задним числом, в чем-либо пенять ему.

Из всех сотрудников он только и втянут был, по доброй воле, в эту «галерею», и другой бы на его месте давным-давно ушел, тем более, что у нас с ним лично не было никаких затянувшихся счетов. Он не был мне ничего должен, и я ему также. Вся возня с журналом в течение более полутора года не принесла ему никаких выгод, а, напротив, отняла много времени—почти что даром.

То, что в его натуре было консервативного и несколько озлобленного, сказалось в его дальнейшей карьере. Он попал к Каткову в

«Московские Ведомости», где вскоре занял влиятельное положение в редакции. Он оказался публицистом и администратором, которым хозяин газеты очень дорожил, и после смерти Каткова был в «Московских Ведомостях» одним из первых номеров.

Время заведывания и хозяйственного ведения журнала я в первый год, то-есть до начала 1864 года, нес еще «с легким сердцем».

Я очень скоро осмотрелся и вошел в свою роль, не предаваясь никаким преждевременным тревогам.

Устроился я недорого; излишнего штата в редакции не заводил, взял себе только личного секретаря, из мелких чиновников, П—ского, рекомендованного мне моим приятелем Дондуковым, с которым я два года прожил вместе на трех квартирах, сначала на Литейной, потом в Поварском переулке, а в зиму 1862—63 года—у Красного моста.

Открыл я приемные дни по средам; но на первых порах редакционных собраний еще не устраивал.

Сейчас же начались мытарства с цензурой.

И, чтобы быть утвержденным в редакторстве, я должен был доставить особую рекомендацию двух известных и высокопоставленных лиц. Одним из них подписался сенатор Буцковский—самое тогда влиятельное лицо комиссии, которая вырабатывала новые судебные уставы.

Цензура только что преобразовывалась, и в мое редакторство народилось уже Главное управление по делам печати ¹²¹. Первым заведующим назначен был чиновник из Третьего отделения Турунов; но я помню, что он некоторое время носил вицмундир народного просвещения, а не внутренних дел.

Вместе с журналом получил я и цензора, знаменитого своим обскурантизмом Касторского, бывшего профессора русской истории.

С ним не было никакого сладу. Он придирался ко всему и везде видел тлетворные идеи, особенно по части социализма и революции.

По поводу одной какой-то невинной статьи он мне сказал, нахмурив брови.

— Не мог-с! Эта статья полна мизерабельности и социабельности.

На его жаргоне это значило, что автор сочувствует пролетариату и вообще социальному движению.

Это был какой-то «шут гороховый», должно быть, из семинаров, с дурачливо-циническим тоном. Правда, его самого можно было отделывать «под воск» и говорить ему какие угодно резкости. Но от этого легче не было, и все-таки целые статьи или главы зачеркивались

красными чернилами; а жаловаться—значило идти на огромную проволочку с самыми сомнительными шансами на успех.

Но не думайте, что дело сводилось только к этой цензуре.

Цензур совершенно самостоятельных было несколько. Театральная цензура находилась в Третьем отделении. Кроме того, значились еще три отдельные цензуры, с которыми надо было постоянно возиться.

Во-первых, духовная. Ни одна статья философского (а тем паче религиозного) содержания к простому цензору не шла, а была отсылается в лавру, к иеромонаху (или архимандриту), и, разумеется, попадала в Данилов львиный ров.

Наш цензор считался самым суровым, да вдобавок невежественным и испивающим. Чтобы дать образчик изуверства и тупости этой духовной цензуры, выбираю один случай из дюжины. Когда вышла брошюра Дж. Ст. Милля «Утилитаризм» и получена была в Петербурге, я тотчас же распорядился, чтобы она как можно скорее была переведена, и поручил перевод молодому студенту (это был не кто иной, как Ткачев, впоследствии известный эмигрант), и он перевел ее чуть ли не в одни сутки.

И она—погибла! Ту же участь имело и все сколько-нибудь свободомыслящее все время, пока существовала эта духовная цензура—не для богословских только, а для всяких сочинений философского содержания.

Во-вторых, цензура императорского двора—для всего, что писалось о театрах; а тогда они все были императорские.

И всякий отчет о бенефисах, о пьесе, об игре актеров надо было отсылать в эту специальную цензуру.

Если вы позволили себе сказать, что у актера Яблочкина были слишком резкие «комические» панталоны, а комик Марковецкий плохо знал свою роль,—все это вычеркивалось.

У меня нашлись ходы к тогдашнему директору канцелярии министра двора (кажется, по фамилии Тарновский), и я должен был сам ездить к нему—хлопотать о пропуске одной из моих статей. По этому поводу я попал внутрь Зимнего дворца. За все свое пребывание в Петербурге, с 1861 года, да и впоследствии, я никогда не обозревал его зал и не попадал ни на какие торжества.

В-третьих, была еще специальная военная цензура.

Вы, быть может, полагаете, что эта цензура требовала к себе статьи по военному делу, все, что говорилось о нашей армии, распоряжениях начальства, каких-нибудь проектах и узаконениях? Все это, конечно, шло прямо туда, но, кроме того, малейший намек на военный быт и всякая повесть, рассказ или глава романа, где есть офицеры,—шло туда же.

И на первых же порах в мое редакторство попала повесть какого-то начинающего автора из провинции, из быта кавалерийского полка, где рассказана была история двух закадычных приятелей. Их прозвали в полку «Сиа́мские близнецы». Разумеется, она попала к военному цензору, генералу из немцев, очень серьезному и щекотливому насчет военного престижа.

Он уперся и ни за что не хотел пропустить заглавия, находя его унижительным для офицерской чести. Как молодой редактор ни убеждал его, как ни успокаивал,—пришлось все-таки изменить заглавие. Вместо «Сиа́мские близнецы» поставил я «Инсепарабли»¹²². Это строгий генерал из немцев допустил, хотя так называется порода поугаев.

Возня с цензурой входила тогда в самый главный обиход редакционного дела, и я с первых же дней проходил всегда через эти мытарства сам, никому не поручая, до той полосы моего редакторства, когда я сдал ведение дела Воскобойникову.

После «третьеотделенского» Турунова заведующим Главным управлением был назначен сенатор Це́з, с которым я встречался в одном знакомом доме.

Этот бюрократ по воспитанию, из лицейстов, щеголявший латинскими цитатами из Горация и из новых европейских поэтов, держал себя с редакторами—и в том числе со мною—весьма доступно и постоянно старался уверить вас, что он сам по себе стоит за свободу печатного слова, но что высшее начальство требует строгого надзора.

— Я вам назначу цензором милейшего господина... Вы им будете довольны.

И действительно после допотопного Касторского я получил только что поступившего на цензурную службу де-Роберти. Они с Це́з были, кажется, женаты на двух родных сестрах.

В нем я нашел очень мягкого, воспитанного человека, попавшего в цензоры совсем с другой службы, где-то в Западном крае,—человека, светски воспитанного, с хорошими средствами—по жене, псковской помещице.

Мы с ним ладили все время, пока я лично занимался возней с цензурой. Он многое пропускал, что у другого бы погибло. Но даже когда и отказывался что-либо подписать, то обращал вас к своему свояку, и я помню, что раз корректуру, отмеченную во многих местах красным карандашом, сенатор подмахнул с таким жестом, как будто он рисковал своей головой.

Над ним стоял тогдашний quasi-либеральный министр внутренних дел П. А. Валуев.

Его либерализм и к тому времени уже сильно позапылился. По цензурному ведомству порядки все-таки, в общем, оставались старые или с некоторыми поблажками, при полном отсутствии какой-либо ясной и честной программы.

Валуев ни в чем не проявлял желания познакомиться с редакторами журналов и газет. Не помню никакого совещания в таком роде; не было и особенных приемов для представителей печати.

Мы были так стеснены, что, например, не имели права без особого разрешения министра выписывать для редакции самых невинных иностранных газет.

Когда для моего хроникера иностранной политики понадобилась газета «Temps», я должен был ехать на прием министра в дом, позади Александринского театра, дожидаться вместе с другими просителями его выхода—и на мою невинную просьбу получил от министра стереотипный ответ:

— Будет поступлено, соображаясь с бывшими примерами.

Это было в первый раз, когда я вблизи видел благообразного Петра Александровича, с его внешностью английского лорда и видной фигурой. Другой еще раз встретил я его в Париже, на выставке 1867 года.

И «Библиотеке» было отказано в таком «праве», как получение газеты «Temps». А журнал не мог быть на особенно дурном счету у начальства.

Сенатора Цеэ я не встречал целые десятки лет, и вдруг как-то, уже в начале XX века, столкнулся с ним у знакомых. Он сейчас же узнал меня, наговорил мне разных любезностей и поразил своей свежестью. А он был, по меньшей мере, старше меня на пятнадцать-восемнадцать лет.

— Как видите, жив, жив курилка!—возбужденно повторял он.

Если он еще здравствует, когда я пишу эти строки, то ему должно быть столько, сколько было, перед смертью, другому старцу, лично мне знакомому, покойному папе Льву XIII.

Так я (больше года) и отправлялся по несколько раз в неделю к цензору, неизменно по утрам, с одного конца города на другой, из Малой Итальянской в какую-то линию Васильевского острова.

Но молодость вынесла бы и не такие мытарства. Потребность деятельности удовлетворялась и этой стороной редакторской обязанности, и чувством ответственности, и сознанием, что ты—как-никак—стоишь во главе большого журнала.

Жизнь редактора совсем не тяготила меня до тех дней, когда начались денежные затруднения и явилось ожидание неизбежного краха.

Как бы я теперь—по прошествии сорока с лишком лет—строго ни обсуждал мое редакторство и все те недочеты, какие во мне значились (как в руководителе большого журнала—литературного и политического), я все-таки должен сказать, что я и в настоящий момент скорее желал бы, как простой сотрудник, видеть во главе журнала такого молодого, преданного литературе писателя, каким был я.

Сколько мне на протяжении сорока пяти лет привелось работать в журналах и газетах, по совести говоря, ни одного такого редактора я не видал, не в смысле подготовки, имени, опытности, положения в журнализме, а по доступности, свежей отзывчивости и желанию привлечь к своему журналу как можно больше молодых сил.

Разве не правда, что до сих пор водятся редакторы, которые считают ниже своего достоинства искать сотрудников, самим обращаться с предложением работы, а главное—поощрять начинающих, входить в то, что тот или иной молодой автор мог бы написать, если б его к тому пригласить?

И сколько каждый из нас (даже и тогда, когда имел уже имя) натерпелся от чиновничьего тона, сухости, генеральства или же кружковщины, когда сотрудника сразу как бы «закабаляют» в свою лавочку, с тем чтобы он нигде больше не писал!

Ничем этим я не страдал, а, напротив, выказывал скорее слишком большое рвение в деле приобретения сотрудников.

Такая репутация очень скоро распространилась между тогдашней пишущей братией, и на мои редакционные среды стало являться много народа. И никто не уходил безрезультатно, если в том, что он приносил, было что-нибудь стоящее, живое, талантливое.

Слухи обо мне окрашивались еще и в особый привлекательный колорит. Про меня стали толковать, как об очень богатом человеке и чрезвычайно тороватом насчет «авансов»; а они и тогда составляли главный жизненный нерв для литературных пролетариев.

Эта репутация была преувеличенная. Лишних денег у нас в кассе никогда не было, даже и в первый год издания. Но пока была возможность, мы охотно давали и вперед. Гонорар платили не меньше, чем и в богатых журналах. Да тогда и не существовало еще таких полистных плат, как в конце XIX века или теперь—для любимцев публики в разных сборниках и альманахах. Тогда только Тургенев получал четыреста рублей за лист, Толстой—в роде этого; а все остальные знаменитости, не исключая и Ф. Достоевского, и Щедрина, и Островского, и Писемского,—гораздо меньше.

Сто рублевая плата считалась прекрасным гонораром. Ее получал, например, один из самых выдающихся беллетристов

В. Крестовский, псевдоним, то-есть Н. Д. Хвощинская. Такую же сторублевую плату имела она у нас в 1864 году.

Мне с первых же дней моего редакторства хотелось направлять моих молодых сотрудников, предлагать им темы статей, но никак не затем, чтобы им что-нибудь навязать, стеснять их собственный почин.

И никогда я не мудрил над рукописями, ничего не вычеркивал, не придирался к языку, не предъявлял никаких кружковых и партийных требований, не вводил никаких счетов; да мы ни с кем никогда принципиально и не воевали.

Возьму случай из моего писательства за конец XIX века. Я уже больше двадцати лет был постоянным сотрудником—как романист—одного толстого журнала. И вот под заглавием большого романа я поставил в скобках: «Посвящается другу моему Е. П. Л.». И как бы вы думали? Редакция отказалась поставить это посвящение—из соображений, которых я до сих пор не понимаю.

Такое гувернерство показалось бы мне, тогда 27-летнему редактору, чем-то чудовищным. А оно было возможно еще несколько лет назад и с писателем, давно сделавшим себе имя.

Словом, моя редакторская совесть в этом смысле могла считать себя спокойной.

Несмотря на то, что в моей тогдашней политико-социальной «платформе» были проблемы и недочеты, я искренно старался о том, чтобы в журнале все отделы были наполнены. Единственный из тогдашних редакторов толстых журналов, я послал специального корреспондента в Варшаву и Краков во время восстания,—Н. В. Берга, считавшегося самым подготовленным нашим писателем по польскому вопросу. Стоило это—по тогдашним ценам—не дешево и сопряжено было с разными неприятностями и для редакции и для самого корреспондента.

Точно так же более, чем в других журналах, старался я о статьях и обзорах по иностранной литературе, и едва ли не первый тогда имел для этого специального сотрудника и в Петербурге и в Париже, П. Л. Лаврова и Евгению Тур (графиню Е. В. Салнас). Это показывало несомненную склонность к редакторской инициативе и отвечало той разносторонности образования, какое мне удалось получить в трех университетах за целых семь с лишком лет.

Сам я не вспомнил о себе сразу, что я критик и публицист, изредка только печатал статьи небеллетристического содержания и делал исключения для театра, где считал себя более компетентным. Да и тут я на первых порах давал писать и о театрах моим молодым сотрудникам. И только что я сделался редактором, как заинтересовался тем, кто был автор статьи, напечатанной еще при Писемском,

о Малом театре и г-же Позняковой (по поводу моей драмы «Ребенок»), и, когда узнал, что это был студент князь Урусов¹²³,—сейчас же пригласил его в сотрудники по театру, а потом и по литературно-художественным вопросам.

И никогда мы не стесняли никого обязательностью направления, хотя я лично всегда отклонял от журнала все, что пахло реакцией какого бы то ни было рода, особенно в деле свободы мышления и религиозного миропонимания.

Журнал наш одинаково отрицал всякую не то что солидарность, но и поборку тогдашним органам сословной или ханжеской реакции, в роде газеты «Весть» или писаний какого-нибудь Аскаченского. Единственно, чего недоставало журналу, это—более горячей преданности тогдашнему социальному радикализму. И его ахиллесовой пятой в глазах молодой публики было слишком свободное отношение к излишествам тогдашнего нигилизма и ко всяким увлечениям по части коммунизма.

Но надо помнить, что и в «Современнике» (а потом в «Отечественных Записках») сам тогдашний первый радикальный сатирик—М. Е. Салтыков—весьма жестоко «прохаживался» над теми же увлечениями¹²⁴.

Ни я и никто из моих постоянных сотрудников не могли, например, восхищаться теми идеалами, какие Чернышевский защищал в своем романе: «Что делать?», но ни одной статьи, фельетона, заметки не появилось и у нас (особенно редакционных), за которую бы следовало устыдиться.

Даже и тогда, когда начались денежные тиски, я старался всячески оживить журнал, устроил еженедельные беседы и совещания и предложил,—когда журнал стал с 1865 года выходить два раза в месяц,—печатать в начале каждого номера передовую статью без особого заглавия. Она заказывалась сотруднику и потом читалась на редакционном собрании.

Имей я больше удачи, наложи я руку с самого начала на критика и публициста с темпераментом и смелыми идеями (каким, например, был Писарев)—журнал сразу получил бы другой ход.

А с таким уравновешенным эстетом, как Эдельсон, это было немислимо. И я стал искать среди молодых людей способных писать хоть и не очень талантливые, но более живые статьи по критике и публицистике. И первым критическим этюдом, написанным по моему заказу, была статья тогда еще безвестного учителя В. П. Острогорского о Помяловском¹²⁵.

Один этот факт показывает, как мы далеко были от всякой гружковщины. Помяловский считался самым первым талантом из людей

его генерации и украшением беллетристики «Современника». Стало быть, прямой расчет состоял в том, чтобы его замалчивать. А я стал усиленно искать кого-нибудь из молодых, кто бы оценил его на страницах моего журнала.

И позднее я познакомился с автором «Молотова», и он обещал мне свое сотрудничество. Смерть помешала его осуществлению.

Денежные мытарства слишком скоро утомили меня настолько, что я к концу 1864 года ушел от более энергического и ответственного заведывания делом.

Но на это была и другая причина, кроме непривычки к практическим хлопотам и отвращения ко всему, что отзывается «делечеством», сделками, исканием денег, возней с процентчиками и маклаками всякого сорта.

Эта другая причина—та, что я был как бы обязательный сотрудник собственного журнала по беллетристике.

Роман «В путь-дорогу» был начат в 1862 году, при Писемском. И в течение того года были напечатаны две книги, а их значилось целых шесть.

В начале 1863 года, когда я сделался издателем-редактором «Библиотеки», у меня еще ничего готового не было, и я должен был приготовить «оригиналу» еще на две части, а в следующем 1864 году понадобились еще две.

Из-за редакторских забот и хлопот я оттягивал работу беллетриста до конца года. И, увидав невозможность работать как романист, я даже взял себе комнату (на Невском, около Знаменья) и два месяца жил в ней, а в редакции являлся только изредка.

Вся обуза издательства и денежных хлопот лежала уже отчасти на Воскобойникове, отчасти на секретаре, моем товарище по гимназии, враче Д. А. Венском, которому я предложил это место несколько месяцев спустя после перехода журнала в мои руки.

С ним я работал и над романом. Каждый вечер он приходил ко мне, в мой студенческий номер, и писал под мою диктовку почти что стенографически.

И дальше работа романиста—так же интенсивно—захватывала меня. Подходил новый год. Надо было запастись каким-нибудь большим романом. А ничего стоящего не имелось под руками. Да и денежные дела наши были таковы, что надо было усиленно избегать всякого крупного расхода.

И мы в редакции решили так, что я уеду недель на шесть в Нижний и там, живя у сестры, в полной тишине и свободный от всяких тревог, напишу целую часть этого романа, который должен

был появляться с января 1865 года. Роман этот я задумывал еще раньше. Его идея навеяна была тогдашним общественным движением, и я его назвал «Земские силы».

Если беллетрист верой и правдой служил журналу, погибавшему от недостатка денежных средств, то он же превратил редактора в сотрудника, который запирался по целым месяцам и даже уезжал в провинцию, чтобы доставить как можно больше дарового материала.

Но даровым он вполне не был. Хотя я и сократил свои расходы донельзя, но все-таки должен был тратить и на себя.

И, раз выпустив из своих рук ведение дела, я уже не нашел в себе ни уменья, ни энергии для спасения журнала. Он умер как бы скоропостижно, потому что с 1865 года, несомненно, оживился, но к маю того же года его не стало.

Прошло три с лишком года после прекращения «Библиотеки». В Лондоне в июне 1868 года я работал в круглой зале Британского музея над английской статьей «The Nihilism in Russia», которую мне тогдашний редактор «Fortnightly Review» Дж. Морлей (впоследствии министр в кабинете Гладстона) предложил написать для его журнала.

Мне понадобилось сделать цитату из моей публицистической статьи «День» о молодом поколении, которую я, будучи редактором, напечатал в своем журнале ¹²⁶.

Я затребовал себе номер журнала и тотчас же получил его.

Это дало мне мысль просмотреть все книжки «Библиотеки» за время моего издательства.

Я не имел времени все их прочесть (их было больше двух дюжин); но я просмотрел содержание всех этих номеров и припоминал при этом разные эпизоды моего редакторства.

Меня приятно удивило множество имен сотрудников, принадлежавших к лучшей доле нашей интеллигенции. Умирающий, дряхлый орган не мог собрать на свои страницы такого писательского персонала!

И тогда я ясно увидел, что неудача моего предприятия сидела не в том, что журнал был бесцветен, бессодержателен, сух, скучен или ретрограден, а от совпадения и многих других причин.

В списке сотрудников за эти с небольшим два года я увидал имена очень многих беллетристов (некоторые у меня и начинали), ученых, публицистов, которые и позднее оставались на виду.

Сколько новых знакомств и сношений принесло мне редакторство в нашей тогдашней интеллигенции! Было бы слишком утомительно и для моих читателей говорить здесь обо всех подробно; но для

картины работы, жизни и нравов тогдашней пишущей братии будет небезынтересно остановиться на целой серии моих бывших сотрудников.

На вопрос: кто из тогдашних первых корифеев печатался в «Библиотеке»?—я должен, однакож, ответить отрицательно. Вышло это не потому, что у меня не хватило усердия в привлечении их к журналу. Случилось это, во-первых, оттого, что мое редакторство продолжалось так в сущности недолго; а главное—от причин, от моей доброй воли не зависящих.

Перечислю здесь всех тогдашних «генералов от литературы».

Толстой тогда в Петербурге не жил; кажется, совсем и не наезжал туда; по крайней мере, с 1861 по 1865 год не привелось нигде там с ним встретиться.

Я тотчас же написал ему письмо с просьбой о сотрудничестве и получил от него вежливый ответ, но без всякого обещания.

Тургенев приехал в Петербург в зиму 1863—64 года. Я явился к нему в «Hôtel de France», где он останавливался и повторил ему мою просьбу, с которой уже обращался к нему письменно за границу.

Он переживал тогда полосу своего первого отказа от работы беллетриста. Подробности этого разговора я расскажу ниже, когда буду делать «résumé» моей личной жизни (помимо журнала за тот же период времени). А здесь только упоминаю о чисто фактической стороне моих сношений с тогдашними светилами нашей изящной словесности.

К Гончарову считалось тогда совершенно бесполезным обращаться. Он ничего не печатал, и его «Обрыв» стал появляться в «Вестнике Европы» несколько лет спустя, в 1869 году.

С ним лично никаких встреч у меня не было. Я бы затруднился сказать, в каких литературных домах можно было его встретить. Скорее разве у Краевского, после печатания «Обломова»; но это относилось еще к концу пятидесятих годов.

Федор Достоевский работал на свой журнал и нигде больше не появлялся.

В кружок его журналов (сначала «Время», потом «Эпоха») я вхож не был, и наше личное знакомство состоялось уже позднее—по поводу прекращения его журнала, когда «Библиотека» удовлетворяла его подписчиков.

Салтыков точно так же печатал тогда свои вещи исключительно у Некрасова и жил больше в провинции, где служил вице-губернатором и председателем казенной палаты. Встречаться с ним в те года также не приводилось, тем более, что я еще не был знаком с Некрасовым,

и никто меня не вводил в кружок редакции его журнала—и до прекращения «Современника» и после того.

О своих беседах и встречах с Островским я рассказывал в предыдущей главе. Я ездил к нему в Москву и как редактор; но он в те годы печатал свои вещи только у Некрасова и редко давал больше одной вещи в год.

Григоровича я не просил о сотрудничестве, хотя и был с ним немножко знаком. В то время его имя сильно потускнело, и напечатанная им у Каткова повесть «Два генерала» (которую я сам разбирал в «Библиотеке») не особенно заохочивала меня привлекать его в сотрудники ¹²⁷.

В Москве же в 1864 году Писемский предлагал мне одну пьесу; но я нашел ее не стоящей того высокого гонорара, который он за нее назначил.

Из поэтов того же поколения Полонский у меня печатался.

От старой редакции «Библиотеки» перешли ко мне два молодых беллетриста с талантом: Генслер и граф Салиас.

Генслера я раньше видел, кажется, мельком, в конторе журнала, на Невском; но знакомство произошло уже у меня, на редакционной квартире, в Малой Итальянской.

Перед тем он, при Писемском, напечатал ряд очерков «Гаванские чиновники» и обратил на себя внимание изображением курьезных нравов, юмором, веселостью, языком.

Мне достались его «Записки кота» и продолжение «Гаванских чиновников». Но ни в той, ни в другой вещи уже не было яркости и новизны первых очерков.

Личность этого юмориста, чисто петербургского пошиба и бытового склада, не имела в себе по внешности и тону ничего ни художественного, ни вообще литературного. Генслер был званием врач, из самых рядовых, обруселый немец, выросший тут же, на окраинах Петербурга, плотный мужчина, без всяких «манер», не особенно речистый, так что трудно было бы и распознать в нем такого наблюдательного юмориста.

Видел я его летом два-три раза. Он если и не принадлежал к тогдашней «богеме», то во всяком случае был бедняк, который вряд ли мог питаться от своей медицинской практики. Долго ли он жил—не помню; но еще до конца моего издательства прекратилось его сотрудничество.

У графа Салиаса принята была Писемским повесть. Его я встречал в конторе журнала еще до моего редакторства. Он был тогда

красивый юноша, студент, пострадавший за какую-то студенческую историю. Кажется, он так и не кончил курса из-за этого ¹²⁸. Он жил в Петербурге; но часто гостил у своей родной сестры, бывшей замужем за Гурко, впоследствии фельдмаршалом, а тогда эскадронным или полковым командиром гусарского полка. Мать его проживала тогда за границей, в Париже, и сделалась моей постоянной сотрудницей по иностранной литературе.

Она печатала у меня изложение наделавшей тогда шуму политической сатиры Лабулэ «Париж в Америке» и много других таких же извлечений.

Сын ее смотрел очень воспитанным, франтоватым молодым человеком, скорее либерального образа мыслей. В «Библиотеке» он не удержался и позднее стал более известен своими письмами из Испании в газете «Голос», прежде чем стал печатать в «Русском Вестнике» своих «Пугачовцев».

Я его не встречал очень давно и раз обедал с ним—уже в девяностых годах—у издателя «Нивы» Маркса, когда тот пригласил на обед своих сотрудников—исключительно романистов (в их числе Григоровича), и нас оказалось семь человек.

Новым для журнала и для меня из молодых же писателей (но уже старше Салиаса) был Н. Лесков, который тогда печатался еще под псевдонимом «Стебницкий». Чуть ли не у меня он и стал подписываться своей подлинной фамилией.

Этот сотрудник сыграл в истории моего редакторства довольно видную роль и—для журнала—довольно злополучную, хотя и не преднамеренно. Он вскоре стал у меня печатать свой роман «Некуда», который всего более повредил журналу в глазах радикально настроенной журналистики и молодой публики.

Привел его ко мне Воскобойников или Щ[ег]лов, во всяком случае, один из них. Он был автор повести, которая мне понравилась; и сам он показался мне человеком оригинальным, очень бывалым, наблюдательным, с хлестким, бытовым умом. Но сразу же я начал распознавать в его личности и разные несимпатичные черты характера. Человека с университетским образованием я в нем не чувствовал. Он совсем не был начитан по иностранным литературам, но отличался любознательностью по разным сферам русской письменности, знал хорошо провинцию, купечество, мир старообрядчества, о котором и стал писать у меня, и в этих статьях соперничал с успехом с тогдашним специалистом по расколу П. И. Мельниковым.

Он много перед тем вращался в петербургском журнализме, работал и в газетах, вхож был во всякие кружки. Тогдашний нигилизм

и разные курьезы, в роде опытов коммунистических общежитий, он знал не по рассказам. И отношение его было шутовское, но не особенно злобное. Никаких выходов недопустимого у меня обскурантизма и полицейской благонамеренности он не позволял себе.

Он только что тогда пожил в Париже (хотя по-французски, кажется, не говорил), где изучал тамошнюю русскую колонию, бывшую уже довольно значительной, после того как дешёвые паспорта и выкупные свидетельства позволили очень многим «вояжировать», да и курс наш стоял тогда прекрасный.

Я ему предложил записать свои парижские впечатления, и он выполнил эту работу бойко и занимательно. Русских парижан он разделил на два лагеря: «елисеевцы, то-есть, баре, селившиеся в Елисейских Полях, и «латинцы», то-есть молодежь и беднота Латинского квартала ¹²⁹.

Нетрудно было оценить в нём очень полезного сотрудника и по части вот таких очерков, и как беллетриста.

С замыслом большого романа, названного им «Некуда», он стал меня знакомить и любил подробно рассказывать содержание отдельных глав.

Я видел, что это будет широкая картина тогдашней «смуты», куда должна была войти и провинциальная жизнь, и Петербург радикальной молодежи, и даже польское восстание. Программа была для молодого редактора, искавшего интересных вкладов в свой журнал, очень заманчива.

В первой части романа—весьма обширной—не было ещё ничего, что сделалось бы щекотливым в смысле либерального направления.

Тогда все редакторы—самые опытные, как например Некрасов,—не требовали от авторов, чтобы вся вещь была приготовлена к печати. Так и я стал печатать «Некуда», когда Лесков доставил мне несколько глав на одну, много на две книжки.

«Некуда» сыграло почти такую же роль в судьбе «Библиотеки», как фельетон Камня Виногорова (П. И. Вейнберга) о г-же Толмачевой в судьбе его журнала «Век» ¹³⁰; но с той разницей, что впечатление от романа накапливалось целый год и, весьма вероятно, повлияло уже на подписку 1865 года. Всего же больше повредило оно мне лично, не только как редактору, но и как писателю вообще, что продолжалось очень долго, по крайней мере до наступления семидесятих годов.

Я не перечитывал «Некуда» после тех годов.

Смешно вспомнить, что тогда этот роман сразу возбудил недоверчивое чувство в цензуре. Даже мягкий де-Роберти с каждой новой

главой приходил все в большее смущение. Автор и я усиленно должны были хлопотать и отстаивать текст.

И кончилось это чем же?

Беспримерным эпизодом в истории русской журналистики; по крайней мере, я лично ничего подобного никогда не слышал.

Когда я увидел, что одному цензору не справиться с этим заподозренным—пока еще не радикальной публикой, а цензурным ведомством—романом, я попросил, чтобы ко мне на редакционную квартиру, кроме де-Роберти, был отряжен еще какой-нибудь заслуженный цензор и чтобы чтение произошло совместно в присутствии автора.

Так это и состоялось. В воскресное утро в моей маленькой голубой гостиной, где я обыкновенно принимал даже с рукописями, сидели мы несколько часов над этой работой. В антракты я предложил цензорам легкий завтрак.

С цензором Веселаго (впоследствии член совета) я тут только ближе познакомился.

Это был, как народ называет, «тертый калач», умный, речистый, веселый человек, бывший моряк, к литературе имевший некоторое «касательство», как автор статей по морским вопросам.

Он считался среди редакторов и авторов все-таки более покладливым, хотя очень большой поблажки от него трудно было ждать.

Сидели мы, сидели, слушали, судили, спорили. Кое-что удалось спасти; но многое погибло.

Никто бы не поверил из тех, кто возмущался романом, что его роды были так тягостны.

Веселаго держался благодушного тона и старался все уверить нас, что он вовсе не обскурант и не гасильник.

Когда за завтраком разговор сделался менее официальным, я ему сказал:

— Федосей Федорович! цензорам история приготовила свое место. Напрасно вы так оправдываетесь!

Он обратил это в шутку и весело воскликнул:

— Что поделаешь с Петром Дмитриевичем. Это у нас—enfant terrible!

И через такие мытарства роман «Некуда» проходил до самого конца, и его печатание задерживалось часто только из-за цензуры.

Наконец, не в виде запоздалого самооправдания, а как положительный факт, прибавлю здесь, что с тех пор, как я устранился от заведывания журналом, я сам не просматривал рукописи последней части «Некуда» и даже не читал корректуры.

Конечно, публики и критики это не касалось; но личной ответственности перед самим собою я и задним числом взять не могу ¹³¹.

С Лесковым мы в общем ладили. Но, к сожалению, он вошел и в мои денежные затруднения. Когда ему стало известно более точно, и от Воскобойникова и от меня, о положении дел, он все повторял, что «с кредиторами надо ладиться» и «изыскивать новые источники».

Как автор «Некуда», которому приходилось много платить, он выказывал себя довольно покладистым, и долг ему за гонорар начал расти к концу 1864 года. Он достал нам и небольшую сумму (что-то в роде тысячи рублей или немного больше), и этот долг, на который я выдал документ, сделался источником весьма неприятных отношений. Он и позднее не прижимал, не затевал дела; но на него в редакции ложилась некоторая тесть—не он ли сам наш займодавец—уж не по гонорару только, а по документу, по которому надо было выплачивать и проценты? Сколько я помню, он постоянно говорил, что деньги—его жены или кого-то из родственников.

Как сотрудник, он продолжал после «Некуда» давать нам статьи—больше по расколу—интересные и оригинальные по языку и тону. Тогда он уже делался все больше и больше специалистом и по быту высшего духовенства и вообще по религиозно-бытовым сторонам великорусской жизни.

Мы с ним вели знакомство до отъезда моего за границу. Я бывал у него в первое время довольно часто, он меня познакомил со своей первой женой, любил приглашать к себе и вести дома беседы со множеством анекдотов и случаев из личных воспоминаний. К его натуре у меня никогда не лежало сердце; но между нами все-таки установился такой тон, который воздерживал от всего слишком неприятного.

Как-то потом, вспоминая про Лескова из того времени, называл его «*âme damnée*» «Библиотеки для Чтения».

Его роман повредил нам—это неоспоримо; но, если бы журнал удержался, такой сотрудник, как Лесков,—даже и по беллетристике, не мог бы только своей личностью вредить делу.

С ним, и по гонорару и как с займодавцем, я рассчитался после 1873 года. Доверенное лицо, которое ладило и с ним тогда (я жил в Италии, очень больной), писало мне, а потом говорило, что нашло Лескова очень расположенным покончить со мною совершенно миролюбиво. Ему ведь более, чем кому-либо, хорошо было известно, что я потерял на «Библиотеке» состояние и приобрел непосильное бремя долгов.

В Петербурге в начале семидесятых годов мы возобновили знакомство, но поводом к тому—для меня, по крайней мере—было то, что оставалось еще что-то ему заплатить.

Он в это время устроился более на семейную ногу; дети его подросли. Не помню, жива ли была его жена; но он жил в одной квартире с какой-то барыней, из помещиц.

Помню и то, что Лесков звал меня на целых трех архиереев, но, кажется, вечер этот не состоялся.

Тогда он писал в «Русском Вестнике» и получил новую известность за свои «Мелочи архиерейской жизни», которые писал в какой-то газете. Он-таки нашел себе место и хороший заработок; но в нем осталась накипь личного раздражения против радикального лагеря журналистики.

И в самом деле, ему слишком долго и упорно мстили, как автору «Некуда». Да и позднее в левой нашей критике считалось как бы неприличным говорить о Лескове. Его умышленно замалчивали, не признавали его несомненного таланта, даже и в тех его вещах (из церковного быта), где он поднимался до художественности, не говоря уже о значении быта.

Меня лично, когда я его читал (особенно его последние вещи), коробила искусственность его языка, его манеры, излишнее щегольство только ему принадлежащим жаргоном. Но такой дефект—еще не оправдание для тех рецензентов, которые игнорировали его с такой предвзятостью.

А тем временем и в его направлении произошла значительная эволюция. Он стал увлекаться учением Толстого и все дальше отходил от государственной церкви. Это начало сказываться в тех его вещах, которые стали появляться в «Русской Мысли», у Гольцева.

Тогда произошла его реабилитация. Московский журнал принадлежал к той же радикально-народнической фракции, как и «Отечественные Записки», где все-таки продолжали иметь против него «зуб», как против автора «Некуда»¹³².

Со второй половины семидесятых годов и до его смерти жизнь нас не стлкнувала. Может быть, он считал себя задетым тем, что я в Петербурге не поддавался на его приглашения. Это сказалось, как мне кажется, в том, как он заговорил со мною на обеде, который петербургская литература давала Шпильгагену. Он без всякого повода стал говорить ненужные резкости. Правда, он тогда выпил лишнее, и всем памятно то его русское обращение к Шпильгагену, которое так любил вспоминать покойный П. И. Вейнберг, бывший распорядителем на этом обеде.

Лесков, подойдя к тому месту, где спел Шпильгаген, обратился к нему в чисто российском вкусе.

Но тот же П. И. Вейнберг сообщал мне по смерти Лескова, что, когда они с ним жилали на море (кажется, в Меррекуле) и гуляли вдвоем по берегу, Лесков всегда с интересом справлялся обо мне и относился ко мне, как к романисту, с явным сочувствием, любил разбирать мои вещи детально и всегда с большими похвалами.

Он высказывался так обо мне в одной статье о беллетристике незадолго до своей смерти. Я помню, что он еще в редакции «Библиотеки для Чтения», когда печатался мой «В путь-дорогу», не раз сочувственно отзывался о моем «письме». В той же статье, о какой я сейчас упомянул, он считает меня в особенности выдающимся как «новеллист», то-есть как автор повести и рассказов.

Из новых критиков Волинский занялся Лесковым, как крупным дарованием, и, по мнению некоторых, даже слишком поднял его ¹³³.

Так или иначе, но мне, как редактору «Библиотеки», нечего, стало быть, сожалеть, что я дал главный ход автору «Некуда», хотя он так и повредил журналу этой вещью.

Теперь, когда и этот автор давно уже отошел *ad patres*, какле же могут быть у нас счеты?

И я был искренно доволен тем, что «Русская Мысль», наконец, «реабилитировала» Лескова и позволила ему показать себя в новой фазе его писательства. Этого немногим удастся достичь на своей писательской стезе.

Рядом с фигурой Лескова, как нового сотрудника «Библиотеки», выступает в памяти моей другая, до сих пор полутайниственная личность.

Это был А. П. Бенни. Мне привел его Лесков, и они постоянно оставались в приятельских отношениях.

После смерти Бенни Лесков выпустил, как известно, брошюрку, где он рассказывал правду о своем покойном собрате и старался очистить его от подозрений... ни больше, ни меньше, как в том, что он был агент-provokator, выражаясь по-нынешнему ¹³⁴.

Когда Бенни впервые попал в редакцию, я почти ровно ничего не знал об его прошлом. И Лесков и Воскобойников (уже знакомый с Бенни) рассказывали мне только то, что не касалось подпольной его истории.

А подпольность эта заключалась в том, что Бенни (Бениславский)—сын англичанки и польского реформатского пастора еврейского происхождения—как молодой энтузиаст, стал объезжать выдающихся

русских общественных деятелей (начиная с Каткова и Аксакова) для подписания адреса о даровании конституции.

Сам Бенни бывал со мною очень сдержан и говорил только о том, что не касалось интимной стороны его жизни. В нем я увидел сразу очень образованного европейца, бывалого, с большим интересом к общественным и политическим вопросам. Он уже работал в русских газетах (в том числе вместе с Лесковым), по-русски говорил хорошо, с легким, более польским, чем английским, акцентом, писал суховато, но толково и в передовом духе. Беседа его была всегда занимательна. Но—это правда!—было всегда что-то в его тоне, усмешке, разных недосказах—полутапшественное. Оно-то и повредило ему всего больше.

Он приносил свои статьи, заглаживал и просто, к себе не приглашал, много говорил про заграничную жизнь, особенно про Англию. Никогда он не искал со мною разговоров с глазу на глаз, не привлекал ни меня, ни кого-либо в редакции к какой-нибудь тайной организации, никогда не приносил никаких прокламаций или заграничных брошюр.

Такой «провокактор» был бы крайне курьезен.

Но у него и тогда уже были счеты с Третьим отделением по сношениям с каким-то «государственным преступником». Вероятно, он жил «на поруках». И его сдержанность была такова, что он, видя во мне человека, явно к нему расположенного, никогда не рассказывал про свое «дело». А «дело» было, и оно кончилось тем, что его выслали за границу, с запрещением въезда в Россию ¹³⁵.

Тургенев, когда я с ним познакомился, был также вызван в Петербург Третьим отделением для дачи каких-то показаний ¹³⁶.

И вот он раз, когда речь зашла о Бенни (он его знал еще с тех дней, когда тот объезжал с адресом), рассказал мне, что дело, по которому он был вызван, ему дали читать целиком в самом Третьем отделении. Он прочитал там многое, для него занимательное.

— И показания Бенни,—сказал он мне,—отличаются необыкновенной порядочностью. Ни единого оговора, ничего такого, что показывало бы желание выгородить только самого себя. А другие тут же повели себя совсем не так...

Мне было особенно приятно это слышать. И я никогда не хотел иметь против Бенни никакого предубеждения.

Он уехал за границу, стал печатать английские статьи. Но участвовал ли в каких русских газетах—я не знаю.

Наше свидание с ним произошло в 1867 году в Лондоне. Я спускался с ним из Парижа. Он мне приготовил квартиру в том же доме, где и сам жил. Тогда он много писал в английских либеральных

органах. И в Лондоне он был все такой же и так же сдержанно касался своей более интимной жизни. Но и там его поведение всего дальше стояло от какого-либо провокаторства. А со мной он вел только такие разговоры, которые были мне и приятны и полезны, как туристу, впервые жившему в Лондоне.

За дальнейшей его судьбой за границей я не следил и не помню—откуда он мне писал, вплоть до того момента, когда я получил верное известие, что он, в качестве корреспондента, нарвался на отряд папских войск (во время последней кампании Гарибальди), был ранен в руку, потом лежал в госпитале в Риме, где ему сделали неудачную операцию и где он умер от антонова огня.

Все это было рассказано в печати г-жой Пешковой (она писала под фамилией Якоби), которая проживала тогда в Риме, ухаживала за ним и—по возвращении моем в Петербург, в начале 1871 года,—много мне сама рассказывала о Бенни, его болезни и смерти¹³⁷. Его оплакивала и та русская девушка, женихом которой он долго считался.

Из его родных я раз видел мельком его сестру; а в Париже познакомился с его братом, Шарлем Бенни, который учился там медицине, а потом держал на доктора в Военно-Медицинской академии и сделался известным практикантом в Варшаве.

Этот Шарль очень офранцузился, по-русски говорил с сильным акцентом, и в его типе сейчас же сказывалась еврейская кровь. Артур (то-есть наш Бенни) только цветом рыжеватой бородки и острой взгляда выдавал отчасти свою семитическую расу.

За еврея никто из нас не имел права его считать; да и он был настолько щекотлив по этой части, что ему нельзя было бы предложить вопроса—какой он расы. Он, видимо, желал, чтобы его считали скорее англичанином.

И вот тот факт, что он как бы скрывал происхождение свое от отца—ополченного еврея-протестанта,—навлек на него и после смерти опять новые нарекания и по этой части.

В Лондоне в 1867 году, когда он был моим путеводителем по британской столице, он тотчас же познакомил меня с тем самым Рольстоном (библиотекарем Британского музея), который один из первых англичан стал писать по русской литературе.

Мы и жили с Бенни очень близко от его квартиры.

И вот, когда я в следующем 1868 году приехал в Лондон на весь сезон (с мая по конец августа) и опять поселился около Рольстона, он мне с жалобной гримасой начал говорить о том, что Бенни чуть не обманул их тем, что не выдал себя прямо за еврея.

У таких респектабельных британцев еврейская раса—все еще клеймо. А требовать от Бенни, чтобы он всем докладывал: «отец мой—еврейской расы»—было бы слишком.

Но так как в его манере и тоне было всегда что-то недосказанное и как бы полузагадочное, то такое умолчание и могло сойти за умышленный обман.

Самая ужасная это доля тех, кого вдруг, неизвестно почему, начнут подозревать. Пример Бенни—не единственный в истории нашей интеллигенции шестидесятых годов.

Вспомните, как известный ученый и издатель научных сочинений К[овалев]ский, бывший одно время приятелем семейства Герцена, был заподозрен в шпионстве. И русские, в согласии самого Герцена, произвели в отсутствие К[овалев]ского у него домашний обыск—и ничего не нашли. Мне это рассказывал один из производивших этот обыск, Николай Курочкин, брат Василия,—тогда уже постоянный сотрудник «Отечественных Записок» Некрасова и Салтыкова¹³⁸.

Так и бедный Артур Иванович сошел в могилу с таким пятном, от которого Лесков в память их приятельства пожелал очистить его в своей брошюре. В какой степени это ему удалось—я не знаю; но мне, да и всем, кто знал ближе Бенни, было приятно читать такую защиту.

Какую бы тайну он ни унес с собою в могилу, но разве не характерен тот факт, что он погиб от пули папского зуава, в качестве корреспондента английской либеральной газеты, и тогда, когда въезд в Россию был ему запрещен Третьим отделением?

Он легко находил работу в английских журналах. Его печатали в таких солидных и передовых органах, как «Fortnightly Review» и «Observer». По-английски он писал легко, интересно, но без выдающегося таланта, как и по-русски.

Как публицист, он и «Библиотеке» не мог придавать блеска и по всему своему складу держался всегда корректного тона, гораздо умереннее своих политических принципов. Был он и хороший переводчик. У нас он переводил начало романа Диккенса: «Наш общий друг».

Статьи свои в «Библиотеке» он писал больше анонимно и вообще не выказывал никаких авторских претензий, при всех своих скудных заработках не отличался слабостью к «авансам» и ладил и со мною и с теми, кто составлял штаб редакции.

Таких джентльменов после не было у нас, среди пишущей братии. Из него романисту не трудно бы было сделать полутайнственное лицо в каком-нибудь международном политическом романе.

Лесков еще при жизни его как бы напороочил ему трагическую смерть, взяв его моделью для героического лица своего Райнера, являющегося во второй половине «Некуда», как один из пришельцев, увлеченных польским восстанием.

Это одно показывает, что он не считал и тогда Бенни способным на темную роль, а, напротив, человеком, который готов был бы пострадать за правое дело.

Как политический деятель и как публицист, Бенни явился на сорок лет раньше, чем следовало.

Целый ряд «начинающих» пришли в «Библиотеку». Некоторые и начинали именно у меня. Почти все составили себе имя, если не на чисто писательском поприще, то в других областях умственного труда и общественной деятельности.

Одним из самых молодых, явившимся ко мне со своей первой рукописью, был юморист Лейкин, впоследствии сделавшийся очень популярным беллетристом и умерший богатым человеком от экономии из своих писательских заработков.

Помню, ко мне в гостиную вошел брюнетик, франтовато одетый, в красном галстуке, тогда еще худощавый, приятной наружности и совсем еще не хромой.

Он смотрел конторпстом и действительно был купеческого звания и служил в какой-то иностранной экспортной конторе.

Эта служба дала ему богатый материал для изучения нравов нашего мелкого купечества.

Он и написал свои очерки «Господа Апраксинцы» и принес их редактору «Библиотеки», про которого пошла молва, что он хорошо платит, а главное, дает авансы.

Про то рассказывал сам Лейкин незадолго до смерти, в своих воспоминаниях ¹³⁹.

Я сейчас же, не отдавая рукописи Эдельсону, распознал живую наблюдательность и бойкий жаргонный язык начинающего гостинодворца... и стал печатать его «Апраксинцев» в первых же книжках, вышедших под моей редакцией.

С тех пор Лейкин—сколько помню—долго не приносил нам ничего. Но эта первая его вещь, напечатанная в большом журнале, дала ему сразу ход, и он превратился в присяжного юмориста из купеческого быта в органах мелкой прессы, которая тогда только начала складываться в то, чем она стала позднее.

И Лейкин умер первым сюжетом увеселительной газетной беллетристики, сумевшим свою купеческую смекалку пустить в оборот с

чрезвычайной плодovitостью и доходностью. Про него можно было сказать не только: «*nulla dies sine linea*», но и—«ни одного дня без целого нового рассказа».

Встретился я с ним уже много лет спустя, когда он потолстел и стал хромать, был уже любимцем Гостинного Двора, офицеров и чиновников, писал, кроме очерков и рассказов, и бытовые пьески, сделал себе и репутацию вивёра, любящего кутнуть, способного произвести скандалец где-нибудь у немцев в Шустер-клубе.

Но он «рассудку» не терял, нажил себе доходный дом и дачу, где пристрастился к разведению редких пород кур, которые и посылал на выставки.

Всего раз привелось мне—уже в конце XIX века—быть у него, в его собственном доме, и видеть его обстановку.

Это было по поводу нашего совместного участия в ревизионной комиссии одного писательского общества.

Он и дома, в обширном кабинете, забавлял себя всякими юмористическими выдумками.

У него были целых четыре москы. Он приучил их лежать у четырех ножек стола и, указывая мне на них, говорил: «Прозвал я их, П[етр] Дмитриевич, «ноюще, вопиюще, взывающе и глаголюще».

Так и прожил свой удачливый писательский век благообразный конторист в красном галстуке, явившийся ко мне с «Апраксинцами», которых он потом столько лет всячески забавлял.

Новым для меня лично был и князь А. И. Урусов, хотя я его и нашел уже в числе сотрудников «Библиотеки».

Я уже говорил, как я в Москве разыскивал, кто скрывается под псевдонимом «Александр Ивапов»—автор статей о Позняковой, ее дебюте в моем «Ребенке» и самой драме.

Это оказался студент второго курса на юридическом факультете Урусов. И я, как только сделался редактором, сейчас же написал ему в Москву и просил о продолжении его сотрудничества по театру и литературной критике.

О своей связи с молодым Урусовым и дальнейших наших приятельских отношениях (когда он сделался адвокатской знаменитостью) я уже говорил и в тех воспоминаниях, которые дал в сборнике, посвященном ему¹⁴⁰, и в других местах.

Не желая повторяться, я остановлюсь здесь на том, как Урусов именно в «Библиотеке» и у меня, в редакционной квартире, вошел в жизнь писательского мира и стал смотреть на себя как на литератора, развил в себе любовь к театру, изящной словесности и искусству

вообще, которую без участия в журнале он мог бы и растратить гораздо раньше.

По своей «литературности» он и тогда выделялся из всех моих молодых сотрудников, даже и тех, у кого было больше таланта, кто выработал из себя беллетристов и публицистов.

Наше тогдашнее сближение произошло в два приема в течение моего редакторства: сначала в его первый приезд в Петербург вместе с матерью, а потом, когда он гостил у меня в квартире и пробыл вместо одной недели целых шесть и больше—с масленицы до начала мая.

Несмотря на разницу лет (ему было двадцать один, а мне уже и целых двадцать восемь), мы сошлись совершенно как студенты, оба преданные литературе, с очень сходными вкусами, идеями, любимыми авторами, любимыми артистами и с общностью всей нашей бытовой культуры.

И он был «барское дитя», типичный москвич; но его детство, отрочество и первая юность прошли в более привольной и пестрой светской и товарищеской жизни.

У меня с детства была некоторая связь и с фамилией Урусовых. Его родной дядя, князь М. А. Урусов, был долго у нас, в Нижнем, губернатором. С его сыновьями я танцевывал мальчиком на детских балах, а потом студентом—и с их матерью.

Кажется, ни с кем из моих начинающих сотрудников я не был так близок и так долго не сохранил этой связи.

Она продолжалась и за границей в первую мою поездку (сентябрь 1865—май 1866 года) и закрепилась летом, когда я гостил у Урусовых в Сокольниках и потом прожил в отечестве до конца этого года. Переписка наша возобновилась и с новым моим отъездом в Париж и продолжалась, хотя и с большими перерывами, до моего возвращения в Россию, к январю 1871 года.

В это время Урусов из студента и сотрудника «Библиотеки» превратился в знаменитость адвокатуры. Таким он со мною и встретился в Петербурге в первую же мою там зиму.

Того, прежнего, Урусова в нем уже я не нашел. Слава, большой заработок, успех у женщин, щекотание тщеславия—отвели его совсем в другую область.

И только в ссылке и потом на службе в Петербурге он опять сделался тем любителем изящной литературы и театра, который так привлекал меня в дни его первой молодости.

В «Библиотеке» он писал письма на художественные темы, не только о театре, но и по вопросам искусства. В работе он был

ленивенок, и его надо было подталкивать; но в нем дорог был его искренний интерес к миру изящного слова, какого я не видал в такой степени в его сверстниках.

Ему недоставало серьезности настоящего работника. Он слишком отдавался всем приманкам жизни, но жилка литературности никогда в нем не переставала биться.

И все, что он впоследствии и в Риге, и в Петербурге, и в Москве (когда переехал туда доживать) писал о театре, о книгах, об искусстве,—во всем этом он уже пробовал себя в «Библиотеке».

Практика адвоката, забота о материальном достатке, семейные дела, долгие любовные увлечения, великосветские знакомства—ничто не охладило его любви к изящной литературе—и русской и, в особенности, французской.

К тем годам, когда мы с ним были членами петербургского Шекспировского кружка (конец восьмидесятых и начало девятидесятых годов), Урусов уже был фантастическим поклонником Бодлера, а потом Флобера, и до смерти своей оставался все таким же «флористом».

Но этот культ великого французского реалиста не помешал ему сыграть роль и в нашем декадентстве. Он первый начал поощрять таких поэтов, как Бальмонт, и дружил с первоначальными кружками тогдашних «модернистов».

Но его увлекало всегда поклонение форме, искренность и оригинальность настроения. Поэзию он действительно любил, хотя, как критик, ценил гораздо больше внешнюю отделку, чем глубину мысли.

Он же, несколько ранее, влюбился в талант Чехова, когда тот только что стал печатать свои рассказы в «Новом Времени».

И к нашим классикам—к Пушкину, Гоголю, Лермонтову, Островскому—он относился как безусловный поклонник, изучал их детально, почти педантически. Одно время, по его совету, кружок его приятелей и приятельниц начал составлять словарь всех пушкинских слов.

Только к Толстому относился он с большими оговорками, недостаточно ценил его творческую силу и не прощал ему его нехудожественного языка.

В Москве, когда ужасная болезнь лишила его слуха и превратила почти что в руину, он не переставал читать своих любимых авторов, и, уже совсем глухим и павшим на ноги, он еще выступал на публичных чтениях с беседами на литературные темы.

Останься он только писателем—с тех самых годов, когда он работал у меня в «Библиотеке»,—из него не вышло бы ни Тэна, ни

даже Брандеса, но он выработал бы из себя одного из самых разносторонних и живых «эссенстов» по беллетристике, театру, искусству.

Но беллетристического таланта у него не было. Молодые его статьи написаны языком более простым и искренним, чем то, что он печатал двадцать лет позднее.

Из Москвы пришел к нам и Левитов, тогдашний соратник Слепцова и Николая Успенского в реалистическом изображении всякой «меньшей братии».

Это был типичный «богема» шестидесятых годов, родом семинарист, тоном и всем своим поведением московский неудачник, с неотделанным талантом и особенным пролетарски-народническим лиризмом.

У меня он печатал свои «Московские комнаты снебелью». В них он явился предтечей не только Глеба Успенского, но и Горького — сорок лет раньше появления его «босаяков», но без его босяческого революционного субъективизма.

Еще ближе к нему стоял другой реалист-лирик, явившийся раньше Горького, — Альбов.

Тогда, то-есть в начале шестидесятых годов, Левитов был, несомненно, инициатор этого настроения, этого усиленного сочувствия к мелкому, темному, порочному, бьющемуся люду.

И сам он представлял собою в полном смысле литературного пролетария, и притом с особенной горечью и жалобами на свою горькую долю.

Всегда без копейки, в долгах, подверженный давно «горькому испитию», Левитов в трезвом виде мог быть довольно занимательным собеседником, но с годами делался в тягость и тем, кто в нем принимал участие, в том числе и князю А. И. Урусову.

Сотрудник он был желательный, и я очень ценил его талант и манеру писать, его язык, по-своему весьма своеобразный и действующий на душу читателя. Но, разумеется, он отличался беспорядочностью работы и без «аванса» писать не мог.

Я потерял его из виду к концу моего редакторства, и уже по возвращении из-за границы, в 1871 году, слышал о его злосчастном доживании от москвичей.

Участие в «Библиотеке» лириков-реалистов, как Левитов, давших окраску тогдашней демократической беллетристике, показывает, до какой степени мы в журнале сочувствовали и такому течению, ценя, конечно, прежде всего талант и художественность исполнения.

Можно прямо сказать, что у нас были такие же точно сотрудники, как и в тогдашних более радикальных журналах, особенно по беллетристике.

Первой молодой силой «Современника» считался ведь Помяловский; а с ним я вступил в личное знакомство и привлекал его к сотрудничеству. Он положительно обещал мне повесть и взял аванс, который был мне после его скорой смерти возвращен его товарищем и приятелем Б[лаговещенс]ким.

Помяловский заинтересовал меня, когда я еще доучивался в Дерпте, своими повестями «Мещанское счастье» и «Молотов». Его «Очерки бурсы», появившиеся в журнале Достоевских ¹⁴¹, не говорили еще об упадке таланта, но ничего более крупного из жизни тогдашнего общества он уже не давал. И мы знаем, что помехой была, главным образом, его кутильная жизнь.

Его раньше меня знал Воскобойников, и, кажется, он и способствовал привлечению его к «Библиотеке».

У меня, в редакции, он был раза два-три, и мне, глядя на этого красивого молодого человека и слушая его приятный голос духовного тембра,—при его уме и таланте—было особенно горько видеть перед собою уже неисправимого алкоголика.

Раз мой верный служитель Михаил Мемнонов докладывает мне конфиденциально:

— Господин Помяловский пришли.

— В каком виде?—спрашиваю я.

— Совсем не годятся, П[етр] Дмитриевич.

И таким он бывал целыми неделями.

Вскоре он заболел, и его в клинике лечили от *delirium tremens*. Лежал он вместе с приятелем своим Щаповым, о котором я еще буду говорить, в клинике Военно-Медицинской академии, и я их обоих там навещал. Тогда он уже оправился, и я никак не думал, что он близок к смерти. Но у него сделалось что-то, потребовавшее операции, и кончилось это антоновым огнем и заражением крови.

В его лице безвременно погибла крупнейшая жертва русской действительности, ужасных привычек, грубости и дикости. И надо удивляться, как из своей жестокой «бурсы» он вынес столько свежего дарования, наблюдательности и знания совсем не одной семинарской и поповской жизни. Он это блистательно доказал такой вещью, как его «Молотов».

С Левитовым попал в редакцию и Глеб Успенский. Его двоюродного брата Николая я помню тоже в редакционном кабинете, но сотрудником журнала он, кажется, не сделался.

«Глебушку» привели москвичи. Он еще ничего не печатал в Петербурге, и у меня появился первый его рассказ «Старьевщик», прежде чем он стал печатать у Некрасова.

Он не был уже тогда очень юн, но смотрел ещё юношей. Я уже имел случай вспоминать о моем первом знакомстве с этим милым человеком и даровитейшим писателем, который кончил так печально.

Тогда я его, после появления в редакции с рассказом «Старьевщик», что-то мало помню в Петербурге. Больше он у меня,—если не ошибаюсь,—не печатал ничего.

Наше дальнейшее знакомство относится уже к семидесятым годам. Мы тогда вспоминали про «Старьевщика» и про его дебюты. Он уже получил известность, но все-таки не мог устроить своего материального положения сколько-нибудь прочно.

Все та же срочная и спешная работа, все те же долги редакторам, а когда обзавелся семьей,—усилившаяся нужда, хотя ему хорошо платили и охотно покупали у него право отдельных изданий.

Тип перебивающегося «с хлеба на квас» писателя и сложился в шестидесятых годах.

Прежде редкий писатель—даже и с крупным дарованием—жил только на гонорар. Такие таланты, как Гончаров, Салтыков, были десятки лет чиновниками.

А тут народилась «богема», и как раз к той полосе, когда мы выступали в литературе.

Под моим редакторством начинал и Антропов, впоследствии известный автор пьесы «Блуждающие огни». Его ввел Воскобойников, который был с ним очень близок и заботился о нем с отеческим чувством.

Теперь он забыт, и только любители театра помнят его «Блуждающие огни». Эту пьесу до сих пор играют еще в провинции.

В журнале он еще не пробовал себя, как беллетрист, а писал статьи и фельетоны очень бойким и изящным языком. Да и весь он был тогда чрезвычайно красивый и приятный брюнет, живой, пылкий, влюбчивый, возбуждающий в женщинах волнение, куда бы он ни появлялся. Он учился в Петербургском университете, литературу любил искренно. Но работника из него не вышло. Позднее, уже к семидесятым годам, он, после успехов как драматург, превратился также в «богему» и прожигал жизнь, предаваясь тем же излишествах, которые стольких писателей свели в преждевременную могилу.

В нашем редакционном кружке он давал молодую, изящную ноту; но тогдашними разрывными идеями не увлекался и был чрезвычайно предан культуре «чистого искусства».

В. П. Острогорский, сделавшийся популярнейшей личностью в петербургской интеллигенции, начинал в «Библиотеке» и дебютировал статьей, написанной по моему предложению и настоянию ¹⁴².

Он не был словесником по университетскому учению, а студентом-юристом,—не знаю, кончил ли курс,—и сделался потом учителем русской словесности ¹⁴³.

В редакцию он попал, вероятно, с какой-нибудь небольшой статейкой. Он мне понравился, и я, разговорившись с ним о Помяловском, которого он любил (и, кажется, был лично знаком с ним), предложил ему попробовать себя в критическом этюде.

Он справился с ним неплохо, но разбор вышел, конечно, в более публицистическом духе, как тогда требовалось. Я лично был бы гораздо довольнее этюдом, где талант и язык Помяловского стояли бы на первом плане.

Мы сохранили с Острогорским очень хорошие отношения, и каждый раз, когда он (особенно под веселый час) вспоминал о шестидесятих годах, он непременно указывал на меня бывшим тут общим знакомым и своим удушливо-зычным голосом восклицал:

— Петр Дмитриевич пустил меня в ход! Он мне предложил писать о Помяловском!

Такому и тогда искреннему и пылкому поборнику освободительных идей, как этому «Виктору» (так его мы все звали за глаза), в «Библиотеке для Чтения» было бы очень привольно. Но он и тогда уже пустился—для добывания себе средств к жизни—в учительство, где очень скоро выдвинулся среди петербургских более рутинных и мало даровитых педагогов.

Одна из последних наших встреч была в день его юбилея. Я приехал к нему уже после депутатий и застал его за столом, где стояли обильные закуски и, разумеется, в весьма возбужденном настроении от винных паров.

Он увел меня в кабинет, показал все подарки, адреса, венки и с юмором старого поклонника Бахуса сказал:

— Вот, П[етр] Дмитриевич, больше четверти века пью, а—как видите—ничего! Все еще жив курилка!

«Страшный заговорщик» Ткачев был тогда очень милый, тихонький юноша, только что побывавший в университете, где, кажется, не кончил ¹⁴⁴, и я ему давал переводы; а самостоятельных статей он еще не писал у нас. Я уже рассказывал, как он быстро перевел «Утилитаризм» Дж. Ст. Милля, который цензура загубила.

Вспоминается мне и одна подробность из времени работы Ткачева в «Библиотеке».

Я поручил моему секретарю свезти ему гонорар. Он застал не его, а мать его, и она, благодаря его, сказала ему:

— Передайте И[етру] Дмитриевичу, что мой Петя уж так для него старается, так старается.

И этот «Петя», еще до превращения своего в эмигранта, когда сделался критиком, разбирал в снисходительном тоне одну из моих повестей, которая, кажется, появилась в том самом «Деле», где он состоял одно время рецензентом ¹⁴⁵.

Тогда в «Библиотеке» ни он, ни мои ближайшие сотрудники, конечно, не могли бы себе представить этого тихого, улыбающегося юношу в роли эмигранта, который считался вожаком целой партии. За границей я его никогда не встречал ни в первые годы его житья там, ни перед его концом.

Из петербургских начинающих литераторов попал к нам и Пятковский, впоследствии постоянный сотрудник некрасовских «Отечественных Записок» и издатель «Наблюдателя».

Я с ним сдавал экзамен в Петербургском университете в знаменитые сентябрьские дни. Он был юрист, а может быть, и «администратор», как я, по программе моего кандидатского экзамена.

В «Библиотеку» он явился после своей первой поездки за границу и много рассказывал про Париж, порядки Второй империи и тогдашний полицейский режим. Дальше заметок и небольших статей он у нас не пошел—и, по тогдашнему настроению, в очень либеральном тоне. Мне он тогда казался более стоящим интереса, и по истории русской словесности у него были уже порядочные познания. Он был уже автором этюда о Веневитинове.

В семидесятых годах я нашел его сотрудником «Отечественных Записок» по библиографии, и он везде выставил радикализм своих взглядов, что плохо вязалось с некоторыми его душевными свойствами. Он держался кружка «Отечественных Записок», и я у него на вечеринках находил Н. Курочкина и Демерта.

Сделавшись присяжным педагогом и покровителем детских приютов, он дослужился до генеральского чина и затеял журнал, которому не придал никакой физиономии, кроме крайнего юдофобства. Слишком экономный, он отвалил от себя всех более талантливых сотрудников и кончил жизнь какого-то почти что Плюшкина писательского мира. Его либерализм так выродился, что, столкнувшись с ним на рижском штранде (когда он уже был издателем «Наблюдателя»), я ему прямо высказал мое нежелание продолжать беседу в его духе.

Но тогда, в шестидесятых годах, этот молодой литератор не посмел бы давать ход своему смешному и антипатичному юдофобству. Тогда этого совсем не было в воздухе; а мой журнал отличался, напротив,

самым широким отношением к полякам и ко всем вообще иппородам и жителям окраин.

Евреев было тогда еще очень мало в журналах и газетах. Их всех можно было бы перечесть по пальцам.

Кажется, П. И. Вейнберг направил ко мне весьма курьезного еврея, некоего О[ренш]тейна, которому я сам сочинил псевдоним «Семен Роговиков» — перевод его немецкой фамилии. Он был преисполнен желания писать «о материях важных», имел некоторую начитанность по-немецки и весьма либеральный образ мыслей и долго все возился с Гервинусом, начиная о нем статьи и не кончая их.

Он все почти время моего редакторства состоял при «Библиотеке», ходил в нее ежедневно со всевозможными проектами и статей и разных денежных комбинаций, говорил много, горячо, как-то захлебываясь, с сильным еврейским произношением. И всегда он был без копейки, брал авансы — правда, по мелочам — и даже одно время обшивался на счет редакции у моего портного.

Эту подробность проводили другие сотрудники, и она перешла в анекдот следующих генераций.

«Семен Роговиков» видался часто с Вейнбергом и, приходя в мой кабинет или в редакционную, где стояли шкапы и большой стол, на котором правились корректуры, неизменно начинал свои lamentации фразой:

— Положение Петра Исаича (Вейнберга) — не блестящее; но мое положение — ужасное!

Или переставлял половины этой фразы и говорил с той же жалостной миной:

— Мое положение — не блестящее; но положение Петра Исаича — ужасное!

А тогдашнее положение П. И. Вейнберга было действительно «не блестящее». Издательство «Века» наделило его большим долгом; он как-то сразу растерял и работу в журналах; а женитьба наградила его детьми, и надо было чем-нибудь их поддерживать.

Тогда-то он и был вынужден поступить на службу столоначальником в военное министерство и бился до назначения его в Варшаву профессором в главную школу, потом в университет и получения места редактора «Варшавского Дневника» с хорошим окладом и огромной казенной квартирой. Но это случилось уже к 1870 году.

Пикантно и то, что два «нововременца» начинали также в «Библиотеке для Чтения», один — почти исключительно, а другой — отчасти. Это были М. П. Федоров и Буренин.

Бывший впоследствии ответственным редактором «Нового Времени» Федоров (которого все звали «Эм-нè-фè») перешел в «Библиотеку» с самой своей первой статейки о французском театре и продолжал давать некоторое время отчеты и при мне.

С ним я был в личном знакомстве и через него сходилсЯ тогда (кажется, и до своего редакторства) с братьями Краевскими, сыновьями Андрея Александровича, и Евгением Утиным—его товарищем по Петербургскому университету.

Тогда, то-есть в первую половину шестидесятых годов, он представлял собою молодого барича благообразной наружности и внешнего изящества, с манерами и тоном благовоспитанного рантье. Он и был им, жил при матери в собственном доме (в Почтамтской), где я у него и бывал, и где впервые нашел у него молодого морского мичмана, его родственника (это был Станюкович), вряд ли даже где числился на службе, усердно посещал театры и переделывал французские пьесы.

Эта беспечная жизнь внезапно прекратилась. Из-за долгов его брата дом надо было продать и превратиться в литератора, живущего на гонорар с прибавкой какой-то службы.

В годы моей «Библиотеки» он был дилетант, любитель театра и беллетристики, без всякой политической окраски, но—как все тогда—с либеральным образом мыслей, хотя и был сыном бессарабского генерал-губернатора, генерала Федорова, одного из администраторов николаевского типа.

Ему и под старость, когда он состоял номинальным редактором у Суворина, дали прозвище: «котлетка и оперетка». Но в последние годы своего петербургского тускло-жуирного существования он, встречаясь со мною в театрах, постоянно повторял, что все ему приелось,—сонный, тучный и еще более хромой, чем в те годы, когда барски жил в доме своей матери на Почтамтской.

Буренин приехал из Москвы. Там он, как стихотворец, сошелся с Плещеевым и, вероятно, от него и был направлен ко мне. А с Плещеевым я уже был знаком по Москве.

Он уже помещал сатирические стихотворения в «Искре», но, живя подолгу в Петербурге, еще не распрощался с Москвой, где он учился в Школе живописи и ваяния и вышел оттуда с званием архитекторского помощника.

По-тогдашнему он совсем не обещал того, что из него вышло впоследствии в «Новом Времени». Он остроумно рассказывал про Москву и тамошних писателей, любил литературу и был, как Загорецкий, «ужасный либерал». Тогда он еще не проник к Коршу, в «Петербургские

Ведомости», где сделался присяжным рецензентом в очень радикальном духе. Мне же он приносил только стихотворные пьесы.¹

По критике он еще ничего не писал у меня, но я относился к нему всегда весьма благожелательно, и личные наши отношения были самые мирные и благодушные.

И по возвращении моем в Петербург в 1871 году я возобновил о нем прежнее знакомство и попал в его коллеги по работе в «Петербургских Ведомостях» Корша; но долго не знал, живя за границей, что именно он ведет у Корша литературное обозрение. Это я узнал от самого Валентина Федоровича, когда сделался в Париже его постоянным корреспондентом и начал писать свои фельетоны «С Итальянского бульвара».

Было это уже в зиму 1868—69 года.

С удовольствием упомяну еще об одном сотруднике, который только у меня, в «Библиотеке», стал вырабатывать себя, как своеобразную умственную физиономию.

Это был некто Варнек, более случайный, чем профессиональный писатель,—уже не первой молодости,—когда я с ним познакомился, имевший какие-то занятия вне журнала, кажется, по педагогической части.

У него я никогда не бывал. Жил он на Васильевском острове; по своему физическому складу, тону, языку, манерам смахивал на совсем обруселого инородца.

Он писал на оригинальные темы, по вопросам общественной психологии, и своим очень характерным языком, немножко расплывчато, но умно, наблюдательно, радикально—в смысле этического критерия.

Одна из пущенных мною в 1865 году передовых статей «Библиотеки» (которые появлялись всегда без подписей авторов) была написана им.

Что он писал впоследствии—я не знаю; если он уже умер, то в последнее время. И помнится мне, что только всего один раз судьба столкнула нас в Петербурге, и он тогда смотрел уже стариком. Он, во всяком случае, был старше меня.

Мне остается остановиться здесь на некоторых из сотрудников журнала, уже имевших тогда имя.

П. И. Вейнберг (как я сейчас упомянул) в эти годы ушел из журнализма, и я не помню, чтобы он в течение этих двух с лишком лет обращался ко мне с предложением участвовать в журнале в качестве заведующего отделом или одного из главных сотрудников. В «Библиотеку», еще при Писемском, прошел его перевод одной из драм Шекспира, но печатался он при мне.

Вероятно, он давал нам и стихотворения, но постоянного сотрудничества по какому-нибудь отделу что-то не помню.

Евгения Тур, то-есть графиня Салиас (сестра Сухово-Кобылина), работала в «Библиотеке» довольно долго; но до смерти ее я никогда ее не видал. Она жила тогда постоянно в Париже и очень усердно делала для нас извлечения из французских и английских книг. От нее приходили очень веские пакеты с листами большого формата, исписанные ее крупным мужским почерком набело.

Как сотрудница, она была идеальная. И выбор того, что она предлагала мне, показывал, что она держалась либеральных симпатий.

Лесков видел ее в Париже и рассказывал мне много и про нее и про ее тамошний кружок. Она дружила с польской эмиграцией и возмущалась нашим режимом в Варшаве и Вильне.

Раз она—на первых порах ее сотрудничества—прислала мне с каким-то поручением Суворина, которого я тогда в первый раз и увидал.

Он работал уже в то время у Корша, исполнял секретарские обязанности и выработывал из себя того радикального «Незнакомца», который позднее приводил в восхищение тогдашнюю оппозиционную публику.

У графини Салиас он и начинал в Москве, в ее журнале, который должен был так скоро прекратиться ¹⁴⁶. К ней он явился еще совсем неизвестным провинциалом из народных учителей, вышедшим из Воронежского кадетского корпуса.

Польские дела (как я упомянул и выше) сблизили меня с Н. В. Бергом—тоже москвичем с головы до пяток, из гоголевской эпохи.

Те, кто хорошо знал Николая Васильевича (как, например, Вейнберг или наш общий приятель, профессор П. И. Иванюков) считали его одним из типичнейших представителей полосы сороковых-пятидесятых годов.

Таких писателей теперь уже и совсем нет, да и тогда было немного.

Родом из обруселой баронской семьи, но уже дворянин одной из подмосковных губерний, он сложился в писателя в Москве, в тогдашних кружках, полюбил рано славянскую поэзию, как словесник, водился много с славянофилами, но не сделался их выучеником, не чурался и западников, был близок особенно с графиней Ростопчиной.

В его характере сидела всегда наклонность к поездкам, к впечатлениям войны, ко всему чрезвычайному, живописному и тревожному.

Он приобрел известность своими записками о Севастопольской осаде, потом ездил к Гарибальди, когда тот действовал в Ломбардии и на

итальянских озерах. Не мог он не интересоваться и польским восстанием. По-польски он давно выучился и переводил уже Мицкевича.

В «Библиотеку», сколько я помню, он попал через Эдельсона—также москвича той эпохи.

Но я воспользовался его сотрудничеством и—как говорил выше—первый из редакторов журналов предложил ему роль специального корреспондента по польскому восстанию.

Он жил сначала в Варшаве, а потом в австрийской Польше, откуда должен был выехать потому, что тамошний «жонд» заявил ему требование о выезде.

Когда он жил в Варшаве, в том самом коридоре, где был его номер, убили поляка, которого жонд заподозрил в шпионстве, и никогда никто не был арестован по этому делу.

Корреспонденции Берга были целые статьи, в нашем журнализме шестидесятых годов единственные в своем роде. Содержание такого сотрудника было не совсем по нашим средствам. Мы помещали его, пока было возможно. Да к тому же подавление восстания пошло быстро, и тогда политический интерес почти что утратился.

Наши личные отношения остались очень хорошими. Через много лет, в январе 1871 года, я его нашел в Варшаве (через которую я проезжал тогда в первый раз) лектором русского языка в университете, все еще холостяком и все в тех же двух комнатах «Европейской гостиницы». Он принадлежал к кружку, который группировался около П. И. Вейнберга.

С поляками он всегда ладил, хорошо владел их языком и тогда уже готовил к печати отдельные песни «Пана Тадеуша».

Он был необычайно словоохотливый рассказчик, и эта черта к старости перешла уже в психическую слабость. Кроме своих московских и военных воспоминаний, он был неистощим на темы о женщинах. Как старый уже холостяк, он пережил целый ряд любовных увлечений и не мог жить без какого-нибудь объекта, которому он давал всякие хвалебные определения и клички. И почти всякая оказывалась, на его оценку, «одна в империи».

Это женолюбие не носило, однакоже, никакого цинического оттенка, а скорее отзывалось чувственной сентиментальностью, какую мы знаем, например, из биографии Бейля-Стендаля или Сент-Бева.

В Варшаве он сделался, разумеется, восторженным любителем польского балета и кончил тем, что, уже очень пожилым человеком, женился на кордебалетной танцовщице-польке.

У меня есть повесть «Поддели», написанная мною в Петербурге в 1871 году¹⁴⁷. Там является эпизодическое лицо одного московского

холостяка. Наши общие знакомые находили, что в нем схвачены были характерные черты душевного склада Берга, в том числе и его культ женского пола.

Разговорный язык его, особенно в рассказах из личной жизни, отличался совсем особенным складом. Писал он для печати бойко, легко, но подчас несколько расплывчато. Его проза страдала тем же, чем и разговор: словоохотливостью, неспособностью сокращать себя, не приплетать к главному его сюжету всяких попутных эпизодов, соображений, воспоминаний.

Как частный человек, собрат, товарищ, он был высокой порядочности и деликатности, до педантизма аккуратный и исполнительный, добрый товарищ, безупречный во всяком деле, особенно в денежных делах.

Увы! такой тип среди пишущей братии никогда не преобладал. Все Москва же доставила еще одного, уже прогремевшего когда-то сотрудника, знаменитого Павла Якушкина.

Он был приятель Эдельсона; но наше знакомство произошло не у него и не в редакции.

На Невском, около подъезда ресторана «Ново-Палкин» (он помещался тогда напротив, на солнечной стороне улицы), куда я заезжал иногда позавтракать или пообедать, меня остановил человек чрезвычайно странного вида, соскочивший с дрожек.

Черноволосый, очень рябой, с мужицким лицом, в попошенной поддевке и высоких сапогах, бараньей шапке и в накинутом на плечи мужицком кафтане из грубого коричневого сукна.

Но на носу торчали очки.

— Вы Боборыкин?—окликнул он, воззрившись на меня.—А я—Якушкин. Павел Якушкин.

И стал он похаживать в редакцию, предлагал статьи, очень туго их писал, брал, разумеется, авансы, выпивал, где и когда только мог, но в совершенно безобразном виде я его (по крайней мере, у нас) не видал.

Из него наши журналы сделали знаменитость в конце пятидесятых годов. У Каткова, в «Русском Вестнике», была напечатана его псковская эпопея, которая сводилась в сущности к тому, что полицеймейстер Гемпель, заподозрев в нем не то бродягу, не то бунтаря, продержал его в «кутузке»¹⁴⁸.

Его история подала повод к первому взрыву общественных протестов после николаевского бесправия.

Сам по себе он был совсем не «бунтарь», даже и не ходок в паре с целью какой бы то ни было пропаганды. Он ходил собирать

песни для П. Киреевскоого, а после своей истории больше уже этим не занимался, проживал, где придется, и кое-что пописывал.

Мне было занимательно поближе присмотреться к нему. Сквозь его болтовню, прибаутки, своего рода юродство сквозили здравый рас-судок, наблюдательность, юмор и довольно тонкое понимание людей.

Славянофилов—тех, коренных, Киреевских и Аксаковых—он по-нимал без всякого увлечения и любил повторять про них:

— Читали книжки, немецкие!

Этим он хотел сказать, что всю теорию русского народа они вычитали у философов-немцев, что и было на самом деле.

В Якушкине вы чувствовали «интеллигента» с университетским образованием и литературными традициями, по тон и жаргон он себе «натаскал» мужицкие, по произношению южнее от Москвы, как на-род говорит в Орловской или Рязанской губерниях.

Он обладал юмором и мог довольно тонко оценивать людей. Но отчасти потому, что был всегда «в легком подпитии», а главное, от долгой привычки к красноречию слишком много болтал, напуская на себя балагурное юродство.

Свою мужицкую «сбрую» он никогда и нигде не снимал. Под-девку и шаровары (часто плисовые) носил неряшливо, больше при красной рубахе. И вообще отличался большим неряшеством и не-чистоплотностью.

Где он жил—мне было неизвестно. Только раз я попал к нему, да и то потому, что он гостил у Эдельсона.

Насчет работы с ним была всегда возня. Свои статьи он носил в кармане шаровар в виде замусленных кусочков бумаги.

Взявши аванс (правда, всегда умеренный), он долго растабарывал про свое писание, но во-время доставить статьи никогда не мог.

То, что появилось в первое время в «Библиотеке», носило общее заглавие: «Велик бог земли Русской». Подошел август 1864 года. Якушкин запросился со мною в Нижний, на ярмарку.

Я ехал туда по делу заклада моего имения. Поехал он на мой счет, но демократически, в третьем классе. Дорогой, разумеется, вы-пивал, и на ярмарке поселился в каких-то дешевых номерах и стал ходить по разным тамошним трущобам для добычи бытового ма-тернала.

У него была намечена «богатая» программа «Очерков Макарьев-ской», как ярмарку еще до сих пор называют нижегородцы.

Заполучив от меня некоторую «толику» денег, он вскоре нарвался на историю в роде той, которая его прославила в Пскове, с полицей-мейстером Гемпелем.

В ресторане нашего знаменитого буфетчика Никиты Егорова он подтрунил над жандармским офицером П—вым у буфета. Тот его заметил и донес о нем, как о подозрительном индивиде.

Его призвали к тогдашнему ярмарочному генерал-губернатору, генералу Огареву. Тот стал на него кричать, и дело кончилось его высылкой.

С Огаревым я тогда же имел случай говорить о Якушкине. Генералу сделалось немножко совестно передо мною, и он стал отзыватьсь о нем в шутливом тоне, как о беспорядочной личности, на которую серьезно смотреть нельзя.

Когда Якушкин к нему явился в Главный Дом, Огарев спросил его: — Что вы тут делаете?

— Работаю для Боборыкина.

Такой ответ не особенно-таки удовлетворил администратора. Но, зная, что Якушкин передаст мне этот диалог, Огарев стал все-таки извиняться, что не помешало ему удалить Якушкина, а редакция лишилась статьи.

Так из этой экспедиции ничего и не вышло. Погиб, разумеется, и аванс.

Раньше, в Петербурге, Якушкина тоже потревожила полиция, и на вопрос—чем он занимается и какие у него знакомые,—ответил: «Хожу в гости к графу Строганову, в его дом у Полицейского моста».

И он, действительно, ходил к этому бывшему попечителю Московского университета, и тот любил с ним беседовать.

О последней полосе жизни Якушкина я что-то не помню. Знаю только, что мы с ним уже не встречались до моего отъезда за границу. Не помню, чтобы он писал мне откуда-нибудь.

Свою когда-то славу он пережил уже и тогда, когда работал в «Библиотеке».

Не в пример моим тогдашним коллегам-редакторам, старше меня и опытом и положением в журналистике,—с самого вступления моего в редакторство усиленно стал я хлопотать о двух отделах, которых при Писемском совсем почти не было: иностранная литература и научное обозрение.

Кроме того, что мне доставляла Евгения Тур, я обратился к П. Л. Лаврову с предложением вести постоянный отдел иностранной литературы по разным ее областям, кроме беллетристики.

Он на это охотно пошел и несколько месяцев занимался этим, хотя—сказать правду—слишком спешно. Книжные магазины доставляли в редакцию каждый месяц вороха новых книг. Лавров заезжал, пересматривал их, некоторые брал с собою и присылал свое обозрение.

Если оно составлялось не совсем так, как я мечтал, вина была не моя. А мой выбор остановился на нем потому, что он считался тогда в Петербурге самым замечательным энциклопедистом и по философии, и по истории точных знаний, и по общей истории, и по общественным наукам.

С этим тогда артиллерийским полковником я уже давно был знаком. Студентом Дерптского университета я при нем на вечере читал свою первую комедию «Фразеры» в зиму 1858—59 года.

И в начале шестидесятых годов Петр Лавров был все такой же рослый, полный, с огненными бакенбардами, сильно картавый, речистый, веселый, полный сил.

О нем, как о профессоре Михайловской артиллерийской академии, мне много рассказывал и мой сожитель по квартире (до моего редакторства) граф П. А. Гейден, тогда еще слушатель Петербургского университета, после того как он из Пажеского корпуса поступил в артиллерийскую академию, где Лавров читал теоретическую механику.

Его любили слушатели-офицеры, и Гейден умел представлять его манеру преподавать и рассказывать разные о нем истории, всегда в сочувственном тоне.

Как писатель, я возобновил с Петром Лавровичем знакомство и бывал у него, знал его супругу и одного из племянников, правоведа, впоследствии крупного судейского чиновника. Эти Лавровы—все псковские, из тамошнего дворянства.

У себя дома он всегда очень радушно принимал, любил разговор на тогдашние злобы дня, но революционером он себя тогда не выказывал ни в чем. Все это явилось позднее. Даже и в мыслительном смысле он не считался очень радикальным. В нем еще чувствовалась гегельянская закваска. Войниствующей публицистикой он в те годы не занимался и к редакции «Современника» близок не был.

Его всего сильнее интересовали тогда философские вопросы, эволюция идей и культурное развитие общества.

Меня, как редактора, он ни во что не втягивал—противоправительственное, не давал читать никаких прокламаций или запрещенных листов, никогда не исповедывал меня насчет моих идей.

Но я помню, что в нем и тогда мне что-то казалось не то что двойственным, а прикрывающим гораздо более «разрывное» содержание.

Все это ждало момента, чтобы прорваться, а остальное доделали его ссылка и бегство за границу. Но все это случилось уже по прекращении «Библиотеки».

Как сотрудник, он не внес в журнал яркой окраски. Ему просто было некогда давать нам что-нибудь более крупное и самостоятельное.

Он слишком тогда был занят и преподаванием и сотрудничеством в разных других журналах и изданиях.

Мои дальнейшие встречи с Лавровым относятся уже к заграничной полосе, когда я видал его в Париже.

Научное обозрение поручил я другому «артиллеристу»—А. Н. Энгельгардту, тогда профессору химии.

Он ездил в редакцию, забирал книги, производил всегда очень приятное впечатление своей наружностью, топом и добродушием. Домами я не был с ним знаком.

Тогда никак нельзя было бы подумать, что из него выйдет тот агроном-народник, который выказал в своих письмах в «Отечественных Записках» столько таланта, особенно в своем языке.

Степень его тогдашнего политического радикализма трудно было разглядеть; но он, без сомнения, был далек от той народнической концепции агронома, какая явилась у него в деревне.

И на него ссыла—хотя только в свое имение—сильно повлияла; но не сделала из него революционного вожака, как его коллегу по артиллерии Лаврова, а, напротив, превратила его в агронома, далекого от всякого бунтарского радикализма ¹⁴⁹.

История не была забыта в «Библиотеке». Я свел знакомство с Н. И. Костомаровым и был истинно доволен, что мог приобрести от него «Ливонскую войну». Тогда гонорар (за исключением таких беллетристов, как Тургенев, Толстой, Гончаров и отчасти Островский) не был еще очень высок. Ученому с именем и талантом Костомарова полустыльная плата была семьдесят—восемьдесят рублей. Сто рублей за статью тогда вряд ли кто получал.

Николая Ивановича я навещал в его квартире на Васильевском острове. Помню его голос, произношение с южно-русским оттенком, искренность и даже пылкость его тона, когда он вспоминал что-нибудь из своей молодости или характеризовал те исторические лица, какими особенно интересовался в то время.

Иван Грозный была как раз личность, которую он изучал, как психолог и писатель. Его взгляд казался многим несколько парадоксальным; но несомненно, что в Иване сидела своего рода художественная натура на подкладке психопата и маньяка неограниченного самодержавия. Оценка москвичей, слишком преклонявшихся перед государственным значением Грозного, не могла удовлетворять Костомарова с его постоянным протестом и антипатией к московскому жестокому централизму.

По бытовой истории старого русского общества и раскола мы приобрели тогда в профессоре Щапове очень ценного сотрудника. Но

это было уже слишком поздно: он был близок к административной ссылке и лежал в клинике, в одном корпусе с Помяловским, где я его и посещал.

У него была запущенная болезнь, которая безобразила его лицо, да и общее его физическое состояние было крайне расшатано, опять-таки от российского недуга—алкоголизма.

Обошлись с ним жестоко: сослали на место его родины, то-есть в Восточную Сибирь. Этот переезд убийственно подействовал на него.

У него я находил молодую девушку (кажется, церковного происхождения), которая и разделила с ним ссылку, сделавшись его женой.

Щапов сохранял тон и внешность человека, прикосновенного к духовному сословию: дух тогдашних политических и общественных протестов захватил его всецело. В его лице по тому времени явился один из самых первых просвещенных врагов бесправия и гнета. Если он увлекался в своих оценках значения раскола и некоторых черт древнеземского уклада, то самые эти увлечения были симпатичны и в то время совсем не банальны.

Из писательниц уже с именем я постарался о привлечении таких беллетристов, как Марко-Вовчок (г-жа Маркович), В. Крестовская-псевдоним (то-есть Н. Д. Хвоцинская) и ее сестра, писавшая под псевдонимом Весеньев.

С Марко-Вовчком у меня не было личного знакомства. Она проживала тогда больше за границей, и от нее являлся всегда с рукописью молодой человек, фамилии которого не вполне тоже припоминаю; кажется, г. Пассек. Она дала нам несколько рассказов, но уже не из лучшего, что она писала.

С Хвоцинской у меня вышла интересная переписка, прежде чем она стала сотрудницей «Библиотеки».

Тогда в «Отечественных Записках» Краевского стали появляться в шестидесятых годах критические заметки (под мужским именем), где разбирались новости журнальной беллетристики, и когда в начале 1863 года появилась рецензия на две первых части моего романа «В путь-дорогу!», я стал разыскивать, кто этот критик, и чрез М. П. Федорова,—приятеля сыновей Краевского, узнал, что это давнишняя сотрудница «Отечественных Записок» Н. Д. Хвоцинская. Она еще не была тогда замужем и давно уже—с первых своих вещей—подписывалась «В. Крестовский»; и слово «псевдоним» стала прибавлять к этому имени с тех пор, как появился подлинный В. (то-есть Всеволод) Крестовский, поэт, тогда еще студент Петербургского университета.

Автор рецензии очень сочувственно отнесся ко мне, как к молодому беллетристу; но самую личность героя она подвергла довольно

строгому моральному анализу, найдя, что он только «сентиментальный эгоист».

По тону этой оценки я уже предчувствовал, что это писала женщина, но не подозревал, что Хвоцинская. Она до того не печатала никогда критических статей под своим известным псевдонимом.

Я написал ей письмо в Рязань, где она всегда жила еще при своей покойной матери.

Ни в Москве, ни в Петербурге я ее никогда и нигде не встречал; знал только, что она уже старая девица и очень дурна собою, хотя и имела роман в писательском мире.

Надежда Дмитриевна ответила мне очень милым письмом, написанным с ее обычной теплотой приподнятого стиля и блестками прощипательного ума.

Сделавшись редактором, я сейчас же написал сам небольшую рецензию по поводу ее прекрасного рассказа «За стеной», появившегося в «Отечественных Записках». Я первый указал на то, как наша тогдашняя критика замалчивала такое дарование. Если позднее Хвоцинская, сделавшись большой «радикалкой», стала постоянным сотрудником «Отечественных Записок» Некрасова и Салтыкова, то тогда ее совсем не ценили в кружке «Современника», и все ее петербургские знакомства стояли совершенно вне тогдашнего «нигилистического» мира.

Мне было особенно приятно высказаться о ней, что я сделал вполне бескорыстно, не желая вовсе привлечь ее, во что бы то ни стало, к журналу.

Когда она приехала пожить в Петербург, и мы с ней лично познакомились и сошлись, она написала для «Библиотеки» прелестный рассказ «Старый портрет—новый оригинал», навеянный посещением Эрмитажа и портретом работы Рембрандта, моделью которого послужила ему будто бы родная мать, что, кажется, оказалось неверно.

Она меня познакомила со своей сестрой (тоже тогда пожилой девицей, но моложе ее), уже писавшей под псевдонимом Весеньева ¹⁵⁰.

Это была очень талантливая девушка, и из нее вышла бы крупная писательница, если б смерть вскоре не унесла ее.

В «Библиотеку» она дала блестящий рассказ из того переходного времени, когда дворяне-рабовладельцы стали задумываться над вопросом, как же им теперь быть, что делать и как удержать свое прежнее, уже не возвратное прошлое ¹⁵¹.

Мои знакомства в Петербурге за эти два сезона—1863—1865 гг.—не исчерпывались одним лишь составом наших, и начинающих и старых, известных писателей.

О знакомстве в зиму 1861—62 года с Островским и наших дальнейших встречах я уже говорил и ничего особенно выдающегося добавить не имею. А то, что я помню из встреч наших в семидесятых годах, я расскажу в других местах.

Тургенев я не приобрел в сотрудники в 1864 году, но мой визит к нему и разговор по поводу моей просьбы о сотрудничестве остались в моей памяти, и я уже имел случай вспоминать о них в печати в другие годы, и до кончины его и после¹⁵².

Меня до сих пор удивляет тот тон откровенности, с какой Иван Сергеевич мне—незнакомому человеку, чуть не на двадцать лет моложе его,—стал говорить, как он должен будет отказаться от писательства, главным образом потому, что не «свил своего собственного гнезда», а должен был «примоститься к чужому», намекая на свою связь с семейством Виардо. А, живя постоянно за границей, он по свойству своего дарования не в состоянии будет ничего «сочинять из себя самого».

Мне и тогда такая, хотя бы и несколько «деланная», простота скорее понравилась. Но я знал, как и все тогда знали, что Тургенев был огорчен той коллизией с молодой публикой и критикой, которая произошла после «Отцов и детей». В ту зиму он ведь и читал «Довольно», где его пессимизм впервые принял такую острую форму.

Вообще же я не скажу, чтобы тогдашний Иван Сергеевич мне особенно понравился. Впоследствии он стал в своем обхождении и тоне гораздо проще. Отсутствие этой простоты всего больше мешало поговорить с ним «по душе». А я тогда очень и очень хотел бы побеседовать с ним, если не как равный с равным, то, по крайней мере, как молодой беллетрист и журналист с таким старым и заслуженным собратом, как он.

Первое впечатление от Тургенева многие—и кроме меня—получали точно такое же, даже и позднее, например в конце семидесятых годов, особенно если видели его впервые в обществе.

У сестер Хвощинских в ту самую петербургскую зиму я с ним провел вечер в номере гостиницы (Знаменской), за самоваром.

Туда он явился очень франтоватым, в светлосиреневых (gris perle) перчатках, которые долго не снимал, сидел за столом, тонко беседовал, но оставался слишком «барином», с оттенком западно-европейского джентльмена.

То, что я видел в Тургеневе и слышал от него более простого и характерного, относится уже к следующим полосам моей жизни.

Когда была издана его переписка после его смерти, то в ней нашлись фразы, в которых он довольно злобно «прохаживался» на

мой счет... Это не мешало ему в разные моменты своей заграничной жизни обращаться ко мне с письмами в весьма любезном и даже прямо лестном для меня тоне.

Но он был человек изменчивых симпатий и антипатий вне своего «однолюбия» к Виардо. Когда он умер и готовился к печати том его переписки, то его приятель Григорович говорил мне в 1883 году:

— Жду очень неприятных карамболяжей. Ведь милейший Иван Сергеевич часто в письмах к третьим лицам жестоко отделывал своих приятелей, и даже самых близких.

С Григоровичем до 1867 года, то-есть до Парижской выставки, я очень редко встречался в Петербурге и в сотрудники его не просил.

Когда вышел в печати его плоховатый роман «Два геперала» (в «Русском Вестнике»), то я сам написал рецензию без подписи, где высказался об этой вещи совсем не хвалебно.

Я уже сказал выше, что других знаменитостей того времени, как Некрасова, Гончарова, Салтыкова, я в те годы (1863—1865) лично еще не знал, и наше знакомство пошло уже после возвращения моего в Петербург в 1871 году.

Федора Достоевского я в гостиных или редакционных кружках не встречал, но слышал о нем и его жизни в Петербурге довольно много от Воскобойникова, который был вхож к Достоевским.

Когда стряслась беда с их журналом «Время», мы с ним видались у него по поводу того соглашения, в которое «Библиотека» вошла с редакцией «Время» насчет удовлетворения подписчиков ¹⁵³.

Достоевский не был еще тогда женатым во второй раз, жил в тесной квартирке, и в памяти моей удержался довольно отчетливо тот вечер, когда мы у него сидели в его кабинетике,—и самая комната, и свет лампы, и его лицо, и домашний его костюм.

В тот вечер он не произвел на меня впечатления мистика и неврастеника, говорил очень толково, на деловую тему, своим тихим, нутряным и немножко как бы надорванным голосом.

Сближаться с ним мне не было повода. Его талантливость я вполне признавал, но от его мистического славянофильства был далек. Даже и половина того, что стоит в «Преступлении и наказании», было мне совсем не по вкусу; таким осталось и по сей час.

С ним мы после того столкнулись всего два раза: в Петербурге, в магазине Базунова, на Невском, и в Москве, в фойе Малого театра.

К Базунову он зашел купить какую-то духовную книжку, которая заинтересовала его своим заглавием; а в фойе Малого театра он чем-то был недоволен—своим местом или чем другим—уже не припомню, но каким-то вздором. И его раздражение выказывало в нем

слишком очевидно совершенно больного человека, который не мог себя сдерживать никогда.

Это было, кажется, уже после его мытарств за границей, азартной игры в Баден-Бадене и той сцены, которую он сделал там Тургеневу, и того письма, где он так публично напал на него не только за «Дым», но и за все, что тот якобы говорил ему про Россию и русских ¹⁵⁴.

К счастью, у нас с ним не выходило никогда ничего подобного, вероятно, оттого, что я не имел с ним никаких прений и принципиальных разговоров.

В журналах Достоевских критическими силами были Аполлон Григорьев и Страхов («Косица»).

И с тем и с другим я вступил в знакомство. Но ни тот ни другой не успели попасть в мои сотрудники: один преждевременно умер, а другой—за прекращением «Библиотеки».

Григорьев всегда и давно интересовал меня. Его славянофильство не отнимало у него в моих глазах ни талантливости, ни ума, ни замечательных критических способностей. Я читал все, что он печатал и по общей критике, и как театральный рецензент.

И самая его личность, по рассказам его приятеля Эдельсона и других москвичей, интересовала меня.

Мне не случилось с ним столкнуться до того любительского спектакля, где я играл Чацкого, в Кронштадте.

Спектакль был устроен группой писателей с какой-то благотворительной целью. Софью играла молодая актриса Гринева (тогда уже жена писателя Всеволода Крестовского), я—Чацкого, известный тогда любитель из чиновников военного министерства—Фамусова; а Григорьев должен был исполнять Репетилова.

Тогда-то вот, в Кронштадте, в гостинице «Вена» (где мы ночевали), и произошло наше знакомство.

Он, как я и ожидал, оказался интересным собеседником, много мне рассказывал о Флоренции, где жил в одном барском семействе в качестве преподавателя уже в последние годы.

Наружность у него была прекрасная, со старорусским пошибом, и манера говорить—привлекательная, с его характерным жаргоном московского литератора еще сороковых годов.

Наша беседа происходила в бильярдной гостиницы. Григорьев казался еще трезвым, но перед ним уже стояла бутылка чего-то.

Я, как Чацкий, должен был идти в театр репетировать. Но в четвертом акту, где появляется Репетилов, прибежал гонец из «Вены» сообщить, что Григорьев уже лежит на бильярде мертвецки пьяный.

Вышел переполох. К счастью, нашелся какой-то ретивый любитель, который с грехом пополам справился с ролью Репетилова.

Так я и на другой день не видал Григорьева. Но потом возобновил наше знакомство, и он предложил мне какую-то статью, которую только еще задумал; но взял аванс, который так и ушел с ним в могилу. Вскоре он попал за долги в долговое отделение и, когда его оттуда выпустили, вскоре скорострительно умер.

С двумя молодыми писателями, Всеволодом Крестовским и Дмитрием Аверкиевым, его приятелями, я очень редко встречался. Всеволод Крестовский тогда уже был женат и, кажется, уже задумывал поступить в уланские юнкера и сделать себе карьеру.

Я его помнил еще со студенческих кружков, несколькими годами раньше. Тогда его товарищи носили его на руках за его стихи, в особенности за те, где нищая кому-то «грешным телом подала».

Я слышал тогда, как он декламировал свои вещи на вечеринках, очень фатоватый, в белом жилете с золотыми пуговицами и в расстегнутом сюртуке.

Когда я встретился с ним в Кронштадте и играл с его женой Чацкого, он уже был автор «Петербургских трущоб», которыми заставил о себе говорить.

Он усердно изучал жизнь столичных подонков и умел интересоваться менее взыскательных читателей фаворитом своего романа с сильным романтическим привкусом.

Ни студентом, ни женатым писателем с некоторым именем он мне одинаково не нравился. И его дальнейшая карьера показала, на что он был способен, когда стал печатать обличительные романы на «польскую справу»¹⁵⁵, и, дослужившись до полковничьего чина, стал известен высшим сферам своей патриотической преданностью.

Аверкиев я чаще видал. Он тогда уже попал в славянофильский кружок Аполлона Григорьева и Достоевского и начал писать пьесы, в роде своего «Мамаева побоища». По университетскому учению он был «естественник», но потом, сделавшись драматургом и критиком, отличался большой начитанностью, выучился по-английски, знал хорошо Шекспира, щеголял обширной памятью, особенно на стихи, вообще выдавался своей литературностью, но и тогда уже было в нем что-то неуравновешенное, угловатое, какая-то смесь идеализма с разными охранительными вождениями.

С Григорьевым они водили приятельство и по части выпивки. Шутники рассказывали тогда, что они с Григорьевым способны были, за неимением водки, пить чистый спирт, одеколон и даже керосин!!!

Дальнейшие его успехи на сцене (актеры звали его Дмитрий Перекверкиев), начиная с «Каширской старины», относятся к той полосе, когда меня уже не было в Петербурге.

И вот мы узнаем, что Аполлон Григорьев скоропостижно умер, только что выйдя из долгового отделения, которое помещалось тогда в Измайловском полку, где теперь сад Тумпакова. Он и тогда уже существовал, как увеселительное место, и девицы легкого поведения из немок называли его «Tarassoff Garten».

Эта «яма» (как в Москве еще тогда называли долговое отделение) была довольно сильным пугалом не только для несостоятельных купцов, но и для нашего брата-писателя.

Было что-то унижительное в этом лишении свободы из-за какого-нибудь векселька, выданного хищному ростовщику.

Григорьев тоже оказался жертвой своего хронического безденежья. У него уже не было такого положения, как в журнале графа Кушелева и у Достоевских. Он вел жизнь настоящего богемы. А выручить его в трудную минуту никто не умел или не хотел. «Фонд» и тогда действовал; но, должно быть, не дал ему ссуды, какая была ему нужна.

«Выкупила» его (не совсем с бескорыстной целью) известная всему Петербургу «генеральша» (вдова адмирала) Бибикова, мать красавицы Споровой, ставшей женой В. В. Самойлова.

Она внесла за Григорьева его долг с расчетом на приобретение дешевой ценой его сочинений. Но, когда мы шли с нею с похорон Григорьева, она мне рассказала историю своего «благоденствия», уверяя меня, что когда она выкупила Григорьева, то он, идя с ней по набережной Фонтанки, бросился перед ней на колени.

Эти писательские похороны и памятни мне, как нечто глубоко печальное. Я их описал в моей позднейшей повести «Долго ли?», где я коснулся тяжелой доли пишущей братии ¹⁵⁶.

На похороны Григорьева, самые бедные и бездомные, явились: его приятели Достоевский, Аверкиев, Страхов, Вс. Крестовский, композитор Серов, вот эта матрона, генеральша Бибикова, и несколько его сожителей из долгового отделения. Между ними выделялся своей курьезной фигурой Лев Камбек, стяжавший себе в начале шестидесятых годов комическую репутацию. Он был одет в поддевку из бурого верблюжьего сукна и смотрел настоящим «мпзераблем», но все еще разглагольствовал и хорохорился. Был тут и художник Бернардецкий, когда-то талантливый рисовальщик, которому принадлежат иллюстрации в «Тарантасе» графа Сологуба и «Путешествии мадам де-Курдюков» ¹⁵⁷.

Эти выходцы из царства теней придавали похоронам Григорьева что-то и курьезное и очень-очень печальное.

По дороге с Митрофаньевского кладбища мы зашли в какую-то кухмистерскую, и там состоялся обед со спичками. Говорили его приятели, говорили и «узники» дома Тарасова, предлагали более или менее хмельные здравицы.

А в городе, в литературном мире, в театре смерть Григорьева прошла очень холодно. И в театре его не любили за критику игры актеров. Любил его только П. Васильев, бывший на похоронах. Из актрис одна только Владимирова (о которой он говорил сочувственно за одну ее роль), не зная его лично, приехала в церковь проститься с ним.

Самый первый друг Григорьева из петербургских писателей—Н. Н. Страхов цепил его очень высоко и после смерти хлопотал об издании его сочинений. С Григорьевым трудно было водить закадычную дружбу, если не делать возлияний Бахусу, но Страхов совсем не отличался большой слабостью к крепким напиткам.

Страхова я больше узнал уже позднее, к семидесятым годам, но и тогда видал его и беседовал всегда с интересом.

Из специалиста по зоологии (он защищал даже диссертацию на магистра) он тоже, как и его приятель Аверкиев, превратился в словесника и, конечно, из тогдашних критиков был одним из самых начитанных, с солидным философским образованием.

По внешности он сразу выдавал свое духовное происхождение: благообразный и всегда благодушно улыбающийся «батюшка», а впоследствии «владыка».

Мне нравился его ум, тонкость вкуса, его язык и манера; но славапофильский налет его идей лишал его полной свободы в оценках и выводах.

Продолжай «Библиотека» существовать и сделайся он у нас главным сотрудником, он стал бы придавать журналу мало желательный оттенок, или мы должны были бы с ним разойтись, что весьма вероятно, потому что если некоторые мои сотрудники «правели», то я, напротив, все «левел».

«Как жил Петербург за эти два сезона 1863—64 и 1864—65 годов? И вообще, каково было общественное настроение?»—спросят меня.

Мне в эти годы, как журналисту, хозяину ежемесячного органа, можно было бы еще более участвовать в общественной жизни, чем это было в предыдущую двухлетнюю полосу. Но заботы чисто редакционные и денежные, хотя и расширяли круг деловых сношений, но брали много времени, которое могло бы пойти на более разнообразную столичную жизнь, у молодого, совершенно свободного писателя, каким я был в два предыдущих петербургских сезона.

После акта 19 февраля либеральное направление правительства стало подаваться все правее и правее.

Процесс М. Л. Михайлова и потом Чернышевского уже наложили на общее настроение тогдашней либеральной доли общества траурный налет. Приговор Михайлова и его отправление на каторгу в кандалах (карточки продавались под спудом), а потом публичная казнь Чернышевского после долгого сиденья в крепости—усиливали еще минорное настроение.

Подробности этой казни передавал нам в редакции «Библиотеки» не кто иной, как Буренин, тогдашний мой сотрудник. Он видел, как Чернышевский был взведен на эшафот, как над ним переломили шпагу в знак лишения прав, и он несколько минут был привязан. Буренин подметил, что тот сенатский секретарь, который читал его долгий приговор, постоянно произносил его фамилию «Чернышовский» вместо «Чернышевский».

Манифестаций, разумеется, не было, таких, которые вызвали бы беспорядки. Но радикальная молодежь ожесточилась, и к 1865 году усилилось подпольное движение, которое и вызвало в следующем 1866 году покушение Каракозова.

Огромный успех среди молодежи романа «Что делать?», помимо сочувствия коммунистическим мечтаниям автора, усиливался и тем, что роман писал был в крепости, и что его автор пошел на каторгу из-за одного какого-то письма с его подписью¹⁵⁸, при чем почти половина сенатских секретарей признала почерк письма принадлежащим Чернышевскому. И тогда и позднее много говорили в городе о том, как это Чернышевский был осужден на каторгу за письмо к Плещееву в Москву, а сам Плещеев хоть и допрашивался, но остался цел.

Это до сих пор многим кажется странным и мало понятным. Адресатом Чернышевского считали, несомненно, Плещеева. У него была одно время в Москве и типография. Известно было, что Всеволод Костомаров выдал Чернышевского.

В настоящую минуту, когда я пишу эти строки (то-есть в августе 1917 года), за такое письмо обвиненный попал бы много-много в крепость (или в административную ссылку), а тогда известный писатель, ничем перед тем не опороченный, пошел на каторгу.

Один такой приговор показывал, как власть хочет расправляться с теми, кого считала крамольниками.

И журналы в первую голову пострадали от перемены ветра сверху. Журнал Достоевского был затрещен за весьма невинную статью Н. Н. Страхова о польском вопросе, а «Современник» и «Русское Слово»— вообще за направление¹⁵⁹.

Польское восстание дало толчок патриотической реакции. Оно лишило и Герцена обаяния и моральной власти, какую его «Колокол» имел до того времени, когда Герцен и его друзья стали за поляков¹⁶⁰.

В Москве Катков перешел в лагерь охранителей и в «Московских Ведомостях» круто повернул фронт в национально-государственном духе.

Литературный, то-есть писательский, мир лишен был возможности как-нибудь протестовать. Та скандальная перебранка, которой осрамили себя журналы в 1863 году, не могла, конечно, способствовать единению работников пера.

Попрежнему не существовало никакого общества или союза, кроме «Фонда», чисто благотворительного и притом совсем не популярного среди пишущей братии.

Если бы было иначе, я тогда, как редактор-издатель большого журнала, конечно, принял бы участие в каждом таком товарищеском начинании.

И вся литературная жизнь столицы сводилась за весь этот двухлетний период к нескольким публичным чтениям, где публика могла слышать Некрасова, Тургенева («Довольно»), Достоевского, Полонского, Майкова, некоторых менее известных литераторов.

Даже то театральное любительство, о котором я говорил в предыдущей главе, стало банальнее и тусклее.

В театрах ни одного нового сильного дарования; а приезды иностранных знаменитостей относятся опять-таки к предыдущей полосе.

Реформы, в виде предварительных работ, и земская и судебная, продолжались. Их обсуждали в журналах и газетах; но земство было сведено к очень тесным сословным рамкам. Судебные уставы явились в 1864 году; но новый суд начал действовать уже позднее, к 1866 году, когда меня уже не было в России.

Газетная пресса в те годы стала уже играть некоторую роль. Явился такой газетный публицист, как Катков; а в Петербурге «С.-Петербургские Ведомости», теснимые цензурой, все-таки выдерживали свое либеральное обличье.

Тогда в газетном деле и у Корша и, позднее, у Краевского, в «Голосе» амплуа воскресного фельетониста попало в особую честь.

Суворин (под псевдонимом «Незнакомца») казался тогда настоящим радикалом. Остальные фельетонисты были тусклее его.

Тогда же стала развиваться и газетная критика, с которой мы при наших дебютах совсем не считались. У Корша (до приглашения Буренина) писал очень дельные, хотя и скучноватые, статьи Анненков и писатели старших поколений. Тон был еще спокойный и порядочный. Забавники и остроумы, в роде Суворина, еще не успели приучить

публику к новому жанру с личными выходками, пародиями и памфлетами всякого рода.

В толстых журналах уровень критики понизился. Добролюбова не мог заменить такой писатель, как Антонович. Да вскоре замолк и «Современник». Аполлон Григорьев при всех своих славянофильских увлечениях все-таки головой стоял выше тогдашнего уровня рецензентов—и общих и театральных.

О театре он писал горячо, стоял горой за Островского, за бытовую правдивую игру, поддерживал такое крупное дарование, как Павел Васильев, преклонялся перед Садовским.

Петербург впервые увидел тогда Садовского на Александринском театре в лучших его ролях. Там он явился и в новой для него роли Подхалюзина в «Свои люди—сочтемся».

Литературно-художественная критика в журналах, несомненно, стояла не на высоте уровня самого творчества. Ведь только что минул год с тех пор, как появились «Отцы и дети». Тургенев хоть и решил было удалиться совсем с писательской арены, но все-таки дал «Призраки» и «Довольно». Некрасов был еще в полном расцвете своего таланта, как и Салтыков, который тогда и начал давать меру своего сатирического дарования и беспощадного обличения тогдашней русской жизни. Да и поэты: Полонский, Фет, Майков, Тютчев—еще не замолкли. Достоевский только что явился с такой вещью, как «Преступление и наказание».

Словесность, изящная литература, невзирая на цензуру, все-таки продолжала дело шестидесятых годов, и—повторяю—критика не была с нею на одном уровне.

После долгого закрытия университета молодежь вернулась в него еще в 1862 году. Но я не помню, чтобы она заявляла себя в двухлетний период 1863—1865 гг. чем-нибудь выдающимся. Не было «историй», но академическая жизнь вошла в другую колею, гораздо более тусклую. Университет разом лишился лучших профессоров еще в 1861 году из-за столкновений с начальством: Кавелина, Костомарова, Спасовича, Утина, Пыпина, Стасюлевича; а профессор П. Павлов попал в ссылку за одно восклицание с эстрады: «Имеющие уши слышать—да слышат!»¹⁶¹

С какой стороны ни взглянуть, предыдущий период—1860—1863 гг.—и в Петербурге и в Москве был гораздо ярче, живее, полнее новыми движениями и крупными фактами общественного и литературного характера.

А через год, с лета 1866 года, началась уже та длинная полоса реакции, которая разрешилась 1 марта 1881 года и перекинулась через все царствование Александра III до половины девяностых годов.

Мне остается, чтобы закончить эту главу, поговорить о своей личной жизни молодого человека и писателя, вне моего чисто издательского дела.

Но и это я обзору здесь только в общем интересе, чтобы припомнить, какая жизнь за эти два сезона доставляла материал и частному лицу, члену общества, и профессиональному писателю.

Материал этот не был разнообразнее, чем в предыдущую полосу. Конечно, я узнал больше народа и должен был войти с ним в более жизненные сношения; но все это касалось, главным образом (если не исключительно), моего журнала.

Вне его моя столичная жизнь сводилась к некоторым выездам в светские круги, к зрелищам, к тем знакомствам в литературном мире, которые интересовали меня и помимо редакторско-издательских интересов и забот.

Но в моей интимной жизни произошло нечто довольно крупное. Та юношеская влюбленность, которая должна была завершиться браком, не привела к нему. Летом 1864 года мы с той, очень еще молодой, девушкой возвратили друг другу свободу. И моя эмоциональная жизнь стала беднее... Одиночество скрашивалось кое-какими встречами с женщинами, которые могли бы заинтересовать меня и сильнее, но ни к какой серьезной связи эти встречи не повели.

Тогда в Петербурге процветали маскарады. На них ездил весь город, не исключая и двора. Всего бойчее считались те, которые бывали в Большом театре и в Купеческом клубе, где теперь Учетно-ссудный банк. Тогда можно было целую зиму вести «интригу» с какой-нибудь маской, без всяких чувственных замыслов, без ужинов в ресторанных кабинетах.

В театр я ездил и как простой слушатель и зритель, например, в итальянскую оперу, и как рецензент; но мои сценические знакомства сократились, так как я ничего за этот период не ставил, и начальство стало на меня коситься с тех пор, как я сделался театральным рецензентом. Ф. А. Снеткова, исполнительница моей Верочки в «Ребенке», вскоре вышла замуж, покинула сцену и переселилась в Москву, где я всего один раз был у нее в гостях.

Дела по журналу и именно вызывали ежегодно поездки в Нижний. Но я не мог оставаться там подолгу, а в деревню незачем было ездить. До продажи земли там хозяйничал мой товарищ З—ч.

Когда мои денежные тиски по журналу стали лишать меня возможности работать, как беллетриста, я на шесть недель зимой, в конце 1863 года, уехал в Нижний и гостил там у сестры моей.

Там я запирался и диктовал первую часть моего нового романа «Земские силы» (не предвидя еще, что он останется неоконченным, за

прекращением журнала), но вечерам ездил в гости и в клуб, где присматривался к местному обществу.

Писал под мою диктовку местный семинарист из богословского класса, курьезный тип, от которого я много слышал рассказов о поповском быте. Проработав до вечерних часов, я отвезл его в семинарию, где отец ректор дал ему дозволение каждый день бывать у меня.

В Москву я попадал часто; но всякий раз ненадолго. По своему личному писательскому делу (не редакторскому) я прожил в ней с неделю, для постановки моей пьесы «Большие хоромы», переделанной мною из драмы «Старое зло» — одной из тех четырех вещей, какие я так стремительно написал в Дерпте, когда окончательно задумал сделаться профессиональным писателем.

Ее взяла в 1864 году Ек. Васильева для своего бенефиса. Пьеса имела средний успех. Труппа была та же, что и в дни постановки «Однودворца», с присоединением первого сюжета на любовников — актера Вильде, из любителей, которого я знал еще по Няжнему, куда он явился из Петербурга франтоватым чиновником и женился на одной из дочерей местного барина-меломана Улыбышева.

Главную женскую роль, актрисы из дворовых, играла Колосова, ее отца, музыканта, — Садовский. Васильева взяла себе эпизодическую роль, так же, как и Федотова-Познякова.

Вильде играл соблазнителя и негодяя этой обличительной вещи из крепостной эпохи.

Драма и в переделке оказалась слишком эпизодичной. И после первого спектакля я нашел нужным переставить последние две картины, что тогдашний рецензент одной из петербургских газет нашел странным.

С московским писательским миром — в лице Островского и Писемского — я прикасался, но немного. Писемский задумал уже к этому времени перейти на службу в губернское правление советником и даже по этому случаю стал ходить совсем бритый, как чиновник из николаевской эпохи. Я попадал к нему и в городе (он еще не был тогда домовладельцем) и на даче, в Кунцеве.

В Москве с ним на первых порах очень носились, и он сделался опять большим театралом и даже имел роман в мире любителей. Но вскоре стал находить, что в Москве скучно и совсем нет «умных людей».

Тогда еще не существовало «Артистического кружка»¹⁶², и интеллигенции негде было собираться, и Москва вообще в каждый мой приезд все больше и больше казалась мне огромным губернским городом.

Тогда же я видал и Плещеева, еще молодого, женатого на очень милой женщине, жившего в собственном небольшом доме, еще не

пустившегося в мытарства литераторского необеспеченного существования, какое начал, овдовев, в Петербурге, куда перебрался позднее.

К моей личной жизни относится и мое собственное писательское развитие и работа за эти два сезона—1863—1865 гг.

Редакторство и хозяйственные хлопоты и заботы должны были бы совсем отвлекать меня от писательского труда. Но этого не случилось. Напротив, журнал как бы побуждал меня очень много работать.

Вне беллетристики я писал с первых же месяцев своего издательства критические статьи, публицистические этюды, а потом театральные рецензии и очерки бытовой жизни («Нижний во время ярмарки») и многое другое.

Необходимо было и продолжать роман «В путь-дорогу!». Он занял еще два целых года—1863 и 1864—по две книги на год, то-есть по двадцать печатных листов ежегодно. Пришлось для выигрыша времени диктовать его, и со второй половины 1863 года и к концу 1864-го. Такая быстрая работа возможна была потому, что материал весь сидел в моей голове и памяти: Казань и Дерпт, с прибавкой романтических эпизодов из студенческих годов героя.

К 1865 году (когда «Библиотека» уже висела на волоске) хорошего романа в портфеле редакции не было. И я уехал в Нижний писать «Земские силы». Их содержание из тогдашней провинциальной жизни показывало, что я достаточно в эти четыре года (1861—1864) видел людей и новые порядки.

Точно так же и петербургские зимы за тот же период сказались в содержании первого моего романа, написанного в Париже, уже в 1867 году—«Жертва вечерняя». Он полон подробностей тогдашней светской и литературной жизни.

Но, как драматург (то-есть по моей первой, по дебютам, специальности), я написал всего одну вещь из бытовой деревенской жизни: «В мире жить—мирское творить». Я ее напечатал у себя в журнале. Комитет не пропустил ее на императорские сцены, и она шла только в провинции, но я ее никогда сам на сцене не видал.

Таковы итоги этой полосы моей жизни, бурной не по внешним фактам, а по внутренней борьбе с успехом, по тем ударам, которые закалили меня, как писателя.

Без поездки за границу я бы не выдержал такого урока.

В конце сентября 1865 года, очутившись в Эйдкунене, в зале немецкого вокзала, я свободно вздохнул, хотя и тогда прекрасно знал, что моя трудовая доля, полная мытарств, будет продолжаться долго, если не всю жизнь.

ОТ ГЕРЦЕНА ДО ТОЛСТОГО

(ПАМЯТКА ЗА ПОЛВЕКА)

I

Полвека, и даже несколько больше, проходит в моей памяти, когда я сближаю те личности и фигуры, которые все уже кончили жизнь: иные—на каторге, другие—на чужбине. Судьба их была разная: одни умирали в Сибири колодниками (как, например, М. Л. Михайлов); а другие не были даже беглецами, изгнанниками (как Г. Н. Вырубов), но все-таки доживали вне отечества, превратившись в «граждан» чужой страны, хотя и по собственному выбору и желанию, без всякой кары со стороны русского правительства.

Один в этом списке, Л. Н. Толстой, кончил свои дни на родине и никогда не покидал ее, как изгнанник. Но разве он также не был «нелегальным» человеком, в полной мере? И если его не судили и не сослали без суда, то потому только, что власть боялась его популярности и прямо не преследовала его; но все-таки он умер официально отлученным от государственно-полицейской православной церкви.

В тех воспоминаниях, какие я здесь предлагаю, сгруппирована добрая дюжина имен. Это люди, принадлежащие к различным поколениям. Те два писателя, каких я поставил на двух крайних концах,—Герцен и Толстой—были старше меня, как и некоторые другие в этой группе: Герцен—на целых двадцать четыре года; а Толстой—только на восемь лет; он родился в 1828 году (также в августе), я—в 1836 году. И другие, серьезно пострадавшие или только очутившиеся в изгнании, принадлежали к старшему сравнительно со мною поколению, как например: Чернышевский, Лавров, Михайлов. С одним эмигрантом, умершим на чужбине, с В. И. Жуковским, я был ближайший сверстник, старше его, быть может, на два, на три года. Случилось так, что я держал вместе с ним экзамен в Петербургском университете в сентябре 1861 года, перед самым закрытием его после студенческих волнений. Один эмигрант был моложе меня—Ткачев. Кажется, он один из самых молодых в этой группе.

Расскажу я о них не в хронологическом порядке моего личного или заочного знакомства с ними, а по их значению для всей нелегальной России; почему и начинаю с Герцена, хотя сошелся я с ним только в зиму 1869—70 года в Париже. А таких эмигрантов из ссыльных, как Михайлов, Чернышевский, Лавров, Жуковский, Ткачев,—знал гораздо раньше, еще с 1860 года, и даже еще раньше, как например Михайлова: с ним я встречался еще тогда, когда я начинающим драматургом привез в Петербург свою первую комедию. Это было в кабинете Я. П. Полонского, одного из редакторов журнала «Русское Слово» 163.

II

Герцен!

Нет личности и фигуры в нелегальном мире русской интеллигенции, более яркой и даровитой, чем этот москвич тридцатых годов, сочетавший в себе все самые выдающиеся свойства великорусской натуры, хотя он и был—незаконное чадо от сожительства немки с барином из рода Яковлевых, которые, вместе с Шереметьевыми и Боборыкиными, происходят от некоего Комбиллы, пришедшего «из Прусс» (то-есть от балтийских славян) со своей дружиной в княжение Симеона Гордого.

На всем моем долгом веку я не встречал русского эмигранта, который по простовини более двадцати лет жизни на чужбине (и так полной всяких испытаний и воздействий окружающей среды) остался бы столь ярким образцом московской интеллигенции тридцатых годов, на барско-бытовой почве.

Стоило вам, встретившись с ним (для меня это было мельком в конце 1865 года в Женеве), поговорить десять минут или только видеть и слышать его со стороны, чтобы Москва его эпохи так и заиграла перед вашим умственным взором.

Вся посадка тела и головы, мимика лица, движения, а главное—голос, манера говорить, вся музыка его интонаций—все это осталось нетронутым среди переживаний долгого заграничного скитальчества.

Из тогдашних русских, немного моложе его, был один, у кого я находил больше всего если не физического сходства с ним, то близости всего душевного склада, манеры говорить и держать себя в обществе: это было у К. Д. Кавелина, также москвича почти той же эпохи, впоследствии близкого приятеля эмигранта Герцена. Особенно это сказывалось в речи, в переливах голоса, в живости манер и в этом чисто московском говоре, какой был у людей того времени. Они легко могли сойти за родных даже и по наружности.

На Александре Ивановиче житье за границей больше всего отлиняло в его стиле, в виде частого употребления не совсем русских оборотов

и иностранных слов, которые он переделывал на свой лад. В этом он был более «эмигрант», чем многие наши писатели, начиная с Тургенева; а ведь тот хоть и не кончил дни свои в политическом изгнании, но умер также на чужбине и, в общем, жил за границей еще дольше Герцена, да еще притом в тесном общении с семьей, где не было уже ничего русского. И в его печатном языке не видно того налета, какой Герцен стал приобретать после нескольких лет пребывания за границей, с конца сороковых годов,—что мы находим и в такой вещи, как «С того берега», в книге, написанной вдохновенным русским языком, с не превзойденным никем жаром, блеском, силой, мастерством диалектики. Но и тут вы уже наталкиваетесь на следы влияний жизни среди иностранцев.

III

Когда я сходил с Герценом, осенью 1869 года, он по внешности был почти таким, каким является на портрете работы Ге, экзепляр которого принадлежал когда-то Евгению Утипу и висел у него на квартире, еще до его женитьбы.

Красивым его лицо нельзя было назвать; но я редко видел более характерную голову, с такой своеобразной, живой физиономией, с острыми и блестящими глазами, с очертаниями насмешливого рта, с этим лбом и седеющей шевелюрой. Скульптор Забелло сумел схватить посадку головы и всю фигуру, со сложенными на груди руками, в статуе, находящейся на кладбище в Ницце; только—как это вышло и на памятнике Пушкина в Москве—Герцен кажется выше ростом. Он был немного ниже среднего роста, не тучной, но плотной фигуры.

Истинным духовным удовольствием были для всех, кто пользовался его обществом, те беседы, которые так согревались и скрашивались его искрометным умом, особенно за столом в ресторане или в кафе за стаканом грога. Редко можно было встретить такого собеседника даже и среди французов или южан—итальянцев и испанцев. При таком темпераменте рассказчика и, когда нужно, оппонента, защитника своих идей, Герцен, конечно, овладевал беседой, и при нем трудно было другому вставить что-нибудь в общий разговор. И он не знал усталости, мог просидеть за столом до петухов, и беседа под его обаянием все разгоралась.

По-французски он говорил бойко, так же как и писал; по мы и тогда говорили, что он все-таки остался в своем произношении и манере говорить москвичом сороковых годов, другими словами, он произносил по-французски, а думал по-русски.

О его последней болезни и смерти я писал в свое время и резюмировал итоги нашего знакомства в книге «Столпцы мира»¹⁶⁴. А писателем я занимаюсь во втором (еще не изданном) томе моего труда о романе в XIX столетии, в двух отдельных главах «Личность и судьба писателя» и «Главные вехи русского романа»¹⁶⁵. Повторяться я не хочу, и очень нелегко отрываться от памяти о таком «эмигранте», как Герцен, и об этом, без сомнения, даровитейшем и типичнейшем москвиче, который так страстно и преданно выступал борцом за все, что Запад Европы написал на своем освободительном знамени.

Не могу не повторить того, что мы уже чували тогда в Герцене под блеском его беседы—затаенную грусть, тяжкое сознание того факта, что прервалась его героическая эпопея, когда «Колоколом» зачитывалась вся Россия. Он начал тосковать о своей жизни скитальца, как бы без определенного призвания, который видел, что и в Европе его идеи точно сданы в архив. А ведь это было всего за год до падения Второй империи.

Умер он в январе 1870 года (по новому стилю), когда ему шел всего пятьдесят восьмой год.

IV

Александр Иванович был первый эмигрант (и притом с такой славой и обаянием на тогдашнюю передовую Россию), которому довелось испытать неприязненные нападки от молодых русских, бежавших за границу после выстрела Каракозова¹⁶⁶.

До того Герцен оставался единственным эмигрантом на виду, вплоть до прекращения лондонского издания «Колокола». А тут явились «нигилисты» новой формации, и они сразу повели против него подкопы; кончилось это тем, что он принужден был, защищая себя, «отчитать» их в печати, показать всю суть их поведения. Для них Герцен—автор «С того берега», водрузивший на чужбине первый вольный русский станок, издатель «Колокола», поднявший до такой высоты наше общественное самосознание,—все это как бы уже не существовало, и они явились в роли самозванных судей его личности и поведения.

Но разлад начался раньше, со свидания с ним в Лондоне Чернышевского, тогда уже властителя дум самого крайнего слоя русской молодежи¹⁶⁷.

Они не понравились друг другу, и не могли понравиться. Чернышевский приехал с претензией поучать Герцена, на которого он смотрел как на москвича-либерала сороковых годов, тогда как себя он считал провозвестником идей, проникнутых духом коммунизма.

Когда я познакомился с Герценом, я понял, до какой степени личность и весь душевный склад и тон Чернышевского должны были неприятно действовать на него.

С Чернышевским я лично знаком не был; но я начал свое писательство в Петербурге в годы его популярности, и мне, как фельетонисту журнала «Библиотека для Чтения» (который я позднее приобрел в собственность), привелось говорить о тех полемических походах, какие Чернышевский вел тогда направо и налево. Я слышал его публичную беседу, посвященную памяти Добролюбова, только что перед тем умершего. Тема этой беседы была: желание показать публике, что Добролюбов не был нисколько выучеником его, Чернышевского; что он очень быстро занял в «Современнике» самостоятельное положение. Намерение было великодушное и говорило как бы о скромности лектора; но топ беседы, ее беспрестанные обращения к аудитории, то, как он держал себя на эстраде, его фразеология и вплоть до интонаций его голоса—все, по крайней мере, во мне не могло вызвать ни сочувствия, ни умственного удовлетворения. Сиди среди его слушателей Герцен, я думаю, что его впечатление было бы такое же.

Чернышевский и Герцен—это были продукты двух эпох, двух обществ, двух интеллигенций. И оценка Герцена Чернышевским была тем зарядом, которым зарядились новые эмигранты и довели себя до тех беспощадных обличений, какими наградил их Герцен.

У

В нашей эмиграции более чем за полвека не было другого примера той нежной и глубокой дружбы, какая соединяла таких двух приятелей, как Герцен и Николай Огарев.

Это была не только у нас, но и во всей Европе совершенно исключительная душевная связь. Известно из воспоминаний Герцена («Былое и думы»), как зародилась эта дружба и через какие фазы она перешла. На Воробьевых горах произошла клятва во взаимной дружбе двух юношей, почти еще отроков. Тогда уже в них обоих жили задатки будущих «свободолюбцев», намечена была их дальнейшая судьба общественных борцов, помимо их судьбы, как писателей.

Оба рано выступили в печати: один—как лирический поэт, другой—как автор статей и беллетристических произведений. Но ссылка уже ждала того, кто через несколько лет очутился за границей, сначала с русским паспортом, а потом в качестве эмигранта. Огарев оставался пока дома—первый из русских владельцев крепостных крестьян, отпустивший на волю целое село; но он не мог оставаться

дольше в разлуке со своим дорогим «Сашей» и очутился наконец в Лондоне, как ближайший участник «Колокола».

Влияние Огарева на общественные идеи Герцена все возрастало в этот лондонский период их совместной жизни. То, что в Герцене сидело с молодых лет народнического, — преклонение перед крестьянской общиной и круговой порукой, — получило при участии Огарева в «Колоколе» характер целой доктрины, и не будь Огарев так дорог своему другу, вряд ли бы тот помещал в своем журнале многое, что появилось там с согласия и одобрения главного издателя.

Про Огарева у нас мало писали. И его поэтическое дарование стали оценивать только в самое последнее время. Перипетии их дружбы с Герценом тоже не были освещены в печати во всех подробностях. Не соединяя их такая нежная дружба, в их интимной судьбе случилось нечто, что, вероятно бы, заставило и приятелей разойтись. Вторая жена Огарева стала подругой Герцена. От него у нее была дочь Лиза, которая формально считалась Огаревой; но была несомненно третья по счету дочь Александра Ивановича. Но это не охладило того чувства, каким дышал Герцен к своему «Коле» вплоть до последних минут своей жизни. Когда он умирал в Париже, он не переставал беспокоиться, не пришла ли депеша от его Коли. Это дало мне, как беллетристу, мотив рассказа, появившегося в газете под заглавием «Последняя депеша».

Да, такой дружбы не было в русской эмиграции, да и во всей писательской среде.

VI

Огарева я видел всего раз в жизни, и не в Лондоне или Париже, а в Женеве, несколько месяцев после смерти Герцена, во время франко-прусской войны. Он не приезжал в Париж в те месяцы, когда там жил Герцен с семьей, и оставался все время в Женеве, где и А. И. жил прежде домом, по переезде своем из Англии.

И вот жизнь привела меня к встрече с Огаревым именно в Женеве, проездом (как корреспондент) с театра войны, в юго-восточную Францию, где французские войска еще держались. И я завернул в Женеву, главным образом, вот почему: туда после смерти Герцена переехала его подруга Огарева со своей дочерью Лизой, а Лиза в Париже сделалась моей юной приятельницей; я занимался с нею русским языком, и мы вели обширные разговоры и после уроков, и по вечерам, и за обедом в ресторанах, куда Герцен всегда брал ее с собой.

Лиза была не по летам развитая девочка: в двенадцать лет похожа была на взрослую девушку по разговору, хотя по внешности не казалась старше своих лет; с миловидностью почему-то английского

типа, с двумя выдающимися зубами верхней челюсти, с забавным англо-французским акцентом, когда говорила по-русски, со смесью детскости, с манерами и тоном взрослой девицы. Она не говорила Герцену «папа», а называла его и в его присутствии «Александр Иванович» с сильной картавостью.

Мне захотелось по пути повидаться с этой милой «подружкой», которая позднее послужила мне моделью в романе «Дельцы» (а после ее самоубийства уже взрослой девушкой я посвятил ее памяти рассказ «По-русски», в виде исповеди матери).

Точно такая фея послала мне Лизу, когда я, приехав в Женеву, отыскивал их квартиру. Она возвращалась из школы с ученической сумкой за плечами и привела меня к своей матери, где я и отобедал. С ее матерью у меня в Париже сложились весьма ровные, но суховатые отношения. Я здесь не стану вдаваться в разбор ее личности; но она всегда при жизни Герцена держала себя с тактом в семье, где были его взрослые дочери, и женой она себя не выставляла.

Обедать пришел и Огарев. Тогда (в конце 1870 года) это был сильно опустившийся, больной человек, хотя еще не смотрел стариком, с черными волосами, без заметной седины. Не одному мне было известно, что он давно страдал русским недугом алкоголизма. За столом он упорно молчал, и я не помню, чтобы он сказал хоть что-нибудь такое, что могло бы сохраниться в моей памяти. Впечатление производил он довольно тяжкое. Я знал уже и раньше, что он находится в сожительстве с англичанкой, скромной девушкой, которая ходила за ним, как сиделка. Прежнего Огарева—поэта и политического писателя—не осталось и следа в этом «живом трупе». Но—какая игра судьбы, которая свела бывших супругов за этим обедом, где хозяйка приготовила для нас русские щи!

VII

Отступая несколько назад, я приведу подробности моего личного знакомства с М. А. Бакуниным,—этим первоначальным насадителем анархизма, в котором он очутился выучеником Прудона, в Париже, в конце сороковых годов. Оба они были воинствующие гегельянцы, и Бакунин после фанатического оправдания всякой действительности (когда сам начитывал Белинскому гегельянскую доктрину) успел превратиться сначала в революционера на якобинский манер и произвести бунт у немцев, был ими схвачен и выдан русскому правительству, насиделся в сибирской ссылке и бежал оттуда через Японию в Лондон, где состоял несколько лет при Герцене и в известной степени влиял на него, в особенности в вопросе о польском восстании.

Если популярность Герцена покачнулась в России, то именно из-за польского восстания, а в этом главным виновником надо было считать все того же Бакунина.

В Лондон я к Герцену не ездил, и первое мое пребывание там относится к лету 1867 года, когда Герцен с Огаревым и Бакуниным перебрались уже на континент.

О Бакунине я и раньше слышал часто и помногу от разных посетителей герценовой гостиной в Лондоне, в том числе от А. Ф. Писемского, который прекрасно передавал его тон и даже интонации его зычного, как бы протодьяконского голоса (хотя он и ничего общего с духовным званием не имел, а был и остался характерным российским дворянином, тверским экс-помещиком и московским интеллигентом тридцатых годов).

Он стал ездить на те «конгрессы мира и свободы», которые соби-ралась в конце шестидесятых годов в Швейцарии ¹⁶⁸. Первый состоялся в Женеве. Я на него не попал, но попал на второй и третий конгрессы, бывшие в Берне и в Базеле.

Тогда-то я и познакомился с этим страшным упразднителем всей цивилизации по режиму непримиримого анархизма.

Об этих встречах мне приходилось уже говорить в моих воспоминаниях, и я не хотел бы здесь повторяться. Но как же не сказать—какая живописная и архипруская бытовая фигура являлась в лице этого достолюбезного Михаила Александровича? Таких и на Руси его эпохи не нашлось бы и полдюжины.

Все в нем дышало дворянским побытом, все: и колоссальная фигура, и жест, и голос, и язык, и манера одеваться. На нем еще менее, чем на Герцене, отличалась долгая жизнь за границей.

VIII

С Бакуниным, как я сказал, мы выдались на обоих съездах в Берне и Базеле. Он был уже хорошо знаком с моим покойным приятелем Г. Н. Вырубовым; этот тоже приезжал на эти съезды и даже выступал на них, как оратор.

Создатель европейского анархического «Интернационала», когда-то гвардейский офицер и тверской помещик, обладал прирожденным красноречием. По-русски он при мне не произносил речей; но по-французски выражался красиво, а главное—сочно и звучно, своим прото-дьяконским басом.

В памяти моей сохранилась такая забавная подробность, когда Бакунин (это было на Бернском съезде) с кафедры громовым голосом

возгласил, что в России «все готово» к политико-социальной революции, мы с Вырубовым переглянулись, особенно после заключительной фразы, будто бы «таких, как он, в России найдется до сорока тысяч»¹⁶⁹.

В коридоре Вырубов остановился и говорит:

— Михаил Александрович, да побойтесь бога! Да таких, как вы, не только сорока тысяч не найдется у нас, а даже и двоих-троих.

Бакунин добродушно рассмеялся своим могучим грудным смехом. Вообще, он, хоть и был жесток в своих полемках, обезоруживал добродушием и какой-то неумирающей наивностью. Нельзя было хмуриться на него и за то, что он проповедовал.

Все это уже—*tempi passati*, и теперь Бакунин, наверно, на оценку наших экстремистов, являлся бы отсталым старичком, непригодным для серьезной пропаганды. Тогда его влияние было еще сильно в группах анархистов во Франции, Италии и даже Испании. Но он под конец жизни превратился в бездомного скитальца, проживая больше в итальянской Швейцарии, окруженный кучкой русских и поляков, к которым он всегда относился очень благосклонно.

Вот еще одна подробность из дней Бернского съезда. Сидели мы рядом с Вырубовым в коридоре; проходит Бакунин своим грузным, скрипучим шагом и, кивая на нас головой, кидает во всеуслышание:

— Вот сидят попы науки.

Так он называл сторонников позитивной философии.

Но в его анархизме было много такого, что давало ему свободу мнений; вот почему он и не попал в ученики к Карлу Марксу и сделался даже предметом клеветы: известно, что Маркс заподозрил его в роли агента русского правительства¹⁷⁰; да и к Герцену Маркс относился немногим лучше.

После съезда в Базеле больше мы с Бакуниным не встречались. Меня потянуло на родину; а из отечества я отсутствовал более четырех лет.

IX

Надо опять отступить назад, к моменту освобождения крестьян, то-есть к марту 1861 года, так как манифест был обнародован в Петербурге не 19 февраля, а в начале марта, в воскресенье на масленице¹⁷¹.

Тогда я проводил первую свою зиму уже писателем, который выступил в печати еще дерптским студентом в октябре предыдущего 1860 года.

В Дерпте, где я в течение целых пяти лет изучал химию, естественные и медицинские науки, я выпускного экзамена не держал и решил приобрести кандидатский диплом по юридическому факультету,

для чего и записался на второе полугодие 1860—61 года в число вольных слушателей Петербургского университета.

Это сблизило меня с несколькими кружками студентов, и в том числе с одним очень передовым, где вожаком считался Николай Неглюдов (впоследствии сановник, товарищ министра внутренних дел) и некий Михаэлис, брат г-жи Шелгуновой; а чета Шелгуновых состояла в близком приятельстве с известным уже писателем М. Л. Михайловым.

Он, как политический деятель, прошел очень быстро, почти мгновенно. Не только теперь о нем многие забыли, но и тогда его тяжкая судьба—каторжные работы—разразилась совершенно внезапно. Даже в тогдашнем Петербурге его знали мало; а если и знали, то как писателя, беллетриста и автора литературных статей, а не как политического агитатора.

У него тогда (то-есть к году его процесса) было уже прошлое, как у писателя, и довольно большое. Он еще в пятидесятых годах сделал себе имя, как беллетрист, и печатался в лучших журналах—в «Современнике» и в «Отечественных Записках». Его перу принадлежал и обширный бытовой роман из актерского мира в провинции: «Перелетные птицы».

Эпоха реформ произвела в его внутреннем «я» быстрый переворот. Он из беллетриста и стихотворца (как известный уже переводчик песен Гейне) превратился в работника по экономическим вопросам, по политике и публицистике, сделался сторонником самых тогда «разрывных» идей, почитателем таких мыслителей, как Сен-Симон, Луи Блан, Прудон. Его потянуло за границу, и сильнее всего в Лондон, к Герцену. Эта поездка решила его судьбу. Там он и сделался более пылким революционером и оттуда привез с собою ту прокламацию, которая загубила его. Он ее пустил в ход как раз после манифеста 19 февраля и оставался сам в Петербурге, вместо того чтобы переждать и, может быть, совсем не явиться на родину ¹⁷².

Х

Тут я должен опять зайти к годам моего отрочества. Это было в Нижнем, в конце сороковых годов. Я учился в тамошней гимназии до 1853 года; жил и воспитывался в доме моего деда. И тогда уже я знал, что в нашем городе проживает некто Михайлов, племянник советника соляного правления, который ездил с визитами к моему деду; но этот племянник в наш дом вхож не был. С ним водил знакомство по клубу мой дядя, брат матери, человек умный, с образованием, любознательный

и общительный. От него я, вероятно, и слышал впервые про этого Михайлова; видал его только на улице и, даже вопреки моей большой близорукости, разглядел, что он отличался выдающейся некрасивостью лица: что-то инородческое, донельзя не «авантажное», как говорили еще тогда в провинции.

Эти Михайловы были сибиряки или из Приуральского края, чем и объяснилась его такая инородческая некрасивость. Но от дяди я знал, что он «из университетских», очень умный, веселый и речистый остряк и уже тогда пописывал. Несколько позднее я стал читать и его рассказы и повести. Один из этих рассказов до сих пор остается у меня в памяти—«Кружевница», вместе с содержанием и главными лицами его романа «Перелетные птицы». В нем я узнавал актеров и актрис тогдашнего нижегородского театра: первый актер Милославский, впоследствии известный антрепренер на Юге, и сестры Стрелковы (в романе они называются Бушуевы), из которых старшая, Ханея Ивановна, попала в московский Малый театр и играла в моей комедии «Однودворец» уже на амплу старух, нося имя своего мужа, Таланова.

Мы—гимназисты, жадные до чтения журналов,—приписывали Михайлову и ряд очень бойких очерков бытовой жизни на Нижегородской ярмарке, в журнале «Москвитянин»¹⁷³.

У нас с Михайловым были встречи: в конце 1858 года и в начале 1861 года, и оба раза в Петербурге.

В первый раз это случилось в кабинете Я. П. Полонского, тогда одного из редакторов кушелевского журнала «Русское Слово». К нему я попал с рукописью моей первой комедии «Фразеры», которая как раз и погибла в редакции этого журнала и не появлялась никогда, ни на сцене, ни в печати. На сцену ее не пустила театральная цензура.

У Полонского я и нашел Михайлова, и в первый раз в жизни мог поближе разглядеть его, слышать его голос и манеру вести разговор.

На мои слова, что я и раньше видал его, Полонский (они были на «ты») воскликнул:

— Где же? Наверно, в каком-нибудь неприличном месте?

Оба они рассмеялись. И это приятельское замечание и тогда меня не особенно покорило. Я уже из Нижнего вывез такое мнение, что Михайлов, несмотря на свою архинекрасивую внешность, имел репутацию любителя женского пола и считался автором довольно-таки эротических куплетов на тему о жизни девиц в веселой слободке на Нижегородской ярмарке.

Позднее, когда я уже жил в Петербурге, молодым писателем, я всего на несколько минут столкнулся с ним у Писемского. Я шел к нему в кабинет, а Михайлов выходил оттуда.

Писемский, лежа на клеенчатом диване, как всегда, в халате и с раскрытым воротом ночной рубашки, говорил мне:

— Вот сейчас Михайлов спрашивает меня: «Алексей Феофлактович, куда у меня литературный талант девался? А ведь я писал и рассказы и романы». А я ему в ответ: «Заучились, батюшка, заучились, все вопросами занимаетесь, вот талант-то и улетучился».

И это было в сущности верно. Идеи, социальные вопросы, политические мечты и упования отвлекли его совсем от интересов и работы беллетриста.

В третий и последний раз я нашел его случайно в том студенческом кружке, где вожаком был Михаэлис, его приятель и родной брат г-жи Шелгуновой.

Целая компания молодежи сидела вокруг самовара вечером, и среди них—Михайлов. В руках его был экземпляр манифеста об освобождении крестьян. Он жестоко нападал на него, не оставлял живой ни одной фразы этого документа, написанного велеречиво с приемами семинарского красноречия и чиновничьего стиля. Особенно доставалось фразе, которую приписывали тогда московскому митрополиту Филарету: «от проходящего до проводящего» ¹⁷⁴.

Вся эта компания была настроена очень радикально, прямо бунтарски. И, кажется, тогда же я и видел листок той прокламации, которая погубила Михайлова ¹⁷⁵. Получил ли я этот листок от самого автора или от его приятеля Михаэлиса, не припомню. Но я больше с Михайловым уже не встречался.

На нынешнюю оценку содержание и тон этого документа были бы признаны совсем не такими ужасными: повели бы за собою ссылку, пожалуй, и в места довольно-таки отдаленные, но вряд ли—каторжные работы на долготелний срок, с лишением всех прав состояния.

По Петербургу ходила потом запрещенная фотографическая карточка, где Михайлов сидит на барабане, когда его только что остригли, в солдатской шалке и в сером арестантском балахоне; портрет очень похожий, с его инородческими глазами и всем обликом сибирского уроженца.

Успех этой карточки показывал, что в петербургской публике им уже интересовались. Но кто? Исключительно, я думаю, молодежь. Я не помню, чтобы его процесс и приговор волновали всех. Во всяком

случае гораздо меньше, чем впоследствии процесс и гражданская казнь Чернышевского.

Но этот быстрый поворот в судьбе писателя-беллетриста показывал, какой толчок дало русской более восприимчивой интеллигенции то, что «Колокол» Герцена готовил с конца пятидесятых годов.

Если Чернышевский мог во время своего процесса упорно отстаивать свою невиновность, то Михайлову было труднее отрицать, что он составитель прокламации. А Чернышевский был приговорен к каторге только по экспертизе почерка его письма к поэту Плещееву; ее производили сенатские обер-секретари, да и они далеко не все признали тождество с его почерком.

XII

Из той же полосы моей писательской жизни, немного позднее (когда я уже стал издателем-редактором «Библиотеки для Чтения»), всплывает в моей памяти фигура юного сотрудника, который исключительно работал тогда у меня, как переводчик ¹⁷⁶.

Я дал ему перевести как можно скорее только что вышедшую тогда брошюру Дж. Ст. Милля «Об утилитаризме». Мой юный сотрудник перевел ее в два дня, и, когда я послал ему гонорар с секретарем редакции, тот передал мне, что его самого он не застал, а гонорар передал его матери, которая, провожая его, сказала:

— Мой Петенька уж так старается для Петра Дмитриевича.

И этот «Петенька» был не кто иной, как впоследствии жестокий нигилист, критик и эмигрант-революционер Петр Ткачев. Это был тогда недоучившийся студент, самого скромного вида и тихого тона. У меня в журнале он не приспускал еще себя к литературной и публицистической критике. И я не помню, чтобы он часто посещал редакцию.

Его перевод этюда Милля постигла печальная участь. Тогда все статьи философского содержания шли на цензорский просмотр в «лавуру»; их читал какой-то обскурант-монах, да еще имевший репутацию сильно выпивающего. И он такую невиннейшую вещь перекрестил красными чернилами, всю без остатка.

Ткачев поступил в дальнейшую радикальную выучку к Благовосветлову, редактору «Русского Слова», а потом журнала «Дело». Там и выработался из него самый суровый и часто бранчивый критик писаревского пошиба, но еще бесцеремоннее в своих приемах и языке. Он, как известно, доходил до того, что Толстого, автора «Войны и мира», называл именем юродивого—Ивана Яковлевича Корейши! ¹⁷⁷.

В Ткачеве уже и тогда назревал русский якобинец на подкладке социализма, но еще не марксизма. И его темперамент взял настолько вверх, что он вскоре должен был бежать за границу, где и сделался вожаком целой группы русских революционеров, издавал журнал, предавался самой махровой пропаганде... и кончил убежищем для умалишенных в Париже, где и умер в половине восьмидесятих годов. Про него говорили, что он стал неумеренно предаваться винным возлияниям. Это, быть может, и ускорило разложение его духовной личности.

Вот что вышло из тихонького, трудолюбивого студентика, из того «Петеньки», мать которого радовалась, что он так усердствовал, переводя брошюру Милля.

Ни в Петербурге, до моего отъезда из России в сентябре 1865 года, ни за границей я его не встречал больше; а его деятельность мало меня привлекала. В нем умер осколок того материалистического нигилизма и демагогического якобинства, из которых ничего плодотворного, истинно двигательного не вышло ни для людей его поколения, ни для дальнейших поколений, даже и среди эмигрантов.

XIII

Другая, совсем иных размеров, фигура, выплывает в памяти, опять из той же полосы моего петербургского писательства и редакторства.

Это был сам Петр Лаврович Лавров, тогда артиллерийский ученый полковник, а впоследствии знаменитый беглец из ссылки и эмигрант, живший долго в Париже, после усиленной пропаганды своих идей, ряда изданий и попыток организовать революционные центры в двух столицах мира—Лондоне и Париже.

В первый раз мне привелось видеть его, когда я, еще дерптским студентом, привозил свою первую комедию «Фразеры» (как уже упоминал выше) в Петербург и попал я к Я. П. Полонскому, одному из редакторов «Русского Слова». Полонский жил тогда со своею молоденькой первой женой (русской парижанкой, дочерью псаломщика Устюшкова) в доме известного архитектора Штакеншнейдера и привел меня из своей квартиры в хозяйский обширный апартамент, где по воскресеньям давали вечера литературно-танцевальные. Там я впервые видел целый выбор тогдашних писателей: поэта Бенедиктова, Василия Курочкина, М. Семевского (еще офицером Павловского полка) и даже Тараса Шевченку, видом настоящего хохла-чумака, но почему-то во фраке, который уже совсем не шел к нему.

Полонский заставил меня дочитать мою комедию среди целого общества, в гостиной, где преобладали дамы и девицы.

И когда я уже кончал чтение последнего акта, вошел рослый, очень плотный рыжий полковник в сопровождении своей супруги. Это и был Лавров.

Когда потом я перешел в кабинет, где сидели литераторы, случился такой инцидент: Лавров, войдя в кабинет и не заметив меня, сидевшего в углу, громко спросил Полонского своим картавым голосом:

— А как вы находите эту комедию дерптского студента?

Раньше, еще в Дерпте, я стал читать его статьи в «Библиотеке для Чтения», все по философским вопросам. Он считался тогда «гегельянцем», и я никак не воображал, что автор их—артиллерийский полковник, читавший в Михайловской академии механику. Появились потом его статьи и в «Отечественных Записках» Краевского; но в «Современнике» он не писал, и даже позднее, когда я с ним ближе познакомился, уже в начале шестидесятых годов, не считался вовсе «нигилистом» и еще менее тайным революционером.

Как только я сделался издателем-редактором «Библиотеки для Чтения», я предложил ему взять на себя отдел иностранной литературы. Он писал обзоры новых книг, выходивших по-немецки, по-английски и по-французски. Каждый месяц из книжных магазинов ему доставляли большие кипы книг; он подвергал их слишком быстрому просмотру, так что его обзоры получали отрывочный и мало литературный колорит.

Это сотрудничество повело к знакомству домами. Я бывал у него на вечеринках. У нас нашлось даже (через его племянника, блестящего правоведа) какое-то дальнее свойство от моей тетки, жившей тогда в Петербурге.

Так прошло два с чем-то года; весной 1865 года прекратилось издание моего журнала, и с 1865 по 1871 год я прожил за границей (с коротким приездом в Москву в 1866 году), и в эту полосу моей жизни я нигде с Лавровым не встречался.

XIV

Тогда-то и произошел крутой переворот в его судьбе. Из артиллерийского полковника и профессора академии он очутился в ссылке, откуда и бежал за границу; но это случилось уже после того, как я вернулся в Петербург в январе 1871 года.

В идеях и настроениях Лаврова произошло также сильное движение влево, и он из теоретического мыслителя, социолога и историка

философии превратился в ярого врага царизма, способного испортить служебную карьеру и рисковать ссылкой.

Как я сейчас сказал, в это время меня не было в России. И в Париже (откуда я уехал после смерти Герцена, в январе 1870 года) я не мог еще видеть Лаврова. Дальнейшее наше знакомство относится к тем годам Третьей республики, когда Лавров уже занял в Париже, как вождь одной из революционных групп, видное место, после того как он издавал журналы и сделал всем характером своей пропаганды окончательно невозможным возвращение на родину.

Он продолжал много работать и как теоретик, по истории идей и эволюции общества, брал на себя обширные труды, переводные и оригинальные; писал постоянно и в русские журналы анонимно и под псевдонимами. В этом ему помогали, оказывая материальную поддержку, его друзья и в России и за границей. Но когда я с ним видался в Париже (и у Г. Н. Вырубова и у него на квартире), он мне казался уже сильно «сдавшим», как говорят москвичи, не в смысле верности делу эмиграции, но по своим физическим силам, бодрости и свежести душевной энергии. Он стал страдать глухотой; но в нем еще сохранились пылкость речи, увлекаемость и склонность к спорам. Сохранился и его голос, высокий и очень картавый. У Вырубова (когда мы с ним там обедали) он не вел себя как революционный вождь, хотя всегда и спорил с хозяином; но эти споры были больше теоретические.

Жил он в тесной квартирке, в глубине двора на длиннейшей Rue Saint-Jacques. Помню, я его нашел раз в обществе каких-то русских курсисток; они принесли ему ягод, до которых он был охотник. И, продолжая горячую беседу, он доставал вишни из пакета, ел их и выплевывал косточки.

Мое общее впечатление было такое: он и тогда не играл такой роли, как Герцен в годы «Колокола», и его «платформа» не была такой, чтобы объединять в одно целое массу революционной молодежи. К марксизму он относился самостоятельно; анархии не проповедывал; а главное, в нем самом не было чего-то, что дает агитаторам и вероучителям особую силу и привлекательность, не было даже и того, чем брал хотя бы Бакунин.

Собственно «лавровцев» было мало и в Париже и в русских столицах. Его умственный склад был слишком идейный. Я думаю, что высшего влияния он достиг только своими «Историческими письмами». Тогда же и в Париже, а потом в Петербурге и Москве, как известно, наша молодежь, после увлечения народничеством и подпольными сообществами, ушла в марксизм или делалась социал-революционерами

и анархистам-экспроприаторам, что достаточно и объявилось в движении 1905—1906 гг.

XV

Опять—несколько шагов назад; но тот эмигрант, о котором сейчас пойдет речь, соединяет в своем лице несколько полос моей жизни и столько же периодов русского литературного и общественного движения.

Он так и умер эмигрантом, хотя никогда не был ни опасным бунтарем, ни вожаком партии, ни ярким проповедником «разрывных» идей или издателем журнала с громкой репутацией.

Это был Владимир Иванович Жуковский¹⁷⁸.

Впервые познакомился я с ним в коридорах Петербургского университета, когда мне привелось держать там экзамен на кандидата, в сентябре 1861 года.

Выходит, стало быть, что мы с ним ближайшие сверстники, если не ровесники: он был, вероятно, помоложе меня тогда на два, на три года.

Я был раньше (в годы моего студенчества в Казани) товарищем его старшего брата, Григория Ивановича, сделавшего потом блестящую судебную карьеру; он кончил ее званием сенатора.

Владимир Иванович попал в эмиграцию из-за горячего сочувствия польскому восстанию. Это послужило толчком дальнейшим его житейским мытарствам. В России он не сделался вожаком одной из тогдашних подпольных конспираций. Его платформа была сначала чисто политическая; а о марксизме тогда еще и разговоров не было среди нашей молодежи.

За границей я стал встречаться с ним опять в Швейцарии, где он поселился в Женеве и скоро сделался как бы «старостой» тогдашней русской колонии; был уже женат на очень милой женщине, которая ухаживала за ним, как самая нежная нянька.

А ухаживать надо было. Жуковский оставался весь свой век большим ребенком: пылкий, увлекающийся, податливый на всякое приятие, способный проспорить целую ночь, участвовать во всякой ссодке и пирушке.

В нем жил гораздо больше артист, чем бунтарь или заговорщик. Он с детства выказывал музыкальное дарование, и из него мог бы выйти замечательный пианист, предайся он серьезнее карьере музыканта.

В Женеве он поддерживал себя материально, давая уроки и по общим русским предметам и по фортепианной игре. Когда я (во время

франко-прусской войны) заехал в Женеву повидаться с Лизой Герцен, я нашел его ее учителем.

Но еще раньше я возобновил наше знакомство на конгрессах «мира и свободы», всего больше на первом по счету из тех, на какие я попадал,—в Берне.

Тогда он держался группы приверженцев Бакунина; но я не знаю, был ли он убежденный и упорный анархист; скорее, сомневаюсь в этом. Слишком он любил жизнь, культурность, все приманки общественности, которая ведь создана была почти исключительно «буржуями». И никогда я не слышал, чтобы он что-нибудь проповедывал ярко разрушительное. К Бакунину он относился с полной симпатией, быть может, больше, чем к другим светилам эмиграции той эпохи, не исключая и тогдашних западных знаменитостей политического мира: В. Гюго, Кинэ, немецких эмигрантов, в роде, например, обоих братьев Фогт.

XVI

И так вот и скоротал он свой век, сидя все в Женеве и представляя собою тип вечного студента шестидесятых годов. Не думаю, чтобы кто-нибудь брал его «всурьез», как заговорщика или влиятельного человека партии.

В последний раз виделись мы уже давно, зимой в Женеве. Это было в самом начале девяностых годов. Я тогда создавал свой большой роман «Перевал», который кто-то в печати называл в шутку: «Сбор веем частям русской интеллигенции». В виде вступления я задумал главу, где один из героев романа вспоминает о том, как он ездил «прощаться» с обломками тогдашней русской эмиграции во французскую Швейцарию.

Это проделал я сам. Направляясь зимой (это было под Новый год) на французскую Ривьеру, я навестил в Женеве и Лозанне несколько эмигрантов, доживавших там свои дни. В памяти моей остались две типичные фигуры: одна в Лозанне, другая в Женеве.

Лозаннский, уже пожилой, эмигрант жил в мансарде; потерял надежду вернуться на родину и переживал уже полную «резиньяцию», помирился с горькой участью изгнанника, который испытывал падение своих молодых грез и долгих упований. Но другой, в Женеве, из земских деятелей, оставался все таким же оптимистом.

На прощанье он мне говорил, пожимая мне руку, с блеском в глазах: — Вы будете надо мною смеяться; но я до сих пор верую в то, что вот сейчас подкатит к подъезду нашего дома тройка, возьмет меня и помчит на родину, освобожденную от ее теперешних оков.

Дожил ли он до этого радужного момента—не знаю: ведь это было более четверти века назад. Может, и дожил!

Жуковский прибежал ко мне в гостиницу (я останавливался в «Hôtel de Russie»), и у нас сразу завязалась одна из тех бесконечных бесед, на какие способны только русские. Пролетело два, три, четыре часа. Отворяется дверь салона, и показывается женская фигура: это была жена милейшего Владимира Ивасовича, все такого же молодого, пылкого и неистощимого в рассказах и длинных отступлениях.

— Простите, Петр Дмитриевич!—начала она с тихой и тонкой усмешкой,—я пришла напомнить Владимиру Ивасовичу, что надо и вас пожелать. Он, я думаю, совсем вас заговорил.

Я ее успокоил; она вскоре удалилась, а наша беседа протянулась еще на добрый час.

Плеханова (с которым я до того не был знаком) я не застал в Женеве, о чем искренно пожалел. Позднее я мельком в Ницце видел одну из его дочерей, подруг дочери тогдашнего русского эмигранта, доктора А. Л. Эльсница, о котором буду еще говорить ниже. Обе девушки учились, кажется, в одном лицее. Но отец Плехановой не приезжал тогда в Ниццу, да и после я там с ним не встречался; а в Женеву я попал всего один раз, мимоходом, и не видал даже Жуковского.

XVII

На конгрессах «мира и свободы» знакомился я и с другими молодыми эмигрантами, сверстниками Жуковского. Одного из них я помнил еще во время студенческих беспорядков в Петербургском университете, тотчас после моего кандидатского экзамена, осенью 1861 года.

Это был Н. Утин, игравший и тогда роль вожака, бойкий, речистый, весьма франтоватый студент. С братом его, Евгением, я позднее водил многолетнее знакомство.

В Швейцарии Н. Утин считался тогда как бы главным адъютантом Бакунина. Он выступал, кажется, и на конгрессе в Базеле, на который я попал; но что он говорил с трибуны, улетучилось из моей памяти¹⁷⁹. Я больше наблюдал ту «банду» (как ее называли), которая группировалась вокруг него: все из молодых дамочек и девиц; одна была хорошенькая. Он держался как их староста. Какие между ними существовали отношения—распознать было нелегко. Они все говорили друг другу «ты» и употребляли особый жаргон, окликая себя: «Машка!», «Сашка!», «Варька!». Мне привелось долго вбирать в себя этот жаргон, очутившись с ними в одном вагоне уже после конгресса.

Всю дорогу они желали «épatage» (как говорят французы) умышленной вульгарностью своих выражений. Дорогой они ели фрукты. И все эти дамы не иначе выражались, как:

— Мы лопали груши.

Или:

— Мы трескали яблоки.

Немало был я изумлен, когда года через два в Петербурге (в начале семидесятых годов) встретился в театре с одной из этих дам, «лопавших» груши, которая оказалась супругой какого-то не то предводителя дворянства, не то председателя земской управы.

Эта короста со многих слетела, и все эти Соньки, Машки, Варьки сделались, вероятно, мирными обывательницами. Они приучились быть по-волчьи в эмигрантских кружках, желая выслужиться перед своим «властителем дум», как вот такой Н. Утин.

Но и он—во что обратился с годами? Из «страшного» анархиста и коммуниста—сделался дельцом, попал в железнодорожные воротилы, добился амнистии и приехал на место с крупным окладом в Петербург, где я с ним столкнулся раз в Михайловском театре.

Он наметил движение, как бы желая подойти ко мне и протянуть мне руку; но я уклонился и сделал вид, что не узнал его. И тогда мне сразу и так ярко представился вагон, и он посреди своих амазонок, вспомнился его топ вместе с самодовольной игрой физиономии; а также тот жаргон, какому он научил своих почитателей, всех этих барынек и барышень, принявших добровольно прозвища Машек, Сонек и Варек.

XVIII

Вторую половину шестидесятых годов я провел всего больше в Париже, и там, в Латинском квартале, я и ознакомился с тогдашней очень немногочисленной русской эмиграцией. Она сводилась к кучке молодежи, не больше дюжины,—все «беженцы», имевшие счеты с полицией. Был тут и офицер, побывавший в польских повстанцах, и просто беглые студенты за разные истории; были, кажется, два-три индивиды, скрывшиеся из-за дел совсем не политических.

То, что было среди них более характерного, то вошло в сцены тех частей моего романа «Солидные добродетели», где действие происходит в Париже. Что в этих портретных эскизах я не позволил себе ничего тенденциозно-обличительного,—доказательство налицо: будь это иначе, редакция такого радикального журнала, как «Отечественные Записки» Некрасова и Салтыкова, не печатала бы моей вещи. Но, разумеется,

я не мог смотреть на эту эмиграцию снизу вверх; не мог даже считать ее чем-нибудь серьезным и знаменательным для тогдашнего русского политического движения. Тут собрался разный народ: «с борка да с сosenки». Это было тотчас после польского восстания и каракозовского выстрела. Трудно было и распознать в этой кучке что-нибудь вполне определенное в смысле «платформы». Было тут всего понемножку—от коммунизма до революционного народничества.

Группа в три-четыре человека наладила сапожную артель, о которой есть упоминание и в моем романе. Ее староста, взявший себе французский псевдоним, заходил ко мне и даже взял заказ на пару ботинок, которые были сделаны довольно порядочно. Он впоследствии перебрался на французскую Ривьеру, где жил уроками русского языка; и в Россию не вернулся, женившись на француженке.

К этой же «мастерской» принадлежал, больше теоретически, и курьезный нигилист той эпохи, послуживший мне моделью лица, носящего у меня в романе фамилию Ломова. Он одно время приходил ко мне писать под диктовку и отличался крайней первобытностью своих потребностей и расходов.

Выражение из его жаргона, что отец и мать у него «подохли»,—мною не выдуманно. Он, вероятно, и не стал бы отрицать его. Совершенно неожиданно явился он ко мне в Нижнем, где он проживал, кажется, в виде поднадзорного обывателя. Это было уже гораздо позднее. Хмуро-добродушно он намекал мне в разговоре на то, что в моем романе имеется лицо, довольно-таки на него похожее. Но «идейных» разговоров я ни с ним, ни с его парижским товарищем не водил. Видал я их и у моего тогдашнего приятеля Наке, когда тот отсиживал в лечебнице, приговоренный за участие в каком-то заговоре, где оказалось наполовину провокаторов. Это было в конце наполеоновской эпохи.

Эта парижская эмиграция была только первая ласточка того наплыва русских нелегальных, какие наводнили Латинский квартал в Третью республику, в особенности с конца восьмидесятых годов, а потом после взрыва нашего революционного движения 1905 года.

XIX

Лондон в истории русской эмиграции сыграл, как известно, исключительную роль. Там был водружен первый по времени «вольный станок»; там раздавался могучий голос Герцена; туда в течение нескольких лет совершалось и тайное и явное паломничество русских—не

одних врагов царизма, а и простых обывателей: чиновников, литераторов, помещиков, военных, более образованных купцов.

Лондон долго не делался главным центром нашего политического изгнанничества. Герцен привлекал всех; но вокруг него сгруппировалась кучка больше западных изгнанников: итальянцев, мадяров, поляков, немцев, французов. Из эмигрантов е именем были ведь только двое: Огарев и Бакунин. Остальные русские писатели, как Чернышевский или Михайлов, только наезжали.

И с оставлением Герценом Лондона он потерял для русской свободной интеллигенции прежнюю притягательную силу. Кажется, первые годы после переезда Герцена на континент вряд ли осталась в Лондоне какая-нибудь политическая приманка; по крайней мере, ни в 1867 году, ни в 1868 году (я жил тогда целый сезон в Лондоне) никто мне не говорил о русских эмигрантах; а я познакомился с одним отставным моряком, агентом нашего пароходного общества, очень общительным и образованным холостяком, и он никогда не сообщал мне ни о каком эмигранте, с которым стоило бы познакомиться.

Одного настоящего эмигранта нашел я, правда, в 1867 году, хотя по происхождению и не русского, но из России и даже прямо из петербургской интеллигенции шестидесятых годов. О нем у нас совсем забыли; а это была оригинальная фигура, и на ее судьбу накинута как бы флер некоторой таинственности.

Про него я упоминаю в моих лондонских очерках, в книге «Столицы мира»¹⁸⁰, и здесь вкратце напомню о нем. Это был А. И. Бенин (Бениславский), сын протестантского пастора из евреев и кровной англичанки, родившийся и воспитанный в русской Польше. Он рано выучился бойко говорить и писать по-русски, примкнул к нашему радикальному движению начала шестидесятых годов и отправился по России собирать подписи под всероссийским адресом царю о введении у нас конституции. Он сделался сотрудником газет и журналов и писал в моем журнале «Библиотека для Чтения», был судим по какому-то политическому процессу и, как иностранец, подвергся высылке из России.

Я его нашел в Лондоне в сезон 1867 года. Он знакомил меня с тогдашним литературным Лондоном, но ни о каких русских эмигрантах он мне ничего не говорил. Судьба этого неудачника довела до печального конца: шальная пуля папского зуава ранила его, когда он был корреспондентом при отряде Гарибальди. И он умер от своей раны в римском госпитале, сойдя в могилу с какой-то тенью подозрений, от которых его приятель Н. С. Лесков защищал его в особой брошюре, вышедшей вскоре после его кончины¹⁸¹.

Пролетело целых двадцать лет, и весной 1895 года я поехал в Лондон «прощаться» с ним и прожил в нем часть сезона.

В этот перерыв, более чем в четверть века, Лондон успел сделаться новым центром эмиграции. Туда направлялись и анархисты и самые серьезные политические беглецы, как, например, тот русский революционер, который убил генерала Мезенцова и к году моего приезда в Лондон уже успел приобрести довольно громкое имя в английской публике своими романами из жизни наших бунтарей и заговорщиков.

В России я его никогда и нигде не встречал, да и за границей—также. Он засел в Лондоне, как в самом безопасном для него месте. Тогда Французская республика уже состояла в «альянсе» с Русской империей, и такой видный государственный «преступник» был бы не совсем вне опасности в Париже. Он сравнительно скоро добился такой известности и такого значительного заработка, как писатель на английском языке, что ему не было никакой выгоды перебраться куда-нибудь на материк—в Италию или Швейцарию, где тем временем самый первый номер русской эмиграции успел отправиться к праотцам: Михаил Бакунин умер там в конце русского июня 1876 года.

Мой чичероне по тогдашнему Лондону (где я нашел много совсем нового во всех сферах жизни) был г. Р., сотрудник тех журналов и газет, где и я сам постоянно писал, и как раз живший в Лондоне на положении эмигранта.

Ему хотелось, кажется, чтобы я познакомился с «устрапителем» генерала Мезенцова. Я не уклонялся от этой встречи и не искал ее. Между нами была та связь, что он стал также романистом (под псевдонимом Степняка), но я—грешный человек!—до тех пор не читал ни одной его строки. Так я и уехал из Лондона, не познакомившись с ним. Должно быть, судьбе не угодно было этого, потому что в то воскресенье, когда г. Р. пригласил меня к себе (у него должен был быть еще и другой не менее известный изгнанник, князь Кропоткин), я уехал на остров Уайт (еще накануне) и нашел у себя по возвращении его письмо со вложением двух депеш: от Степняка и от князя Кропоткина, с которым я также до того нигде не встречался. Его личность, судьба и руководящая роль меня больше интересовали. И я был приятно изумлен, найдя в его депеше к г. Р. искреннее сожаление о том, что нездоровье помешало ему быть у него и познакомиться с автором тех романов... и тут стояло такое лестное определение этих романов, что я и теперь, по прошествии более двадцати лет, затрудняюсь привести его, хотя и не забыл английского текста.

Тем и завершилось мое знакомство с нелегальным Лондоном, и я точно не знаю, какую роль столица Великобритании играла для русской эмиграции в самые последние годы, вплоть до нашей революции.

XXI

Теперь, не покидая Франции, вспомню о знакомстве с теми эмигрантами, которые жили там подолгу. Один из них и умер в Ницце, а другой—в России.

Это были доктора Якоби и Эльсниц, оба уроженцы срединной России, хотя и с иностранными именами.

Первого из них я уже не застал в Ницце (где я прожил несколько зимних сезонов, с конца восьмидесятых годов); там он приобрел себе имя, как практикующий врач, и был очень популярен в русской колонии. Он когда-то бежал из России, после польского восстания, где превратился из артиллерийского офицера русской службы в польского «довудца»; ушел, стало быть, от смертной казни.

Его старшего брата, художника В. П. Якоби, я знал еще с моих студенческих годов—в Казани; умирать приехал он также на Ривьеру, где и скончался в Ницце в тот год, когда я туда наезжал.

Его брата, врача, звали Павел Иванович. Первая наша встреча случилась в Париже в конце шестидесятых годов, в Латинском квартале, у моего ближайшего собрата, В. Чуйко, жившего тогда в Париже корреспондентом русских газет.

Я нашел этого, мне совсем незнакомого, компатриота в самый разгар его разносов, направленных на личность и на политическую роль Герцена. Это было еще, кажется, до переселения Герцена в Париж. Я уже слышал, что у него вышли столкновения и сцены с новой русской эмиграцией.

Не зная фактической подкладки всей этой истории (дело вертелось главным образом около возвращения какого-то капитала), я не мог принять участия в этом разговоре; но весь тон Якоби, его выходки против личности Герцена мне весьма не понравились. Не знаю—остался ли он и позднее в таких же чувствах к памяти Герцена; но его разносы дали мне тогда оселок того, как наши эмигранты способны были затевать и поддерживать бесконечные распри, дразни, устную и печатную перебранку.

Прошли года. К концу 1889 года, когда я стал проводить в Ницце зимние сезоны, доктора Якоби там уже не было. Он не выдержал своего изгнания, хотя и жил всегда и там «на миру»; он стал хлопотать о своем возвращении в Россию. Его допустили в ее

пределы, и он продолжал заниматься практикой, сделался земским врачом и кончил заведующим лечебницей для душевно-больных.

Тогда я с ним встречался в интеллигентных кружках Москвы. Скажу откровенно: он мне казался таким же неуравновешенным в своей психике, на кого-то и на что-то он сильнеешим образом нападал,—в этот раз уже не на Герцена, но с такими же приемами разноса и обличения.

Говорили мне в Ницце, что виновницей его возвращения на родину была жена, русская барыня, которая стала нестерпимо тосковать по России, где ее муж и нашел себе дело по душе, но где он оставался все таким же вечным протестантом и обличителем.

XXII

В Ницце годами водил я знакомство с А. Л. Эльсницем, уроженцем Москвы, тамошним студентом, который из-за какой-то истории во время волнений скрылся за границу¹⁸², стал учиться медицине в Швейцарии и Франции, приобрел степень доктора и, уже женатый на русской и отцом семейства, устроился прочно в Ницце, где к нему перешла и практика доктора Якоби.

Вот тогда я с ним и познакомился, и знакомство это длилось до самой его смерти, случившейся в мое отсутствие.

Сын немца, преподавателя немецкого языка и литературы в московских учебных заведениях (а под старость—романиста на немецком языке из русской жизни), А. Л. сделался вполне русским интеллигентом. И в своем языке, и в манерах, и в общем душевном складе он был им несомненно.

Специальное ученье и долгое житье в Швейцарии и Франции вовсе не офранцузили его, и в его доме каждый из нас чувствовал себя, как в русской семье. Все интересы, разговоры, толки, идеалы и упования были русские. Он не занимался уже «вопнивающей» политикой, не играл «вожака», но оставался верен своим очень передовым принципам и симпатиям; сохранял дружеские отношения с разными революционными деятелями, в том числе и с обломками Парижской Коммуны, в роде старика Франсе, бывшего в Коммуне как бы министром финансов; с ним я познакомился у него в гостиной. Не думаю, чтобы его можно было считать правоверным марксистом, хотя в числе его ближайших знакомых водились и социал-демократы. Сколько помню, он был близок с Плехановым, а дочь его дружила с одной из дочерей этого—и тогда уже очень известного—русского изгнанника, проживавшего еще в Швейцарии.

Как врач, Эльсниц был скорее скептик, не очень верил в медицину и никогда не настаивал на каком-нибудь, ему любезном, способе лечения. Я его и прозвал: «наш скептический Эльсниц». И, несмотря на это, практика его разрасталась, и он мог бы еще долго здравствовать, если бы не предательская болезнь сердца; она свела его в преждевременную могилу. На родину он так и не попал.

В Ницце мы выдались с ним часто; также часто навещали мы М. М. Ковалевского, на его вилле в Болье. С Ковалевским Эльсниц был всего ближе из русских. Его всегда можно было видеть и на тех обедах, какие происходили в русском папсоне, где в разные годы бывали неизменно, кроме Ковалевского, доктор Белоголовый с женой, профессор Коротнев, Юралов (вице-консул в Ментоне), Чехов, Потапенко и много других русских, паезжавших в Ниццу.

Старший сын Эльсница занял его место и, как врач, приобрел скоро большую популярность. Он пошел на французский фронт (как французский гражданин) в качестве полкового врача; а младший сын, как французский же рядовой, попал в плен; дочь вышла замуж за французского дипломата.

XXIII

В некотором смысле можно было бы отнести к эмиграции и таких двух русских, как покойные М. М. Ковалевский и Г. Н. Вырубов.

Ковалевский прожил лучшие свои годы за границей, на вилле, купленной им в Болье в конце восьмидесятых годов. Может быть, иной считал его также изгнанником или настоящим эмигрантом. Но это—неверно. Он не переставал быть легальным русским обывателем, который по доброй воле (после его удаления из состава профессоров Московского университета) предпочел жить за границей, в прекрасном климате, и работать там на полной свободе. Для него, как для ученого, автора целого ряда больших научных трудов, это было в высшей степени благоприятно. Но нигде за границей он не отдавался никакой пропаганде революционера или вообще политического агитатора: это стояло бы в слишком резком противоречии со всем складом его личности.

О нем я пишу особенно в воспоминаниях, которые я озаглавил: «Жизнерадостный Максим»¹⁸³. Наша долгая умственная и общественная близость позволяла мне говорить о нем в дружеском тоне, выставляя, как его коренную душевную черту,—его «жизнерадостность».

Другой покойник в гораздо большей степени мог бы считаться если не изгнанником, то «русским иностранцем», так как он с молодых лет

покинул отечество (куда наезжал не больше двух-трех раз), поселился в Париже, пустил там глубокие корни, там издавал философский журнал, там вел свои научные и писательские работы; там завязал обширные связи во всех сферах парижского общества, сделался видным деятелем в масонстве и умер в звании профессора Collège de France, где занимал кафедру истории наук.

Все это проделал по доброй воле, без малейшего давления внешних обстоятельств—мой долголетний приятель и единомышленник по философскому сроду Г. Н. Вырубов, русский дворянин, помещик, дитя Москвы, сначала лицеист, а потом кандидат и магистрант Московского университета.

Очень редко бывает у нас, чтобы русский, не будучи беглецом, эмигрантом, нелегальным жителем, не имеющим гражданских прав в чужой стране (я таких в Париже не знавал ни одного на протяжении полувека), кто бы, как Вырубов, решив окончательно, что он, как деятель, принадлежит Франции,—приобрел звание гражданина республики и сделал это даже с согласия русского правительства. Еще незадолго до того, в турецкую войну, он приезжал в Россию и заведывал санитарным отрядом на Кавказе, за что получил орден Владимира, а во Франции был, кажется, еще раньше награжден крестом Почетного Легиона.

О нем следовало бы поговорить в разных смыслах; а здесь я привел его имя потому, что и он фактически принадлежал к эмигрантам, если посмотреть на этот термин в более обширном значении. Можно только искренно пожалеть, что такая замечательная личность была слишком мало известна в России, даже и в нашей пишущей среде.

XXIV

В заголовке этих воспоминаний стоит также имя Толстого.

«Какой же он эмигрант?»—спросят меня.

В прямом смысле, конечно—нет; но если взять всю совокупность его деятельности за последние двадцать лет его жизни, его пропаганду, его сроду неохристианского анархиста чистой воды, то,—не будь он Лев Николаевич Толстой,—он давно бы очутился в местах «довольно отдаленных», откуда мог бы перебраться и за границу. Весь его умственный, нравственный и общественный склад был характерен для самого типичного эмигранта.

Наша полицейская власть даже и его желала бы заставить молчать и лишить свободы. Единственный из всех, когда-либо живших у нас писателей, он был отлучен синодом от церкви. И в редакционных

сферах не раз заходила речь о том, чтобы покарать его за разрушительные идеи и писания.

Можно сказать, что и в среде наших самых выдающихся эмигрантов не много было таких стойких защитников своего исповедания веры, как Толстой. Имена едва ли только не троих можно привести здесь, из которых один так и умер в изгнании, а двое других вернулись на родину после падения царского режима: это—Герцен, Плеханов и Кропоткин.

С Толстым я был лично знаком, но давно уже с ним не видался. Вполне сочувственного отношения к его проповеди я не мог разделять и не видел серьезного мотива являться к нему, в качестве гостя или репортера, в Ясную Поляну. Но наши сношения оставались чрезвычайно мягкими и благодушными. Я не видал между нами ни малейшего повода к какому-либо личному неудовольствию, к каким-либо счетам. Напротив, Толстой (насколько мне было это известно из разговоров с его ближайшими последователями) всегда относился ко мне, как к собрату-писателю, с живым интересом и доказал это фактом, небывалым в летописи того «разряда» Академии, где я с 1900 года состою членом.

Покойный профессор Сухомлинов, бывший тогда «председательствующим» в нашем отделении, вскоре после моего избрания сообщил мне, что Толстой,—которому надо было поставить шесть имен для трех кандидатов,—написал шесть раз одно имя, и это было—мое.

В конце прошлого 1916 года я задумал и кончил этюд: «Толстой, как вероучитель», где я даю мою объективную и, смею думать, беспристрастную оценку его натуры, мировоззрения и всего его *credo* с точки зрения научно-философского анализа и синтеза¹⁸⁴.

В первой половине этого «опыта оценки» я привожу все то, что у меня осталось в памяти о человеке, о моих встречах, беседах и наблюдениях над его жизнью и обстановкой в Москве в начале девяностых годов, когда я только и видался с Толстым.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Рукопись «Итоги писателя» была передана (в первоначальном виде, без дополнений) Боборыкиным С. А. Венгерову и использована им для биографии Боборыкина, напечатанной Венгеровым в IV томе его «Критико-биографического словаря русских писателей и ученых» (СПб. 1895).

² Книга Боборыкина «Столицы мира» была напечатана в 1912 году.
³ «В путь-дорогу» — первый роман Боборыкина, опубликованный им в 1863—1864 гг. в «Библиотеке для Чтения». Те страницы этого романа, которые посвящены описанию гимназической и университетской жизни его героя, Телепнева, имеют автобиографическое значение.

⁴ «Отец Горио» — роман Бальзака.

⁵ Ассигнациями назывались неразменные бумажные деньги, ценность которых колебалась. В пятидесятых годах ценность одного рубля ассигнациями равнялась приблизительно 30 копейкам серебром.

⁶ «Солдатская беседа», написанная Н. П. Григорьевым, прочитанная им на собрании у Н. А. Спешнева и содержащая в себе резкую критику военных и политических порядков николаевской России, предназначалась для агитации среди солдат.

⁷ Первое издание «Горя от ума» появилось в 1833 году в Москве в крайне искаженном цензурой виде. Все мало-мальски резкие монологи Чацкого и Фамусова были удалены.

⁸ «Sturm und Drang-Periode» — эпоха бури и натиска. Боборыкин так называет эпоху шестидесятых годов.

⁹ Долгое время на русской сцене «Отелло» Шекспира шло в приспособленной к французской сцене переделке Дюси.

¹⁰ «Торговой казнью» назывались телесные наказания, исполняемые публично, обычно на базаре, на «торгу» (отсюда и название).

¹¹ «Москвитянин» — журнал, выходивший в 1841—1856 гг. в Москве и издававшийся М. П. Погодиным. Журнал этот велся в духе так называемой «официальной народности» о ее лозунгом: «самодержавие, православие и народность».

¹² «Индиана», «Лелия», «Консуэлло», «Жак», «Мопра» и «Лукреция Флорентиани» — романы Жорж-Занд.

¹³ Болдино — имение Пушкина в Нижегородской губернии, доставшееся ему по наследству от его деда В. Л. Пушкина.

¹⁴ Боборыкин имеет в виду торжественное открытие памятника Пушкину в Москве в июне 1880 года (во время которого Ф. М. Достоевский произнес свою знаменитую речь, в которой охарактеризовал Пушкина

как «народного поэта») и столетний юбилей рождения Пушкина, отпразднованный в 1899 году.

¹⁵ Первая часть и несколько глав второй части романа «Земские силы» были напечатаны в «Библиотеке для Чтения» в 1865 году и тогда же вышли отдельным изданием.

¹⁶ Воспитательный дом, находившийся в заведывании Опекунского совета, в дореформенной России играл роль банка, припимавшего в залог дворянские имения.

¹⁷ «Ямой» называлось в Москве первой половины XIX века место заключения для обанкротившихся купцов, в котором они содержались за счет своих кредиторов до тех пор, пока не расплачивались с долгами или пока кредиторам не надоедало вносить деньги на их содержание.

¹⁸ «Печкипская кофейня» — кофейня, содержавшаяся в Москве в тридцатых и сороковых годах купцом Печкиным и служившая обычным местом для свиданий московских литераторов того времени.

¹⁹ «Банкрутом» первоначально называлась пьеса Островского «Свои люди — сочтемся», напечатанная впервые в «Москвитяине» за 1850 год. Название пьесы было изменено по требованию цензуры. По распоряжению Николая I постановка на сцене этой пьесы была запрещена по тем соображениям, что содержание ее оскорбительно для купечества, представители которого выведены в пьесе.

²⁰ «Кружок» — артистический кружок, функционировавший в Москве с середины шестидесятых по начало семидесятых годов.

²¹ Фамилия Апушкина в «Женитьбе» была переделана в Ходилкина по настоянию цензуры, нашедшей, что офицеру не подобает носить такую фамилию, как Анушкин.

²² Воспоминания о Живокини были напечатаны Боборыкиным в сборнике «Складчина», вышедшем в 1874 году.

²³ До середины пятидесятых годов ношение бороды позволялось только лицам, принадлежащим к купеческому сословию.

²⁴ После революции 1848 года правительство Николая I, желая поставить преграду распространению в России революционных идей, решило затруднить доступ молодежи в университет и установило, что общее число студентов в каждом университете (не считая медицинских факультетов) не должно превышать 300 человек. Ограничение это было отменено в 1855 году.

²⁵ «Василий Теркин» — роман Боборыкина, напечатанный впервые в «Вестнике Европы» за 1892 год.

²⁶ Камералистами назывались студенты камеральных разрядов, существовавших в русских университетах до реформы 1863 года. Задачей этих разрядов была подготовка «людей», способных к службе хозяйственной и административной. На камеральных разрядах преподавались, с одной стороны, некоторые юридические и экономические науки, а с другой — ряд практических — технических дисциплин.

²⁷ Рассказ Боборыкина «Псарня» впервые был напечатан в «Новом Обзрении» за 1881 год, № 1—2.

²⁸ Пожар Большого театра в Москве произошел 11 марта 1853 года. Присутствовавший в толпе малыр Марин самоотверженно спас, взобравшись по жолобу на крышу театра, одного театрального мастерового (а не танцовщицу, как пишет Боборыкин).

²⁹ «Северная Пчела»—официозная ежедневная газета, выходившая в Петербурге под редакцией Фад. Булгарина и Н. И. Греча. «Московские Ведомости»—газета, издававшаяся Московским университетом; в 1850—1855 гг. редактором ее был М. Н. Катков, позднее (в 1863 году) приобревший эту газету в аренду.

³⁰ «Однودворец»—комедия Боборыкина, напечатанная впервые в «Библиотеке для Чтения» за 1860 год, № 10. «В усадьбе и на порядке»—его же повесть, появившаяся в № 1 «Вестника Европы» за 1875 год.

³¹ Князь Юрий Николаевич Голицын, известный дирижер и композитор, в 1858 году за сношения с Герценом и посылку ему материалов для «Колокола» был выслан в Козлов, откуда в 1860 году бежал за границу. В 1862 году он с разрешения правительства вернулся в Россию. Вместе с Голицыным из России бежала увлекшаяся им дочь помещика Воронежской губернии Ю. М. Колемина, в воспоминаниях Боборыкина упомянутая как «девица К—а».

³² «Развлечение»—юмористический журнал, выходивший в Москве с 1859 года и издававшийся Ф. Б. Миллером.

³³ «Фишерками» назывались девицы, окончившие женскую гимназию Фишера в Москве, программа которой была построена по образцу программ мужских гимназий и в которой преподавались латинский и греческий языки.

³⁴ Студенты Дерптского университета составляли ряд корпораций, члены которых объединялись по месту своего происхождения. Студенты, родившиеся в России, входили в корпорацию «Рутения». Студенты, не принадлежавшие к корпорациям, назывались *Wilde* (дикари). Корпорации управлялись на основании обычаев, предусматривавших образ жизни студентов и отношения их к товарищам. Неписанный кодекс этих обычаев носил название «коммана». Нарушение членом корпорации ее правил влекло за собою исключение нарушителя из рядов корпорации и из товарищеской среды, носившее название «*Verruf*», Исключенный объявлялся «лишенным покровительства закона» (*vogelfrei*).

³⁵ «Анемельдовапы»—заявлены начальству. Студенческая корпорация, устраивавшая товарищескую попойку, по правилам, принятым в Дерптском университете, должна была заранее заявить о месте и времени попойки университетской инспекции.

³⁶ Герренгутерами, или богемскими братьями, назывались последователи рационалистической секты, основанной в Богемии в XV веке Петром Хельшицимом.

³⁷ Плессиметр—молоточек с каучуковым наконечником и пластинка, употребляемые докторами при выслушивании больных.

³⁸ В 1849 году кафедры философии были закрыты во всех русских университетах, за исключением Дерптского, чтение же курсов логики и психологии было поручено профессорам богословия.

³⁹ Пьеса «Мать и дитя» была напечатана Боборыкиным в № 10 «Библиотеки для Чтения» за 1864 год под псевдонимом: «С. Белицын».

⁴⁰ «Всемирный Труд»—ежемесячный журнал, издававшийся в Петербурге в 1867—1872 гг. доктором Ханом. О направлении этого журнала можно судить по тому, что среди ближайших его сотрудников был ренегат В. И. Кельснев, и по тому, что на страницах этого журнала печатался реакционно-обличительный (с сильным пафосом порнографии) роман

В. Авенариуса. Роман Боборыкина «Жертва вечерняя» был напечатан в №№ 1, 2, 4, 5 и 7 «Всемирного Труд» за 1867 год.

⁴¹ Очерк Герцена «Н. Х. Кетчер» (четвертая часть «Былого и дум») впервые был опубликован в изданном в Женеве в 1870 году «Сборнике последних статей А. И. Герцена».

⁴² «Жуков» — табак производства фабрики Жукова, пользовавшийся большим распространением в описываемую Боборыкиным эпоху.

⁴³ Боборыкин имеет в виду известную эпиграмму И. С. Тургенева:

Вот еще светило мира!
Кетчер, друг шипучих вин;
Перепер он нам Шекспира
На язык родных осип.

⁴⁴ В доме Челышева (в просторечии «челыши») помещались меблированные комнаты, населенные главным образом студентами.

⁴⁵ Н. А. Неклюдов, бывший одним из руководителей студенческого движения 1861 года в Петербурге, впоследствии был обер-прокурором сената и товарищем министра юстиции, а не внутренних дел, как пишет Боборыкин.

⁴⁶ «Век» — еженедельник, издававшийся в Петербурге в 1861—1862 гг. П. И. Вейнбергом. «Наши знакомцы» Боборыкина печатались в «Веке» в 1861 году.

⁴⁷ О студенческих волнениях 1861 года Боборыкин подробнее говорит ниже, в главе пятой.

⁴⁸ Спектакль этот, данный в пользу Литературного фонда, состоялся 14 апреля 1860 года.

⁴⁹ Воспоминания П. И. Вейнберга об этом эпизоде опубликованы в № 5 «Исторического Вестника» за 1900 год. Статья М. Л. Михайлова была вызвана бестактным выпадом «Камня Вишгорова» (псевдоним П. И. Вейнберга) на страницах «Века» против некоей Толмачевой, выступившей на благотворительном вечере с чтением «Египетских ночей» Пушкина. Статья Михайлова нашла себе поддержку со стороны почти всех тогдашних органов прессы.

⁵⁰ А. В. Дружинин редактировал «Библиотеку для Чтения» с 1856 по 1860 год, а Писемский — с 1860 года по январь 1863 года.

⁵¹ Расхождение Дружинина с «Современником» произошло не одновременно с Тургеневым, а значительно ранее — с 1856 года, когда Дружинин начал редактировать «Библиотеку для Чтения».

⁵² Резкий отзыв Тургенева о Добролюбова был вызван недовольством Тургенева статьей Добролюбова о его романе «Накануне». Эта статья повлекла за собой прекращение сотрудничества Тургенева в «Современнике». Умеренный либерал, Тургенев вообще был недоволен тем радикальным направлением, которое «Современник» начал принимать, когда руководящая роль в нем перешла к Чернышевскому и Добролюбову, по отношению к которым Тургенев не скупился на резкие отзывы.

⁵³ Боборыкин имеет в виду книгу Токвиля «Старый порядок и революция».

⁵⁴ В 1858—1862 гг. Салтыков был сперва рязанским, а потом тверским вице-губернатором. В 1864 году он был назначен управляющим Пензенской казенной палатой. В 1862—1864 гг. он жил в Петербурге и принимал ближайшее участие в редактировании «Современника».

⁵⁵ Тот промах Краевского, о котором упоминает Боборыкин, был сделан им не в словаре Плюшара, а в № 1 «Отечественных Записок» за 1839 год, и послужил для Булгарина материалом для долговременной травли Краевского и его журнала.

⁵⁶ Литературный Фонд был основан в 1859 году. Чернышевский не только не смотрел на него недоброжелательно, но был одним из учредителей Фонда и с 1859 по 1862 год состоял членом его комитета.

⁵⁷ Михаэлис был одним из руководителей студенческого движения 1861 года в Петербургском университете. В связи с этим он был выслан сперва в Петрозаводск, а затем в Тару, Тобольской губернии.

⁵⁸ «Могучей кучкой» назывался кружок композиторов, сторонников реального направления в музыке, группировавшийся вокруг Даргомыжского и Балакирева. В него входили Бородин, Мусоргский, Римский-Корсаков и Кюи.

⁵⁹ Шахматный клуб был основан в январе 1862 года группой литераторов. Старшинами клуба были Г. З. Елисеев и П. Л. Лавров. В июне 1862 года клуб этот был закрыт правительством под тем предлогом, что отсюда исходят «не имеющие никакого основания толки о современных событиях».

⁶⁰ Воскресные школы ставили своею задачею распространение образования среди низших слоев населения. В июне 1862 года эти школы были закрыты правительством после того, как в одной из них была обнаружена революционная пропаганда.

⁶¹ П. П. Чубинский, впоследствии известный этнограф, в 1861 году окончил Петербургский университет, а в 1862 году был арестован по обвинению в революционной и украинофильской пропаганде в Киевской губернии и сослан в Пинегу, Архангельской губернии. М. П. Покровский был одним из руководителей студенческих волнений 1861 года в Петербургском университете, за участие в которых он был выслан в Архангельскую губернию.

⁶² Аполлон Григорьев принимал участие в редактировании основанного графом Кушелевым-Безбородко в 1859 году журнала «Русское Слово» только в течение первого года его существования.

⁶³ В. О. Ковалевский перевел на русский язык и издал ряд книг по естественным наукам.

⁶⁴ О Неклюдове см. выше; примечание 45.

⁶⁵ «Весть»—газета, выходившая в 1863—1870 гг. в Петербурге под редакцией В. Д. Скарятин и являвшаяся органом крепостнической части дворянства.

⁶⁶ «Время»—ежемесячный журнал, выходивший в 1861—1863 гг. в Петербурге под редакцией М. М. Достоевского, при ближайшем участии Ф. М. Достоевского и Аполлона Григорьева. Журнал этот являлся органом близкого к славянофильству направления, выступившего под названием «почвенничества».

⁶⁷ Боборыкин имеет в виду полемику, происходившую в 1863—1864 гг. между «Современником» и журналами братьев Достоевских «Время» и «Эпоха», и полемику, разгоревшуюся в 1864—1865 гг. между тем же «Современником» и другим радикальным журналом той эпохи—«Русским Словом». Подробнее об этой полемике Боборыкин говорит ниже, в пятой главе.

⁶⁸ Манифест об освобождении крестьян был написан московским митрополитом Филаретом.

⁶⁹ Михайлов был прикосновенен к революционной деятельности и до поездки в Лондон. Эта поездка имела своею целью впечатление в типографии Герцена прокламации «К молодому поколению», написанной, как теперь установлено, Н. В. Шелгуновым, а не Михайловым, как говорит Боборыкин.

⁷⁰ Получив в наследство имение Белоомут на Оке в 10 тысяч десятин, Огарев отпустил крестьян на волю и уступил им землю на весьма льготных условиях.

⁷¹ Как известно, обсуждение Государственной думой проекта закона об отчуждении помещичьих земель в пользу крестьян послужило поводом к роспуску Думы правительством.

⁷² Начало шестидесятых годов было временем развития в русских университетах студенческой корпоративной жизни. На ряду с устройством сходок, касс взаимопомощи и библиотек начало корпоративности нашло себе выражение и в организации среди студентов товарищеских судов. В начале 1861 года в Петербургском университете был устроен такой суд над студентом, растратившим деньги, вырученные от концерта, устроенного в пользу недостаточных студентов. Председателем суда студентами был избран В. Д. Спасович. Студент-растратчик был приговорен к удалению из университета и ко взысканию растраченной суммы. Приговор суда был утвержден общестуденческой сходкой.

⁷³ В 1874 году Вл. Соловьев защищал магистерскую диссертацию «Кризис западной философии против позитивистов».

⁷⁴ *Quaestiones perpetuae*—в древнем Риме назывался народный суд, состоявший из выборных судей, заседавших под председательством претора.

⁷⁵ Как сказано выше (в примечании 45), Неклюдов шефом государственной полиции не был.

⁷⁶ В рассказе Боборыкина имеется некоторая неточность: введение «матрикул» было установлено высочайшим повелением в мае 1861 года, до назначения министром народного просвещения Путьянина, на долю которого выпало лишь проведение в жизнь этого мероприятия.

⁷⁷ Боборыкин ошибается: шефом жандармов в 1861 году был не граф Шувалов, а князь В. А. Долгоруков. Шувалов же был начальником штаба корпуса жандармов. 25 сентября 1861 года, когда происходило шествие студентов к квартире попечителя Филипсона, по распоряжению Шувалова были вызваны солдаты и жандармы.

⁷⁸ Столкновение студентов с войсками имело место не 25 сентября, когда происходило шествие к попечителю Филипсону, а 12 октября 1861 года, когда студенты собрались перед закрытым накануне по распоряжению правительства университетом и пытались проникнуть в него.

⁷⁹ Следствие по делу студентов закончилось высочайшим повелением 4 декабря 1861 года, в силу которого 5 студентов было сослано и 32 исключено из университета.

⁸⁰ Закрытие Петербургского университета в связи с происходившими в нем студенческими волнениями состоялось 11 октября 1861 года.

⁸¹ Основанный Катковым в 1856 году в Москве журнал «Русский Вестник» на первых порах являлся органом весьма умеренного либерализма с симпатиями к английскому аристократическому конституционному строю. Постепенно этот либерализм тускнел, что, между прочим, сказалось на полемике, начатой в 1861 году Катковым против Герцена; вскоре же журнал Каткова перешел в лагерь откровенной реакции.

⁸² Открытые профессорами Петербургского университета в начале 1862 года лекции в городской думе имели своею основной задачей заменить для студентов закрытый правительством университет. О прекращении этих лекций и причинах, вызвавших это прекращение, Боборыкин рассказывает ниже.

⁸³ Диспут Костомарова с Погодиным о начале Руси состоялся 19 марта 1860 года. Погодин отстаивал норманское происхождение варягов, Костомаров—литовское. Диспут этот,—один из первых публичных диспутов в России,—вызвал громадный интерес в обществе того времени.

⁸⁴ Боборыкин имеет в виду фельетоны, напечатанные Салтыковым в начале 1864 года под псевдонимом «Посторонний сатирик» в «Современнике», в которых Салтыков, восставая против крайностей «пигмализма», выступил против «вислоухих» и «юродствующих», компрометирующих то дело, служить которому они стремятся.

⁸⁵ Боборыкин имеет в виду литературный вечер, устроенный 2 марта 1862 года в пользу Литературного Фонда. На этом вечере профессор Павлов выступил с речью на тему «Тысячелетие России», послужившею для правительства поводом к аресту Павлова и высылке его в город Ветлугу, Костромской губернии.

⁸⁶ Повидимому, Боборыкин имеет в виду свой фельетон «Пестрые заметки» в № 2 «Библиотеки для Чтения» за 1862 год, в котором он, описывая выступление Чернышевского на вечере 2 марта (см. примечание 85), писал: «Г. Чернышевский начал с того, что молодость ничего не значит и что Добролюбов, несмотря на свои двадцать пять лет, был гений. Затем последовал рассказ. Я отказываюсь изобразить тон и перлы этого рассказа во всей их непосредственности. Все это принадлежит к области «Искры»... и она,—если только по своей не совсем благойродной натуре не струсит,—должна воспользоваться экспромптом г. Чернышевского».

⁸⁷ Сотрудничество Боборыкина в «Искре» относится к 1870 и 1871 гг.

⁸⁸ «Отечественные Записки» в шестидесятые годы, до перехода их в 1868 году в руки Некрасова, были органом довольно неопределенного, умеренного либерализма. В начале шестидесятых годов они резко нападали на «Современник», Чернышевского и Добролюбова и в силу этого не могли пользоваться сочувствием со стороны радикальной молодежи.

⁸⁹ Пьеса М. Достоевского «Старшая и меньшая» была напечатана в № 6 «Пантеона» за 1851 год.

⁹⁰ Мы выпускаем место, в котором Боборыкин приписывает «Современнику» напечатание в виде эпиграфа к одной полемической статье, направленной против «Русского Слова», известного в свое время непристойного акростиха. На самом же деле автор статьи М. Антонович отбросил в этом акростихе последнюю строку и изменил первую, вследствие чего непристойность стихотворения была устранена. В свое время это место в воспоминаниях Боборыкина вызвало резкий протест со стороны Антоновича и заставило редакцию журнала «Минувшие Годы» отказаться от продолжения печатания воспоминаний Боборыкина.

⁹¹ Зарин полемизировал с Чернышевским в 1862 году по вопросу о значении Добролюбова. См. статью Зарина «Месть живому и поругание над мертвым» в № 3 «Библиотеки для Чтения» за 1862 год и статью Чернышевского «В изъявление признательности» (Сочинения, т. IX).

⁹² Боборыкин имеет в виду статью Антоновича «Асмодей нашего времени», напечатанную в № 3 «Современника» 1862 года. В этой статье

Антонович доказывал, что тургеневский Базаров—клевета на молодое поколение, а самого Тургенева сравнивал с известным обскурантом Асоченским.⁹³ «С.-Петербургские Ведомости» в период редактирования их В. Ф. Коршем (1862—1875 гг.) были органом умеренного либерализма. «Очерки»—газета, издававшаяся в Петербурге в 1863 году (а не в сезон 1861—1862 года) А. Н. Очкиным. В ней ближайшее участие принимали Елисеев и другие сотрудники «Современника». Газета просуществовала недолго; вышло всего 94 номера. «Голос» начал выходить в 1863 году.

⁹⁴ Боборыкин имеет в виду будущих новременцев—Суворина (писавшего в «С.-Петербургских Ведомостях» фельетоны под псевдонимом «Незнакомец») и Буренина, которые в шестидесятых годах были настроены весьма либерально. Конечно, Корш не мог предвидеть их дальнейшей эволюции.

⁹⁵ Евгений Петрович Печаткин—деятельный участник революционного движения шестидесятых годов. В 1861 году он был арестован за участие в студенческих волнениях; в 1862 году вновь подвергся аресту по делу Д. И. Писарева и был приговорен сенатом за распространение запрещенных сочинений к аресту на три месяца; в 1866 году он привлекался в связи с каракозовским делом, при чем его книжная торговля была закрыта правительством. Печаткин был женат на Варваре Ивановне Глушановской, привлекавшейся в 1862 году по обвинению в распространении прокламаций.

⁹⁶ О диспуте Костомарова о Погодиным см. выше, примечание 83.

⁹⁷ Столкновение Костомарова со слушателями его лекций произошло 8 марта 1862 года. Столкновение это было вызвано тем, что студенты настаивали на прекращении лекций в виде протеста против высылки профессора Павлова; Костомаров же, несмотря на это, решил читать лекцию. Этот инцидент послужил для правительства предлогом прекратить чтение лекций в городской думе.

⁹⁸ «Свадьба Кречинского» была написана в 1855 году.

⁹⁹ Дело Сухово-Кобылина закончилось освобождением его от ответственности. Его крепостные были оправданы. Подробно об этом деле см. в книге Л. П. Гроссмана «Преступление Сухово-Кобылина», изд. «Прибой», Л., 1927 г.

¹⁰⁰ Сандунова была замужем за Ф. А. Кони, издававшим театральные журналы «Репертуар и Пантеон» (1847—1851 гг.) и «Пантеон» (1852—1856 гг.).

¹⁰¹ Братья Александр и Михаил Александровичи Стаховичи—либеральные земские деятели эпохи Николая II.

¹⁰² «Островский и его сверстники» были напечатаны Боборыкиным в 1878 году в №№ 8—10 журнала «Слово».

¹⁰³ Роман «Китай-город» впервые был напечатан в №№ 1—5 Вестника Европы за 1882 год.

¹⁰⁴ В 1880 году во время торжеств по случаю открытия памятника Пушкина в Москве Островский выступил с речью, произнесенной на обеде, устроенном 8 июня Обществом любителей российской словесности.

¹⁰⁵ Пьеса Потехина «Отрезанный ломоть», поставленная в Петербурге и в Москве, после нескольких представлений была снята по предписанию цензурного ведомства с репертуара. Под влиянием этой и других цензурных неприятностей Потехин перешел к писанию рассказов. В семидесятых годах им была написана только одна пьеса.

¹⁰⁶ Граф Сергей Семенович Уваров—министр народного просвещения в 1833—1849 гг., сторонник так называемой «официальной народности», автор формулы: «Православие, самодержавие и народность».

¹⁰⁷ О статье Антоновича см. выше, примечание 92.

¹⁰⁸ В «Отцах и детях» Тургенева Герцен больше всего был недоволен несправедливым, по его мнению, изображением старшего поколения в лице Кирсановых. Относительно же Базарова Герцен говорил, что Тургенев, придумав мудреное название «вигилист», не сумел изобразить представителя молодого поколения, каким должен быть, по замыслу автора романа, Базаров.

¹⁰⁹ Как известно, правительство умело воспользовалось как впечатлением, произведенным на общество романом «Отцы и дети», так и паникой, вызванной грандиозным пожаром в Петербурге в мае 1862 года, в целях борьбы с революционным движением, поддерживая легенду о том, что пожары вызваны поджогами, производимыми студентами и революционерами.

¹¹⁰ Об «Итогах писателя» см. выше, примечание 1.

¹¹¹ Отзыв о романе Боборыкина «В путь-дорогу» был дан Хвощинской в статье «Провинциальные письма о нашей литературе», напечатанной в № 4 «Отечественных Записок» за 1863 год.

¹¹² Боборыкин допускает небольшую неточность: журнал братьев Достоевских «Время» был закрыт не в 1864 году, а в 1863 году, на четвертом номере.

¹¹³ Боборыкин имеет в виду карикатуру «Бой из-за подписчиков», приложенную к № 47 юмористического журнала «Заноза» за 1863 год. Эта карикатура перепечатана в книге М. К. Лемке «Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия», Спб., 1904 г., стр. 172.

¹¹⁴ Статья Эдельсона о «Казаках» Л. Н. Толстого напечатана в № 3 «Библиотеки для Чтения» за 1863 год.

¹¹⁵ О полемике Зарина о Чернышевском см. выше, примечание 91.

¹¹⁶ Статья Зарина о проекте земских учреждений напечатана в №№ 8 и 12 «Библиотеки для Чтения» за 1863 год.

¹¹⁷ Боборыкин имеет в виду беллетриста Андрея Ефимовича Зарина.

¹¹⁸ Щеглов—автор книги «История социальных систем» (Спб., 1889 г.). Некоторые из глав этой книги в шестидесятых годах печатались в виде статей в «Библиотеке для Чтения». Впоследствии Щеглов был директором гимназий в Новочеркасске и Одессе.

¹¹⁹ «Атеней»—либеральный журнал, издававшийся в Москве в 1858—1859 году Е. Ф. Коршем и прекратившийся в 1859 году на четвертом номере из-за недостатка подписчиков.

¹²⁰ За подписью Воскобойникова никаких статей, направленных против Чернышевского, в «Библиотеке для Чтения» не появлялось. Повидимому, ему принадлежали анонимные статьи «Повальное недоразумение» (1861 г., № 8) и «Современные поминки по друзьям» (1862 г., № 3), нападавшие на «Современник» Чернышевского.

¹²¹ В 1863 году цензурное ведомство было передано из Министерства народного просвещения, в ведении которого оно находилось до тех пор, в Министерство внутренних дел.

¹²² Боборыкин имеет в виду повесть В. Н. Назарьева, напечатанную под заглавием «Инсепарабли» в № 10 «Библиотеки для Чтения» за 1863 год.

¹²³ Статья Урусова «Московский театр и г-жа Познякова» была напечатана под псевдонимом «Александр Иванов» в № 9 «Библиотеки для Чтения» за 1862 год.

¹²⁴ С статьях Салтыкова против «нигилистов» см. выше, примечание 84.

¹²⁵ Статья Острогорского о Помяловском была напечатана в № 4 «Библиотеки для Чтения» за 1863 год.

¹²⁶ В передовой статье № 46 «Дня» за 1863 год И. С. Аксаков выступил против «молодого поколения», упрекая его в нерасположении к труду, недостатке энергии, отсутствии жажды знания, пренебрежительном отношении к народу и т. д. На эту статью Боборыкин ответил статьей «День» о молодом поколении», напечатанной в № 11 «Библиотеки для Чтения» за 1863 год.

¹²⁷ Рецензия Боборыкина на «Два генерала» Григоровича напечатана в № 7 «Библиотеки для Чтения» за 1864 год.

¹²⁸ Салиас принимал участие в студенческом движении 1861 года в Москве и был одним из депутатов, избранных студентами для подачи прошения царю об отмене «путятинских» правил. В 1862 году Салиас вышел из университета в виде протеста за исключение некоторых студентов, принимавших участие в волнениях. До 1882 года находился под секретным надзором полиции.

¹²⁹ Очерки Лескова «Русское общество в Париже» были напечатаны в №№ 5 и 6 «Библиотеки для Чтения» за 1864 год под псевдонимом: «М. Стебницкий».

¹³⁰ О фельетоне Вейнберга и о Толмачевой, см. выше, в главе четвертой воспоминаний.

¹³¹ Боборыкин затушевывает вопрос о том, почему роман «Некуда» вызвал единодушное негодование в прогрессивной части общества того времени. Это объяснялось, во-первых, обличительными тенденциями автора, стремившегося окарикатурить выведенных в романе «нигилистов», и, во-вторых, тем, что читатели в некоторых действующих лицах романа без труда узнали живых людей, с которыми автор сводил личные счеты. В частности в прессе того времени (см., например, № 170 «С.-Петербургских Ведомостей» за 1864 год) было указано, что в «Некуда» выведена графиня Салиас (Евгения Тур), изображенная в весьма непривлекательном виде. Сам Лесков (как и редакция «Библиотеки для Чтения») пытался отрицать это, доказывая, что все действующие лица романа—«чистый вымысел».

¹³² Хотя в «Русской Мысли» и сотрудничали многие радикалы-народники, как например Глеб Успенский, Михайловский и др., этот журнал нельзя считать принадлежащим к той же фракции, как и «Отечественные Записки». «Русская Мысль» была органом буржуазного либерализма и конституционализма.

¹³³ Боборыкин имеет в виду книгу А. Воынского «Н. С. Лесков», вышедшую в 1898 году (переиздана в 1923 году).

¹³⁴ Брошюра Лескова, посвященная несправедливо заподозренному в шпионстве Бенни, называлась «Загадочный человек» и была издана в 1871 году.

¹³⁵ Поводом для привлечения Бенни в 1862 году к ответственности послужило то, что правительству стало известно о сношениях его с Герценом и о собирании им подписей под адресом царю о конституции.

В 1864¹³⁶ году Бенни был приговорен сенатом к трехмесячному тюремному заключению и высылке за границу.

¹³⁶ Тургенев был вызван в Петербург в 1863 году в связи с привлечением его к делу Н. А. Серно-Соловьевича и др. Поводом для привлечения послужило то, что при аресте одного из причастных к этому делу лиц, Налбандяна, были найдены две записки Тургенева и письма М. А. Бакунина, в которых неоднократно упоминалась фамилия Тургенева.

¹³⁷ А. Якоби описала смерть Бенни в ММ 21—23 «Недели» за 1870 год.

¹³⁸ В 1866 году приехавший за границу В. О. Ковалевский был заподозрен Н. Утиным и другими эмигрантами в шпионстве и подвергнут обыску. Подозрения эти не имели реальных оснований. Герцен к обыску, произведенному у Ковалевского, отношения не имел, хотя и разделял подозрения, существовавшие насчет его.

¹³⁹ См. книгу «Н. А. Лейкин в его воспоминаниях и переписке», СПб. 1907 г.

¹⁴⁰ Воспоминания Боборыкина об Урусове напечатаны в сборнике «Князь А. И. Урусов. Его статьи, письма и воспоминания о нем», М. 1907 г.

¹⁴¹ «Очерки бурсы» Помяловского печатались в журнале «Время» в 1862—1863 гг.

¹⁴² Острогорский дебютировал упоминавшейся выше статьей о Помяловском.

¹⁴³ Вопреки сообщению Боборыкина, Острогорский был не юристом, а словесником, и в 1862 году сдал экзамен на кандидата историко-филологических наук.

¹⁴⁴ Ткачев поступил в 1861 году на юридический факультет Петербургского университета, но курса не кончил вследствие закрытия университета в связи со студенческими волнениями. Впоследствии Ткачев сдал экзамен на кандидата юридических наук.

¹⁴⁵ Боборыкин имеет в виду статью Ткачева «Спасенные и спасающиеся», напечатанную в № 10 «Дела» за 1872 год под псевдонимом: «П. Никитин»; в этой статье Ткачев разбирает между прочим напечатанные в «Деле» в 1870 и 1871 гг. повести Боборыкина «По-американски» и «Поддели».

¹⁴⁶ В 1861 году графиня Салпас издавала в Москве журнал «Русская Речь».

¹⁴⁷ Повесть «Поддели» была напечатана Боборыкиным в ММ 9 и 10 «Дела» за 1871 год.

¹⁴⁸ В 1859 году предпринятая Якушкиным поездка в Псковскую губернию была прервана вследствие того, что псковская полиция задержала его, как человека, не имеющего «установленного вида на жительство» (у Якушкина была лишь копия прошения, поданного им в 1857 году становому приставу Малоярославского уезда о возобновлении утерянного вида на жительство). Эта история в свое время сильно на шумела. Протест против ареста, напечатанный Якушкиным в «Русской Беседе» (а не в «Русском Вестнике», как пишет Боборыкин), вызвал ответ псковского полицеймейстера Гемпеля и дальнейшую полемику между ними. Это был один из первых случаев публичного обсуждения полицейского произвола, и поэтому инцидентом с Якушкиным была заинтересована вся пресса.

¹⁴⁹ В 1871 году Энгельгардт был выслан из Петербурга в свое имение Батищево, Смоленской губернии, в связи со студенческими волнениями в Лесном институте, профессором которого состоял Энгельгардт. В семидесятих

годах он печатал в «Отечественных записках» «Письма из деревни», в которых, между прочим, призывал интеллигенцию к занятию физическим трудом.

¹⁵⁰ Рассказ Хвоцинской «Старый портрет—новый оригинал» напечатан в № 2 «Библиотеки для Чтения» за 1864 год.

¹⁵¹ В «Библиотеке для Чтения» напечатаны два рассказа Весеньева: «Наша городская жизнь» (№ 12 за 1863 год) и «Провинциальный «bon-genre» и «mauvais-genre» (№ 4—5 за 1864 год.)

¹⁵² Свой воспоминания о Тургеневе Боборыкин передал в следующих статьях: «Памяти Тургенева» («Новости», 1883 г., № 144), «О чем говорят» (там же, № 155), «Тургенев дома и за границей» (там же, № 177) и «Печальная годовщина» («Русские Ведомости», 1908 г., № 199).

¹⁵³ Журнал братьев Достоевских «Время» был закрыт в апреле 1864 года за статью Н. Н. Страхова «Роковой вопрос», в которой цензура усмотрела сочувственное отношение к происходившему в то время в Польше восстанию.

¹⁵⁴ «Почвенник» Достоевский находит в произведениях «барина» Тургенева несимпатичное ему западничество и пренебрежительное отношение к России и русской культуре. Враждебное чувство Достоевского по отношению к Тургеневу особенно усилилось после выхода романа последнего «Дым». Летом 1867 года, посетив Тургенева в Баден-Бадене, Достоевский открыто заявил о своем отрицательном отношении к этому роману. Вслед за этим Достоевский написал письмо к А. Н. Майкову, в котором, описывая свое свидание с Тургеневым, утверждал, что будто бы Тургенев сознался ему в своей ненависти к России. Копия этого письма была кем-то доставлена П. И. Бартеневу. Узнав об этом, Тургенев протестовал против письма Достоевского, заявив, что его свидание с Достоевским в письме последнего описано неправильно. В 1867 году в Баден-Бадене Достоевский вел крупную игру, приведшую его к полному проигрышу.

¹⁵⁵ Боборыкин имеет в виду романы В. Крестовского: «Панургово стадо» и «Две семьи».

¹⁵⁶ Повесть «Долго ли?» была напечатана Боборыкиным в № 10 «Отечественных Записок» за 1875 год.

¹⁵⁷ «Путешествие мадам де-Курдюков» — сатирическая поэма Мятлева.

¹⁵⁸ Боборыкин имеет в виду подложное письмо Чернышевского к А. Н. Плещееву, сфабрикованное предателем Всеволодом Костомаровым и фигурировавшее на процессе Чернышевского.

¹⁵⁹ Закрытие «Времени», с одной стороны, и «Современника» и «Русского Слова», с другой, относятся к разному времени. «Время» было закрыто в 1863 году, а «Современник» и «Русское Слово» в 1866 году, в дни реакции, после выстрела Каракозова.

¹⁶⁰ Защита Герценом польского дела лишила его популярности в умеренно-либеральных кругах, кинувшихся вправо под впечатлением от польского восстания. Популярность же Герцена в радикальных и революционных кругах была поколеблена еще ранее под влиянием столкновения его с Чернышевским и Добролюбовым.

¹⁶¹ О ссылке профессора Павлова, см. выше, примечание 85.

¹⁶² Об «Артистическом кружке» в Москве, см. выше, примечание 20.

¹⁶³ Полонский принимал участие в редактировании «Русского Слова» в 1859 году.

¹⁶⁴ В «Столицах мира» Боборыкин так описывает свое знакомство с Герценом (стр. 496—497):

«В Париже мы встретились на одном из четвергов у Вырубова. Хозяин сообщил мне перед этим, за несколько дней, что Герцен желает со мной познакомиться и говорил ему о моих романах и газетных статьях. На этом же первом четверге Герцен вступил в философскую беседу со стариком Литтре и явился в ней не то, что противником позитивизма, но во всяком случае человеком, воспитанным на гегелианских идеях. По-французски говорил он бойко, но с московским барским акцентом. Употребляя беспрестанно фразы и обороты, которые он тут же переводил с русского, он очень часто затруднял Литтре, не привыкшего к такой французско-русской диалектике. Тогда нам,—мне и двум-трем русским—показалось, что Герцен вряд ли был особенно хорошо знаком с движением новейшего научного мышления. После того мы стали видаться довольно часто. Герцен взял большую квартиру против Пале-Рояля, в меблированном доме, который тогда назывался «Pavillon Rohan»; там он и умер. Он поселился со всем семейством, и с младшей дочерью Лизой, девочкой лет двенадцати, мы стали вскоре большими приятелями. Вечерние приемы бывали по средам. Я не помню, чтобы много ходило французов. Герцен всего ближе был к французам из эпохи Февральской революции; но некоторые в это время жили за границей эмигрантами. В его гостиной я не познакомился ни с одним таким французом. К тогдашней внутренней политике Франции Герцен относился с некоторой надеждой на то, что бонапартову режиму подходит конец. В эту зиму произошло убийство Виктора Нуара, и А. И. присутствовал при уличных волнениях Парижа, и сам он симпатично волновался, при чем одного из своих русских молодых приятелей упрекал в равнодушии.

— Это бог знает что за молодежь!—говаривал он мне на эту тему.— Вот наш с вами общий знакомый, это—какая-то мудрорыбца!

И у себя дома, и в кафе за стаканом грога, и за обедом в ресторане Герцен увлекал своей беседой. Он мог целыми часами сряду рассказывать, спорить, защищать и нападать. Тургенев, говоря со мною раз о его темпераменте и вспоминая подробности его супружеской жизни, заметил:

— Не желая этого, А. И. подавлял и жену и всех домашних своим разговорным темпераментом. Бывало, бедная жена его совсем посоловеет, а у себя он в час ночи только расходился и способен был просидеть до петухов.

Трудно было со стороны догадаться, что Герцена подтачивала тогда серьезная болезнь—диабет. Раз, зайдя ко мне по возвращении из Италии, откуда он привез свою больную старшую дочь, он показал мне на руке, около сгиба, припухлость.

— Вот видите, это всегда у меня бывает от внутреннего волнения. Меня испугала депеша моего сына о здоровье дочери, и сейчас же диабет дал себя знать вот в этом гвозде—«clou», как называют французы.

Но он не берег себя, постоянно выходил и на публичной лекции Берморея в Salle des Capucines, где было очень жарко, простудился, слег, и через несколько дней его не стало. Воспаление легких на почве диабета было осложнено нарывом, и мы уже за два дня до смерти знали, что он не встанет. На его похороны собралось не мало французов, но это все был больше совершенно безвестный народ, из тогдашних рабочих революционных кружков. Они его знали, как знаменитого русского эмигранта.

и все оппозиционные газеты напечатали о нем сочувственные отзывы. Но, повторяю, за все эти месяцы знакомства моего с Герценом я не видал, чтобы у него была какая-нибудь особенная связь с тогдашней парижской интеллигенцией. И все-таки же за все тридцать лет я не знавал в Париже ни одного русского семейного дома, который играл хотя бы такую роль.

¹⁶⁵ Первый том работы Боборыкина «Европейский роман в XIX столетии» вышел в 1900 году; второй том в печати не появлялся.

¹⁶⁶ Еще до каракозовского дела за границей начали собираться представители новой эмиграции, выходы из рядов разночинной интеллигенции. Отношения между ними и Герценом очень скоро обострились до такой степени, что разрыв был неминуем. Новым эмигрантам «барин» Герцен казался не революционером, а либералом. Герцен же не мог примириться с их самоуверенностью, подчеркнутой «нигилистической» внешностью, отрицанием ими всяких авторитетов, их неверием в пути мирных преобразований и т. д.

¹⁶⁷ Свидание Чернышевского с Герценом состоялось в июне 1859 года. Чернышевский вовсе не имел «претензии поучать Герцена», как говорит Боборыкин, а сделал попытку убедить Герцена в невозможности рассчитывать на реформаторскую деятельность правительства и на неизбежность революционной борьбы. Попытка эта не удалась. Чернышевский от знакомства с Герценом вынес впечатление, формулированное им в письме к Добролюбову в словах: «Кавелин в квадрате—вот вам и все».

¹⁶⁸ Лига мира и свободы—международная буржуазно-демократическая пацифистская организация, устроившая в шестидесятые годы три интернациональных конгресса в Швейцарии. На первых двух конгрессах принимали участие и элементы революционно-настроенные, во главе с Бакуниным. Однако, убедившись в невозможности увлечь Лигу на революционный путь, Бакунин и его товарищи на втором конгрессе вышли из состава Лиги.

¹⁶⁹ В речи на Бернском конгрессе 1868 года Бакунин заявил, что революционная партия в России «простирается до сорока, даже до пятидесяти тысяч человек». Речь эта напечатана во II томе «Избранных сочинений» Бакунина, изд. «Голос Труда», 1920 г.

¹⁷⁰ В настоящее время установлено, что клевета о шпионстве Бакунина исходила от русского посла в Париже Киселева и что винить Маркса в распространении этой клеветы нет оснований.

¹⁷¹ Из боязни народных волнений манифест 19 февраля 1861 года был обнародован как в Петербурге, так и в провинции, 5 марта, в воскресенье на первой неделе великого поста.

¹⁷² Боборыкин допускает ряд неточностей. Михайлов не в Лондоне сделался революционером и привез оттуда с собой прокламацию, а ездил в Лондон для того, чтобы напечатать там в типографии Герцена прокламацию «К молодому поколению», написанную Н. В. Шелгуновым. Прокламация эта была распространена не «как раз после манифеста 19 февраля», а в августе 1861 года.

¹⁷³ Михайлов сотрудничал в «Москвитянине» Погодина в 1849—1850 гг. и поместил в нем сатирические сцены «Нянюшка» и несколько рассказов («Адам Адамыч», «Он»).

¹⁷⁴ Манифест 19 февраля 1861 года целиком был написан митрополитом Филаретом. Боборыкин имеет в виду следующую фразу митрополита: «...мы положили в сердце своем обет обнимать нашу царскую любовь и попечением всех наших верноподанных всякого звания и состояния... от

проходящего высшую службу государственную до проводящего на поле борозду сохой или плугом»...

¹⁷⁵ Как указано выше, в примечании 172, Боборыкин не мог видеть прокламации, напечатанной Михайловым, на этом собрании, где обсуждался манифест 19 февраля 1861 года, так как прокламация была привезена в Россию только в августе 1861 года.

¹⁷⁶ Ткачев работал в «Библиотеке для Чтения» не только как переводчик: он поместил в этом журнале несколько юридических и статистических статей.

¹⁷⁷ Боборыкин имеет в виду статью Ткачева «Салонное художество», напечатанную в № 2 и 4 «Дела» за 1878 год под псевдонимом: «П. Никитин» и посвященную разбору «Анны Карениной» Л. Толстого.

¹⁷⁸ В рассказе о братьях Жуковских Боборыкин многое напутал. Эмигранта Жуковского звали не Владимиром Ивановичем, а Николаем Ивановичем, а брата его не Григорием, а Владимиром Ивановичем; последний сенатором не был, а был товарищем прокурора Петербургского окружного суда, а позднее вышел в отставку и был присяжным поверенным. Н. И. Жуковский эмигрировал из России не из сочувствия польскому восстанию 1863 года, а до этого восстания, в июне 1862 года, в виду привлечения его по делу Баллода (об устройстве в Петербурге «карманной типографии»). За границей Н. И. Жуковский был деятельным участником бакунинского «Альянса».

¹⁷⁹ Н. Утин выступал на Бернском конгрессе Лиги мира и свободы, а не на Базельском.

¹⁸⁰ В «Столицах мира» о Бенни говорится на стр. 211—212.

¹⁸¹ О брошюре Лескова, посвященной Бенни, см. выше, примечание 134.

¹⁸² Эльсниц бежал из России в 1871 году в виду привлечения его по нечаевскому делу.

¹⁸³ Статья «Жизнерадостный Максим» в печати не появлялась.

¹⁸⁴ Статья «Л. Толстой как вероучитель» напечатана в сборнике «На чужой стороне», 1925 г., т. XIII.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

- А—в, скрипач нижегородского театра. 37.
Авдеев, Михаил Васильевич (1821—1876), беллетрист. 21, 31, 32, 63, 129.
Аверкиев, Дмитрий Васильевич (1836—1905), драматург. 306—308.
Аврамов, офицер, драматический артист. 191.
Адельман, Георг-Франц (1811—1888), хирург, профессор Дерптского университета. 108.
Акимова, Софья Павловна (1820—1889), артистка Малого театра в Москве. 38, 123.
Аксаков, Иван Сергеевич (1823—1886), известный публицист, славянофил. 180, 279.
Аксаков, Сергей Тимофеевич (1791—1859), известный беллетрист. 27.
Аксаков, Константин Сергеевич (1817—1860), славянофил. 180, 279.
Альфьерьев, синдик Казанского университета. 68.
Альбов, Михаил Нилович (1851—1911), беллетрист. 286.
Амедей (1845—1890), сардинский принц, испанский король с 1870 по 1873 год. 229.
Андреев, Леонид Николаевич (1871—1919), известный беллетрист. 241.
Андреевский, Иван Ефимович (1831—1891), профессор полицейского права Петербургского университета. 174, 182—184, 186, 189, 190.
Анненков, Павел Васильевич (1813—1887), литературный критик. 141, 145, 150, 169, 224, 310.
Антокольский, Марк Матвеевич (1843—1902), известный скульптор. 237.
Антонович, Максим Алексеевич (1835—1918), критик и публицист. 155, 238, 239, 311.
Антропов, студент Дерптского университета. 107.
Антропов, Лука Николаевич (1843—1884), драматург. 288.
Анфантен, Бартеlemi-Проспер (1796—1864), французский утопический социалист, сенсимонист. 206.
Аракчеев, граф, Алексей Андреевич (1769—1834), временщик при Павле I и Александре I. 106.
Ариосто, Людовик (1474—1533), итальянский поэт. 114.
Аристов, Евмений Филиппович (1806—1875), профессор анатомии Казанского университета. 56, 60, 61, 70.
Арцыбашев, Михаил Петрович (1878—1927), беллетрист. 241.
Асенкова, Варвара Николаевна (1817—1841), известная артистка. 42.

Аскоченский, Виктор Ипатьевич (1813—1879), журналист, обскурант. 238, 268.

Асмус, Герман-Мартын (1812—1859), профессор палеонтологии Дерптского университета. 108.

Бабст, Иван Кондратьевич (1823—1881), экономист, профессор Казанского и Московского университетов. 56, 63, 75, 174.

Базунов, Александр Федорович (ум. в 1876 г.), петербургский книгопродавец. 304.

Бакст, Владимир Игнатьевич (1835—1879), владелец типографии в Петербурге, участник революционного движения 60-х годов. 125, 133, 170.

Бакст, Николай Игнатьевич (1843—1904), профессор физиологии Петербургского университета. 133, 170.

Бакст, Осип Игнатьевич (1837—1895), издатель. 133.

Бакунин, Михаил Александрович (1814—1876), знаменитый анархист. 122, 323—325, 332, 334, 335, 338.

Балакирев Милий Алексеевич (1836—1910), известный композитор. 29, 56, 64, 65, 74, 142, 166, 213, 231—234, 236.

Бальзак, Оноре (1799—1850), французский романист. 21, 79, 91.

Бальмонт, Константин Дмитриевич (род. в 1867 г.), поэт. 285.

Бантышев, оперный артист в Москве. 38.

Баратынская, Анна Давидовна (урожд. Абамелик), жена И. А. Баратынского. 63.

Баратынский, сын поэта. 63.

Баратынский, Иван Абрамович, казанский губернатор. 63.

Баррьер, Теодор (1823—1877), французский драматург. 226.

Бассен, Лора, наездница, артистка. 167.

Б-вин, московский студент. 48.

Безобразов, Владимир Павлович (1828—1889), экономист и публицист. 138.

Бейль, Анри (псевдоним Стендаль, 1783—1842), французский беллетрист. 295.

Белинский, Виссарион Григорьевич (1811—1848), знаменитый критик. 42, 121, 151, 323.

Белоголовый, Николай Андреевич (1834—1895), известный врач, публицист. 342.

Белосельские-Белозерские, княжеский род. 148.

Бенедиктов, Владимир Григорьевич (1807—1873), поэт. 125, 330.

Бенеке, Фридрих-Эдуард (1798—1854), немецкий философ. 109.

Бенни (Бениславский), Артур Иванович (1840—1867), революционер 60-х гг., журналист. 278—282, 338.

Бенни, Шарль, врач, брат А. И. Бенни. 280.

Беранже, Пьер-Жан (1780—1857), знаменитый французский поэт. 143.

Берви, Василий (Вильгельм) Федорович (1793—1859), профессор физиологии Казанского университета. 61, 108.

Берг, Николай Васильевич (1823—1884), поэт, журналист. 267, 294—296.

Берлиоз, Гектор (1803—1869), французский композитор. 231, 235.

Бернардский, Евстафий, художник. 307.

Бертон, артист французской труппы в Петербурге. 91.

Берцеллус. Иоганн-Яков (1779—1848), знаменитый шведский химик. 119.

- Бетховен, Людвиг (1770—1827), знаменитый немецкий композитор. 64, 230, 231.
- Бибикова, Анна Ивановна, вдова адмирала. 219, 307.
- Бирон, герцогский род. 117.
- Бидарев, Миша, юродивый. 45.
- Биддер (1810—1894) физиолог, профессор Дерптского университета. 108.
- Благовещенский, Николай Александрович (1827—1879), беллетрист, этнограф. 287.
- Благосветлов, Григорий Евлампиевич (1824—1880), публицист, редактор журналов «Русское Слово» и «Дело». 172, 329.
- Блан, Луи (1811—1882), известный французский социалист. 328.
- Б—ны, помещики. 39.
- Боборыкин, Василий Васильевич (ум. в 80-х гг.), дядя автора, писатель по сельскому хозяйству и агрономии. 33, 81.
- Боборыкина, А. Д., тетка автора. 133.
- Боборыбина, Софья Львовна (по мужу Баратынская), двоюродная сестра автора. 168.
- Боборыкины, дворянский род. 318.
- Богданов, режиссер Малого театра в Москве. 199.
- Бодлер, Шарль (1821—1867), известный французский поэт. 285.
- Бозно, Анджелина (1824—1859), знаменитая оперная артистка. 88, 89, 166.
- Боккачио, Джованни (1313—1375), знаменитый итальянский новеллист. 114.
- Бондуа, П., артист французской труппы в Петербурге. 91.
- Бородин, Александр Порфирьевич (1834—1898), известный композитор. 234.
- Бороздины, Варвара и Евгения, артистки Малого театра в Москве. 123.
- Боткин, Василий Петрович (1811—1869), критик. 139, 141, 145, 152, 153.
- Брадке, Егор Федорович (1796—1861), сенатор, попечитель Дерптского округа. 106.
- Браманте, Донато д'Анджело (1444—1514), знаменитый итальянский архитектор и художник. 54.
- Брандес, Георг (1842—1926), знаменитый датский критик. 116.
- Брянский, Яков Григорьевич (1790—1853), известный драматический артист, переводчик. 42.
- Булахов, петербургский оперный артист. 165.
- Булахова, Анисья Александровна (1831—1920), петербургская оперная артистка. 165.
- Булгарин, Фаддей Венедиктович (1789—1859), беллетрист, журналист, сотрудник III отделения. 115, 156.
- Булич, Николай Никитич (1824—1895), историк литературы, профессор Казанского университета. 18, 19, 60.
- Бульвер-Литтон. Эдуард-Джордж (1803—1873), английский романист. 21.

- Бурдин, Федор Алексеевич (1825—1887), артист и переводчик. 130, 161, 162, 164, 202, 203, 218, 222.
- Буренин, Виктор Петрович (1841—1926), критик, поэт. 291, 292, 309, 310.
- Буслаев, Федор Иванович (1818—1897), филолог, историк литературы, академик. 20.
- Бутков, Яков Петрович (ум. в 1857 г.), беллетрист. 21.
- Бутлеров, Александр Михайлович (1828—1886), профессор химии Казанского университета. 56, 60, 71, 74, 75, 84—86, 118, 120.
- Бутлерова, (урожд. Глумилина), жена А. М. Бутлерова. 75.
- Бутковский, Александр Иванович (1817—1890), экономист, директор Департамента мануфактур и торговли. 168, 216.
- Бутурлин, Михаил Петрович, нижегородский губернатор. 34.
- Бутурлина, Анна Петровна, жена М. П. Бутурлина. 34.
- Бухгейм, Рудольф (1820—1879), профессор фармакологии Дерптского университета. 108.
- Буцковский, Николай Андреевич (1811—1873), сенатор. 262.
- Бушуев—см. Мемнонов.
- Бюхнер, Людвиг (1824—1899), немецкий натуралист, материалист. 130, 205, 208.
- Вагнер, Рихард (1813—1883), знаменитый немецкий композитор. 232, 233, 235.
- Валуев, граф Петр Александрович (1815—1890), министр внутренних дел. 264, 265.
- Вальтер, Фридрих (1795—1874), акушер, профессор Дерптского университета. 108.
- Варпек, Константин Александрович (1828—1882), критик. 293.
- Васильев, Павел Васильевич (ум. в 1789 г.), драматический артист в Петербурге. 40, 130, 157, 161, 162, 164, 165, 176, 191—193, 195, 198, 215, 220, 225, 308, 311.
- Васильев, Сергей Васильевич (1827—1862), артист Малого театра в Москве. 38, 39, 41, 43, 46, 123, 161, 220.
- Васильева, Екатерина Николаевна (урожд. Лаврова), артистка Малого театра. 38, 46, 123, 198, 313.
- Вейнберг, Петр Исаевич (1831—1908), поэт, критик. 130, 135—139, 141—143, 145, 160, 161, 171, 172, 201, 241, 244, 274, 277, 278, 291—295.
- Вельтман, Александр Фомич (1800—1870), романист. 21.
- Веневитинов, Дмитрий Владимирович (1805—1827), поэт. 290.
- Веневитинова, (урожд. герц. Бпрон). 117.
- Веневитинова, А. М. 169.
- Де-Венси, А. И., учитель Боборыкина. 22.
- Вепский, Дмитрий Александрович, врач, секретарь редакции «Библиотеки для Чтения». 269.
- Верне, артист французской труппы в Петербурге. 91, 167.
- Верстовский, Алексей Николаевич (1799—1862), композитор. 38.
- Веселаго, Федосей Федорович (1817—1895), цензор. 275.
- Весеньев, Иван (псевдоним)—см. Хвошинская, С. Д.
- Виардо, Полина (1821—1910), певица. 147, 303, 304.
- В—кий, казанский студент. 75, 130.

Вильде, Михаил Густавович (1817—1888), артист Малого театра в Москве. 313.

Виноградов, петербургский артист. 66.

Владимиров, провинциальный артист. 66.

Владимирова, петербургская артистка. 127, 157, 164, 308.

Владыкин, Михаил Николаевич (1830—1887), драматург, артист. 225.

Волков, Ефим Ефимович (1844—1920), художник-передвижник. 237.

Волинский (Флексер), Аким Львович (1863—1925), критик. 278.

Вольпис, Леонтина (1811—1876), артистка французской труппы в Петербурге. 91.

Вольтер, Франсуа-Мари-Аруэ (1694—1778), знаменитый французский писатель. 215.

Вольф, Маврикий Осипович (1825—1883), известный издатель и книгопродавец. 118, 243.

Вонлярлярский, Василий Александрович (1814—1852), беллетрист. 21.

Воронин, домовладелец в Петербурге. 148.

Воронов, артист и режиссер Александринского театра в Петербурге. 193.

Воскобойников, Николай Николаевич (1838—1882), публицист. 249, 254, 258, 259, 261, 264, 269, 273, 276, 278, 287, 288, 304.

Воскресенский, Александр Абрамович (1809—1880), химик, профессор Петербургского университета. 118, 190.

Всеволожский, Иван Александрович (1835—1909), директор императорских театров. 166, 222.

В-ский, нижегородский гимназист. 27.

Вырубов, Григорий Николаевич (1843—1913), философ-позитивист. 317, 324, 325, 332, 342, 343.

Вышеславцева, Анна, провинциальная актриса. 28.

Г., гвардейский офицер. 117.

Галахов, Алексей Дмитриевич (1807—1892), историк литературы. 122.

Гальперин-Каминский, Илья Данилович (1858—ум.), известный переводчик с русского на французский. 242.

Гарибальди, Джузеппе (1807—1882), знаменитый итальянский революционер. 280, 294, 338.

Гарин (Михайловский), Николай Георгиевич (1852—1906), беллетрист. 245.

Г-в, петербургский студент. 133.

Ге, Николай Николаевич (1831—1894), известный художник. 319.

Гегель, Георг-Фридрих (1770—1831), знаменитый философ. 217.

Гейден, граф, Петр Александрович (1840—1907), студент Петербургского университета, позднее член I Государственной Думы, лидер партии «мирного обновления». 168, 188, 299.

Гейне, Геприх (1798—1856), знаменитый немецкий поэт. 93, 114, 115, 140, 243, 326.

Гемпель, псковский полицеймейстер. 296, 297.

Гензельт, Адольф Львович (1814—1889), композитор, пианист. 230.

Генслер, И. С., беллетрист 60-х годов. 249, 272.

Гербарт, Иоганн-Фридрих (1776—1841), немецкий философ. 109.

Гервингус, Георг (1805—1871), немецкий историк. 291.

- Герцен, Александр Иванович (1812—1870), знаменитый публицист. 27, 42, 121, 122, 153, 171, 180, 185, 207, 208, 238, 281, 310, 317—326, 329, 332, 337—341, 344.
- Герцен, Лиза—см. Огарева, Е. А.
- Гессе, автор учебника химии. 60, 118.
- Гёте, Иоганн-Вольфганг (1749—1832), знаменитый немецкий писатель. 93, 95, 226, 242, 243.
- Гладстон, Вильям-Эварт (1809—1898), известный английский политический деятель, лидер вигов. 270.
- Глазунов, Александр Константинович (род. 1865 г.), русский композитор. 234.
- Глинка, Михаил Иванович (1804—1857), известный композитор. 165, 166, 231.
- Г—н, семейство, знакомое автору в Казани. 62, 89.
- Гоголь, Николай Васильевич (1809—1852), знаменитый романист. 21, 41, 42, 44, 48, 116, 117, 142, 146, 159, 165, 169, 218, 242, 243, 285.
- Голенищев, откупщик. 162.
- Голицын, князь, Юрий Николаевич (1823—1872), дирижер и композитор. 78.
- Гольц, артист петербургского балета. 167.
- Гольцев, Виктор Александрович (1850—1906), публицист, редактор «Русской Мысли». 277.
- Гонкур, братья Эдмонд (1822—1896) и Жюль (1830—1870), французские беллетристы. 243.
- Гончаров, Иван Александрович (1812—1891), знаменитый беллетрист. 21, 72, 139, 221, 244, 271, 288, 300, 304.
- Гораций, римский поэт времен императора Августа. 264.
- Горбунов, Иван Федорович (1831—1895), известный беллетрист и рассказчик. 162.
- Горлов, Иван Яковлевич (1814—1890), экономист, профессор Петербургского университета. 169, 174, 175, 182.
- Горький, Максим (род. в 1868 г.), знаменитый писатель. 61, 144, 241, 286.
- Гофман, Эрнест-Теодор-Амедей (1776—1822), немецкий писатель. 113.
- Грановский, Тимофей Николаевич (1813—1855), историк, профессор Московского университета. 42, 48, 60, 122.
- Гребенка, Евгений Павлович (1812—1848), поэт и беллетрист. 21.
- Гревингк, Константин Иванович (1819—1887), профессор минералогии Дерптского университета. 111.
- Грибоедов, Александр Сергеевич (1795—1829), знаменитый драматург. 159, 218, 243.
- Григорович, Виктор Иванович (1815—1876), славист, профессор Казанского университета. 56, 60.
- Григорович, Дмитрий Васильевич (1822—1899), известный беллетрист. 19, 21, 27, 116, 129, 139, 141, 224, 235, 244, 249, 272, 304.
- Григорьев, Аполлон Александрович (1822—1864), известный критик. 123, 159, 169, 172, 211, 218, 219, 223, 236, 249, 256, 261, 305—308, 311.
- Григорьев, Николай Петрович (1822—1886), поручик, петрашевец. 26, 50.
- Григорьев, Павел Петрович, дядя автора. 26, 34, 44, 132.

- Григорьев, Петр Иванович (1806—1872), водевиллист, петербургский артист. 91, 130, 160, 193.
- Григорьева, тетка автора. 26.
- Гринева (по мужу Крестовская), петербургская артистка. 305.
- Гр—ский, князь, нижегородский помещик 25.
- Гумбольдт, Александр (1769—1859), знаменитый немецкий натуралист. 11.
- Гурко, Иосиф Владимирович (1828—1901), фельдмаршал. 273.
- Гусева, драматическая артистка. 42.
- Густав-Адольф (1594—1632), шведский король. 23.
- Гюго, Виктор (1802—1885), знаменитый французский поэт. 334.
- Гюйо, Жан-Мари (1854—1888), французский философ. 9.
- Д., гвардейский офицер. 128.
- Дависон, Богумил (1818—1872), известный немецкий артист. 227.
- Даль, Владимир Иванович (1801—1872), известный беллетрист. 32, 56, 81, 82.
- Данзас, тамбовский губернатор. 78.
- Данте, Алигьери (1265—1321), знаменитый итальянский поэт. 114.
- Дарвин, Чарльз (1809—1882), знаменитый натуралист. 208.
- Даргомыжский, Александр Сергеевич (1813—1869), известный композитор. 231—233, 235.
- Дебассини, оперный артист. 88.
- Деврнен, Фридрих-Филипп (1825—1871), известный немецкий артист. 227.
- Делянов, Иван Давыдович (1818—1897), попечитель Петербургского округа, позднее министр народного просвещения. 175.
- Демерик, петербургский оперный артист. 88.
- Демерт, Николай Александрович (1835—1876), публицист. 290.
- Державин, Гавриил Романович (1743—1816), поэт. 57, 63.
- Дешан, артист французской труппы в Петербурге. 91, 167.
- Джакометти, Паоло (1816—1882), итальянский драматург. 229.
- Диккенс, Чарльз (1812—1870), знаменитый английский беллетрист. 21, 244, 281.
- Д—нова, купчиха. 39.
- Добролюбов, Александр, священник, отец Н. А. Добролюбова. 155.
- Добролюбов, Николай Александрович (1836—1861), известный критик. 140, 150, 154, 155, 205—207, 213, 219, 223, 236, 238, 311, 321.
- Доде, Альфонс (1840—1897), известный французский беллетрист. 243.
- Доминик, ресторатор в Петербурге. 125.
- Дондерс, Франц-Корнелиус (1818—1889), голландский физиолог. 125, 126.
- Дондуков-Корсаков (князь, В. М. 168, 188, 262.
- Дондуков-Корсаков, князь, Михаил Александрович (1792—1869). 115, 124, 128, 129, 148, 155, 230.
- Дондукова-Корсакова, княжна, Марья Михайловна (1828—1909), известная филантропка 115.
- Достоевский, Михаил Михайлович (1820—1864), беллетрист, переводчик. 154, 172, 211, 305.
- Достоевский, Федор Михайлович (1821—1881), знаменитый беллетрист. 153, 154, 172, 211, 212, 221, 244, 254, 261, 266, 271, 304—308, 310, 311.

Дружинин, Александр Васильевич (1824—1864), известный критик и беллетрист. 125, 130, 136, 138—142, 150—153, 195, 226, 255.

Дудкин—см. Озеров.

Дудышкин, Степан Семенович (1828—1866), журналист, критик. 150.

Дьяченко, Виктор Антонович (1818—1876), драматург. 160, 164, 225.

Дюбюк, Александр Иванович (1812—1897), пианист. 64.

Дюма-отец, Александр (1802—1870), французский беллетрист. 20, 21.

Дюма-сын, Александр (1824—1895), французский драматург. 226.

Дюма, Жан-Батист (1800—1884), французский химик. 118.

Дюмон-Дюрвиль, Жюль-Себастьян (1790—1842), французский путешественник. 23.

Дюр, супруги, петербургские драматические артисты. 42.

Егоров, Никита, буфетчик. 298.

Екатерина II (1729—1796), императрица. 23.

Елачич, Франц Осипович (ум. в 1888 г.), хирург, профессор Казанского университета. 61.

Елена Павловна (1806—1873), великая княгиня. 148.

Елизавета (1533—1603), английская королева. 229.

Елизавета Алексеевна (1790—1826), императрица. 112.

Ешевский, В., нижегородский гимназист. 19.

Жерар (Гергардт), Шарль-Фредерик (1816—1856), французский химик. 119.

Живаго, московский купец, владелец магазина офицерских вещей. 199.

Живокин, Василий Игнатьевич (1807—1874), артист Малого театра в Москве. 38, 39, 43, 45, 198.

Жиряев, Александр Степанович (1815—1856), криминалист, профессор Дерптского университета. 109.

Жорж-Занд (псевд. Авроры Дюдеван, урожд. Дюпен) (1804—1876), знаменитая французская романистка. 21, 72, 142, 243.

Жуковский, Владимир Иванович (1838—1899), присяжный поверенный и публицист. 333.

Жуковский, Николай Иванович (1833—1895), политический эмигрант, бакуист. 317, 318, 333—335.

Жулева, Екатерина Николаевна, драматическая артистка. 91.

Забелло, Пармен Петрович (1830—1917), скульптор. 319.

Загоскина, начальница института в Казани. 63.

Загуляев, Михаил Андреевич (1834—1900), журналист. 194.

Закревский, граф, Арсений Андреевич (1783—1865), московский генерал-губернатор. 148.

Зарин, Ефим Федорович (1829—1892), литературный критик, публицист. 150, 212, 257, 258, 260.

Зинин, Николай Николаевич (1812—1880), химик, академик. 82, 118—120.

Зола, Эмиль (1840—1902), известный французский романист. 243.

З—н, студент Казанского университета. 74, 86, 118.

Зубров, Петр Иванович (ум. в 1873 г.), петербургский драматический артист. 194.

З—ч, студент Казанского университета. 74, 86, 88, 94, 95, 99, 104, 118, 120, 121, 177, 179, 180, 247, 312.

- Иван Грозный (1530—1584), царь. 23, 300.
- Иванов, субинспектор Казанского университета. 56, 65.
- Иванов, Александр Андреевич (1806—1858), известный художник. 125, 235.
- Иванов, Л., артист петербургского балета. 167.
- Иванов, Николай Алексеевич (1813—1869), профессор русской истории Казанского университета. 59, 60, 109, 184.
- Ивановский, Игнатий Александрович (1858—ум.), профессор государственного права Петербургского университета. 174, 182, 183.
- Иванюков, Иван Иванович (1844—1912), экономист, профессор Московского университета. 294.
- Излер, владелец увеселительного заведения в Петербурге в 60-х годах. 120, 160.
- Иогансон, артист петербургского балета. 167.
- Ирка-Матьяс, балерина. 47.
- Кабэ, Этьен (1788—1856), французский утопический социалист. 206, 259.
- Кавалерова, артистка Малого театра в Москве. 46, 123.
- Кавелин, Константин Дмитриевич (1818—1885), известный юрист и публицист. 138, 169, 174, 180, 181, 184, 185, 186, 311, 318.
- Казначеев, Александр Иванович, чиновник управления московского генерал-губернатора. 148.
- Кальцоляри, Генрих (1823 г.—ум.), оперный артист. 88, 166.
- Камбек, Лев Логгинович, юрист и публицист 60-х годов. 61.
- Камбек, Логгин Федорович (1796—1859), профессор римского права Казанского университета. 307.
- Каракозов, Дмитрий Владимирович (1840—1866), революционер, казненный в 1866 г. за покушение на Александра II. 309, 320.
- Карамзин, Николай Михайлович (1766—1826), поэт, беллетрист, историк. 23.
- Каратыгин, Василий Андреевич (1802—1853), петербургский драматический артист. 42, 46, 160.
- Каратыгин, Петр Андреевич (1805—1879), артист, водевилист. 130, 160, 201.
- Карл XII (1682—1718), шведский король. 23.
- Карнович, Евгений Петрович (1824—1885), историк, беллетрист. 150, 152.
- Касторский, Михаил Иванович (1807—1866), историк, профессор Петербургского университета, цензор. 262, 264.
- Катков, Михаил Никифорович (1818—1887), реакционный публицист, редактор «Московских Ведомостей». 112, 129, 140, 195, 239, 256, 261, 262, 272, 279, 296, 310.
- Квадри, артистка-любительница. 219.
- Квадри, офицер, артист-любитель. 219.
- Кемц, Фридрих-Людвиг (1801—1867), профессор физики Дерптского университета. 107, 108.
- Кетчер, Николай Христофорович (1807—1886), поэт и переводчик Шекспира. 82, 121—123, 153, 195.
- Киммель, рижский книготорговец. 109.
- Кинэ, Эдгар (1803—1875), французский историк. 334.
- Киреевские, братья Иван и Петр Васильевичи, славянофилы. 180.

Киреевский, Петр Васильевич (1808—1856), славянофил, исследователь народного быта. 297.

Киттары, Модест Яковлевич (1824—1880), профессор технологии Казанского университета. 56, 60, 70, 71, 74, 84.

Клаус, Карл Карлович (1796—1864), химик, профессор Казанского и Дерптского университета. 74, 81, 118.

К—н, тамбовский помещик. 78.

К—н, Неофит, петербургский студент. 174, 175, 181, 182, 185, 187, 189.

Ковалевский, Владимир Онуфриевич (1842—1883), палеонтолог. 170, 281.

Ковалевский, Максим Максимович (1851—1914), известный социолог, юрист, академик. 141, 217, 218, 342.

Ковалевский, Осип Михайлович (1800—1878), ориенталист, ректор Казанского университета. 76.

Колемина, Юлия Михайловна, жена князя Ю. Н. Голицына. 78.

Колосова, Александра Михайловна (1802—1880), артистка Малого театра в Москве. 123, 199, 313.

Кольцов, Алексей Васильевич (1809—1842), известный поэт. 243.

Комбилла, родоначальник дворянских фамилий Шереметевых и Боборыкиных, выходец из Пруссии в XVII в. 318.

Копи, Ирина Семен., урожд. Юрьева, по сцене Сандунова (1811—1891), петербургская артистка. 165.

Копи, Анатолий Федорович (1844—1927), известный юрист, критик. 21.

Кононов, петербургский домовладелец. 206.

Контский, Антон (1817—1899), пианист и композитор. 64, 65.

Контский, Аполлинарий (1823—1879), скрипач. 65.

Корейша, Иван Яковлевич (ум. в 1861 г.), знаменитый в 50-х годах предсказатель, юродивый. 329.

Коротнев, Алексей Алексеевич (род. в 1851 г.), профессор зоологии Казанского университета. 342.

Корш, Валентин Федорович (1828—1883), публицист, редактор «Петербургских Ведомостей». 210, 214, 292, 293, 294, 310.

Косица (псевдоним)—см. Страхов, Н. Н.

Косицкая (Някулина), Любовь Павловна (1829—1868), артистка Малого театра. 38, 39, 123.

Костомаров, Всеволод Дмитриевич (ум. в 1865 г.), поэт, предатель по делу Н. Г. Чернышевского. 309.

Костомаров, Николай Иванович (1817—1885), известный историк. 191, 204, 213, 214, 215, 249, 300.

Костюшко, Фаддей (1746—1817), руководитель польского восстания 1794 года. 31.

Котельников, Петр Иванович (1809—1879), профессор механики Казанского университета. 68.

Кошелев, Александр Иванович (1806—1883), славянофил, публицист. 180.

Кравчинский, Сергей Михайлович (1852—1895), известный революционер 70-х годов, романист. 339.

Краевские, братья, сыновья А. А. Краевского. 292, 301.

Краевский, Андрей Александрович (1810—1889), известный публицист, издатель «Отечественных Записок» и газеты «Голос». 151, 154, 155, 210, 211, 213, 247, 254, 271, 292, 301, 310, 331.

- Крестовский, В. псевдоним—см. Хвоцкая, Н. Д.
- Крестовский, Всеволод Владимирович (1840—1895), поэт, беллетрист. 301, 305—307.
- Кроль, Николай Иванович (1823—1871), поэт. 172, 211.
- Кропоткин, князь, Петр Алексеевич (1842—1924), знаменитый теоретик анархизма. 339, 344.
- Крылов, Никита Иванович (1808—1879), профессор римского права, Московского университета. 70.
- Кудрявцев, Петр Николаевич (1814—1858), историк, профессор Московского университета. 112.
- Кунджи, Архип Иванович (1842—1910), известный художник. 237.
- Куканов, домовладелец в Москве. 142.
- Кукольник, Нестор Васильевич (1809—1868), беллетрист и драматург. 29.
- Купер, Фенимор (1789—1851), американский романист. 21.
- Куприн, Александр Иванович (род. в 1870 г.), беллетрист. 241.
- Курочкин, Василий Степанович (1831—1875), поэт-сатирик, редактор «Искры». 125, 137, 172, 209, 210, 281, 330.
- Курочкин, Николай Степанович (1830—1884), поэт, сатирик. 281, 290.
- Кушелев-Безбородко, граф, Григорий Александрович (1832—1870), беллетрист, издатель журнала «Русское Слово». 170, 172, 210, 307.
- Кшесинский, артист петербургского балета. 167.
- Кюи, Цезарь Антонович (1835—1918), известный композитор. 204.
- Лаблаш, Луиджи (1794—1858), известный оперный артист. 88, 90.
- Лабула, Эдуард-Рене-Лефевр (1811—1883), французский публицист, автор ряда политических памфлетов. 273.
- Лавров, московский драматический артист. 197.
- Лавров, Петр Лаврович (1823—1900), известный социолог, философ, публицист, революционер. 125, 249, 267, 298—300, 317, 318, 330—332.
- Лапге, Василий Иванович, инспектор студентов Казанского университета. 56—58.
- Латышева, петербургская оперная артистка. 165.
- Лебедев, Василий Александрович (1833—1909), профессор Петербургского университета по кафедре финансового права. 18, 72.
- Лев XIII (1810—1903), римский папа. 265.
- Левитов, Александр Иванович (1835—1877), беллетрист. 249, 286, 287.
- Легуве, Эрнест (1807—1903), французский драматург. 228.
- Лейкин, Николай Александрович (1841—1906), беллетрист-юморист. 282.
- Леман, автор учебника химии. 71, 73, 74, 82, 106, 118—121, 190.
- Лемениль, супруги, артисты французской труппы в Петербурге. 91, 167.
- Леонидов, Леонид Львович (1821—1889), петербургский драматический артист. 91, 130, 160, 193.
- Леонова, Дарья Михайловна (1835—1896), петербургская оперная артистка. 166.
- Леонтьев, Павел Михайлович (1832—1875), филолог, профессор Московского университета, реакционный публицист. 112, 129, 195.
- Лермонтов, Михаил Юрьевич (1814—1841), поэт. 19, 34, 243, 285.
- Леру, Пьер (1797—1871), французский утопический социалист. 206, 259.

- Лесков, Николай Семенович (псевд. Стебницкий) (1831—1895), известный беллетрист. 7, 8, 249, 273—279, 281, 294, 338.
- Лессинг, Готтольд-Эфраим (1729—1781), знаменитый немецкий критик и драматург. 202, 256.
- Лешков, Василий Николаевич (1810—1881), профессор полицейского права Московского университета. 189.
- Либих, Юстус (1803—1873), знаменитый немецкий химик. 118, 119.
- Лизавета Андреевна, вольноотпущенная Боборыкиных. 23.
- Линдгрен, Иван Густавович (1719—1870), профессор терапии Казанского университета. 61.
- Липская, Юлия Николаевна (ум. в 1871 г.), петербургская драматическая артистка. 158, 162, 191, 193, 198, 199, 225.
- Лист, Франц (1811—1886), знаменитый композитор. 231, 235.
- Л—н, учитель гимназии в Нижнем-Новгороде. 82.
- Лобачевский, Николай Иванович (1793—1856), знаменитый математик, помощник попечителя Казанского учебного округа. 58.
- Ломброзо, Чезаре (1836—1911), известный итальянский криминалист. 33.
- Лоягинов, Михаил Николаевич (1823—1875), библиограф, поэт. 141.
- Лоран, Огюст (1807—1853), французский химик. 119.
- Л—ский, дерпский студент. 94.
- Лукин, Григорий Григорьевич, драматург, 70-х годов. 203.
- Лунин, Михаил Сергеевич (1787—1845), декабрист. 112.
- Лунина (по мужу графиня Уварова), Екатерина Сергеевна, сестра декабриста Лунина. 112.
- Львов, Алексей Федорович (1798—1870), композитор. 63.
- Львов, Леопид Федорович, управляющий конторой Малого театра в Москве. 196.
- Львов, Николай Михайлович (1821—1872), драматург, управляющий Московской конторой императорских театров. 156.
- Львова-Синецкая, Марья Дмитриевна (ум. в 1875 г.), артистка Малого театра. 38.
- Ляковский, Николай Эрастович (1816—1871), профессор химии в Московском университете. 82, 121.
- Майер, Луиза, артистка французской труппы в Петербурге. 91.
- Майков, Аполлон Николаевич (1821—1897), поэт. 150, 210, 224, 310, 311.
- Маковские, братья Владимир и Константин Егоровичи, художники. 237.
- Максимов, Алексей Михайлович (1813—1861), известный петербургский артист. 42, 91, 130, 160, 163.
- Максимов, Сергей Васильевич (1831—1901), этнограф, академик. 125, 144.
- Малышев, петербургский драматический артист. 157, 201.
- Мальвина, артистка французской труппы в Петербурге. 91.
- Маркевич, Болеслав Михайлович (1822—1884), беллетрист. 147, 148.
- Марков, Евгений Львович (1835—1903), критик, публицист, беллетрист. 217.
- Марковецкий, С. Я. (1817—1884), петербургский артист. 263.
- Маркович (Марко-Вовчок), Марья Александровна (1834—1907), беллетрист. 249, 301.

- Марко-Вовчок (псевдоним)—см. Маркович, М. А.
- Маркс, Адольф Федорович (1838—1904), издатель. 273.
- Маркс, Карл (1818—1883), основоположник научного социализма. 325.
- Марло, Христофор (1563—1593), английский драматург, предшественник Шекспира. 114.
- Мартынов, Александр Евстафьевич (1816—1860), известный артист. 42, 44, 91, 158, 160, 164, 215, 220.
- Медлер, Иоганн-Генрих (1794—1874), астроном, профессор Дерптского университета. 107.
- Мезенцов, Николай Владимирович (1827—1878), шеф жандармов. 339.
- Мей, Лев Александрович (1822—1862), поэт. 172, 211, 234.
- Мейер, Дмитрий Иванович (1819—1856), профессор гражданского права Казанского университета. 56, 59, 60.
- Меледин, основатель Нижегородской общественной библиотеки. 20, 79.
- Мельников, Павел Иванович (псевд. Печерский) (1818—1883), известный беллетрист и этнограф. 31, 63, 129, 273.
- Мемионов (Бушуев), Михаил, слуга автора. 82, 84, 85, 87, 97, 105, 111, 177, 253, 287.
- Мендельсон-Бартольд, Феликс (1809—1847), немецкий композитор. 231.
- Мерославский, Людовик (1814—1878), польский революционер, руководитель польского восстания 1863 года. 260.
- Микель-Анджело (1475—1564), знаменитый итальянский художник. 54.
- Миллер, Всеволод Федорович (1846—1913), известный лингвист и этнограф, академик. 80.
- Миллер, Федор Богданович (1818—1881), поэт и беллетрист, редактор журнала «Развлечение». 80.
- Миль, Джон-Стюарт (1806—1873), английский философ и экономист. 263, 289, 329, 330.
- Милославский, Николай Карлович (1811—1882), провинциальный артист. 56, 66, 67, 327.
- Миля, артистка французской труппы в Петербурге. 91.
- Минаев, Дмитрий Дмитриевич (1835—1889), поэт-сатирик. 210.
- Минин, Козьма Терентьевич (ум. в 1616 г.), организатор нижегородского ополчения в эпоху Смутного времени. 53.
- Михайло, повар автора. 177.
- Михайлов, Михаил Ларионович (1826—1865), известный поэт, беллетрист. 125, 129, 130, 137, 138, 154, 173, 187, 309, 317, 318, 326—329, 338.
- Михайлов, Михаил Михайлович (1826—1891), профессор гражданского права Петербургского университета. 174, 183, 239.
- Михаэлис, Евгений Петрович (1841—1913), революционер 60-х годов. 154, 169, 170, 173, 187, 189, 326, 328.
- Мицкевич, Адам (1798—1855), знаменитый польский поэт. 260, 295.
- Молешотт, Яков (1822—1893), немецкий физиолог, материаллист. 208.
- Молоствов, генерал, попечитель Казанского учебного округа. 58, 64.
- Морель, владелец гостиницы в Москве. 196.
- Морлей, Джон (1838 г.—ум.), английский писатель и политический деятель. 270.

- Моцарт, Вольфганг (1756—1791), знаменитый немецкий композитор. 64, 231.
- Мочалов, Павел Степанович (1800—1848), знаменитый артист. 42.
- Мунк, пианист в Казани. 65.
- Муравьев, Александр Николаевич (1792—1863), декабрист, в 1856—1861 гг. нижегородский губернатор. 54.
- Муравьева, Марфа Николаевна (1838—1879), известная балерина. 90, 166.
- Мусин-Пушкин, Михаил Николаевич (1795—1862), попечитель Казанского учебного округа. 119.
- Мусоргский, Модест Петрович (1839—1881), известный композитор. 232—234.
- Мюнстер, Александр Эрнестович, издатель «Портретной галереи русских деятелей». 183.
- Мясоедов, Григорий Григорьевич (1835—1911), художник-передвижник. 237.
- Надеждин, Николай Иванович (1804—1856), известный критик и журналист. 109.
- Наке, Альфред, французский политический деятель, в конце 60-х годов принадлежал к бакунинскому «Альянсу». 329.
- Наполеон I (1769—1821), французский император. 22, 23.
- Напталъ-Арно, французская артистка. 167.
- Нарезный, Василий Трофимович (1780—1826), беллетрист. 21.
- Нарышкина, Надежда Ивановна (урожд. Кноринг). 216.
- Натарова, Анна Петровна (1836—1917), петербургская драматическая артистка. 193.
- Неклюдов, Иван Андрианович, петербургский студент. 169.
- Неклюдов, Николай Адрианович (1840—1896), участник студенческих волнений 1861 года, позднее известный криминалист, товарищ мипистра юстиции. 125, 130, 169, 170, 174, 187, 189, 326.
- Некрасов, Николай Алексеевич (1821—1877), знаменитый поэт. 122, 139—143, 150—154, 212, 219, 221, 224, 245, 271—274, 281, 287, 302, 304, 310, 311, 336.
- Немчинов, артист Малого театра в Москве.
- Нессельроде, графиня, Лидия Арсеньевна (урожд. графиня Закревская, дочь московского генерал-губернатора). 47.
- Никитин, провинциальный артист.
- Николай I (1796—1855), император. 26, 45, 56, 76, 77, 163, 193.
- Нилус, братья, игроки. 37, 163.
- Нильский (Нилус), Александр Александрович (1841—1899), петербургский драматический артист.
- Новалис—псевдоним Фридриха Гарденберга (1772—1801), немецкий поэт-романтик. 113.
- Нордштрём, Иван Андреевич, цензор. 130, 155, 156, 170, 182, 187.
- Ободовский, Платон Григорьевич (1803—1864), драматург. 39.
- Огарев, нижегородский губернатор. 298.
- Огарев, Николай Платонович (1813—1877), известный поэт и публицист. 122, 147, 180, 321—324, 338.
- Огарева, Елизавета Александровна (1857—1875), дочь А. И. Герцена и Н. А. Огаревой. 322, 323, 334.

- Огарева, Наталья Алексеевна (урожд. Тучкова) (1829—1913), жена П. П. Огарева. 322, 333.
- Одоевский, князь, Владимир Федорович (1803—1869), беллетрист 115.
- Ожье, Эмиль (1820—1889), французский драматург. 39.
- Озеров (Дудкин), Дмитрий Иванович (ум. в 1880 г.), петербургский артист, драматург. 66.
- Ольдридж, Айра (1810—1867), знаменитый артист, негр. 226, 227.
- Ольхин, Матвей Дмитриевич (1806—1853), издатель, книгопродавец в Петербурге. 135.
- Оренштейн (Роговиков), Семен Семенович (1839—1901), журналист. 291.
- Орлова, П. И., артистка Малого театра в Москве. 38, 46, 47.
- Островский, Александр Николаевич (1823—1886), знаменитый драматург. 38, 41, 44, 45, 114, 115, 117, 123, 129, 142, 156, 159, 161, 162, 165, 172, 196, 200, 218—225, 243, 249, 266, 272, 285, 289, 300, 303, 313.
- Островский, Михаил Николаевич (1827—1901), министр государственных имуществ. 162.
- Острогорский, Виктор Петрович (1840—1902), известный педагог, критик. 7, 8, 268, 288.
- Оуэн, Роберт (1771—1858), известный английский социалист. 259.
- Павел, садовник Боборыкиных. 24.
- Павел I (1754—1801), император. 177.
- Павлов, Платон Васильевич (1823—1895), историк, профессор Киевского и Петербургского университетов. 184, 206, 207, 311.
- Павловский, Иван Яковлевич (1800—1869), лектор русского языка в Дерптском университете, составитель немецко-русского словаря. 109.
- Пальчикова (урожд. Пещурова), знакомая автора и Добролюбова. 155.
- Панаев, Иван Иванович (1812—1862), беллетрист, поэт, редактор «Современника». 201.
- Пассек, Владимир Вадимович, знакомый Марко-Вовчок. 301.
- Паткуль, Александр Владимирович (1817—1877), генерал-адъютант, петербургский обер-полицеймейстер. 189.
- П—в, жандармский офицер. 298.
- Пель, Петр Андреевич (1807—1861), профессор ботаники Казанского университета. 59.
- Пельт, начальник репертуара императорских театров в Москве. 196.
- Перов, Василий Григорьевич (1833—1882), известный художник-передвижник. 144.
- Петипа, Мариус Иванович (1822—1910), балетмейстер петербургского балета. 167.
- Петипа (Суровщикова), Марья Сергеевна (1857—1882), балерина. 166.
- Петр I (1672—1725), император. 23, 54.
- Петрашевский (Буташев), Михаил Васильевич (1821—1866), организатор социалистического кружка в Петербурге в 1845—1849 гг. 26, 51.
- Петров, Осип Афанасьевич (1807—1878), известный оперный артист. 166.
- Петух, портной в Дерпте. 97, 105.
- Печаткин, Вячеслав Петрович, издатель и книгопродавец в Петербурге. 134, 135, 160.

Печаткин, Евгений Петрович (1838—1918), студент Петербургского университета, позднее издатель. 214.

Печерский—см. Мельников П. И.

Пешна, артист французской труппы в Петербурге. 91, 167.

Писарев, Дмитрий Иванович (1840—1868), известный критик. 208, 238, 257, 268.

Писемская, Екатерина Павловна (урожд. Свиньина), жена А. Ф. Писемского. 143, 145, 149, 153.

Писемский, Алексей Феофилактович, (1820—1881), известный беллетрист. 21, 128—130, 136, 139, 142—154, 161, 162, 202, 204, 209, 210, 220, 225, 228, 236, 244, 246, 248, 249, 251, 255—257, 266, 267, 269, 273, 293, 313, 324, 328, 138

Писемский, Павел Алексеевич, профессор Московского университета. 147.

Пиунова, провинциальная актриса. 67.

Пиунова-Шмидгоф, Екатерина Борисовна, провинциальная артистка. 28, 67, 68.

Пишо, артист петербургского балета. 167.

Платон, древнегреческий философ. 30.

Плетнев, Петр Александрович (1792—1862), историк литературы, критик, поэт, ректор Петербургского университета. 115, 130, 133, 134, 143, 175.

Плетнева, жена П. А. Плетнева. 133.

Плеханов, Георгий Валентинович (1856—1918), основоположник русского марксизма. 335, 341, 344.

Плещеев, Алексей Николаевич (1825—1893), известный поэт. 26, 144, 249, 292, 309, 314, 329.

Плюшар, Адольф Александрович (1806—1865), издатель и типограф в Петербурге. 151.

Погодин, Михаил Петрович (1800—1875), историк, профессор Московского университета. 204, 215.

Подобедова, Надежда Ивановна (1830—1893), петербургская драматическая артистка. 194.

Пожарский, князь, Дмитрий Михайлович (1578—1641), руководитель нижегородского ополчения в эпоху Смутного времени. 53.

Познякова—см. Федотова Г. Н.

Покровский, Михаил Павлович, студент Петербургского университета, руководитель студенческих волнений 1861 года. 169, 170, 189.

Полевой, Николай Алексеевич (1796—1846), критик, историк литературы, драматург. 21, 29, 109.

Полонская (урожд. Устюшкова), жена Я. П. Полонского. 330.

Полонский, Яков Петрович (1819—1898), известный поэт. 122, 125, 138, 224, 249, 273, 310, 311, 318, 327, 330, 331.

Полтавцев, Корнилий Николаевич (1823—1865), артист Малого театра в Москве. 38, 123.

Помяловский, Николай Герасимович (1835—1863), известный беллетрист. 150, 249, 268, 287, 289, 301.

Попосова, мешанка. 123.

Потапенко, Игнатий Николаевич (род. в 1856 г.), беллетрист. 342.

- Потехин, Алексей Антипович (1829—1908), драматург, беллетрист. 43, 129, 144, 158, 164, 165, 209, 220, 222, 225, 246.
- Потехин, Николай Антипович (1834—1896), драматург 130, 164, 165, 225.
- П—р, офицер. 188.
- Прихунова, балерина. 166.
- Прокофьева, петербургская артистка. 66.
- Прудон, Пьер-Жозеф (1809—1865), знаменитый французский анархист. 206, 323, 326.
- Прияшников, Илларион Михайлович (1840—1894), известный художник-передвижник. 237.
- П—ский, чиновник, секретарь автора. 262.
- Путятин, граф, Евфимий Васильевич (1803—1883), адмирал, министр народного просвещения в 1861 году. 187.
- Пушкин, Александр Сергеевич (1799—1837), знаменитый поэт. 34, 116, 146, 151, 224, 238, 243, 285, 319.
- Пыпин, Александр Николаевич (1833—1904), историк литературы. 311.
- Пятковский, Александр Яковлевич (1840—1904), историк литературы и публицист. 290.
- Р., эмигрант. 339.
- Р., Николай Иванович, мировой посредник. 179.
- Рагозин, Евгений Иванович (1843—ум.), экономист. 255.
- Рассказов, артист Малого театра в Москве. 198, 199.
- Рашель, Элиза (1821—1858), знаменитая французская артистка. 68, 228.
- Р—ва, Зинаида—псевдоним Ган, Елены Андреевны (1814—1842), беллетрист. 21.
- Рейсснер, Эрнст (1824—1878), профессор анатомии Дерптского университета. 108.
- Рембрант (1606—1669), знаменитый голландский живописец. 302.
- Реньо, Анри-Виктор (1810—1878), автор учебника химии. 60, 119.
- Репин, Илья Ефимович (род. в 1844 г.), знаменитый художник. 53, 144, 234, 237.
- Репина, Надежда Васильевна (по мужу Верстовская) (1809—1867), артистка. 42.
- Ригольбош, известная французская кафешантанная танцовщица. 162.
- Римский-Корсаков, Николай Андреевич (1844—1908), известный композитор. 234.
- Ристори, Адelaide (1822—1906), знаменитая итальянская артистка. 227, 228, 229.
- Де-Роберти, цензор. 264, 274, 275.
- Ровинский, Павел Аполлонович (1831—1916), славист, адъюнкт Казанского университета. 60.
- Роговиков, Семен (псевдоним)—см. Оренштейн С. С.
- Рольстон, Вильям (1829—1889), английский писатель. 280.
- Росберг, Михаил Петрович (1804—1874), профессор истории русской литературы, Дерптского университета. 109, 115, 128, 133.
- Росси, Эрнесто (1829—1896), известный итальянский артист. 227.
- Россини, Джоакино-Антонио (1792—1868), итальянский композитор. 35.

- Ростовская, Марья Федоровна (1766—1836), беллетрист. 63, 64.
 Ростопчина, графиня, Евдокия Петровна (1811—1858), поэтесса. 21, 48, 203, 294.
- Рубинштейн, Антон Григорьевич (1829—1894), композитор, пианист. 150, 230—235.
- Руссо, Жан-Жак (1712—1778), знаменитый французский писатель. 11, 12.
- Рыкалова, Надежда Васильевна (1824—1914), артистка Малого театра в Москве. 198.
- С., студент Казанского университета. 74.
- Сабурова, Аграфена Тимофеевна (ум. в 1867 г.), артистка Малого театра в Москве. 38, 39, 46, 117, 123.
- Садовский, Михаил Провович (1847—1910), артист Малого театра. 165.
- Садовский, Пров Михайлович (1818—1872), знаменитый артист. 38, 39, 41—46, 123, 159, 161, 165, 176, 180, 195—199, 204, 215, 311, 313.
- Салиас-де-Турнемир, граф, Евгений Андреевич (1840—1908), беллетрист. 249, 272, 273.
- Салиас-де-Турнемир (псевд. Евгения Тур), Елизавета Васильевна (1815—1892), писательница. 249, 267, 294, 298.
- Салиас-де-Турнемир, графиня (по мужу Гурко). 273.
- Салтыков, граф, петербургский домовладелец. 253.
- Салтыков (Щедрин), Михаил Евграфович (1826—1889), знаменитый сатирик. 29, 122, 129, 150, 151, 154, 206, 221, 224, 266, 268, 271, 281, 288, 302, 304, 311, 336.
- Сальвини, Томазо (1829—1915), знаменитый итальянский артист. 227.
- Самарин, Иван Васильевич (1817—1885), артист Малого театра. 42, 46, 47, 123, 196—204.
- Самарин, Юрий Федорович (1819—1876), известный славянофил. 180.
- Самойлов, Василий Васильевич (1813—1887), известный драматический артист. 42, 67, 91, 130, 137, 157—161, 164, 165, 176, 191—194, 215, 225—227, 307.
- Самойлова, Вера Васильевна, (ум. 1880 г.), петербургская драматическая артистка. 42, 116, 148, 160.
- Самойлова, Надежда Васильевна, (1822—1899), петербургская драматическая артистка. 42, 160.
- Самойловы, семейство артистов. 42.
- Сандунова, Елизавета Семеновна (1772—1832), артистка, писательница. 219.
- Санковская, балерина. 47.
- Сарду, Викторьен (1831—1908), французский драматург. 226.
- Сатин, Николай Михайлович (1814—1873), писатель, переводчик Шекспира. 122.
- Сашка, выездной у Боборыкиных. 47.
- Семевский, Михаил Иванович (1837—1892), историк, редактор журнала «Русская Старина». 125, 330.
- Сенковский, Осип Иванович (псевд. Барон Брамбеус) (1800—1858), беллетрист, критик. 135, 255.
- Сен-Симон, граф, Аори-Клод (1760—1825), французский социалист. 259, 326.

- Сент-Бев, Шарль-Огюст (1804—1869), известный французский критик. 295.
- Сервантес Сааведра, Мигуэль (1547—1616), знаменитый испанский писатель. 114, 224.
- Серов, Александр Николаевич (1820—1871), известный композитор. 150, 166.
- Сетов, Иосиф Яковлевич (1835—1894), петербургский оперный артист. 165.
- С—ий, адвокат. 291.
- Симеон Гордый (1317—1353), великий князь московский. 318.
- Симонов, Иван Михайлович (1794—1855), профессор астрономии, ректор Казанского университета. 55, 58.
- Скалон, студент, позднее генерал. 185.
- Скотт, Вальтер (1771—1832), известный английский романист. 21.
- Славин, петербургский артист. 91.
- Славянский (Агренов), Дмитрий Александрович, (1836—1908), известный хормейстер, пропагандист народной песни. 78.
- Славянский, Михаил Иванович (1823—ум.), адъюнкт Казанского университета по кафедре всеобщей истории. 61.
- Слепцов, Василий Алексеевич (1836—1878), известный беллетрист. 286.
- Смирдин, Александр Филиппович (1795—1857), издатель и книгопродавец в Петербурге. 135.
- Снеткова, Марья Александровна, петербургская балерина. 156.
- Снеткова, Фанни Александровна, петербургская драматическая артистка. 130, 155—158, 164, 165, 176, 191, 201, 203, 225, 312.
- Соколов, артист Малого театра в Москве. 28.
- Соколов, Александр Васильевич (1825—1875), адъюнкт Казанского университета по кафедре римского права. 74.
- Соколова, Е., балерина. 166.
- Солдатенков, Козьма Терентьевич (1818—1901), московский купец-миллионер, издатель. 121, 122.
- Соловьев, Владимир Сергеевич (1853—1900), известный философ. 184.
- Соллогуб, граф, Владимир Александрович (1814—1882), поэт, беллетрист. 21, 35, 74, 82, 115—118, 148, 307.
- Соллогуб, графиня, Е. В. (по мужу Сабурова), дочь В. А. Соллогуба. 77.
- Соллогуб, графиня, Софья Михайловна, жена В. А. Соллогуба. 35, 82, 116—118, 169.
- Сосницкий, Иван Иванович (1794—1877), петербургский артист. 42, 130, 158, 225.
- Софокл, древнегреческий драматург. 114.
- Спасович, Владимир Данилович (1829—1906), юрист, критик, публицист. 169, 174, 181, 186, 255, 311.
- Спорова, петербургская драматическая артистка. 165, 219, 220, 307.
- Станкевич, Николай Владимирович (1813—1840), известный философ-идеалист, руководитель московского кружка 30-х годов. 109.
- Станюкович, Константин Михайлович (1844—1903), беллетрист. 292.
- Стасов, Владимир Васильевич (1824—1906), художественный критик. 231—238.

Стасов, Дмитрий Васильевич (1828—1918), известный петербургский присяжный поверенный. 234.

Стасовы, братья Владимир и Дмитрий Васильевичи. 231, 233.

Стасюлевич, Михаил Матвеевич (1826—1911), историк, редактор «Вестника Европы». 169, 184, 311.

Стахович, А. А., любитель-театрал. 220.

Стахович, Михаил Александрович, земский деятель. 220.

Стебницкий—см. Лесков Н. С.

Стендаль—см. Бейль Анри.

Степанов, Николай Александрович (1807—1877), художник-кариатурист, соредактор В. С. Курочкина по «Искре» 1859—1864 гг. 209.

Степанов, Петр Гаврилович, артист Малого театра в Москве. 38, 39, 45, 123.

Степняк—см. Кравчинский С. М.

Страхов, Николай Николаевич (1828—1896), философ, критик. 211, 212, 249, 261, 305—308.

Стрелкова, Александра Ивановна, провинциальная актриса. 28, 56, 327.

Стрелкова (по сцене Таланова), Ханя Ивановна, артистка Малого театра в Москве. 28, 67, 199, 327.

Строганов, граф, Сергей Георгиевич (1794—1882), член Государственного Совета. 298.

Стуколкин, артист петербургского балета. 167.

Суворин, Алексей Сергеевич (1834—1912), публицист, драматург, редактор газеты «Новое Время». 292, 294, 310.

Сухово-Кобылин, Александр Васильевич (1820—1903), известный драматург. 111, 129, 213, 215—218, 294.

Сухомлинов, Михаил Иванович (1828—1901), историк литературы, академик. 344.

Сухонин, Петр Петрович (1821—1884), драматург, автор популярной пьесы «Русская свадьба в исходе XVI в.». 38.

Сушков, Николай Васильевич (1796—1871), драматург. 203.

Сэй, Жан-Батист (1767—1832), французский экономист. 75.

Сю, Евгений (1804—1857), французский романист. 21.

Таланова—см. Стрелкова Х. И.

Тальма, Франсуа-Жозеф (1763—1826), знаменитый французский артист. 162.

Тамберлик, Энрико (1820—1889), знаменитый тенор. 88, 89, 166.

Тарасов, петербургский домовладелец. 308.

Тарновский, директор канцелярии министра двора. 263.

Теккерей, Вильям (1811—1863), известный английский романист. 21, 244.

Тетар, французский артист. 167.

Тик, Людвиг (1773—1853), немецкий писатель. 113.

Тимашев, Александр Егорович (1818—1893), министр внутренних дел. 156.

Тимофей, столяр Боборыкиных. 24.

Тицнер, врач в Петербурге. 115.

Ткачев, Петр Никитич (1844—1885), революционер, публицист, эмигрант. 249, 263, 289, 290, 317, 318, 329, 330.

- Токвиль, Алексис (1805—1859), французский публицист и политический деятель. 146.
- Толмачева, Евгения Эдуардовна, жительница Перми. 137—139, 274.
- Толстой, Лев Николаевич (1828—1910), знаменитый беллетрист. 33, 129, 178, 180, 221, 255, 256, 266, 271, 277, 285, 300, 317, 329, 343, 344.
- Трубецкой, князь. В. 155.
- Трусов, провинциальный артист. 28.
- Гумпаков, владелец увеселительного заведения в Петербурге. 307.
- Тур, Евгения—см. Салиас-де-Турнемир Е. В.
- Тургенев, Иван Сергеевич (1818—1883), знаменитый писатель. 9, 21, 27, 35, 79, 80, 112, 113, 116, 129, 136, 139—141, 145—148, 150—154, 170, 180, 210, 221, 224, 237—239, 244, 248, 249, 255, 266, 271, 279, 300, 303, 305, 310, 311, 319.
- Турунов, Михаил Николаевич, чиновник III отделения, председатель Петербургского цензурного комитета. 262, 264.
- Тэн, Ипполит (1828—1893), французский философ, критик и историк. 114.
- Тютчев, Федор Иванович (1803—1873), известный поэт. 210, 311.
- Уваров, граф, Сергей Федорович, филолог и историк. 82, 112—115, 124, 126.
- Улыбышев, Александр Дмитриевич (1794—1858), музыкальный критик. 29, 64, 231, 313.
- Ульяновы, нижегородские помещики. 28.
- Урусов, князь, Александр Иванович (1843—1900), критик. 249, 250, 268, 283—286.
- Урусов, князь, М. А., нижегородский губернатор. 284.
- Успенский, Глеб Иванович (1840—1902), известный беллетрист-народник. 150, 241, 249, 286, 287.
- Успенский, Николай Васильевич (1837—1889), беллетрист. 129, 150, 286, 287.
- Устрялов, Николай Герасимович (1805—1870), историк, профессор Петербургского университета. 137.
- Устрялов, Федор Николаевич (1836—1885), драматург. 137.
- Утин, Борис Исаакович (1832—1872), юрист, профессор Петербургского университета. 169, 311.
- Утин, Евгений Исаакович (1843—1894), присяжный поверенный, публицист, литературный критик. 292, 335.
- Утин, Николай Исаакович (1845—1883), революционер 60-х годов, эмигрант. 189, 335, 336.
- Федоров, Михаил Павлович (1839—1900), критик, редактор «Нового Времени». 291, 292, 301.
- Федоров, Павел Иванович (1794—1855), бессарабский генерал-губернатор. 292.
- Федоров, Павел Степанович (1803—1879), драматург, начальник репертуара императорских театров. 126, 155, 159, 162, 165, 218.
- Федорова, петербургская драматическая артистка. 193.
- Федосья Иваловна, подруга Островского. 221.
- Федотова, Гликерия Николаевна (урожд. Позднякова) (1846—1925), известная артистка. 42, 176, 196—199, 200—204, 226, 268, 283, 313.
- Фелье, Октав (1821—1890), французский беллетрист и драматург. 127, 157.

- Фет—см. Шеншин.
- Фехнер, Густав-Теодор (1801—1887), немецкий психофизик. 126.
- Филарет (1783—1867), митрополит московский. 173, 328.
- Филипсон, Григорий Иванович (1809—1883), генерал, попечитель Петербургского учебного округа в 1861 г. 187, 188.
- Флобер, Густав (1821—1880), знаменитый французский романист. 128.
- Фогель, Густав Львович (1805—ум.), профессор уголовного права Казанского университета. 61, 75.
- Фохт, братья Карл и Адольф, немецкие эмигранты после революции 1848 года. 208, 334.
- Фохт, Карл (1817—1895), немецкий натуралист, материалист. 208, 334.
- Франсе, коммунар. 341.
- Фредерикс, барон, петербургский домовладелец. 156.
- Фридрих II (1740—1786), прусский король. 45.
- Фрязин, Марк, итальянский зодчий XVII века в России. 54.
- Фурье, Шарль (1772—1837), французский утопический социалист. 206.
- Хан, Эммануил Алексеевич (ум. в 1892 г.), врач, редактор журнала «Всемирный Труд». 118, 119.
- Хвоцинская, Надежда Дмитриевна (псевд. В. Крестовский), (1825—1889), беллетрист. 127, 129, 247, 249, 267, 301—303.
- Хвоцинская, Софья Дмитриевна (псевд. Ив. Весеньев) (1828—1865), беллетрист. 249, 301—303.
- Х—ков, казанский студент. 75.
- Цветков, студент Дерптского университета. 107.
- Цез, Владимир Андреевич, председатель Петербургского цензурного комитета, сенатор. 264, 265.
- Чаев, Николай Александрович (1824—1914), драматург. 160.
- Чайковский, Петр Ильич (1840—1893), известный композитор. 234.
- Чернышев, Иван Егорович (1833—1863), артист, драматург. 130, 157—159, 164.
- Чернышевский, Николай Гаврилович (1828—1889), знаменитый публицист. 140, 150, 152, 154, 170, 176, 205—208, 212, 213, 219, 236, 237, 239, 240, 257, 259, 268, 309, 317, 318, 320, 321, 329, 338.
- Черрито, Фанни, балерина. 90.
- Чесноков, денщик отца автора. 80.
- Чехов, Антон Павлович (1860—1904), известный беллетрист. 241, 242, 285, 342.
- Читау, Марья Михайловна, петербургская драматическая артистка. 162.
- Чубинский, Павел Платонович (1839—1884), студент Петербургского университета, позднее известный этнограф. 169, 189.
- Чуйко, Владимир Викторович (1839—1899), литературный критик. 182, 340.
- Шаляпин, Федор Иванович (род. в 1873 г.), знаменитый оперный артист. 234.
- Шатобриан, Франсуа-Рене (1768—1848), французский писатель. 11, 12.
- Шаховская, княгиня (по мужу Бутовская). 168.
- Шаховской, князь, нижегородский помещик, основатель театра в Нижнем-Новгороде. 28, 199.
- Шевалдышев, владелец гостиницы в Москве. 47.

Шевченко, Тарас Григорьевич (1814—1861), известный украинский поэт. 125, 329.

Шекспир, Вильям (1564—1616), знаменитый английский драматург. 93, 111—115, 121, 159, 205, 219, 223, 226, 227, 238, 243, 293.

Шелгунов, Николай Васильевич (1824—1891), известный публицист. 170.

Шелгунова, Людмила Петровна (1832—1901), жена Н. В. Шелгунова, писательница. 154, 170, 187, 326, 328.

Шеншин (Фет), Афанасий Афанасьевич (1820—1892), известный поэт. 102, 153, 311.

Шереметев С. В., нижегородский помещик. 25.

Шереметевы, дворянский род. 318.

Шереметьев, Н. В., нижегородский губернский предводитель дворянства. 35.

Шпллер, Фридрих (1759—1805), знаменитый немецкий поэт. 11, 28, 93, 226, 242, 243.

Ширянский-Шахматов, князь, Платон Александрович (1790—1853), министр народного просвещения с 1850 по 1853 год. 15.

Ширрен, Карл Христиан (1826—1894), профессор Дерптского университета. 107.

Шифф, Сеймур, пианист. 64.

Шишкин, Иван Иванович (1831—1898), известный художник-пейзажист. 237.

Шлегель, Август-Вильгельм (1767—1845), немецкий критик и поэт. 113.

Шмидгоф, Эвелина К., провинциальная артистка. 56, 67.

Шмидт, Карл, химик, профессор Дерптского университета. 74, 82, 97, 107, 108, 119, 121, 190.

Шмит, обер-педель Дерптского университета. 110.

Шопен, Фредерик (1809—1849), знаменитый польский композитор. 231, 234.

Шпильгаген, Фридрих (1829—1911), известный немецкий беллетрист. 277, 278.

Штакеншнейдер, Андрей Иванович (1802—1865), известный архитектор. 125, 329.

Штрюмпель, Людвиг-Генрих (1812—1899), профессор философии Дерптского университета. 109.

Шуберт, Карл (1811—1863), виолончелист. 167, 230.

Шуберт, Франц (1797—1828), известный немецкий композитор. 231.

Шуберт-Яновская, Александра Ивановна (1827—1909), артистка. 127.

Шувалов, граф, Петр Андреевич (1827—1889), начальник III отделения, позднее шеф жандармов. 188.

Шуман, Роберт (1810—1856), известный немецкий композитор. 231, 235.

Шумский, Сергей Васильевич (1820—1878), известный артист. 38, 46, 67, 123, 137, 200, 201, 204.

Шапов, Афанасий Прокофьевич (1830—1876), историк. 249, 287, 300, 301.

Шапова, Ольга Ивановна (урожд. Жемчужникова), жена А. П. Шапова. 301.

Щеглов, Дмитрий Федорович (ум. в 1902 г.), публицист, автор «Истории социальных систем». 249, 258—260, 273.

Щедрин—см. Салтыков М. Е.

Щепкин, Михаил Семенович (1788—1863), знаменитый артист. 15, 38—44, 123, 195, 203, 204.

Щепкин, Николай Михайлович (1820—1886), издатель. 121, 122.

Эврипид, древнегреческий драматург. 114.

Эдельсон, Евгений Николаевич (1824—1868), литературный критик. 41, 123, 152, 222, 249, 256, 257, 259, 268, 282. 295—297, 305.

Эйзерих, пианист в Нижнем-Новгороде. 64, 65.

Эльсниц, Александр Леонтьевич (1849—1907), эмигрант, публицист, врач. 335, 340—342.

Энгельгардт, Александр Николаевич (1832—1893), известный сельский хозяин, публицист. 249, 300.

Эрдман, Иоганн-Фридрих (1809—1858), терапевт, профессор Дерптского университета. 108.

Эстерлеп, автор учебника фармакологии. 119.

Эсхил, древнегреческий драматург. 114.

Эттинген, Георг, хирург, профессор Дерптского университета. 108.

Юралов, русский вице-консул в Ментоне. 324.

Юрева, девица—псевдоним Ирины Семеновны Кони (1811—1891), беллетрист. 21.

Яблочкин, петербургский артист. 263.

Якоби, Валерий Иванович (1834—1902), художник. 340.

Якоби, Павел Иванович, эмигрант 60-х годов, позднее известный врач-психиатр. 340, 341.

Якоби (Пешкова), Александра Н., писательница 70-х годов. 341.

Яковлевы, дворянский род. 318.

Якушкин, Павел Иванович (1820—1872), беллетрист и этнограф. 172, 256, 296.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Предисловие Б. П. Козьмина	5
--------------------------------------	---

ЗА ПОЛВЕКА

Вступ л е н и е

Итоги писателя. — Опасность всяких мемуаров. — Два примера: Руссо и Шатобриан. — Главные две темы этих воспоминаний: 1) жизнь и творчество русских писателей; 2) судьбы нашей интеллигенции. — Тенденциозность и свобода оценок. — Другая половина моих итогов: книга «Столицы мира»	11
--	----

Г л а в а п е р в а я

Нижегородская гимназия. — Решение своей дороги в четвертом классе. — Задатки писателя. — Наш дом. — Гувернеры и дворовые, частные учителя. — Страсть к чтению. — Книжник-библиотекарь Меледин. — Как отражалась на нас николаевская эпоха. — Мои дяди. — Нижегородский театр. — Первая поездка в Москву на масленице 1853 года. — Тогдашние московские театры. — Щепкин в лучших своих созданиях. — Другие крупные силы в мужском и женском персонале. — Первая пьеса Островского на сцене. — Окончание курса. — Как мы относились к деревне и крестьянству. — Культурные элементы окружающей жизни. — Писатели, каких я знал по Нижнему. — Родной город и его природа — Историческая старина Нижнего. — Первая поездка в Казань. — Холера. — Итоги воспитывающей среды и ученья перед поступлением в студенты	15
--	----

Г л а в а в т о р а я

Казань в пятидесятых годах. — Университет. — Начальство. — Инспектор Ланге. — Полицейский надзор. — Камеральный «разряд». — Профессор Иванов. — Любимые профессора: Аристов, Мейер, Бутлеров, Киттары. — Словесники. — Григорович. — Медицинский факультет. — Жизнь вне университета. — Материальные условия. — Светский мир Казани. — Губернаторша. — Литературность общества. — Музыкальное любительство. — Мой товарищ М. Балакирев. — Театр. — Милославский, Ал. Стрелкова, Шмидгоф. — Начало Крымской войны. — Настроение общества. — Дух студенчества. —	
--	--

Казанские студенты. — Начитанность в первые годы студенчества. — Поворот к точной науке на втором курсе. — Химия. — Нравы студентов. — Мечта о Дерпте — Переход туда на третьем курсе. — Профессор Бабст. — Бутлеров в лаборатории. — Без любовных увлечений. — Смерть Николая I. — На вакациях. — Поездка «на долгих». — Тамбовская усадьба. — Липецкие воды. — Дворяне и крестьяне. — Дедовская библиотека. — Дальнейшее знакомство с бытовой жизнью. — Вторая летняя вакация. — Ополчение 1855 года. — В Нижнем. — Зимой и летом. — Писатель Даль. — Переезд в Дерпт. 56

Глава третья

Переход из Казани в Дерпт. — Мой служитель Михаил Бушуев. — Переправа через Волгу. — Победа студента-камералиста. — Что лежало в «идее» Дерпта. — На «сдаточных» в Москву и Петербург зимой 1855 года. — После севастопольского погрома. — Петербургское искусство. «Ливонские Афины». — Я и герой «В путь-дорогу» — в Дерпте. — Главная программа этой главы. — Мы и немцы. — Корпорация «Рутения». — Нравы студентов. — «Дикие». — История с «ферруфом». — Дуэли. — Что представлял собою университет сравнительно с русскими. — Физиономия города Дерпта. — Уличная жизнь. — Наша студенческая бедность. — Развлечения Дерпта. — «Академическая Мусса». — Мои два факультета. — Мой учитель Карл Шмидт. — Порядки экзаменов. — Учебная свобода. — Местное равнодушие к тогдашнему русскому «движению». — Знакомство с С. Ф. Уваровым. — Русские барские дома. — Граф В. А. Соллогуб и жена его Софья Михайловна. — Перевод химии Лемана. — Академик Зинин. — Петербург в мои поездки туда. — Составление учебника. — Профессор Ляковский. — Н. Х. Кетчер. — Вакации в Нижнем и в деревне. — Поворот к писательству. — Любительские спектакли. — Комедии: «Фразеры» и «Однодворец». — Наш кружок. — Драма «Ребенок». 82

Глава четвертая

Перед переселением в столицу. — Неожиданное наследство. — Мой план зимнего сезона в Петербурге. — Первые впечатления писателя. — Журнал «Библиотека для Чтения». — П. А. Плетнев. — П. И. Вейнберг. — М. Л. Михайлов. — А. В. Дружинин. — А. Ф. Писемский. — Театральный мир. — Судьба «Однодворца» и «Ребенка». — Цензура Третьего отделения. — Цензор И. А. Нордштрем. — Первый сюжет русской труппы. — Ф. А. Снеткова. — И. И. Сосницкий. — Самойлов. — Максимов. — П. Каратыгин и Григорьев. — Леонидов. — Павел Васильев. — Ф. Бурдиг. — Дебюты Нильского. — Старые театральные порядки. — Мои сверстники: Н. Потехин и актер-писатель Чернышев. — Русская опера. — Французский театр. — Балет. — Светские знакомства. — На Острове. — Студенческий кружок. — Университет. — Н. Неклюдов. — Жизнь писателей. — Манифест 7 февраля. — В аудиториях. — Прерванный экзамен. — Отъезд. 130

Глава пятая

Деревня. — Мое владительство. — Возвращение в Петербург. — Экзамены. — Волнения в университете. — История моего диплома. — Постановка

«Одюдворца» в бенефис Павла Васильева. — Столкновение с Самойловым. — Липская. — Поездка в Москву. — «Одюдворец» в бенефис П. М. Садовского. — Воспитанница Познякова. — «Ребенок» в Москве и Петербурге. — Ф. А. Сметкова в роли Верочки. — Петербургские сезоны: 1861—62 и 1862—63 годов. — Мой дебют как феллетониста «Библиотеки для Чтения». — Нигилизм. — Чернышевский на астраде дома Руадзе. — Общй уровень тогдашней молодежи. — Инцидент с «Искрой». — Дальнейшие знакомства с писателями	176
---	-----

Глава шестая

Лекции в думс. — История с Костомаровым. — Театр. — Сухово-Кобылиц, автор «Свадьбы Кречинского». — Островский и его сверстники. — Заезжие знаменитости. — Музыка. — Балакирев и начало «кучкизма». — Два поколения. — «Отцы и дети». — Замысел романа «В путь-дорогу». — Издательство	213
---	-----

Глава седьмая

Издательство и редакторство «Библиотеки для Чтения» (1863—1865 гг.) — Ядро материальной неудачи. — Разорение. — Мои цензора. — Старые и новые сотрудники. — Эдельсон. — Щеглов и Воскобойников. — Генслер, гр. Салнас, кн. А. И. Урусов, Лесков, Левитов, Глеб Успенский, Помяловский, П. Ткачев. — Ап. Григорьев, Н. Н. Страхов, П. Л. Лавров, А. Энгельгардт. — Графиня Е. В. Салнас (Евгения Тур), Н. Д. Хвоцинская (В. Крестовский - псевдоним), сестра ее — «Весенев», Марко-Вовчок, Я. П. Полонский, Н. И. Костомаров, профессор Щапов. Встречи с Тургеневым, Григоровичем, Островским, Писемским, Плещеевым. — Светские знакомства. — Петербургские сезоны 1863—1865 гг. — Работа беллетриста. — Издательские тиски. Ликвидация журнала. — Первая поездка за границу осенью 1865 года.	249
---	-----

ОТ ГЕРЦЕНА ДО ТОЛСТОГО	317
----------------------------------	-----

Примечания	345
Именной указатель	360



